КЕРЕНСКИЙ

Владимир Федюк

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Александр Федорович Керенский — ключевая фигура в истории Февральской революции 1917 года. Едва ли кто другой из первых лиц государства когда-либо пользовался таким всеобщим обожанием, как Керенский в первые месяцы после свержения царского режима. С его именем связывали надежды на демократическое обновление России, на превращение страны в процветающее, свободное государство. Но надеждам этим не суждено было сбыться, и очень скоро всеобщее обожание сменилось столь же всеобщей ненавистью к премьеру Временного правительства. В советской историографии образ Керенского неизменно рисовался в самом карикатурном виде. Между тем и его личность, и та роль, которую он сыграл в истории русской революции, заслуживают пристального внимания и более чем поучительны. О судьбе Керенского и о крушении «эпохи надежд» рассказывается в новой книге серии «Жизнь замечательных людей».

- Владимир Федюк
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - СЕМЬЯ
    - ДЕТСТВО
    - КЕРЕНСКИЕ И УЛЬЯНОВЫ
    - В ТАШКЕНТЕ
    - «БУДУЩИЙ АРТИСТ ИМПЕРАТОРСКИХ ТЕАТРОВ»
    - УНИВЕРСИТЕТ
    - СХОДКА
    - АЛЕКСАНДР И ОЛЬГА
    - ДЕВЯТОЕ ЯНВАРЯ
    - АРЕСТ
    - ТЮРЬМА
    - АДВОКАТ
    - ЛЕНСКИЙ РАССТРЕЛ
    - ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
    - МАСОНЫ
    - ДЕЛО БЕЙЛИСА
    - ВОЙНА
    - НАКАНУНЕ
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    - ФЕВРАЛЬ
    - ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

- «РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ПРОЛИВАЕТ КРОВИ»
- ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
- «ЗАЛОЖНИК ДЕМОКРАТИИ»
- ОТРЕЧЕНИЕ
- «ДИКТАТУРА АДВОКАТУРЫ»
- ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ
- МИНИСТРЫ В ТРУБЕЦКОМ БАСТИОНЕ
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗА РАБОТОЙ
- ГУЧКОВ И КЕРЕНСКИЙ
- МИЛЮКОВ И КЕРЕНСКИЙ
- БОЛЬШЕВИКИ
- НОТА МИЛЮКОВА
- КОАЛИЦИЯ

○ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

- "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ РЕВОЛЮЦИИ"
- "ГРАЖДАНИН МИНИСТР"
- КЕРЕНСКИЙ НА ФРОНТЕ
- КОЛЧАК
- НАЗНАЧЕНИЕ БРУСИЛОВА
- ПОСЛЕДНЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ
- СЪЕЗД СОВЕТОВ
- АНАРХИЯ
- УКРАИНСКИЙ УЗЕЛ
- ИЮЛЬСКИЕ ДНИ
- "ПОЛУВОССТАНИЕ"
- ПОКАЗАНИЯ ПРАПОРЩИКА ЕРМОЛЕНКО
- РЕАКЦИЯ
- НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ

○ ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

- ВОЕННЫЕ НЕУДАЧИ
- ВОЗВЫШЕНИЕ КОРНИЛОВА
- НОВЫЙ ГЛАВКОВЕРХ
- ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ
- КЕРЕНСКИЙ И КОРНИЛОВ
- ДВЕ ЗАПИСКИ
- ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
- "ЗАГОВОР МАРГАРИТЫ"
- КОРНИЛОВ И САВИНКОВ
- ЛЬВОВ
- РАЗРЫВ
- ПРОТИВОСТОЯНИЕ
- МЯТЕЖ
- САМОУБИЙСТВО КРЫМОВА
- АРЕСТ КОРНИЛОВА

- ЧАСТЬ ПЯТАЯ
  - У КРАЯ ПРОПАСТИ
  - ДИРЕКТОРИЯ
  - БОЛЬШЕВИКИ ПОДНИМАЮТ ГОЛОВУ
  - ДОПРОС
  - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
  - ТРЕТЬЯ КОАЛИЦИЯ
  - "ЧТО-ТО ГОТОВИТСЯ..."
  - УПУЩЕННЫЕ ШАНСЫ
  - КОНФЛИКТ РАЗРАСТАЕТСЯ
  - НАЧАЛОСЬ!
  - БЕГСТВО КЕРЕНСКОГО
  - КОНЕЦ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
  - НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
  - В ШТАБЕ СЕВЕРНОГО ФРОНТА
  - ПОХОД НА ПЕТРОГРАД
  - ПОДПОЛЬЕ
  - ЭМИГРАЦИЯ
  - СЕРЕДИНА ЖИЗНИ
  - ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
- ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. Ф. КЕРЕНСКОГО

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20

- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64

- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108

- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152

- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196

- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240

- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284

- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328

- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365
- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372

- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409
- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416

- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453
- ○ 454

Владимир Федюк
КЕРЕНСКИЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СЕМЬЯ

В 1636 году на южных границах Российского государства, в том месте, где крохотная речка Керенка впадает в реку Вад, был построен город Керенск. Первое время он был крепостью на засечной черте, прикрывавшей рубежи России от набегов ногайцев и крымских татар. Со временем граница продвинулась далеко к югу, а Керенск превратился в уездный город Пензенской губернии, обойденный богатством и славой и забытый начальством. Проживало здесь (вместе с прилегающими слободами Архангельской, Богоявленской и Покровской) около четырех тысяч душ обоего полу, а промышленность ограничивалась восемью кузницами и поташным заводом.

В своих воспоминаниях Александр Керенский писал: «Наша фамилия, как и название соответствующего города, происходит от имени реки Керенки. Ударение делается на первом слоге (Кёренский), а не на втором, как это часто делают у нас в России и за границей».[1]

Видимо, сам Керенский не очень много знал о своих предках. Даже о деде по отцовской линии он пишет лишь то, что тот был сельским священником, а уж о прадедах не упоминает вовсе. На счастье, в архивах сохранились документы, которые дают нам возможность рассказать об этом несколько больше.

В 1808 году в Покровскую церковь Керенска был назначен новый священник — «Иосиф, сын Дмитриев». Он-то и начал первым подписываться фамилией Керенский — по названию города. У Иосифа Керенского было четверо сыновей — Дмитрий, Павел, Михаил, Николай и дочь Евпраксия. Третий по старшинству его сын Михаил (1804 года рождения) был сначала дьяконом, потом священником Троицкой церкви в селе Керенки Городищенского уезда той же Пензенской губернии. Он, в свою очередь, был отцом трех сыновей — Григория, Александра и Федора.

Федор Михайлович Керенский родился в 1842 (по другим данным в 1841) году. Как и его братья, он окончил Пензенское духовное училище, потом духовную семинарию. Службу начал учителем в Нижнеломовском духовном училище. В двадцать с небольшим лет он принимает решение распрощаться с церковной карьерой. Так в ту пору поступали многие бывшие семинаристы — стоит лишь назвать земляка и ровесника Федора Керенского — знаменитого историка В. О. Ключевского. Выходцы из духовного сословия составили значительную часть формировавшейся в эти годы российской интеллигенции. Достаточно вспомнить, как

широко в ее среде были представлены фамилии Покровский, Богословский, Воскресенский и т. п. Вчерашние семинаристы обладали энергией и пробивной силой, свойственной людям, вышедшим из низов, и в карьерном отношении зачастую достигали большего, нежели их конкуренты.

В 1865 году Федор Керенский поступил на историко-филологический факультет Казанского университета и через четыре года успешно окончил его со степенью кандидата. Керенский получил должность преподавателя словесности в Казанской классической гимназии. Одновременно он начал вести уроки в Казанской Мариинской женской гимназии. Среди первых его учениц оказалась и его будущая жена. Надежда Александровна Адлер была дочерью полковника Александра Алексеевича Адлера, занимавшего в ту пору пост начальника топографического отделения при штабе Казанского военного округа. По материнской линии она была внучкой крепостного крестьянина, который, выкупившись на свободу, стал богатым московским купцом. От деда Надежда Александровна унаследовала значительное состояние, и семья Керенских никогда не знала нужды в деньгах.

Полковник Адлер, как свидетельствует в своих воспоминаниях Керенский, был выходцем из «потсдамских немцев». Но непривычное для русского уха звучание девичьей фамилии матери нашего героя позже привело к появлению слухов о его еврейском происхождении. Переходя из уст в уста, слухи эти обрели совершенно фантастический вид. Жена Федора Керенского, выходя за него замуж, якобы уже имела сына по имени Аарон Кирбис (Кирбиц), который после официального усыновления и стал Александром Федоровичем Керенским.[2] Нет нужды доказывать, что это чистой воды домыслы, своего рода расплата за популярность.

Что же касается Керенского-старшего, то в университете он проявлял склонность к научной работе, но предпочел сделать ставку на служебную карьеру. Политические взгляды его отличались крайней умеренностью. Один из его знакомых вспоминал: «Иногда в нем просвечивал либерал, хотя он это настолько умел скрыть, что попал в милость такого убежденного консерватора, каким был попечитель Казанского учебного округа И. Д. Шестаков».[3] Как результат, в 1874 году Керенский занял должность инспектора Казанской классической гимназии, а спустя три года был назначен директором гимназии в Вятку.

В марте 1879 года коллежский советник Ф. М. Керенский получил назначение на должность директора Симбирской мужской классической гимназии. С июля 1883 года он

одновременно возглавил Симбирскую Мариинскую женскую гимназию. Директорский пост дал возможность Керенскому-старшему проявить свою энергию и организаторские способности. Позднее он напишет об этом: «В округе гимназия по малоуспешности учеников была на самом плохом счету… В первый же учебный год по вступлении моем в должность директора уроки древних языков в старших классах были переданы отлично знающим свое дело и энергичным преподавателям, а преподавание словесности и логики я взял на себя. Через три-четыре года Симбирская гимназия снискала себе лучшую репутацию среди других гимназий округа».[4] Эти усилия не остались незамеченными. В 1887 году Ф. М. Керенский был произведен в действительные статские советники, что соответствовало чину генерал-майора на военной службе. Таким образом сын сельского священника стал дворянином и приобрел потомственное дворянство для своих детей.

Ко времени переезда в Симбирск у Керенских уже было три дочери. Старшей — Надежде было четыре, средней — Елене исполнилось два года, младшей — Анне — всего два месяца от роду. В Симбирске у Федора Михайловича Керенского родился наконец долгожданный наследник. Мальчик появился на свет 22 апреля 1881 года. 6 июля того же 1881 года в Тихвинской церкви он был крещен и получил имя Александр.[5] Через два года в семье появился младший сын Федор.

Интересно, что в те же годы в Симбирске жило еще одно семейство Керенских. Старший брат Федора, Александр Михайлович, в 1857 году окончил Пензенскую духовную семинарию и был назначен священником в село Троицкое Карсунского уезда Симбирской губернии. В 1881 году он был переведен в Симбирск, где служил в церкви Смоленской Божьей Матери. У Александра было четверо детей — сыновья Михаил, Владимир, Сергей и дочь Елена. Сыновья Александра Михайловича Керенского сумели сделать достойную карьеру. Михаил одно время был ректором Варшавского университета, Владимир — профессором Казанской духовной академии, а Сергей в тридцать лет стал директором реального училища в Алатыре.

В своих воспоминаниях Керенский ничего не пишет о двоюродных братьях. Конечно, они были старше, но дело не только в этом. В конце концов, младшего из них, Сергея, разделяло с нашим героем всего три года. Видимо, Федор Михайлович сам не стремился поддерживать контакты со своим братом-священником. Подобно многим людям, выбившимся из низов, он стремился полностью разорвать с прежней средой, даже если к ней принадлежали его ближайшие родственники.

Должность директора гимназии (и даже двух гимназий) вводила его в круг городской элиты. Он дружески общался с губернатором Долгово-Сабуровым, вице-губернатором Трой-ницким и другими высшими чинами губернской администрации.

Те, кто знал Керенского-старшего, вспоминали, что он даже внешностью своей производил впечатление. Один из его знакомых описывает его так: «Росту выше среднего, общее сложение мужественное, большая голова на толстой шее, широкая грудь и такая же спина. Высокий лоб и маленькие глаза, широкий подбородок, цвет кожи смуглый. Волосы на щеках и бороде бритые. Походка тяжелая, увалистая».[6] Его появление в коридорах гимназии внушало робость самым завзятым хулиганам. Характер у него тоже был непростой. Сослуживец Керенского по Симбирску И. Д. Яковлев писал о нем позже: «Вот какую характеристику могу сделать Керенскому-отцу, которого знал я близко. Способный. Образованный, отлично знавший русскую литературу. Хороший рассказчик, обладавший даром слова. В то же время это был человек завистливый, не терпевший около себя какого-либо соперничества, стремившийся вредить не только своим конкурентам, но даже тем, кого подозревал как стоявших поперек его дороги».[7]

Полностью доверять этому свидетельству не стоит. У Яковлева был конфликт с Керенским-старшим, и его характеристика, естественно, получилась предвзятой. Но тяжелый нрав Федора Михайловича отмечают и другие мемуаристы. Дети тоже побаивались отца. «Отец никогда не вмешивался в жизнь нашей детской. В сознании нашем он стоял где-то в стороне, как высшее существо, к которому няня и мать обращались лишь в минуту крайней необходимости. Обычно стоило произнести всего одну угрозу: „Вот подожди, отец проучит тебя!“ — и все становилось на свои места, хотя отец никогда не прибегал к физическим наказаниям и ограничивался лишь разговором, стараясь растолковать нам суть дурного поступка».[8]

Воспитанием детей занималась прежде всего мать. «Мама любила посидеть с нами за утренним завтраком, когда мы пили молоко. Она интересовалась всеми нашими делами и при необходимости мягко журила за тот или иной проступок. Вечерами она заходила в детскую, чтобы перед сном перекрестить нас, поцеловать и пожелать доброй ночи».[9] Семейство Керенских жило счастливо и дружно. Но подробнее об этом мы расскажем дальше.

В завершение же этой главы — об одной исторической несправедливости. Керенский никогда не бывал в Керенске. Тем не менее в 1936 году (как подарок к трехсотлетию) Керенск был

переименован в Вадинск — по названию реки Вад. Одновременно из города он стал селом. Не надо обладать особой догадливостью, для того чтобы понять причину этого переименования. Очевидно, что ею стало созвучие названия города с фамилией бывшего премьера Временного правительства. В статусе села райцентр Вадинск пребывает и по сей день, принеся тем свою жертву политическим катаклизмам XX века.

ДЕТСТВО

Город Симбирск, каким он был во второй половине XIX века, не принадлежал к числу промышленных или культурных центров. Ничего примечательного не могли в нем найти даже путеводители, уже в силу особенностей жанра призванные привлекать внимание путешественника к посещаемым достопримечательностям. «Внешнее благоустройство Симбирска не останавливает на себе внимания туриста, а пустынный и малооживленный вид города, его пыльные и скучные улицы не делают его привлекательным», — читаем в «Иллюстрированном практическом путеводителе по Волге» 1903 года издания.[10]

Центральная часть города — «венец» — располагалась на вершине горы, обрывом спускавшейся к Волге. Вдоль обрыва тянулась набережная с бульваром, служившим любимым местом прогулок горожан. Центральный район был ограничен Большой Саратовской улицей, которая полукругом опоясывала его. Внутри полукруга находились главные городские магистрали — Московская и Покровская улицы, а также просторная Соборная площадь. Здесь были расположены губернаторский дом, присутственные места, городская дума, театр и гимназия.

Центр Симбирска был похож скорее не на город, а на богатое село или скопище помещичьих усадеб, построенных поблизости друг от друга. Дома здесь не стояли сплошной линией вдоль улиц, а располагались по отдельности, каждый в окружении фруктового сада. Здесь не было обычной городской скученности, повсюду царили широта и простор. Эта часть города издавна была известна под названием «дворянской», а сам Симбирск пользовался устойчивой репутацией «помещичьего гнезда».

Жизнь в городе текла не спешно, а с точки зрения столичного жителя — откровенно скучно. В те времена, когда здесь жило семейство Керенских, во всей губернии не было ни одной железной дороги, и в зимнюю пургу Симбирск оказывался отрезанным от остального мира, как если бы он находился на краю земли. Тем удивительнее, что этот забытый Богом город, воплощенное захолустье, был родиной многих известных людей. Из этого числа в первую очередь надо назвать писателя И. А. Гончарова и историка Н. М. Карамзина. В честь Карамзина в Симбирске был воздвигнут памятник — колонна, увенчанная фигурой музы Клио. Рядом был разбит сквер, где летом гуляли дети, сопровождаемые мамами и няньками.

Дом, где квартировали Керенские, находился совсем недалеко от этого места, и легко представить себе будущего

российского премьера, играющего у подножия памятника Карамзину. Александр был ребенком непоседливым и большим любителем проказ. Федору часто приходилось отдуваться за старшего брата. С детских лет он всецело подчинился его влиянию и подражал Александру во всем. В гимназии Федор мечтал стать инженером, но в университете пошел на юридический факультет, «как Саша». Честолюбием и энергией брата он не отличался, непредсказуемой карьере адвоката предпочел государственную службу, дослужившись за полтора десятка лет до должности товарища прокурора в Ташкенте.

В эти годы Александр и Федор впервые приобщились к религии. Позднее Керенский вспоминал: «Не помню, когда мать начала читать нам Евангелие. Да и чтения эти не носили характер религиозного воспитания, поскольку мать никогда не стремилась вбивать в наши головы религиозные догмы. Она просто читала и рассказывала нам о жизни и заповедях Иисуса Христа».[11]

Братья очень любили церковные праздники — Рождество, Пасху, Благовещение, когда в дом приносили клетки с птицами, которых затем выпускали на волю. Много лет спустя Керенский писал: «В семь лет нам впервые разрешили присутствовать на пасхальной всенощной, поразившей наше воображение. Но особенно запомнилась мне торжественная служба, когда совершалось святое причастие детей и нас с братом, одетых в белые курточки с красными галстучками под белыми стоячими воротничками, подвели к батюшке… Не забыть мне и того мгновения, когда я, потрясенный, впервые увидел изображение распятого Христа, словно прозрачного в падающих на него лучах света, и при этом совсем живого».[12]

По словам Керенского, в детстве он был глубоко религиозен. С годами это чувство обрело более спокойные формы, но не исчезло никогда. Писатель Р. Б. Гуль, близко познакомившийся с Керенским в эмиграции, писал: «Был ли в былом А. Ф. Керенский верующим — не знаю. Но за границей А. Ф. был церковным православным человеком, посещавшим церковь и выстаивавшим службы от начала до конца, во время Великого поста ни одной службы не пропускавшим, исповедовавшимся и причащавшимся».[13] Еще одна показательная деталь — в 1917 году именно при содействии Керенского был созван Поместный собор, положивший начало новой эпохе в истории Православной церкви.

Быть может, религиозность Керенского не была глубокой, во всяком случае, она не носила фанатичного, кликушеского характера. Но даже это резко контрастировало с настроениями значительной части образованной молодежи, принадлежавшей к тому же поколению, что и будущий российский премьер. В этой

среде были в моде атеистические или, правильнее сказать, богоборческие взгляды. Впрочем, срывая с груди крест, юные революционеры отрекались не столько от Бога, сколько от «буржуазной» морали. В этом следует искать одну из причин будущих кровавых потрясений.

Что до Керенского, то, по его словам, именно вера привела его в революционное движение. В революционной романтике, в готовности жертвовать собой во имя других он увидел прямое воплощение христианской доктрины. Похоже, что в этом Керенский не кривил душой. Даже прямые его недоброжелатели считали его идеалистом. Это отнюдь не является индульгенцией, оправдывающей все и вся, — у Керенского был целый букет далеко не лучших черт характера. Но при всем своем честолюбии и амбициях он не мог перейти той черты, которая для многих его оппонентов была лишь проявлением смешных условностей.

В семье Керенских воспитанием старших сестер занималась гувернантка-француженка. Братья же Александр и Федор были отданы на попечение няни Екатерины Сергеевны Сучковой. В большой комнате, отведенной под детскую, ей был выделен особый угол, где висели иконы и горела неугасимая лампада. Детство ее прошло еще в эпоху крепостного права, и когда братья подросли, она не раз рассказывала им о прежних временах. Керенский принадлежал к тому поколению, которое историк В. О. Ключевский назвал поколением, вскормленным крепостными мамками. Это породило у значительной части его представителей непреходящее чувство вины перед народом. Единственным способом искупить ее была готовность отдать все силы для счастья народа. Это чувство заставило народовольцев взять в руки бомбу, оно же в значительной степени определило и жизненный путь нашего героя.

В шестилетнем возрасте Керенский тяжело заболел. Много лет спустя он вспоминал: «Вдруг все — родители, няня, старшие сестры, друзья дома — стали проявлять ко мне особую заботливость и нежность. Я почувствовал эту перемену, но не знал причины. И был весьма озадачен, когда на меня буквально обрушился град подарков».[14] Мальчика увезли в Казань, где специалисты поставили диагноз — туберкулез бедренной кости. На правую ногу пришлось надеть тяжелую металлическую конструкцию, мешавшую не только ходить, но даже вставать с постели. Полгода Саша Керенский провел привязанным к кровати. Как любой ребенок в подобной ситуации, он стал капризным до невыносимости. Но домашние терпели и, более того, старались окружить его постоянной заботой и вниманием.

Болезнь благополучно прошла, но особое отношение к

старшему сыну в семье осталось. Он стал главной надеждой, любимцем родителей. Младший Федор не получал и половины этой нежности, но быстро смирился с такой ситуацией. Чрезмерная родительская любовь могла сделать из Керенского домашнего тирана, но этого не произошло. На родительскую ласку он отвечал такими же нежными чувствами, и в семье воцарились счастье и гармония.

Однако к этому времени у Керенского развилась черта характера, которая позднее очень часто определяла его поведение. Он любил всегда и во всем находиться в центре внимания. Более того — он любил нравиться, он оживал, когда им восхищались, когда его хвалили. Это давало ему энергию, заставляло быть ярким, талантливым и искрометным. Недоброжелательного отношения к себе он совершенно не переносил. Перед враждебно настроенной аудиторией он на глазах терял силы, выдыхался, как воздушный шарик, из которого выпущен воздух. Для политика Керенский был совершенно непозволительно тонкокожим.

Основы личности человека закладываются еще в раннем детстве. Многое, что послужило причиной феноменального взлета и стремительного падения Керенского, определилось еще в те годы, когда он мало думал о будущей карьере. Но было бы слишком просто (и добавим — неинтересно), если бы все было запрограммировано раз и навсегда. Судьба любит подбрасывать неожиданности. Иногда кажется, что она специально закручивает такие повороты, какие не могла бы придумать ни одна самая буйная фантазия. Так, в одном и том же крохотном провинциальном Симбирске начался жизненный путь двух людей, противостояние которых в роковом для России 1917 году изменит всю историю страны.

КЕРЕНСКИЕ И УЛЬЯНОВЫ

В течение всех лет пребывания в Симбирске семейство Керенских проживало в казенной квартире, располагавшейся на первом этаже здания мужской гимназии. Дом этот стоит и поныне, тщательно оберегаемый все прошедшие годы. Но это обстоятельство было продиктовано не тем, что именно здесь провел юные годы Саша Керенский. Музейный статус зданию гимназии придало то, что здесь учился другой знаменитый уроженец Симбирска — Владимир Ульянов, больше известный как Ленин.

Любители мистических совпадений вспомнили бы и то, что Керенский и Ленин родились не только в одном городе, но и в один и тот же день. Действительно, те из читателей, кто состоял в пионерах, должны хорошо помнить день рождения Ленина — 22 апреля. Но дело в том, что в советское время день рождения вождя праздновали по новому стилю. По принятому же в XIX веке григорианскому календарю это было 10 апреля; Керенский же родился именно 22-го числа. Однако главное, конечно, не в двенадцати днях, а в одиннадцати годах, разделивших рождение Ленина и Керенского: первый был на одиннадцать лет старше.

Вот их отцы были знакомы хорошо. Илья Николаевич Ульянов был инспектором народных училищ, то есть работал в той же сфере, что и Федор Михайлович Керенский. Они не раз бывали друг у друга в гостях. Не исключено, что Владимир Ульянов и Саша Керенский могли сталкиваться друг с другом, но слишком велика была разница в возрасте, и потому ни тот ни другой не запомнили этих встреч.

Существует единственное, при этом весьма сомнительное свидетельство того, что Керенский знал Владимира Ульянова по Симбирску. Много лет спустя, уже в Соединенных Штатах, польский журналист Александр Минковский оказался в гостях у бывшего российского премьера. В беседе Минковский не удержался от вопроса о Ленине.

Вы учились с Ульяновым в одной гимназии и могли быть с ним знакомы, спорить друг с другом…

Вовсе нет, — холодно оборвал собеседника Керенский. — Он старше меня. Знаю только, что нравился девочкам, хотя был и невысокого роста, но красивый. Две соплячки — мои сверстницы — были влюблены в него… Мне никогда этого не понять. Почему народ пошел за ним?.. Типичный интеллигент, воспитанный матерью в духе старой немецкой культуры. Ему постоянно приходилось укрываться за границей… Что в нем было такого,

что позволило ему повести за собой массы?[15]

Правда в этом рассказе то, что Керенский в эмиграции действительно постоянно думал о причинах своей неудачи и прихода к власти большевиков. В остальном этот разговор, видимо, придуман Минковским. Слишком подозрительно выглядит история с влюбленными подружками. В молодости одиннадцать лет — расстояние непреодолимое. Невозможно представить, чтобы девочки дошкольного возраста влюбились в семнадцатилетнего юношу, который в их представлениях был безнадежно взрослым. Керенский и Ленин в то время «прошли рядом», не заметив друг друга. Удивительное дело — столкнувшись в семнадцатом году, когда тот и другой стали символами противоборствующих начал, они так никогда и не встретились лично.

Впрочем, фамилию Ульянов Керенский в самом деле запомнил с детства. В мае 1887 года в Симбирск пришло известие о казни Александра Ульянова. Как известно, старший брат Ленина принимал участие в неудавшейся попытке покушения на Александра III и за это был приговорен к повешению. В маленьком Симбирске страшная весть распространилась со скоростью молнии. В семье Керенских не могли не говорить об этом, поскольку Александр Ульянов окончил гимназию, где директорствовал Керенский-старший, а его брат Владимир как раз сдавал выпускные экзамены. Взрослые были не в силах сдержать своих чувств даже в присутствии детей. Можно представить, как прислушивался к этим разговорам шестилетний Саша, только что вставший на ноги после долгой болезни.

Позднее Керенский вспоминал: «Хотя Александр Ульянов был связан с моей жизнью лишь косвенно, в детском воображении он оставил неизгладимый след, не как личность, а как некая зловещая угроза. При одном упоминании его имени в моем сознании сразу же возникала картина мчащейся по ночному городу таинственной кареты с опущенными зелеными шторками…»[16]

В бытность Керенского премьер-министром революционной России его многочисленные биографы пытались создать образ человека, самой судьбою предназначенного на роль народного трибуна. В ход при этом шли параллели весьма сомнительного свойства. «Первый вздох А. Ф. Керенского почти совпал с последним вздохом великих борцов за свободу — народовольцев Софьи Перовской, Андрея Желябова, Тимофея Михайлова, Кибальчича и Рысакова, задушенных по приказанию Александра III на Семеновской площади. Первые его детские движения, первый детский лепет почти совпали с последними движениями,

последним лепетом испуганной России».[17] Подобные заявления потом давали повод советским историкам ехидно проходиться по адресу «революционера с пеленок».

Конечно, революционером в шесть лет Керенский не стал. Однако вполне можно поверить в то, что судьба Александра Ульянова действительно повлияла на его политический выбор. Такие страшные воспоминания остаются в памяти навсегда, особенно если речь идет о ребенке. Подражание героям, отдавшим жизнь за свободу народа, традиционно было одним из главных мотивов, приводивших молодежь в ряды революционного подполья. Это действовало и в случаях, когда казненные герои оставались сугубо книжными персонажами. Что уж говорить о нашей ситуации, когда Керенский должен был ощущать личную причастность к одному из самых ярких эпизодов истории революционного движения.

Владимир Ульянов, в свою очередь, должен был хорошо запомнить фамилию Керенского. Именно Федор Михайлович Керенский — директор гимназии, которую заканчивал младший Ульянов, — открыл ему дорогу в жизнь. Как уже говорилось, известие о казни Александра Ульянова пришло в Симбирск в те дни, когда Владимир сдавал выпускные экзамены. В аттестате Владимира Ульянова стояло 17 «пятерок» и одна «четверка» — по логике, которую гимназистам преподавал сам директор. Это вполне могло стать поводом для отказа в золотой медали, тем более в отношении брата государственного преступника. Тем не менее педагогический совет, в котором председательствовал Керенский-старший, единогласно постановил наградить Владимира Ульянова золотой медалью.

Месяц спустя Владимир Ульянов подал прошение о зачислении его на юридический факультет Казанского университета. Однако для руководства университета не были тайной родственные связи автора заявления с казненным террористом. Решение было отсрочено, и в Симбирск отослан дополнительный запрос. Федор Михайлович Керенский дал своему выпускнику самую блестящую характеристику: «Ни в гимназии, ни вне ее не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальствующих и преподавателях гимназии непохвальное о себе мнение. За обучением и нравственным развитием Ульянова всегда тщательно наблюдали родители… В основе воспитания лежали религия и разумная дисциплина».[18] В результате Владимир Ульянов был принят в число студентов.

Характеристика, направленная Ф. М. Керенским в Казань, была документом сугубо конфиденциальным, и Владимир

Ульянов мог о ней не знать. Но обстоятельства получения золотой медали и позиция, которую в этом случае занял директор гимназии, не были для него секретом. Когда он вновь увидел фамилию Керенского в швейцарских газетах в марте 1917 года, он наверняка должен был вспомнить Симбирск.

Но тогда, в 1887-м, судьбы Александра Керенского и Владимира Ульянова надолго разошлись. В том же году Ульяновы всей семьей уехали из Симбирска. Через два года Симбирск покинуло и семейство Керенских.

В ТАШКЕНТЕ

В мае 1889 года приказом министра народного просвещения действительный статский советник Ф. М. Керенский был назначен главным инспектором училищ Туркестанского края. К новому месту службы отца собирались всей семьей. Путь был долгим и утомительным. Сначала пароходом общества «Кавказ и Меркурий» Керенские добрались до Астрахани. Здесь пересели на пароход «Каспиец», который по морю доставил пассажиров в Форт-Александровск.[19] Отсюда через пустыню шла одноколейная железная дорога. Для восьмилетнего Саши Керенского это было первое в жизни путешествие по железной дороге. Позже он вспоминал: «Из многочисленных впечатлений особенно запомнилось одно — переправа по деревянному мосту через Амударью. Река в этом месте отличалась особенно сильным течением, и длинный мост содрогался и раскачивался от мощных ударов стремительно катившихся вод. Поезд тащился со скоростью черепахи. Вдоль всего моста стояли баки с водой на случай возможного пожара, а рядом с поездом вышагивал часовой, бдительно следя за вылетавшими из паровоза искрами».[20]

Железнодорожные пути были к этому времени протянуты только до Самарканда. Отсюда предстояло конными экипажами добираться до Ташкента. Путь занял три дня, и только 28 июня после месяца в дороге Керенские наконец прибыли в столицу края.

Ташкент был включен в состав Российской империи лишь в 1865 году, но за прошедшие с тех пор четверть века рядом с древним восточным городом возник новый, вполне европейский и современный. «Русский» Ташкент был не похож ни на один другой город России. Ввиду постоянной угрозы землетрясений дома тут были по преимуществу одноэтажные, но зато шириной улиц Ташкент мог поспорить с Петербургом, а по количеству зеленых насаждений оставлял его далеко позади. Центром русской части Ташкента был Константиновский сквер, от которого радиусом расходились улицы и проспекты. Главные магазины и присутственные места были сосредоточены на Соборной и Романовской улицах и Кауфмановском проспекте. Неподалеку — на углу Московской улицы и Во-ронцовского проспекта — находилась и казенная квартира, которую по должности занял Ф. М. Керенский.

В Ташкенте Саша Керенский поступил в приготовительный класс местной гимназии. Директором гимназии в ту пору был Н.

П. Остроумов, оставивший интересные воспоминания о детских годах будущего российского премьера. «Он был любимым сыном своего гордого отца и самолюбивой и властной матери, которые лелеяли его как первого сына в своем семействе, на которого возлагали свои фамильные надежды. Поэтому мальчик — Саша Керенский — рос баловнем в своей семье и уже в детстве позволял себе выходки, не оправдываемые даже разумною родительскою любовью. Поступив в приготовительный класс, этот бойкий и избалованный шалун, очевидно, сознавал про себя, что он — сын главного инспектора училищ в Туркестане и что поэтому могут быть позволены такие шалости и кривляние над подчиненными его отца».[21]

Самая шумная история произошла как раз в то время, когда Саша Керенский еще ходил в приготовительный класс. Как в любой гимназии, младшие — приготовишки — были объектом шуток, подчас весьма жестоких, со стороны учащихся первого и второго классов, считавших себя почти «взрослыми». Приготовительный класс решил дать отпор «врагам», и душой этого дела стал как раз Саша Керенский. На уроке чистописания он занялся составлением списка своего отряда. Это было замечено учителем и список изъят. О случившемся учитель доложил инспектору гимназии, а тот, в свою очередь, — директору. Остроумов не считал нужным раздувать эту историю, но инспектор Неудачин настоял на внесении в дневник гимназиста Керенского замечания. Свою позицию он мотивировал тем, что сын главного инспектора не должен пользоваться привилегиями по сравнению с остальными учениками.

Однако неожиданно этот эпизод вылился в настоящий скандал. Остроумов вспоминал: «Когда ученик Керенский предъявил своим родителям упомянутую запись в дневнике, то отец, мать и другие дети, а также и старушка няня Саши Керенского растрогались до слез и рыданий… Заслуженный педагог — отец шаловливого гимназиста — нашел нужным вызвать меня, как директора гимназии, для объяснения с ним уже в начальническом тоне. Явившись в квартиру родителей ученика Керенского, я увидел их в сильно возбужденном состоянии, в котором личное огорчение соединялось с оскорбленным самолюбием властных родителей… Я услышал от Керенского-отца такие патетические восклицания: „Мы сохраним этот дневник для истории!..“ Меня удивило такое высокомерие опытного педагога в отношении своего сына…»[22]

Родители Керенского действительно были убеждены в том, что их старшего сына ожидает великое будущее, такое, что даже школьные дневники его будут бесценной реликвией для

восторженных почитателей. По-человечески это понятно — все родители мечтают о счастье для своих детей. Беда в том, что чаще всего чрезмерное восхищение ребенком приводит позднее к страшному разочарованию. Саша Керенский благополучно избежал превращения в избалованного эгоиста. Он отнюдь не стал образцом благовоспитанности — этому мешал излишне живой характер, но научился избегать особо рискованных проказ. По свидетельству все того же Остроумова, «к дальнейшему благополучию… ученик Керенский, как способный мальчик, учился хорошо и не вызывал замечаний учителей по поводу его успехов и поведения».[23]

Другой гимназический преподаватель Керенского — Ф. Дукмейстер в своих воспоминаниях отмечал: «…Ничто в нем не предвещало тогда будущего министра революции. Он охотно подчинялся всем, довольно строгим тогда, правилам гимназии, усердно посещал гимназическую церковь и пел там на клиросе. Характер его немного изменился в старших классах. Своим поведением гимназист А. Ф. Керенский начал производить впечатление юноши, сознающего, что высокое положение его отца обязывает и его. Он всегда держался очень корректно и одевался с некоторой склонностью к франтовству».[24]

У самого Керенского гимназические годы оставили в памяти наилучшие воспоминания. Туркестан находился слишком далеко от бдительного ока столичных чиновников, и потому здесь было больше свободы как в системе преподавания, так и в отношениях между гимназистами и учителями. «Нас не пичкали, — писал об этом позже Керенский, — бездушными формальными догмами, как это было в европейской России.

Нам нравились и наши учителя, и наши занятия в классах. К концу школы у нас сложились прочные дружеские связи с некоторыми из преподавателей, и они со своей стороны обращались с нами почти как с равными. Знания, полученные от них, значительно превосходили школьную программу».[25]

Поступив в гимназию, Саша Керенский вышел из-под опеки няни, хотя она и продолжала жить в семье до самой своей смерти. Все большую роль в жизни гимназиста Керенского начинает играть отец. Комната Александра находилась через стенку от кабинета Федора Михайловича; и сын часто слышал, как отец разговаривает с кем-то или просто тяжелыми шагами ходит из угла в угол. «Даже его шаги в кабинете действовали на меня успокаивающим образом, и я с нетерпением ждал часа, когда он войдет ко мне и начнет проверять домашнее задание. Он проявлял большой интерес к моим сочинениям, обсуждал со мной проблемы истории и литературы, требовал четкости и

краткости в изложении мыслей, часто повторяя свое любимое изречение Non multa sed multum, которое в вольном переводе означает „Меньше слов, больше мыслей“».[26]

Прислушиваясь к разговорам старших, а иногда и просто подслушивая их, гимназист Керенский впервые приобщился к критике властей. Разумеется, она носила строго дозированный характер, ибо Федор Михайлович Керенский был человеком сугубо лояльным высшим инстанциям. Но ощущение того, что в окружающем мире далеко не все так хорошо и радостно, как кажется ему, Саше Керенскому, появилось у нашего героя уже в те ранние годы.

Впрочем, это чувство еще очень долго продолжало уживаться у него с наивным детским обожанием царского семейства. Один из советских биографов Керенского приводит такую сцену: «В октябре 1894 года седой директор Ташкентской гимназии, собрав в актовом зале вверенных ему питомцев, обратился к ним с прочувственным словом: „Дети! Нашу родину постигло тяжкое, неизбывное горе: скончался Александр III, наш мудрый обожаемый монарх…“ Общее молчание. И вдруг тишину прорезают визгливые нотки истерики. На полу в припадке бьется маленький гимназист. Это — Саша Керенский. Он был единственным, свидетельствуют его товарищи по гимназии, кто не смог спокойно вынести известие о смерти царя».[27]

Однако тот самый «седой директор» — Н. П. Остроумов — свидетельствует: ничего подобного не было. Не было ни истерики, ни публичного скандала, но тяжелое чувство было, и это не скрывал и сам Керенский. Позднее он писал: «Я долго заливался горючими слезами, читая официальный некролог, воздававший должное его служению на благо Европы и нашей страны. Я истово молился, выстаивая все заупокойные службы по случаю кончины царя, и усердно собирал в классе деньги с учеников на венок в память царя».[28] Удивительным в этом случае может быть только столь открытое проявление чувств у подростка. Керенскому в это время уже исполнилось тринадцать; в эти годы мальчики любят бравировать независимостью, а уж плакать не станут ни при каких обстоятельствах. Но Саша Керенский (если судить по его письмам к родным) счастливо избежал проблем переходного возраста, или, быть может, этот возраст у него просто запоздал. Что касается слез, то это была часть его натуры. Впрочем, эта деталь настолько важна, что о ней стоит поговорить отдельно.

«БУДУЩИЙ АРТИСТ ИМПЕРАТОРСКИХ ТЕАТРОВ»

К старшим классам в характере Керенского все более заметно стало стремление выделиться среди окружающих. Он не был в полном смысле слова лидером класса, но, несомненно, отличался от своих ровесников ярко выраженным желанием быть первым всегда и во всем. По словам Остроумова, «в развитие природных наклонностей гимназиста Керенского была замечена преобладающая черта — живость темперамента и самолюбивое стремление выдвигаться из окружающей его товарищеской среды, чтобы казаться и обращать на себя внимание публики».[29] Начинающаяся взрослая жизнь всецело захватила его. Сам Керенский вспоминал об этом: «Я был общителен, увлекался общественными делами и девочками, с энтузиазмом участвовал в играх и балах, посещал литературные и музыкальные вечера. Часто совершались верховые прогулки, что было вполне естественно, поскольку Ташкент был центром и военного округа. У сестер не было отбоя от кавалеров, и жизнь казалась нам восхитительной».[30]

В схожем духе юность Керенского вспоминает и другой из его учителей: «Его ближайшими друзьями были гимназисты, сравнительно мало интересовавшиеся политикой и общест-венно-литературными вопросами. Увлекался он больше „светской жизнью“. Он был неутомимым и ловким танцором… Церковь он продолжал посещать усердно, декламировал с чувством и большим успехом преимущественно патриотические стихотворения и неоднократно выступал в любительских спектаклях, проявляя недюжинный артистический талант. Так, например, он очень удачно выступил раз в роли Хлестакова. Роль эта казалась написанной как будто бы исключительно для него…»[31]

Об этом спектакле тогда долго говорили в гимназии. Керенский учился в это время в 6-м классе. В качестве курьеза можно отметить, что роль Добчинского в пьесе Гоголя сыграл гимназист 7-го класса по фамилии… Ульянов. У Керенского, несомненно, были качества, присущие артисту. Он свободно держался перед публикой, умел очаровывать зрителя, а главное — получал от этого удовольствие. Впервые выйдя на сцену, он ощутил чувство, которого ему всегда будет не хватать, или, точнее, которого ему всегда будет мало. Это чувство того, что ты можешь делать, что хочешь, можешь заставить людей плакать или

смеяться по своему желанию. А напряжение последних минут перед открытием занавеса, эта нервная энергия, готовая взорвать тебя изнутри! Много позже, описывая свое участие в студенческой сходке, Керенский находит единственное сравнение: «Я лично был в таком же настроении, как накануне спектакля в гимназии, и не находил себе места».[32]

Уже в четвертом классе гимназии Керенский однозначно выбрал для себя карьеру артиста или оперного певца. Одно из писем родителям он так и подписал: «Сын ваш Александр Керенский. 14 лет от роду в 4 классе на пороге V к. Роста среднего, сложения изрядного, особенно зад (я без вас пополнел от экзаменов). Примет особых нет. Будущий артист императорских театров».[33] Оставим в стороне самоиронию, которой взрослому Керенскому будет так не хватать. Здесь интереснее другое, то, что, как нам кажется, помогает понять позднейшее поведение Керенского-политика.

Наше время не случайно называют эпохой господства медиократии. Средства массовой информации, и прежде всего телевидение, формируют поведенческие модели, которые находят миллионы подражателей. Конечно, сто лет назад все это еще не имело подобных масштабов. Тем не менее сторонние факторы, влияющие на поведение человека, существовали и тогда. Прежде всего это были книги. Люди в ту пору (мы имеем в виду, разумеется, прежде всего образованную часть общества) читали больше, чем наши современники, и круг чтения в значительной степени определял формирование личности. Но не менее важным инструментом в этом процессе был театр.

В случае с книгой читателю приходилось прилагать собственную фантазию, чтобы довершить облик и характер персонажа. Театр же предлагал готовый, законченный образ. Но до великой революции, совершенной К. С. Станиславским, русский театр находился в плену штампов и сценических условностей. В значительной мере они были неизбежны уже в силу несовершенства технологии. Публика на галерке с трудом могла различить мимику актеров. Отсюда и аффектированное поведение героев тогдашних пьес — любое чувство должно было быть подкреплено жестом, позой, движением. Если уж персонаж переживал горе, то он должен был плакать навзрыд.

Нельзя недооценивать влияния этого обстоятельства. Театр в России всегда был одним из любимых развлечений, будь то академическая сцена или базарный балаган. Еще более усугубило ситуацию появление кинематографа. В короткий срок кино превратилось в самое популярное развлечение. Но отсутствие звука на экране заставляло актеров доводить чувства своих героев

до полного гротеска. Театр и кино рождали массовое подражание. В обычных житейских ситуациях люди заламывали руки, падали на колени, и никому это не казалось странным или искусственным. Бурное проявление эмоций было обычным делом, рыдающий мужчина или картинно падающая в обморок женщина вызывали скорее сочувственное, нежели ироническое отношение.

Можно понять, почему подросток Саша Керенский горько плакал в день похорон царя. В этом не следует искать проявление какого-то глубокого монархизма, просто так принято было выражать горе. Керенский с его артистической натурой в полной мере усвоил весь набор этих условных символов. Ко всему сказанному следует добавить, что сценический опыт Керенского ограничивался школьной «самодеятельностью», которая доводила актерские штампы до полной карикатуры. Но, как ни странно, эта ходульность, это откровенное переигрывание в будущем очень помогут Керенскому-адвокату, а Керенского-политика вознесут вообще до небес. Жесты оратора, интонации, его постоянный надрыв переводили не очень грамотной аудитории непонятные слова в понятные чувства.

Мы еще много будем говорить о специфическом ораторском таланте Керенского. Пока можно сказать одно: «актер императорских театров» из него явно бы не вышел. Избери он сценическую карьеру, ему бы не уйти дальше провинциальных подмостков. Однако детские мечты и ушли вместе с детством. Саша Керенский еще с удовольствием играл в гимназических спектаклях, но будущее свое мыслил иным. Честолюбие склоняло его к юридическому факультету — это давало возможность пойти по государственной службе или сделать выбор в пользу свободных профессий. Но Керенский-старший хотел для сына профессии более спокойной и основательной и потому настаивал на истории и классической филологии.

Весной 1899 года для гимназиста Керенского настала пора выпускных экзаменов. Он был одним из трех человек в классе, кто заканчивал гимназию круглым отличником. Первый экзамен был по Закону Божьему. Керенский вытянул билет «Создание человека по образу и подобию Божьему». Результат — оценка «отлично». На экзамене по словесности он отвечал по вопросу «Происхождение романа. Роман Сервантеса. Общечеловеческое значение „Дон-Кихота“». Опять «отлично». Билет на экзамене по истории был сформулирован так: «Уничтожение местничества. Перемены в русском обществе перед появлением Петра Великого. Положение женщины». В итоге — снова «пять».[34]

Гимназию Александр Керенский закончил с золотой медалью. В начале июля он в сопровождении матери (отца не отпустили

неотложные дела) выехал в Санкт-Петербург. С ними ехала и старшая сестра Александра Анна, намеревавшаяся поступить в консерваторию. Вдогонку по почте полетела характеристика, адресованная ректору столичного университета. В ней говорилось, что гимназист Керенский «имеет очень хорошие способности и выдающееся умственное развитие; к учебным занятиям в гимназии относился с примерным усердием и аккуратностью, с особенным интересом занимался ис-торико-литературными предметами и отличался начитанностью. Характер имеет живой и впечатлительный».[35] В жизни Керенского начиналась новая страница.

УНИВЕРСИТЕТ

Петербург поначалу встретил Керенских неприветливо. Лил проливной дождь, на улице было холодно, несмотря на конец августа. У всех троих немедленно начался насморк. Первые два дня гости из Туркестана безвылазно просидели в полутемном гостиничном номере, с тоской вспоминая ташкентское солнце. Но уже очень скоро круговорот столичной жизни закрутил юного провинциала. Для Керенского, еще недавно планировавшего для себя карьеру артиста, непреодолимым соблазном стали театры. Мариинский театр не произвел на него особого впечатления, зато в Александринском он пересмотрел весь репертуар. Не оставлял Керенский вниманием и иные столичные подмостки. В Литературно-Артистическом театре он видел Долматова в «Смерти Иоанна Грозного». Всей семьей Керенские ходили смотреть знаменитого Орленева в «Царе Федоре Иоанновиче».

С зачислением в университет тоже все складывалось непросто, и Надежде Александровне пришлось пустить в ход «тяжелую артиллерию» в лице министерских знакомых мужа. Наконец Александр Керенский был официально внесен в списки студентов историко-филологического факультета.

В ту пору большинство студентов предпочитали жить в дешевых меблированных комнатах, каких было много на Васильевском острове. Университетское общежитие популярностью не пользовалось, так как считалось, что оно находится под надзором полиции. Поначалу Керенский тоже намеревался сделать выбор в пользу меблированных комнат, однако изменил свои планы и отдал предпочтение общежитию. Первое в России общежитие для студентов — Александровская коллегия — располагалось внутри университетского двора в Филологическом переулке. Отсюда открывался вид на набережную Невы, а за рекой как раз напротив сверкал золотой купол Иса-акиевского собора, виднелись здание Сената и адмиралтейский шпиль. Эти имперские декорации завораживали вчерашнего ташкентского гимназиста, что и предопределило его выбор в пользу общежития.

Еще одной причиной этого выбора стало стремление Керенского поскорее обзавестись новыми знакомыми. В комнатах общежития студенты жили по двое, да к тому же нередко заходили друг к другу «на огонек». Такие посиделки скрепляли компании и помогали первокурсникам быстрее адаптироваться в новой для них среде.

О своих первых студенческих шагах Керенский всегда

вспоминал с большой теплотой. «Поступив в университет, мы, новички, впервые в жизни испытали пьянящее чувство свободы. Покинув отчий дом, мы были вольны теперь поступать как нам заблагорассудится. Жизнь швырнула нас в свой водоворот, запретным отныне было лишь то, что мы сами считали таковым. Символом нашей новой, свободной и прекрасной жизни стал так называемый „коридор“ — бесконечно длинный и широкий проход, который соединял все шесть университетских корпусов. После лекций мы собирались там толпой вокруг наиболее популярных преподавателей. Иных мы подчеркнуто игнорировали, и, проходя мимо, они демонстрировали свое полное безразличие к нам».[36]

В год, когда Керенский надел студенческую тужурку, историко-филологический факультет переживал не лучшие времена. После студенческих волнений в феврале 1899 года университет покинули профессора Н. И. Кареев и И. М. Гревс, долгое время являвшиеся символами петербургской исторической школы. Из фигур российского масштаба на факультете остался только С. Ф. Платонов. По своим воззрениям Платонов принадлежал скорее к консерваторам, и потому многие студенты считали его представителем «проправительственной» партии. Тем не менее Керенский отзывался о нем позднее с большим уважением. «Профессора С. Ф. Платонова отличала твердость убеждений и поведения. Всегда безупречно одетый, он не допускал в отношениях со студентами и капли фамильярности… Он был очень популярен среди студентов, но никогда не был объектом такого поклонения, как Ключевский в Москве».[37] Платонов вывозил студентов, среди которых был и наш герой, на экскурсии в Новгород и Псков, чтобы они могли в прямом смысле этого слова прикоснуться к древнерусской истории.

Историческая концепция Платонова — автора известных работ по истории Смуты — заметно повлияла на Керенского. Не случайно в его публицистике (особенно в работах, написанных в эмигрантские годы) так часто встречаются образы Смутного времени. Лекции Платонова Керенский продолжал посещать и в последующие годы, будучи уже студентом юридического факультета.

Курс римских древностей на историко-филологическом факультете читал молодой приват-доцент М. И. Ростовцев — будущая европейская знаменитость. В письмах домой первокурсник Керенский отзывался о его лекциях довольно скептически. Понадобилось немало лет, для того чтобы он смог по достоинству оценить своего прежнего университетского преподавателя: «Профессор Михаил Иванович Ростовцев, в ту

пору еще очень молодой, дал нам отменное знание римской истории. Нас буквально завораживали его рассказы о жизни греческих городов, процветавших на берегах Черного моря задолго до рождения Руси. Его лекции об этой дорусской цивилизации на юге России подтверждали вывод о том, что истоки демократии Древней Руси уходили вглубь истории куда дольше, чем считалось ранее, и что существовала определенная связь между ранней русской государственностью и древнегреческими республиками».[38]

Университетские правила разрешали студентам историко-филологического факультета посещать лекции профессоров-юристов. Керенский сразу записался на четыре дополнительных курса — международного права, истории русского права, политической экономии и энциклопедии права. Международное право в Петербургском университете читал Ф. Ф. Мартене, известный своим участием в качестве эксперта в международной конференции мира в Гааге. Историю русского права преподавал бывший ректор университета В. И. Сергеевич. Первокурсник Керенский был в восторге от его лекций. В своих позднейших воспоминаниях он отозвался о Сергеевиче следующим образом: «Всякий раз, говоря о праве Древней Руси, он подчеркивал, что и „русская правда“ Ярослава Мудрого одиннадцатого века и „поучения“, которые оставил Владимир Мономах, отвергали смертную казнь. Рассказывая о правовых отношениях на Руси, он особенно упирал на то, что Русь никогда не знала концепции божественного происхождения власти, и подробно останавливался на взаимоотношениях между престольным князем и народным вече. И если Платонов в своих лекциях подчеркивал политическую сторону конфликта между ними, то Сергеевич рассматривал его с юридической точки зрения».[39]

Уже из этих оценок видно, насколько велика была степень политизации университетской жизни. Профессора, читая лекции о далеком прошлом, проводили недвусмысленные параллели с настоящим. Именно этого от них и ждали студенты, ценившие в преподавателях не столько знания, сколько свободомыслие. Как результат этого, общественные науки пользовались в студенческой среде тех лет большей популярностью, нежели специальные дисциплины.

Особенно много слушателей собирали лекции по философии. Их читал в ту пору еще совсем молодой Н. О. Лосский. «Это был невысокий, невзрачный человек с горящим открытым взором, который жил в своем собственном мире и отличался болезненной застенчивостью даже в отношениях со студентами».[40] Лекции Лосского оказали на Керенского сильнейшее воздействие. Будучи

воспитан в религиозном духе, он нашел у Лосского подтверждение своим детским исканиям. «Я утвердился во мнении, что идеалы первобытных обществ по существу не отличались от идеалов современного человечества. Общество и тогда, и сегодня, строило свою жизнь, положив в основу какую-нибудь одну разделяемую всеми идею — например веру в то или иное божество. Это могло быть даже идолопоклонство, но в поклонении идолам выражалась одна, общая для всех, идея. Более того, я выяснил, что каждое общество всегда имело в той или иной форме общепринятый кодекс морали».

Эти выводы были прежде всего сугубо личным делом, но в какой-то мере они определили и будущее нашего героя. Примкнув к философскому идеализму (что было само по себе удивительно в эпоху бурного натиска материалистических учений), Керенский, еще не осознавая того, определил и свой политический выбор. Отныне ему было не по пути с последователями Маркса. Гораздо ближе ему оказались адепты народничества, декларировавшие духовное освобождение человека как путь к его политической свободе.

СХОДКА

Первые месяцы в Петербурге прошли в круговороте новых впечатлений. Театры, лекции, наконец, вновь обретенный статус взрослого, независимого человека. Но постепенно первокурсник Керенский начал ощущать в университетской атмосфере еще один дополнительный элемент, для него абсолютно непривычный. В далеком Ташкенте политика была не самой популярной темой, во всяком случае для обсуждения в гимназических стенах. Позднее Керенский вспоминал: «Ни я, ни один из моих одноклассников не имели ни малейшего представления о проблемах, которые волновали молодых людей наших лет в других частях России, толкнувших многих из них еще в школьные годы к участию в нелегальных кружках. Теперь я понимаю, что два фактора: особый социальный, политический и психологический климат, сложившийся в Ташкенте, и наша оторванность от жизни молодых людей в европейской России сыграли наиболее важную роль в формировании моего мировоззрения».[41]

Иначе говоря, первокурсник Александр Керенский был абсолютно девствен в политическом отношении, не читал Маркса или Михайловского, и все его знания о революционном движении исчерпывались полузабытыми детскими страхами. Но в бурлящем котле, каковым тогда был столичный университет, уйти от политики было невозможно.

За год до этого, когда гимназист Керенский еще учился в выпускном классе, в жизни Петербургского университета произошли знаменательные события. В день торжественного празднования основания университета 8 февраля 1899 года в его стенах начались стихийные беспорядки. Толпа студентов вышла на Румянцевскую площадь, но здесь была встречена конной полицией, пустившей в ход нагайки. В ответ на это 12 февраля в университете началась студенческая забастовка, в короткий срок перекинувшаяся и на другие города. Тогдашний министр просвещения Н. П. Боголепов жестко отреагировал на происходящее. Зачинщики беспорядков были отданы в солдаты. В знак протеста многие представители либеральной профессуры подали в отставку со своих постов, но на время спокойствие было восстановлено.

Только через два года после этого министр посетил университет, дабы самому удостовериться в том, что порядок в храме науки восстановлен. Свидетелем этого визита оказался студент Керенский. «Высокий, с суровым выражением лица, в

безупречно сшитом костюме, Боголепов шел по коридору в сопровождении ректора». Попадавшиеся ему навстречу студенты демонстративно отворачивались в сторону. При появлении его в библиотеке никто не поднял головы — все, сидевшие за столами, сделали вид, что погружены в чтение. Вскоре после этого Боголепов был убит прямо в своем кабинете бывшим студентом Петром Карповичем, мстившим таким образом и за себя, и за других исключенных из университета.

Девятнадцатилетний студент Керенский навсегда запомнил случайную встречу с министром Боголеповым. Шестнадцать лет спустя, будучи министром юстиции, Керенский специальным распоряжением разрешит возвращение на родину беглого каторжника Карповича. Но тому так и не суждено будет вновь вступить на российскую землю. Пароход, в котором Карпович в апреле 1917 года возвращался из Соединенных Штатов, был потоплен германской подводной лодкой, и все его пассажиры погибли.

Но мы слишком забежали вперед, и нам пора вернуться к тем временам, когда первокурсник Александр Керенский только примерялся к амплуа политика. В феврале 1900 года, накануне первой годовщины студенческой забастовки, в университете стали появляться рукописные объявления, извещавшие о предстоящей сходке. 7 февраля, в час дня, в одной из аудиторий собралось более сотни человек. Желающие принять участие в дебатах всё прибывали, и собрание было перенесено в вестибюль и на лестницу главного входа. Страсти разгорелись настолько, что даже появление ректора, увещевавшего собравшихся разойтись, не изменило ситуации. В итоге двухчасовых оживленных споров было решено попытаться сорвать намеченный на следующий день торжественный акт, посвященный годовщине образования университета.

Керенского эти события поразили в самое сердце. Именно тогда он написал в письме к родителям, что чувствовал себя, как накануне школьного спектакля, и целый вечер не находил себе места. Впрочем, куда там маленькому зрительному залу ташкентской гимназии. В университетском вестибюле бушевало настоящее людское море. В том же письме Керенский писал: «Да, в первый раз сходка производит какое-то особое „грандиозно-подавляющее“ впечатление. Чувствуешь, что перед тобой сила, сила могучая, сила, стремящаяся к свету, сила, может быть, ошибающаяся, но самоотверженная, идеально-честная, сила неудержимая!»[42] Это была та аудитория, за аплодисменты которой готов умереть любой артист. Возможно, именно тогда Керенский понял, что не подмостки императорских театров, а

политическая трибуна сулит настоящее признание, то сладостное чувство, без которого он уже не мог.

Он едва дождался следующего дня и в четверть первого был уже в главном зале. Просторное помещение было набито битком, так что Керенскому с трудом удалось протиснуться, чтобы хоть краем глаза увидеть происходящее. Ровно в час в зале появились ректор, попечитель учебного округа и профессора. Боголепова, которого так ждали большинство присутствующих, не было. Хор начал «Спаси Господи…», затем астроном Жданов стал зачитывать ежегодный отчет. Напряжение в зале усилилось, аудитория ждала, когда прозвучат имена уволившихся профессоров. Но чтение закончилось, а ожидаемые слова так не были сказаны. Под звуки гимна «Коль славен наш Господь в Сионе» все встали. Лишь только замолк последний аккорд, с хоров послышалось: «Товарищи! Почтим…» Это стало сигналом к взрыву. По залу пронесся оглушительный свист, раздались крики: «Браво!», «Довольно!», «Долой Боголепова!» В поднявшемся шуме никто не слышал колокольчик, которым ректор пытался восстановить тишину.

Вечером общежитие праздновало победу. По традиции 8 февраля каждый год устраивались две вечеринки — «народническая» и «марксистская». Здесь говорили речи, пели хором, не обходилось и без горячительного, хотя официально спиртное было под запретом. Керенский присутствовал на собрании «народников» (марксизм уже тогда его отталкивал грубостью и приземленностью). В душе у него было настроение праздника. Он только что стал участником пьесы, которую и представить себе не мог. Пусть пока еще статистом, но впереди, в этом он был уверен, его ждали главные роли.

Кто знает, как бы сложилась судьба Керенского и всей страны, если бы в университете был студенческий театр. Но сто лет назад такая форма проведения досуга в студенческой среде была не принята. Актерской натуре Керенского, уже почувствовавшего прелесть зрительского обожания, предоставилась единственная возможность для самореализации, и он не преминул ею воспользоваться.

Год спустя, уже будучи студентом второго курса, Керенский произнес свою первую политическую речь. Все было так же, как и год назад. Вновь огромная толпа запрудила лестницу центрального входа. Повинуясь внезапному порыву, Керенский поднялся на верхнюю ступень и громко призвал присутствующих помочь народу в его освободительной борьбе. Ответом ему были шумные аплодисменты. Самое интересное, что сам он не запомнил, что говорил и по какому поводу. Это не спишешь на

провалы памяти — она не подводила Керенского и в глубокой старости. Скорее здесь нужно искать другое объяснение. Керенскому уже тогда не важно было, что он говорит. Куда важнее, чтобы его слушали и аплодировали ему.

Керенский играл в политика, как он будет играть уже на всероссийской сцене спустя полтора десятка лет.

Однако первый опыт политической деятельности не прошел для Керенского бесследно. На следующий день его вызвали к ректору. Профессор А. Х. Гольсистен, известный специалист в области гражданского права и процесса, обратился к нему со словами: «Молодой человек, не будь вы сыном столь уважаемого человека, как ваш отец, внесшего такой большой вклад в служение стране, я немедленно выгнал бы вас из университета. Предлагаю вам взять отпуск и пожить некоторое время вместе с семьей».[43] В Ташкент в тот год Керенский вернулся раньше положенного. Он ощущал себя «ссыльным», и ему льстило, что его ровесники-провинциалы смотрят на него снизу вверх. Единственным неприятным последствием этого инцидента стала ссора с отцом. Керенский-старший очень резко отреагировал на эту историю и потребовал от сына обещания держаться в стороне от всякой политической деятельности, по крайней мере до окончания университета. Не желая усугублять конфликт, Александр такое обещание дал, но в душе он уже принял решение. «Я знал, что если не делами, то в мыслях своих накрепко связан с политикой». Выход на большую сцену откладывался, но откладывался только на время.

АЛЕКСАНДР И ОЛЬГА

Проучившись год на историко-филологическом, Керенский внезапно принимает решение перейти на юридический факультет. Выбор в пользу истории и классической филологии был сделан им по настоянию отца. Сам же Керенский больше склонялся к юриспруденции, но не в силу особого тяготения к этой области знаний. Причина была в том, что диплом юриста сулил быструю и блестящую политическую карьеру. В будущем Керенский видел себя не чиновником, а адвокатом, произносящим речи, которые потомки будут заучивать наизусть.

Решение перейти на юридический вызвало у Керенского конфликт с родителями. Ни отцу, ни матери не пришлась по нраву излишняя самостоятельность сына. Не имея возможности издалека контролировать его поведение, родители заподозрили, что Александр попал в дурную компанию, и уже готовы были, бросив все, ехать в Петербург. История совершенно банальная и заслуживает упоминания только как показатель того, что переходный возраст, возраст самоутверждения, у Керенского пришелся на исход второго десятка лет.

Удивительно, но трудный подростковый период Саша Керенский пережил без стычек с родителями. Это тоже было частью его характера. Революционер и идеалист, борец и трибун, он по натуре своей был конформистом и терпеть не мог с кем-то серьезно ссориться.

На новом месте учеба давалась Керенскому так же легко, как и раньше. «Очень доволен факультетом и с удовольствием на нем занимаюсь, — писал он в письме родителям. — На первом курсе работы обязательной сравнительно мало… чтобы сдать экзамены, достаточно двух месяцев. Письменных работ у нас никаких нет…» Не было и практических занятий — преподаватель «почти все полугодие был болен и не ходил».[44] Учеба оставляла достаточно времени для любимых развлечений. Приведем еще одну цитату из писем Керенского домой: «Вчера мы были с Нетой[45] и Мар. Эмил. на новой боборыкинской пиесе „Панин“, очень недурно. А в пятницу в Мариинском гастроли парижской звезды тенора Федорова — „Гугеноты“, конечно иду. С понедельника же начинаются абонементные спектакли итальянской оперы, на которую мы с Нетой имеем, как я уже писал, половинный абонемент».[46] В старости сам Керенский с иронией вспоминал о тех временах, когда он вдруг «превратился в молодого безумца, развязно рассуждающего о театре, опере, музыке и современной литературе и даже иногда намекающего на знакомство с некими

девицами с Высших женских курсов».[47]

Надо сказать, что сто лет назад проблема знакомства молодых людей разных полов была куда сложнее, чем сейчас. Раздельное обучение делало невозможным контакты между юношами и девушками в гимназиях или в университетах (тем более что университеты и были открыты только для мужчин). Знакомиться на улице не позволяли правила хорошего тона. В высшем свете родители вывозили девиц на выданье на балы, но для среднего класса и эта возможность была закрыта. Большинство браков в среде русской интеллигенции начинались очень похоже — приятель знакомил со своей незамужней сестрой, кузиной или другой молодой родственницей.

Именно так развивался и первый роман Керенского. На втором году университетской жизни один из его случайных знакомых — Сергей Васильев, студент Института инженеров путей сообщений, познакомил Александра со своей двоюродной сестрой Ольгой Барановской. Ее мать, разведенная жена полковника Генерального штаба, была дочерью известного ученого-китаеведа академика В. П. Васильева. В семействе Барановских было трое детей — дочери Ольга и Елена и сын Владимир, служивший в гвардейской артиллерии. В ту пору Ольге было семнадцать лет, она была слушательницей Высших женских («бестужевских») курсов.

Керенский стал постоянным гостем в доме Барановских, благо квартировали они поблизости от университета на том же Васильевском острове. Постепенно здесь сформировалась шумная молодежная компания, в состав которой входили такие же студенты и курсистки. «Нас объединял широкий круг интересов, мы обсуждали проблемы современной России и зарубежную литературу и без конца читали друг другу стихи Пушкина, Мережковского, Лермонтова, Тютчева, Бодлера и Брюсова. Мы были заядлыми театралами и в тот весенний сезон неделями ходили зачарованные блистательными постановками Станиславского и Немировича-Данченко в Московском Художественном театре. В жарких дискуссиях о текущих событиях в России и за рубежом мы, как и многие молодые люди того времени, решительно осуждали официальную политическую линию. Почти все мы сочувствовали движению народников или, скорее, социалистам-революционерам, но, насколько я помню, марксистов среди нас не было».[48]

Кружок просуществовал около года и распался после того, как Барановские переехали в другой район. Однако к этому времени Александр уже почти официально числился женихом Ольги Барановской. Но открыться родителям он долго не решался

и после этого. Приехав летом 1903 года на каникулы в Ташкент, он вроде бы готов был признаться во всем матери, но откладывал это день ото дня и так и уехал, не сказав главного. Надежда Александровна сердцем почувствовала, что с сыном что-то происходит, и окольными путями сумела выяснить детали. Правда, информация дошла до нее в искаженном виде, и она поняла, что какая-то разбитная девица, значительно старше ее сына, пытается женить его на себе.

Александр был вынужден оправдываться: «Кстати, мама, О. Л. Барановской вовсе не 22 года, как когда-то тебе сказали, а всего 19». Он пылко убеждает мать в том, что случившееся с ним вовсе не «увлечение». «Может быть, мы даже никогда и не были „увлечены“ друг другом — я не „ухаживал“, меня не „увлекали“ — мы сближались незаметно для самих себя, делались нужными, необходимыми друг другу, не зная об этом, а потом мы поняли, что мы вместе, что по-другому и быть не может, теперь у нас нет моей жизни и ее жизни, моих интересов и ее интересов, у нас одна жизнь — наша жизнь, наши стремления, наши мечты!»[49]

По сути, этой многословной репликой Керенский говорит о том, что они с Ольгой любят друг друга. Но напрасно искать в его письмах слова о любви. В той среде, к которой принадлежал Керенский, вслух говорить о любви считалось нескромным и почти безнравственным. Мужчину и женщину объединяет не страсть, а идеалы, они не любовники, а товарищи. «Мы знаем друг друга, верим друг другу и вместе хотим войти в жизнь, как два товарища, у которых общие цели и стремления!» В этом смысле случай с Владимиром Ульяновым и Надеждой Крупской ничем не отличается от случая с Александром Керенским и Ольгой Барановской. Такая вот грустная и наивная «love story» в духе революционного романтизма.

Керенский трогательно любил мать, тем более что Надежда Александровна в это время была уже тяжело больна, и сын знал об этом. Но он также любил и Ольгу и был в отчаянии от того, что две его самые дорогие женщины могут не найти общего языка. «Неужели, мама, ты не захочешь поддержать нас, разрушишь нашу веру, что не все в жизни „средства“, что есть еще нечто другое, что создает „средства“ и без чего нет жизни… Я боюсь, что-нибудь не так сказал, но главное я боюсь — вдруг вы недоброжелательно отнесетесь к Ольге Львовне». И наконец, постскриптум, совсем уж трогательный: «Хотел послать вам ее карточку, но не решился».[50]

В итоге родители сдались, взяв с сына единственное обещание — что он отложит женитьбу до окончания университета. В июне 1904 года, через неделю после получения

Александром диплома, они с Ольгой обвенчались в Воскресенской церкви села Клинки Казанской губернии, поблизости от которого находилось имение Барановских. В апреле 1905 года у молодых супругов родился первенец — сын Олег, в 1907 году — второй сын, Глеб.

Юношеские клятвы и обещания верности чаще всего оказываются недолговечными. Нам еще предстоит рассказ о том, как Александр и Ольга расстались. Ольга Львовна вся отдала себя своему мужу, прощая ему измены и романы, которых в жизни Керенского было немало. Но была главная соперница, которая исподволь уводила у Ольги супруга и в конечном счете одержала верх. Имя ей было политика, все больше и больше становившаяся для Керенского смыслом жизни.

ДЕВЯТОЕ ЯНВАРЯ

Все лето после свадьбы Александр и Ольга провели в деревне. Газеты сюда попадали раз в неделю, и молодая чета надолго оказалась оторванной от событий политической жизни.

Как-то, получив еженедельную почту, супруги отправились на прогулку в лес. Удобно расположившись на солнечной поляне, они устроили импровизированный пикник. Предвкушая удовольствие, Керенский открыл газету и первое, что бросилось ему в глаза, — сообщение об убийстве министра внутренних дел В. К. Плеве. Позднее Керенский вспоминал: «Трудно описать гамму чувств, охвативших меня, да, наверно, и очень многих других людей, узнавших об этом событии: смесь радости, облегчения и ожидания великих перемен».[51] Удивительно, но автор этих строк, кажется, не осознавал цинизм своих слов — его первой реакцией было не сочувствие, не страх, не отвращение к самому факту убийства, а именно радость.

Впрочем, так расценила убийство Плеве большая часть тогдашней российской интеллигенции. Опьяненная предчувствием свободы, она призывала революцию, не отдавая себе отчет в том, чем революция обернется для нее самой. Само имя Плеве было в глазах образованной части общества символом реакции и полицейского произвола. Новым министром внутренних дел был назначен князь П. Д. Святополк-Мирский. Он пользовался репутацией человека либерального склада и в одном из первых своих интервью заявил о начале эпохи единения власти с народом. В прессе заговорили о начале «политической весны», публично стали обсуждаться темы, еще недавно рассматривавшиеся как безусловно запрещенные.

Это была атмосфера, в которой Керенский чувствовал себя как рыба в воде. Политика, пламенные речи, газетные отчеты и всероссийское признание — вот что сулила ему новая жизнь. Первым делом Керенский поспешил вступить в коллегию адвокатов, дабы получить официальный статус. С этим, однако, вышла непредвиденная задержка. Для вступления в коллегию требовалось иметь поручительства трех известных в адвокатском мире лиц. Керенский представил рекомендации от бывшего прокурора Ташкентской судебной палаты, бывшего губернатора и члена Государственного совета сенатора А. Ф. Кони.

Что касается прокурора судебной палаты и бывшего губернатора, то здесь пригодились связи Керенского-старшего. С Кони помогли связаться общие знакомые. Позже Кони вспоминал, что на отдыхе под Сестрорецком, в мае 1904-го, он получил

письмо от публициста «Русской мысли» Гольцева с просьбой протежировать молодому юристу Керенскому: «Назначьте, пожалуйста, день и час, когда Керенский может Вас видеть…» Встречу Кони назначать не стал, но поручительство выдал. Однако высокие заступники не помогли Керенскому, скорее наоборот. Коллегия отклонила его кандидатуру, увидев в претенденте выскочку, пытающегося решить все проблемы чужими руками.

Керенский, по его же словам, пришел в ярость и собирался вообще отказаться от карьеры защитника, но друзья уговорили его повторить попытку. Собрав менее именитых поручителей, Керенский все же был зачислен в адвокатское сословие и получил звание помощника присяжного поверенного. Права на самостоятельную практику он по причине отсутствия адвокатского стажа не имел и потому поступил в помощники присяжного поверенного Н. А. Оппеля.

Керенский не видел себя адвокатом по гражданским или общеуголовным делам, хотя это сулило деньги и самостоятельность. Он должен был выступать на политических процессах, иначе вся затея не стоила того, чтобы ее начинать. Поэтому он добровольно взял на себя обязанность, от которой другие молодые юристы всячески увиливали — бесплатные консультации для бедняков. В престижной адвокатской конторе бедно одетых посетителей встречали без радости, и Керенский организовал прием в Петербургском Народном доме, организованном известной благотворительницей графиней С. В. Паниной. Позднее, в бытность Керенского премьером, графиня Панина станет товарищем (заместителем) министра общественного призрения и первой женщиной в правительстве за всю историю России.

Общественная жизнь в столицах кипела, и Керенский был в самой ее гуще. В ноябре 1904 года по стране прокатилась «банкетная кампания». В эти дни праздновалось 40-летие судебной реформы Александра II. Юбилейные вечера и банкеты были использованы либеральными политиками для оглашения деклараций на животрепещущие темы. Эта игра в конспирацию захватывала и щекотала нервы, так что неудивительно живейшее участие в ней несостоявшегося «артиста императорских театров».

Для Керенского это было очень характерно — воспринимая театр как жизнь, он зачастую и жизнь воспринимал как театр, где все не по-настоящему, где вместо крови течет клюквенный сок, а убитый герой обязательно выйдет на финальный поклон. Тем страшнее для него были столкновения с жестокой реальностью. Время, между тем, летело стремительно, неотвратимо приближая

памятный воскресный день 9 января 1905 года.

Уже за несколько дней до «кровавого воскресенья» в Петербурге начали ходить тревожные слухи. Говорили о том, что несколько тысяч рабочих, предводительствуемых священником пересыльной тюрьмы Георгием Гапоном, намереваются пройти шествием ко дворцу и вручить царю петицию со своими требованиями. Власти заметно нервничали, и это пугало неадекватной реакцией. За день до намеченного шествия экстренное собрание либерально настроенных писателей, ученых, адвокатов избрало комиссию из восьми человек во главе с Горьким, которые поехали к Святополк-Мирскому, с тем чтобы предостеречь правительство от необдуманных мер.

Здравомыслящие столичные обыватели предпочли в тот воскресный день оставаться дома, но Керенскому любопытство не позволило сидеть в четырех стенах. В центре города его глазам открылось впечатляющее зрелище. «Вдоль всего Невского проспекта двигались, направляясь из рабочих районов, ряд за рядом колонны спокойных, с торжественно-важными лицами, одетых в свои лучшие одежды людей. Гапон, шедший во главе процессии, нес крест, а многие рабочие — иконы и портреты царя. Нескончаемое шествие текло весьма неспешно, и мы пошли рядом с ним вдоль всего Невского проспекта начиная с Литейного. На улицах собрались толпы людей, все хотели видеть происходящее своими глазами, все испытывали чувство необычайного волнения».

Было три часа дня. Процессия уже дошла до Александровского сада, за которым виднелись стены Зимнего дворца. Внезапно раздался сигнал трубы. Толпа остановилась, но, не увидев ничего внушающего опасения, двинулась дальше. В этот момент со стороны Генерального штаба раздался залп и вылетела конница. Несколько человек упало на землю, началась паника. Керенский вспоминал: «Не могу передать состояния ужаса, охватившего нас в тот момент. Было совершенно очевидно, что власти совершили чудовищную ошибку, что они абсолютно неправильно поняли умонастроения толпы».[52]

На следующий день состоялось экстренное собрание петербургских адвокатов, в подготовке которого самое активное участие принял Керенский. Собрание постановило организовать ежемесячные отчисления в пользу семей погибших, составить резолюцию протеста и провести общественное расследование происшедшего. Но власть как будто нарочно шла на дальнейшее обострение. Еще через день были арестованы члены комиссии Горького, те самые люди, которые попытались предотвратить расправу. По этому поводу немедленно последовала очередная

резолюция протеста. Среди 217 подписей, стоявших под ней, была и подпись помощника присяжного поверенного Керенского.[53] Так наш герой впервые попал в поле зрения полиции. Он был еще слишком мелкой фигурой, для того чтобы заводить на него отдельное дело, но фамилия Керенского уже попала в соответствующие реестры и была взята на заметку.

В эти дни Керенскому приходилось почти разрываться на части. Дома была беременная жена, а муж ее круглые сутки пропадал в рабочих кварталах и фабричных общежитиях. Как члену комитета по общественному расследованию событий 9 января ему было поручено опросить пострадавших и при необходимости распределить между ними денежную помощь. В письме родителям Керенский писал об этом: «Сколько горя, сколько нищеты! Прямо руки опускаются — ведь мы можем выдать самое большое 25–30 рублей, а приходят, например, вдовы и с пятью детьми. Какие ужасные сцены описывают изуродованные, что прямо не поверил бы, если бы раны, рубцы не говорили бы о слишком страшной правде. Действительно, самодержавие покрыло себя таким налетом народной крови, что по-старому и существовать бы не могло!»

Впрочем, запала у Керенского хватило ненадолго. 18 февраля 1905 года был обнародован царский рескрипт на имя министра внутренних дел А. Г. Булыгина, предписывавший подготовку законопроекта о введении законосовещательного представительного органа. Керенский встретил это с полным восторгом. В одном из писем этой поры он патетически писал: «Русским народом взят „Порт-Артур“ самодержавного строя… Теперь избранники народа по праву вмешаются в бесконтрольное хозяйничанье русского государства, а затем уже будет гораздо легче добиться всех остальных „прав“».[54] Все оказалось не так просто, и Керенскому на своем опыте пришлось убедиться в этом. Правда, на какое-то время он занялся личными делами, оставив в стороне политику, но только для того, чтобы потом погрузиться в политическую жизнь полностью и самозабвенно.

АРЕСТ

В апреле 1905 года в семье помощника присяжного поверенного Керенского появился долгожданный первенец — сын Олег. Но радость от этого события была вскоре омрачена известиями из Ташкента. В мае после долгой болезни умерла Надежда Александровна. Керенский срочно выехал в Туркестан, где задержался надолго. Оторванный от политической жизни, он жадно набрасывался на газеты, в которых сенсационные известия заслоняли одно другое — восстание на «Потемкине», заключение мира с Японией, стачки и манифестации, лихорадившие страну.

В Петербург Керенский вернулся только в середине сентября и с головой погрузился в происходящее. В России шла революция, и это было очевидно даже для самых осторожных наблюдателей. К осени центр революционного движения переместился из Северной столицы в Москву. Здесь в начале октября началась стачка, в короткий срок охватившая всю страну. Это была кульминация — все слои российского общества, несмотря на различие во взглядах, сплотились в неприятии политики центральной власти. Под давлением этих настроений власть пошла на серьезные уступки.

В ночь на 17 октября 1905 года в квартире Керенских раздался звонок. Первой мыслью хозяев было то, что явилась полиция — именно она предпочитала столь поздние визиты. Но это оказался один из старых знакомых. Он был крайне взволнован и вместо объяснения протянул Керенскому только что полученный из типографии экземпляр приложения к «Правительственному вестнику», где был напечатан царский манифест. В манифесте провозглашались основы гражданских свобод, а главное — обещание, что отныне никакой закон не может быть принят без одобрения народных представителей, избранных в Государственную думу.

В ту ночь Керенский так и не лег спать. Он был слишком взволнован. Вот оно — начало новой эры в истории России, эры действительного единения власти и общества. Вопреки мнению скептиков, царь нашел в себе силы пойти навстречу своему народу. «Теперь, — вспоминал позже Керенский, — я чувствовал себя чуть ли не виноватым в том, что считал его непримиримым врагом свободы. Теплая волна благодарности затопила мою душу, и я вновь ощутил давно утраченное чувство детского благоговения перед царем».[55]

Едва забрезжило утро, Керенский выбежал на улицу. Он ждал, что город будет заполнен ликующими толпами,

празднующими великую победу. Однако и Невский, и Дворцовая площадь были пустынны. Керенский был в растерянности, он не знал, как повести себя в этой ситуации. Его радикализм, во всяком случае к этому времени, был весьма умерен. По своим взглядам он был скорее либералом, нежели социалистом. Легко представить, что, будь Керенский старше на 15–20 лет, он оказался бы в рядах кадетской партии по примеру других представителей столичной адвокатуры. Но политический выбор любого человека определяется сложным комплексом факторов, среди которых немаловажную роль играет и возраст. Керенскому в эту пору не было и двадцати пяти, а в рядах интеллигентной молодежи социал-демократы, а особенно эсеры были куда популярнее либералов.

К тому же Керенский всегда был очень эмоционален и, пребывая в бурном возбуждении (а оно было для него состоянием почти перманентным), действовал под влиянием минутного порыва. Еще в январе, под впечатлением «кровавого воскресенья», он написал письмо-обращение к гвардейским офицерам, переполненное обличениями и гневной критикой. Свидетельством полного отсутствия конспиративного опыта было то, что письмо он подписал своей фамилией. К счастью для Керенского, последствий это не имело. Его шурин В. Л. Барановский, которому Керенский передал письмо для распространения в гвардейских полках, благоразумно предпочел его никому не показывать.

И на этот раз восторженное благоговение перед царем быстро сменилось у Керенского очередной вспышкой нервической революционности. Этому способствовали известие о черносотенных погромах в различных городах России и открытая поддержка погромщиков самим императором. К тому же друзья Керенского все как один твердили о необходимости дальнейшего углубления революции. Двоюродный брат его жены Сергей Васильев вместе с несколькими товарищами создал подпольную группу, гордо названную «Организация вооруженного восстания».

Один из членов этой организации, молодой ученый-востоковед Н. Д. Миронов, был сыном богатого столичного коммерсанта. На его деньги был налажен выпуск листовок и подготовлено издание регулярного бюллетеня. По просьбе Васильева и Миронова Керенский предоставил свою квартиру для хранения отпечатанных материалов и согласился сотрудничать в бюллетене. В середине ноября свет увидел первый его номер. На обложке из серой газетной бумаги красовалось гордое название «Буревестник».

Керенский быстро вжился в новую роль революционера-

подпольщика. Мысленно он уже видел свое имя в череде таких имен, как Каракозов, Перовская, Желябов, Сазонов. Среди гостей, бывавших в квартире Керенских, оказалась слушательница Высших женских курсов Евгения Моисеенко. Про нее говорили, что ее брат Борис входит в боевую организацию партии эсеров. К ней-то и обратился Керенский с просьбой устроить свидание с братом. Встреча состоялась в середине декабря. Обставлена она была по всем правилам конспирации: Керенскому было предписано в пять часов дня пройтись по Невскому и от Аничкова моста повернуть на Фонтанку. Здесь к нему должен подойти гладко выбритый мужчина в пальто и астраханской шапке и попросить прикурить.

Так все и произошло. Прохожий, а это и был Борис Моисеенко, склонился прикурить папиросу, и в это время Керенский шепотом изложил свою просьбу — он хотел принять участие в подготовке очередного теракта. Моисеенко пообещал дать ответ через несколько дней, но когда срок пришел, передал через сестру, что ничего не получится. Через двенадцать лет, когда Керенский займет министерское кресло, Борис Моисеенко вернется из эмиграции в Россию. Керенский напомнит ему об этой встрече, и Моисеенко расскажет, что отказал по настоянию тогдашнего руководителя боевой организации эсеров Е. Ф. Азефа. Поведение Азефа вполне понятно. Керенский для него был одним из тех восторженных неофитов революции, от которых больше вреда, чем пользы. «Король провокаторов» не догадывался, что своим отказом он подарил русской истории колоритнейшего персонажа, чье имя станет одним из символов уже новой революции.

Конечно, террорист из Керенского был никакой. Ему не хватало убеждений, характера, да к тому же он слишком любил комфорт. Таких попутчиков, как их полупрезрительно называли профессионалы революции, в эти дни было пруд пруди. Но власть в своей непримиримой войне с подпольем не щадила и их. Уже через несколько недель Керенский почувствовал это на себе.

Поздним вечером 23 декабря, когда супруги наряжали рождественскую елку для своего восьмимесячного сына, в квартире Керенских раздался звонок.[56] Одновременно кто-то постучал в дверь черного хода. Сама манера не оставляла сомнений в том, что это полиция. Керенский открыл двери — на пороге стоял хорошо знакомый ему околоточный надзиратель. Вслед за ним в квартиру вошли жандармский ротмистр и еще несколько жандармов. Ротмистр вручил хозяину ордер на обыск, тут же были и заранее приглашенные понятые.

Пришедшие были вежливы и старались вести себя тихо,

чтобы не разбудить спящего в кроватке ребенка. Обыск длился уже несколько часов, когда один из жандармов обнаружил в углу под кипой газет сверток с листовками. В справке, составленной охранным отделением, говорилось, что при обыске в квартире помощника присяжного поверенного Керенского были найдены кожаный портфель с гектографированными заявлениями от имени организации «Вооруженное восстание» и экземпляры прокламации к интеллигенции от имени той же организации, картонная коробка с бумагой для гектографа, восемь экземпляров программы эсеровской партии, тетрадь со «стихотворениями преступного содержания» и револьвер с патронами.[57]

Этого было вполне достаточно. Ротмистр предъявил Керенскому ордер на арест и сообщил, какие вещи он может взять с собой. Все было спокойно и как-то по-домашнему мило. Ольга Львовна предложила утомившимся околоточному и ротмистру чаю. Они не отказались и выпили по чашке с явным удовольствием. Выходя на темную улицу, Керенский вспомнил свои детские сны о таинственной карете с зелеными шторками, увозящей Александра Ульянова в тюрьму, в крепость, на эшафот. В жизни все было куда прозаичнее. У подъезда стояли обычные потрепанные дрожки с открытым верхом. Арестованному пришлось тесниться на узком сиденье рядом с грузным околоточным. Позже Керенский вспоминал эту сцену: «Приближался рассвет. Никто не сказал, куда мы едем, однако когда мы переехали через Неву и за мостом повернули направо, я увидел перед собой контур печально знаменитых Крестов».[58] После короткого ознакомления с правилами тюремного распорядка арестованный был отведен в камеру. Начиналась новая страница в жизни Керенского, по счастью, оказавшаяся короткой.

ТЮРЬМА

Санкт-петербургская одиночная тюрьма, более известная как «Кресты», была построена в 1892 году. Это название происходит оттого, что два ее огромных пятиэтажных корпуса пересекались под прямым углом, образуя крест. «Кресты» строились как образцовая тюрьма и действительно во многих отношениях были комфортабельнее других российских тюрем. Заключенные здесь содержались исключительно в одиночных камерах, а близость к начальству (все же столица) служила препятствием для проявлений откровенного произвола со стороны надзирателей.

Стандартная одиночка в «Крестах» выглядела примерно так. «Камера имела пять с половиной шагов в длину и три с половиною в ширину, при высоте около сажени. Штукатуренные стены ее были окрашены темно-коричневою масляною краскою, так же как и дверь. В середине двери было проделано квадратное отверстие, четверти в полторы — форточка, откидывавшаяся в сторону коридора и запиравшаяся на замок. В эту форточку подавали из коридора пищу и вели, когда нужно, переговоры. Поверх форточки в двери виднелось воронкообразное, вершка полтора в диаметре, углубление, края которого были окрашены черною краскою. А в центре воронки виднелось небольшое отверстие для глаза, чтобы наблюдать снаружи из коридора за тем, что делается в камере. Это небольшое отверстие со вставным в нем стеклышком закрывалось снаружи небольшой заслоночной, так что смотреть в него можно было только из коридора, для заключенного же оно было всегда закрыто».[59]

Жизнь в тюрьме текла по раз и навсегда утвержденному распорядку. В полседьмого утра подъем, умывание, общая молитва, чай с хлебом, в час пополудни обед, затем двадцатиминутная прогулка по тюремному двору. В четыре часа дня снова чай, в семь ужин, вечерняя молитва и в десять вечера отбой. Когда-то в тюрьме большинство заключенных составляли уголовники, но революция принесла с собой существенные перемены. Теперь главными обитателями «Крестов» стали политические. По сравнению с уголовниками их положение можно было считать привилегированным. Они имели право носить собственную одежду, а не серые тюремные робы, политические были освобождены от физического труда, обязательного для других арестантов.

Тюремное начальство не знало, как себя вести с этой своенравной и обидчивой массой, и потому прежде строгий режим существенно ослаб. Теперь заключенные получали

продуктовые посылки с воли (раньше это было запрещено), в неограниченном количестве пользовались книгами из тюремной библиотеки (раньше читать дозволялось только по воскресеньям). Еще годом раньше невозможно было представить, чтобы в образцовой тюрьме заключенные общались между собой. Собственно, для того, чтобы пресечь такое общение, и были построены «Кресты» с их системой одиночных камер. Сейчас это стало обычным делом.

В один из первых дней Керенскому в умывальнике кто-то сунул в карман листок, на котором была нарисована таблица — алфавит, разбитый на шесть пронумерованных рядов. Способ был очень прост: сначала выстукивался номер ряда, потом номер буквы. При определенном навыке это позволяло общаться почти в темпе разговорной речи. Скорость замедлялась только в том случае, если собеседники находились не в соседних камерах, поскольку это заставляло пользоваться услугами посредников.

В эти же дни в «Крестах» сидел эсер В. М. Зензинов. В бытность Керенского премьером Зензинов станет одним из самых близких его соратников и не покинет его даже в эмиграции, когда все другие отвернутся от былого кумира. Пока они не были даже знакомы, но это не мешает нам обратиться к воспоминаниям Зензинова для реконструкции некоторых деталей тюремного быта.

О тюремных «разговорах» Зензинов рассказывает так: «Передача стука через стены дело очень своеобразное, случайное и капризное. Многое зависит не только от того, в какое место стены стучишь, но и чем стучишь — карандашом, железной ложкой или пальцем. Случается, что иногда найдешь такое место в стене, что можно перестукиваться и легко разговаривать с человеком, сидящим через один и даже два этажа, стуча даже согнутым пальцем. Конечно, для такого разговора нужно огромное терпение и много свободного времени. И большая осторожность, потому что надзиратели строго следят за перестукиванием, подсматривают и подслушивают, а потом наказывают — лишением книг, свиданий… Но арестанты всегда, в конце концов, перехитрят своих тюремщиков. Что же касается свободного времени, то разве не все наше время в тюрьме свободно?»[60]

После первого же общения с соседями Керенский узнал, что как раз над ним, этажом выше, находится камера его родственника и старого знакомого Сергея Васильева. После этого он начал ощущать себя в тюрьме даже комфортно. Позже он писал об этом: «Как это ни покажется странным, но я почти наслаждался своим одиночным заключением, которое

предоставляло время для размышлений, для анализа прожитой жизни, для чтения книг сколько душе угодно. Дополнительное удовольствие доставляло общение и обмен новостями с Сергеем Васильевым при помощи тюремного кода».[61]

Особого страха перед будущим он не испытывал. Как юрист, он понимал, что найденных у него при обыске улик явно недостаточно для серьезного приговора. Керенский был не испуган, а скорее заинтригован. Во время ареста жандармский ротмистр показал ему фотографию некой молодой женщины и спросил, как часто она бывала у него дома. Похоже, это интересовало жандармов гораздо больше, чем найденные в квартире листовки. Ни Керенский, ни кто другой из его домашних фотографию не опознал.

Подоплека этого дела станет известна только через двенадцать лет, когда революция откроет полицейские архивы. Оказывается, Керенский был арестован на основании сведений о том, что у него на квартире видели известную эсеровскую террористку Серафиму Клитчоглу, незадолго до этого бежавшую из архангельской ссылки.[62] Именно ее фотографию и показывал Керенскому арестовавший его жандарм. Интересно, что Серафима Клитчоглу была схвачена на следующий день после ареста Керенского. После этого пребывание его в тюрьме становилось абсолютно бессмысленным, о нем попросту забыли, чего он, разумеется, не мог знать.

Прошло две недели. За это время никто Керенским не интересовался, и на допросы его не вызывали. По закону в течение двухнедельного срока арестованному должно было быть предъявлено обвинение. Но установленное время прошло, а Керенского по-прежнему никто не тревожил. Тогда он обратился к помощнику окружного прокурора с письмом, предупредив о том, что при отсутствии ответа начнет голодовку.

О том, что такое голодовка, Керенский имел самое приблизительное представление. Знай он, чем это обернется в реальности, он бы десять раз подумал. Процитируем еще один фрагмент из воспоминаний Зензинова: «Тюремная голодовка — дело совершенно особенное. Чтобы его понять, необходимо через это пройти на собственном опыте. Вы голодаете, но обед вам в камеру все равно приносят. Вы просите взять еду обратно. В этом вам категорически отказывают. Но, Боже мой, как вкусно пахнет еда и как раздражает вас этот запах, когда вы чувствуете волчий аппетит, а еда, до которой вы ни за какие блага мира не дотронетесь, стоит тут же, у вас на столе. А какой чудесный запах идет от черного ржаного арестантского хлеба, который кажется таким аппетитным!»[63]

Едва ли не каждый заключенный «Крестов» угрожал своим тюремщикам голодовкой, но немногие были способны ее выдержать. По этой причине тюремное начальство относилось к подобным угрозам скептически и не спешило на них реагировать. Но Керенский выдержал семь дней. За это время он ослаб настолько, что не мог самостоятельно подняться с кровати. Наконец, это было уже на восьмой день, в камере появились надзиратели, которые помогли арестанту встать и сопроводили его до кабинета начальника тюрьмы. Здесь уже находился помощник прокурора, официально предъявивший Керенскому обвинение в причастности к подготовке вооруженного восстания и принадлежности к организации, ставящей целью свержение существующего строя. Не дослушав обвинение до конца, Керенский потерял сознание от слабости, но его привели в чувство и заставили подписать необходимые бумаги.

Результат был достигнут, но больших изменений в жизни Керенского после этого не последовало. По-прежнему ничего не происходило и никто им не интересовался. Прошел еще месяц, и вдруг неожиданно 5 апреля Керенский был отпущен на волю, так и не поняв толком ни причин своего ареста, ни освобождения.[64] По документам он был выпущен под гласный надзор полиции с запретом проживания в столицах и университетских городах. В Петербурге жила двоюродная тетка Керенского, Н. Г. Троицкая, имевшая связи в кругах высшей бюрократии. По ее ходатайству Керенскому было разрешено отбывать ссылку на родине, в Ташкенте. Между тем перегруженная машина жандармского дознания продолжала работать. Только через девять месяцев после ареста Керенского, 21 сентября 1906 года, дело по его обвинению было прекращено за недостатком улик.

Пребывание в тюрьме не стало препятствием для дальнейшей профессиональной и политической деятельности Керенского. Более того, в какой-то мере это обстоятельство ей способствовало, поскольку у Керенского теперь была репутация «узника самодержавия». Несомненно, что арест окончательно укрепил его в жизненном выборе. Но этот выбор опять же был вполне в его характере. Он не примкнул к подполью, хотя и обзавелся знакомыми в этой среде. Избранный Керенским путь удачно позволял совмещать «работу на революцию» и устойчивое материальное благополучие, идеалы и неуклонное продвижение вверх по карьерной лестнице.

АДВОКАТ

Керенский вернулся в столицу из Ташкента в середине августа. В эти дни весь Петербург обсуждал одну новость: на Аптекарском острове, где находилась дача премьер-министра П. А. Столыпина, прогремел взрыв. Погибших было более трех десятков; свыше двадцати человек, в том числе сын и дочь премьера, были ранены. Как выяснилось позднее, это покушение было организовано эсерами-максималистами, мстившими таким образом Столыпину за жестокие расправы над участниками революционного движения. Революция шла на спад, но это мало сказывалось на количестве пролитой крови.

Быть может, это будет сказано цинично, но царившая в стране атмосфера была идеальна для адвоката, решившего специализироваться по политическим делам. Пребывание в тюрьме заставило Керенского определиться окончательно — никаких гражданских, никаких уголовных процессов, только политика. Но вчерашнему студенту, не имевшему никакого опыта, пробиться в замкнутую адвокатскую корпорацию было очень трудно.

Среди знакомых Керенского был молодой петербургский адвокат Н. Д. Соколов. Он был всего на несколько лет старше нашего героя, но уже успел создать себе имя, участвуя в политических процессах. Был конец октября, когда Соколов неожиданно позвонил Керенскому. Он сообщил, что срочно выезжает в Кронштадт, где должно состояться слушание по делу о попытке восстания на крейсере «Память Азова». Но в этот же самый день, 30 октября, в Ревеле начинается процесс по делу группы местных крестьян, разграбивших имение помещика-барона. Соколов попросил Керенского заменить его на суде.

В ту же ночь Керенский выехал в Ревель. В поезде по дороге, напившись кофе, чтобы не уснуть, он изучал материалы дела. Для того времени оно было весьма типичным. Крестьяне-арендаторы действительно были виновны в разграблении имения и помещичьего дома, но за свое преступление они уже были наказаны, и наказаны жестоко. Хозяин имения вызвал для наведения порядка карательную команду, которая и устроила прямо на месте бессудную расправу. Схваченные крестьяне были безжалостно выпороты, а зачинщики, или точнее те, кто был назначен на эту роль, позже отданы под суд.

В Ревеле Керенского встречали здешние адвокаты во главе с Я. Поской (в будущем — президентом независимой Эстонской республики). Их несколько смутил чрезмерно юный возраст

столичного коллеги, но они вежливо уступили ему ведущую роль. Керенский построил защиту на том, что перед судом предстали не реальные виновники, а случайные лица, к тому же уже понесшие наказание. Ситуация была почти беспроигрышная — обвинение апеллировало к букве закона, а защита играла на эмоциях. Разжалобить присяжных было несложно даже такому неопытному адвокату, каким в ту пору был Керенский. В результате большинство обвиняемых были полностью оправдано.

Отчет о процессе попал в столичные газеты. С этих пор имя Керенского стало известно в адвокатской среде. Керенский понимал, что приобретенную популярность нужно поддерживать. Он соглашался на любые предложения, даже такие, от которых отказывались его более маститые коллеги. По его собственным словам, в последующие годы он почти не бывал в Петербурге, постоянно разъезжая по стране. В этом отношении Керенский не представлял исключения. В Петербурге, Москве и других крупных городах молодые адвокаты, специализировавшиеся на политических процессах, создали что-то вроде неформального объединения. Негласное соглашение предписывало им ограничивать свой гонорар стоимостью проезда во втором классе и суточными в размере 10 рублей.[65]

Мэтры российской адвокатуры, сделавшие себе имя в другую эпоху, с большой осторожностью относились к деятельности молодых, не без основания упрекая их в приверженности конъюнктуре. Один из представителей старшего поколения, знаменитый петербургский адвокат П. Н. Карабчевский, писал: «Такие адвокаты, как Родичев, Керенский, Соколов, не отличаясь ни умом, ни талантливостью, ни широтою мировоззрения, были вполне подходящими стенобитными орудиями, ударявшими всегда в одну и ту же точку, по заранее выработанному революционному трафарету. И они добились своего; приобрели в конце концов последователей, союзников и подражателей, настолько, что к периоду 1904–1905 годов составляли уже весьма заметную и довольно властную в сословии группу».[66]

О Керенском Карабчевский тоже был весьма невысокого мнения. «Керенский как судебный оратор не выдавался ни на йоту: истерически-плаксивый тон, много запальчивости и при всем этом крайнее однообразие и бедность эрудиции. Его адвокатская деятельность не позволяла нам провидеть в нем даже того „словесного“ калифа на час, каким он явил себя России в революционные дни».[67] Наверное, так оно и было. Опыт, знания, интуиция приходят со временем. Керенскому же не исполнилось и тридцати. Все его знания были почерпнуты из университетских лекций. Умения и навыки, конкретные приемы адвокатской

работы он познавал на практике. Конечно, ошибки были неизбежны, но они не слишком мешали его карьере. В стране одновременно проходило до сотни политических процессов, и защитники, даже неопытные, были нарасхват.

Профессия адвоката оказалась тем, что и было нужно Керенскому. В зале судебных заседаний несостоявшийся «артист императорских театров» чувствовал себя как на сцене. По ходу дела он шлифовал не только ораторские приемы, но и образ как таковой. Первым «имиджмейкером» Керенского стала его жена Ольга Львовна. Хотя Керенский и пользовался успехом у женщин, но красавцем его было назвать никак нельзя. Его внешность портил чрезмерно большой пористый нос, эдакой грушей нависавший над верхней губой. Волосы тоже подкачали — прямые и редкие, они прилипали ко лбу неаккуратными прядями. Ольга Львовна посоветовала мужу стричься под «бобрик». Это делало на вид волосы более густыми и открывало высокий лоб. С тех пор до самой старости Керенский остался верен этой прическе.

Еще одна характерная деталь внешнего облика Керенского. Все современники отмечают его бритое «по-актерски» лицо. В то время, когда практически все мужчины носили густые бороды и усы, это действительно обращало на себя внимание. Брили бороды только театральные актеры, которым приходилось играть роли то стариков, то юношей. Керенскому хватило опыта гимназической сцены, для того чтобы понять, какое значение в актерской игре имеет мимика. Став адвокатом, он очень активно использовал этот прием. Те, кто позже сталкивался с Керенским-политиком, вспоминали, что он любил закатывать глаза и кривить рот в иронической усмешке.

Этот период в жизни Керенского совпал с большими переменами в его личной жизни. Мы уже писали о том, что в 1907 году у него родился второй сын — Глеб. В 1911 году в возрасте тридцати пяти лет скоропостижно умирает старшая сестра Керенского Надежда, бывшая замужем за известным ташкентским архитектором Г. М. Сваричевским. За год до этого в возрасте шестидесяти восьми лет ушел в отставку Федор Михайлович Керенский. После смерти жены он сильно сдал и дряхлел на глазах. К этому времени его сын Александр не только успел создать себе имя, но и добился определенного уровня материального благосостояния. Это позволило ему взять отца к себе в Петербург. Здесь, в столице, Федор Михайлович и умер после продолжительной болезни 8 июня 1912 года.

Между тем адвокат Керенский трудился не покладая рук. Один процесс следовал за другим. Дело так называемой «Ту-

кумской республики» в Риге, дело об экспроприации денег Миасского казначейства в уральском Златоусте, дело «Крестьянского братства» в Тверской губернии, дело Союза учителей в Петербурге. В каких-то случаях защите удавалось добиться успеха, в каких-то нет, но даже неудачи шли Керенскому на пользу. Обвинительные приговоры всегда можно было отнести на счет предвзятого суда, а пара-другая обличительных интервью в либеральной печати только укрепляла его репутацию передового адвоката.

Особенно тяжелым для Керенского выдался 1912 год. С января до середины марта в Особом присутствии Правительствующего сената слушалось дело армянской революционной партии дашнакцутюн. Керенский был на процессе одним из основных защитников. Именно благодаря его настойчивости суд провел экспертизу свидетельских показаний, отвергнув в итоге большую часть аргументов обвинения. Из 147 обвиняемых 95 были оправданы. Керенский еще оставался в Петербурге, когда в его родном Ташкенте начались слушания по делу туркестанской организации партии социалистов-революционеров. К суду было привлечено 55 человек, половине из которых, в том числе трем женщинам, были предъявлены обвинения, предполагающие смертную казнь.

Сторону защиты на процессе представляли три столичных адвоката, в том числе и Керенский. Им удалось добиться существенного смягчения наказания. Хотя первоначально пятерых обвиняемых и приговорили к смертной казни, по ходатайству защитников она была заменена каторжными работами.

Известие об этом стало своеобразным подарком к очередному, тридцать первому, дню рождения Керенского. За какие-то семь лет ему удалось сделать почти невозможное. Вчерашний студент превратился в респектабельного адвоката, который, несмотря на молодость, пользовался известностью и уважением в профессиональных кругах. Это приносило и прямые материальные дивиденды. Хотя многие из тех, кого защищал Керенский, и не были в состоянии платить ему большие гонорары, но это, как правило, компенсировалось другими. Адвокатская практика давала Керенскому 4–5 тысяч в год, что по тем временам было вполне достойной суммой.

Другой на месте Керенского мог бы успокоиться на достигнутом. Но его честолюбие росло с каждым годом. Теперь ему мало было выступать защитником на политических процессах. Он хотел делать политику сам. В министры его явно бы не взяли, однако был и другой путь. В 1912 году должны были состояться выборы в Государственную думу, и Керенский уже

примерялся в депутатское кресло. Нужен был подходящий случай, для того чтобы заставить говорить о себе, и случай этот не преминул подвернуться как раз вовремя.

ЛЕНСКИЙ РАССТРЕЛ

На севере Иркутской губернии, в глухой тайге, были расположены прииски «Ленского золотопромышленного товарищества» (попросту — «Лензолота»). Вдоль берегов рек Бодайбо и Витим было разбросано множество крохотных поселков, где проживало более шести тысяч рабочих. Расстояние от приисков до губернского города составляло почти две тысячи верст. Это была уже не Российская империя, а настоящее царство «Лензолота». Ему принадлежало все: пароходы на Витиме, узкоколейная железная дорога, телеграфная линия.

На приисках можно было встретить кого угодно. Были там бродяги и скрывающиеся преступники; были авантюристы, привлеченные возможностью быстро разбогатеть; были и совершенно обычные семейные люди, занесенные сюда волею случая. Хозяева приисков нещадно эксплуатировали этот контингент. В сезон рабочие были заняты весь световой день — 12–14 часов. Заработная плата, хотя и немалая, частично компенсировалась кредитом на покупки в приисковых лавках, где цены превышали все разумные пределы.

С лавок все и началось. В конце февраля 1912 года в лавку на Андреевском прииске завезли несколько пудов мяса. Оно числилось говядиной, а на деле оказалось кониной, причем самого низкого качества. Это стало поводом к забастовке, уже через неделю охватившей почти все прииски. Массовый и удивительно организованный характер стачки был в значительной степени обусловлен участием в ней политических ссыльных, которых в окрестностях жило немало.

Избранный рабочими стачечный комитет предъявил администрации требования: ввести 8-часовой рабочий день, повысить на 30 процентов заработную плату, удалить некоторых лиц из местного начальства. Правление товарищества согласилось обсудить эти вопросы, но взамен потребовало немедленно возобновить работу, грозя в противном случае увольнениями. Иркутский губернатор отправил на прииски для ведения переговоров окружного инженера Н. К. Тульчинско-го и жандармского ротмистра Н. В. Трещенкова, которому были даны неограниченные полномочия.

Дальше началась сплошная цепь ошибок и недоразумений, закончившаяся кровавой трагедией. Переговоры Тульчинско-го с рабочими поначалу шли вполне успешно, но по непонятной причине стачечный комитет заупрямился. Одновременно администрация приисков получила известие о том, что из района

Алдана на подмогу забастовщикам направляется вооруженный отряд, числом более ста человек, сформированный из ссыльных. Это было выдумкой от начала до конца, но серьезно обеспокоило приисковое начальство. Ротмистру Трещенкову были даны указания немедленно пресечь бунт. С этой целью в ночь на 4 апреля были арестованы 11 членов стачкома. Наутро рабочие попросили Тульчинского освободить арестованных. Тот посоветовал обратиться к товарищу губернского прокурора, находившемуся в тот момент на На-деждинском прииске.

Примерно в четыре часа дня к Надеждинскому прииску подошла толпа рабочих численностью около двух тысяч человек. Они были настроены относительно мирно, но сам вид возбужденной массы людей способен был вызвать в памяти еще не забытые картины первой революции. Навстречу рабочим была послана полурота солдат. Внезапно солдаты начали стрелять. Очевидцы рассказывали: «Рабочие сначала думали, что это стрельба холостыми зарядами, в недоумении стали озираться кругом, но, увидав убитых и раненых, слыша стоны и крики, поверили в страшную правду и бросились на землю, а задние ряды бросились бежать. Но вслед за залпом последовала стрельба пачками. Солдаты стреляли по бежавшим и лежавшим рабочим как по штурмующей колонне врага, которого нужно не только остановить, но и уничтожить».[68]

Данные о числе убитых и раненых в этот день сильно разнятся. По разным источникам жертвами расстрела стало от 85 до 250 человек. Но главное даже не это, а то впечатление, которое известия о ленских событиях произвели на остальную Россию. Семью и даже шестью годами ранее, в разгар революции, уставший от ужасов читатель газет спокойно бы проглотил очередную порцию смертей. Но за прошедшие с того времени годы страна отвыкла от страха. Ленские события, даже в деталях похожие на «кровавое воскресенье», выглядели кошмарным возвращением в прошлое.

Пресса подняла небывалый шум. Замолчать происшедшее не было возможности, и правительство отрядило для расследования обстоятельств дела специальную комиссию под началом сенатора С. С. Манухина. В его честности и непредвзятости никто не сомневался, но общественность в лице петербургской и московской адвокатуры решила послать на прииски собственную комиссию для параллельного следствия. Из Москвы для этой цели были отряжены присяжные поверенные С. А. Кобяков и А. М. Никитин. Председателем комиссии был назначен Керенский.

Для Керенского это была огромная победа. Ему было всего чуть более тридцати лет, а его имя уже попало на первые

страницы газет.

Дорога до приисков обернулась для столичных гостей немалыми трудностями. Проще всего было в комфортабельном вагоне добраться железной дорогой до Иркутска. От Иркутска до пристани Жигалово, откуда начинался речной путь, было 380 верст. Иркутский губернатор полковник Бантыш предложил членам комиссии свой автомобиль, но они предпочли воспользоваться услугами местных ямщиков. От Жигалова до городка Бодайбо нужно было плыть по Лене на длинных крытых лодках — «шитиках», которые вверх по течению тянули идущие по берегу лошади. Погода стояла скверная, часто лил дождь. Во время этого путешествия Керенский сильно простудился — позднее последствиями этой простуды для него стала тяжелая болезнь почек.

В Усть-Куте члены комиссии пересели на пароход, который еще восемь дней плыл по Лене, а затем по Витиму. Керенский болел и почти не выходил из каюты. Но для одной встречи он нашел и силы, и время. Упустить эту возможность он не мог, поскольку речь шла о Екатерине Брешко-Брешковской, участнице легендарной «Народной воли». Брешко-Брешковская, уже тогда получившая прозвище «бабушка русской революции», произвела на Керенского очень сильное впечатление. Позже, став министром Временного правительства, он первым делом распорядится об освобождении «бабушки» из ссылки.

В Бодайбо — «столице» золотодобывающего района — комиссия Керенского разместилась в доме, предоставленном администрацией «Лензолота». На другой стороне улицы стоял дом, где работала комиссия сенатора Манухина. Местные власти предоставили все условия для проведения общественного расследования. Керенский вспоминал: «Нет нужды говорить о том, что администрация прииска была раздосадована нашим вмешательством, однако ни сенатор, ни представители местных властей не чинили нам препятствий. Напротив, мы встретили полное понимание со стороны генерал-губернатора Восточной Сибири Князева, а иркутский губернатор Бантыш и его специальный помощник А. Мейш оказали нам большую помощь». [69]

Положение у Керенского было гораздо лучше, чем у сенатора Манухина, проводившего официальное расследование. Тот был связан служебным положением и законом. Поэтому сенатская комиссия не спешила обнародовать результаты своей деятельности, по крайней мере до полной проверки всей информации. Комиссия же Керенского не несла юридической ответственности за свои выводы. Ежедневно Керенский отправлял

корреспонденции в центральные газеты. Содержание их было не столь важно, как то, что в каждой из них упоминалась фамилия самого Керенского.

Год спустя материалы, собранные общественной комиссией, были опубликованы отдельной книгой под названием «Правда о ленских событиях». Сразу после выхода ее пронесся слух о том, что весь тираж будет конфискован полицией. Слух не подтвердился, но ажиотаж вокруг книги разгорелся немалый.

У нас нет оснований обвинять Керенского в том, что вся история с поездкой на Лену была затеяна исключительно для того, чтобы обрести популярность. Вероятнее всего, Керенский искренне сочувствовал жертвам ленской трагедии и искренне негодовал по поводу необдуманных поступков властей. Но все как-то слишком удачно совпало с началом избирательной кампании в Государственную думу.

Мы уже писали о том, что Керенский к этому времени уже определенно избрал для себя карьеру политика. Репутация прогрессивного адвоката была лишь способом проложить дорогу наверх, а желаемой целью являлось депутатское кресло. Во всяком случае — пока. О заветных мечтах и планах на будущее Керенский не рассказывал никому.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Ко времени прихода Керенского в большую политику российский парламентаризм уже имел свою историю — короткую, но достаточно бурную. Рождением он был обязан царским манифестам от 6 августа и 17 октября 1905 года, где содержалось обещание созвать в кратчайший срок Государственную думу и привлечь к выборам в нее широкие классы населения. Первая Государственная дума была торжественно открыта 27 апреля 1906 года в атмосфере самых радужных надежд. Однако сбыться им было не суждено. Парламентарии и правительство не сумели найти общего языка, в результате чего Дума была распущена после двух с небольшим месяцев работы. Немногим дольше просуществовала Вторая дума. Лишь третий состав парламента, избранный в 1907 году, проработал весь положенный по закону срок.

Осенью 1912 года состоялись выборы в Четвертую думу. Механизм их был сложным и запутанным. Все избиратели делились на четыре категории: землевладельцы, крестьяне и горожане, составлявшие две самостоятельные курии. Для землевладельческой и городских курий устанавливался имущественный ценз в виде определенного размера земельного участка или суммы налога на собственность. Избирательных прав не имели женщины, учащиеся, военные, чины полиции и высшей губернской администрации по месту проведения выборов. Не могли участвовать в выборах лица, осужденные судом и находящиеся под следствием. Лишены были права голоса и ряд коренных народов Азиатской России, ведущих кочевой образ жизни.

Выборы были многоступенчатыми, что позволяло властям влиять на конечный состав депутатов Думы. На сельском сходе крестьяне должны были выбирать уполномоченных на волостной сход (волость — сельская административная и сословная единица), там выбирались представители на уездное выборное собрание. В уездном центре выборщики от крестьян встречались с представителями горожан и землевладельцев. Вместе они выбирали представителей на губернское выборное собрание, и только оно из своей среды избирало депутатов Думы.

Избирательная кампания проходила на беспартийных началах, поскольку в императорской России ни одна политическая партия не была формально легализована. Но на практике уже в первых Думах сложилось несколько партийных фракций, поделивших между собой депутатские места.

Крупнейшими были фракции конституционно-демократической партии (более известной в просторечии как партия кадетов) и Союза 17 октября (октябристов). Среди меньших по численности фракций самой известной была Трудовая группа. Она включала в свой состав депутатов неопределенно народнической ориентации и в раскладе политических сил находилась на крайнем левом фланге.

Наиболее прочные позиции трудовики имели в Первой Думе. Тогда фракция объединяла более ста человек и играла весьма заметную роль. В Третьей думе трудовики имели всего 14 депутатских мандатов. По этой причине они были очень заинтересованы в привлечении известных имен. В числе прочих выбор пал на Керенского. По его словам, переговоры с ним на эту тему начались еще в 1910 году, за два года до избирательной кампании.

В Четвертую думу Керенский был избран депутатом от уездного города Вольска Саратовской губернии. Для того чтобы приобрести имущественный ценз, ему пришлось превратиться в Вольского домовладельца. По данным начальника Самарского жандармского управления, имущество Керенского заключалось в доме, купленном им в 1912 году за 200 рублей, оцененном городом в 400 рублей и приносящем дохода в 12 рублей в год.[70] Конечно, все это было шито белыми нитками, но формально закон нарушен не был, и Керенский получил заветный депутатский мандат.

Заседания Четвертой думы открылись 15 ноября 1912 года. Надежды трудовиков не сбылись — в новом составе депутатского корпуса им принадлежало всего 10 мест. Председателем фракции был избран депутат от Тобольской губернии В. И. Дзюбинский, вероятно, потому, что он был единственным трудовиком, для кого этот думский созыв был уже вторым по счету. Но фактическим главой Трудовой фракции, во всяком случае ее мотором, стал Керенский.

Керенскому в первые месяцы пребывания в Думе пришлось пройти через серьезные испытания. В Таврическом дворце, где заседал парламент, он был новичком. Между тем среди депутатов было немало тех, кто уже заседал второй, а то и третий или даже четвертый срок. Это были настоящие профессионалы в политике, имена их были известны всей стране. Блестящими ораторами считались председатель Думы октябрист М. В. Родзянко, член фракции умеренных националистов В. В. Шульгин. Скандальную, но вместе с тем очень шумную репутацию имели правые депутаты Н. Е. Марков, В. М. Пуришкевич. Наконец, кадетская фракция сплошь состояла из ораторов высочайшего уровня, а ее

председатель П. Н. Милюков вообще парил на недосягаемой высоте.

Керенскому нужно было утвердить себя в этой среде, и пусть не сразу, но ему это удалось. Для начала оказалось, что опыт выступлений в суде не слишком подходит для парламентской трибуны. Керенский привык к преувеличенной эмоциональности — так легче было убедить присяжных. Но, слушая подобные речи, его коллеги по Думе только кривили рот в усмешке. Очевидец первых опытов Керенского-парла-ментария позже вспоминал: «Он всегда слишком нервничал. Не без основания его называли неврастеником. Он обладал громким и излишне резким голосом, в речах его всегда слышались высокие крикливые ноты. Он никогда не говорил спокойно, и это слушателей иногда раздражало. Вообще, слушать его было довольно тяжело. Таков он был и в своих первых думских выступлениях».[71] Еще более резкую характеристику Керенского мы находим у другого осведомленного современника: «Неврастеник, адвокат по профессии, он горячо произносил свои речи, производил впечатление на женский пол и доставлял большое неудовольствие сидящим под кафедрой оратора стенографистам, обрызгивая их пенящейся у рта слюною. Многие считали его кретином».[72]

Отсутствие парламентского опыта Керенский компенсировал присущей ему энергией, позволявшей работать сутки напролет. По количеству комитетов и комиссий, в составе которых он числился, Керенский побил все думские рекорды. Он состоял в комиссиях по наказу, по запросам, бюджетной, для рассмотрения законопроекта о преобразовании полиции, по военным и морским делам, по судебной реформе, по рабочему вопросу, для выработки законопроекта о собраниях и т. д.

Керенский быстро усвоил правило, обязательное для любого публичного политика, — как можно чаще быть на виду. Он научился не гнушаться скандалов, если скандалы давали возможность попасть на первые полосы газет. В Думе и так были свои штатные скандалисты. Особенно отличались этим депутаты, представлявшие крайне правое и крайне левое крыло. Очень скоро в их числе стала мелькать и фамилия Керенского.

Вот всего два эпизода из длинного перечня. В январе 1914 года царь назначил на должность председателя Совета министров 75-летнего И. Л. Горемыкина. Он уже занимал этот пост восемью годами ранее и ничем хорошим не запомнился («горе мыкали мы прежде, горе мыкаем теперь» — острили по этому поводу сатирические журналы). Перемены в правительстве почти сразу привели его к конфликту с парламентом. В конце апреля

Горемыкин появился в Думе, но левые депутаты попытались сорвать его выступление. Премьер вышел на трибуну, однако не смог произнести ни слова: слева раздались шум, крики и стук пюпитров. Председатель потребовал, чтобы участники обструкции покинули заседание, но те отказались это сделать. В итоге был объявлен перерыв, во время которого в зал была введена охрана, и лишь это заставило исключенных подчиниться. Среди замешанных в этой истории оказались большевистская фракция в полном составе (в Думе было 6 депутатов-большевиков) и, как ни странно, обычно умеренный депутат-трудовик Керенский.

Через три недели произошел новый скандал. Октябрист Шубинский в своем выступлении обвинил кадетов в получении денег из-за границы. В ответ Милюков назвал оратора мерзавцем. Тут же Пуришкевич — непременный участник всех скандальных историй — закричал в адрес Милюкова: «Скотина, сволочь, битая по морде!» В этой ситуации не преминул втиснуть свою реплику и Керенский, назвавший Шу-бинского наглым лгуном. В конечном счете все участники конфликта были удалены из зала.

При каждом удобном случае Керенский спешил выйти на трибуну, не гнушаясь минутной репликой. В результате он стал заметной фигурой в Думе. Конечно, думские «зубры» еще не считали его ровней себе, но, во всяком случае, вопрос о том, «кто такой Керенский?» — уже не стоял. Керенский постепенно становился своим человеком в самых высоких политических сферах. Этому способствовали и причины явные, о которых мы сейчас рассказали. Но были и обстоятельства иного рода, открыто не афишировавшиеся, но тем не менее игравшие очень важную роль.

МАСОНЫ

Новейшая история русского масонства до сих пор таит в себе немало тайн. С одной стороны, причиной этого является сам конспиративный статус масонских организаций — свидетельств, которым можно доверять, на этот счет не слишком много. С другой — друзья и враги масонства (и именно последние по большей части) сочинили за прошедшие годы столько легенд, что отделить правду от вымысла зачастую невозможно.

Проникновение масонских идей в Россию началось в конце XVIII века, но этот короткий период расцвета закончился после восстания декабристов. Русское правительство не без основания видело в масонских ложах источник распространения либеральных и революционных мыслей и потому преследовало их наряду с другими нелегальными организациями.

Отдельные выходцы из России и позднее состояли членами масонских лож за рубежом, преимущественно во Франции, где традиция их существования не прерывалась никогда. Масонское посвящение в разное время прошли М. А. Бакунин, И.С.Тургенев, князь П.В.Долгоруков. Как правило, масонами становились добровольные или вынужденные эмигранты, которых особенно привлекала масонская идея свободы и равенства.

В самой же России возрождение масонства началось после первой революции. К этому времени полиция, поглощенная борьбой с революционным подпольем, стала смотреть сквозь пальцы на деятельность масонов. В результате за короткий срок в Петербурге, Москве и некоторых крупных провинциальных городах возникло свыше десятка масонских лож.

Русское масонство имело ряд отличительных особенностей, ставивших его особняком по отношению к масонству европейскому. Прежде всего оно было в гораздо большей степени политизировано. Можно сказать, что привлекательность масонства для русской интеллигенции (помимо элемента игры, в чем его участники никогда бы не признались) заключалась в возможности объединения на принципах, более широких, чем партийные программы. По этой причине масонство было мало привлекательно для убежденных приверженцев той или иной доктрины. Среди русских масонов фактически не было радикальных социалистов, как и крайних сторонников монархической идеи. Масоны предреволюционной поры — это умеренные либералы, очень часто выходцы из литературной или художественной среды, общественные деятели и депутаты.

Первый период существования в России возрожденного

масонства был временем беспорядочного возникновения лож и их взаимной конкуренции. Завершился он созданием в 1912 году объединения «Великий Восток Народов России». Целью деятельности русских масонов была провозглашена борьба за политическое освобождение России. Неудивительно, что масоны в первую очередь стремились расширить свои ряды за счет лиц, облеченных властью. Среди государственных чиновников высокого ранга таковых быть не могло хотя бы потому, что масонские ложи были организациями нелегальными, а значит незаконными. Зато среди депутатов российского парламента масонов было более чем достаточно.

В 1911 году была создана думская ложа (или ложа «Роза»), Серьезного влияния в Третьей думе масоны получить не успели и потому особенно активно занялись вербовкой сторонников среди парламентариев нового созыва. Керенский вспоминал: «Предложение о вступлении в масоны я получил в 1912 году, сразу после избрания в IV Думу. После серьезных размышлений я пришел к выводу, что мои собственные цели совпадают с целями общества, и принял это предложение».[73] Совпадение имело место как минимум по двум параметрам. Керенский был человеком непартийным. Он, несомненно, сочувствовал социалистам, но сам ни в одной социалистической партии не состоял. Это лишало его политической поддержки, но зато делало менее подверженным влиянию партийных догм. Членство в масонской ложе давало Керенскому возможность обзавестись нужными знакомствами, опереться на организованную силу. С другой стороны, масонство было той почвой, на которой могли бы найти точки соприкосновения представители конкурирующих политических течений. Для Керенского же идея создания единого фронта либералов и социалистов была основополагающей в течение всего времени его пребывания в Думе.

В воспоминаниях Керенский пишет о масонах мало и невнятно. Нам остается только реконструировать те детали, о которых он умолчал. К сожалению, сделать это мы можем далеко не всегда. Прежде всего зададимся вопросом: кто же из известных масонов стал «крестным отцом» Керенского? Скорее всего, это были два человека, которые и позже будут регулярно появляться рядом с ним.

Прежде всего это граф А. А. Орлов-Давыдов. Богатейший аристократ, владелец 100 тысяч десятин земли, он был в числе первых российских масонов. Другой родоначальник российского масонства, князь Д. О. Бебутов, дает Орлову не самую лестную характеристику: «Громадный, тучный, неуклюжий, Орлов-Давыдов, типичный дегенерат, отличается феноменальной

глупостью. Страшный тяжелодум, и при этом привычка все умственные мышления излагать громко при всех».[74] Однако, что бы ни говорили о нем за глаза враги, Орлов-Давыдов был крупной фигурой в среде российского масонства. В его особняке собирались масонские конвенты, на его средства работали первые ложи.

Как и Керенский, Орлов-Давыдов был избран депутатом Четвертой думы. За время работы в парламенте у них завязались не просто деловые, а, можно сказать, дружеские отношения. Керенский был шафером на свадьбе Орлова-Давыдова. Сама свадьба проходила в январе 1914 года в строжайшей тайне, потому что брак был явным мезальянсом — избранницей графа стала опереточная певица М. Я. Свешникова (урожденная Пуарэ). Не прошло и года, как Керенскому пришлось выступать свидетелем на бракоразводном процессе, затеянном по инициативе мужа, обвинившего жену в неверности.

Позже, во время революции, Орлов-Давыдов некоторое время будет входить в окружение Керенского, но быстро уйдет в тень. Что касается другого предполагаемого «крестного отца» Керенского, то он будет сопровождать его почти до конца жизни.

Биография Н. В. Некрасова полна неожиданных поворотов. Ему не было и тридцати, когда он стал профессором Томского технологического института. Однако академическая карьера показалась Некрасову скучной. Он примкнул к партии кадетов с момента ее основания, при ее поддержке был избран в Третью и Четвертую думы. С 1909 года Некрасов состоял в рядах масонов и довольно быстро продвинулся по этой стезе до руководящих постов.

У тех, кто знал Некрасова, отношение к нему было неоднозначным. Один из его соратников по партии писал о нем: «Некрасов оставил впечатление двуличности — маски, скрывающей истинное лицо, и это особенно чувствуется потому, что все его внешние приемы подкупают своим видимым добродушием».[75] Главным мотивом поведения Некрасова было честолюбие, он очень любил быть в центре событий, но предпочитал роль закулисного кукловода.

Вероятнее всего, именно Некрасов, бывший в 1912 году секретарем Верховного совета «Великого Востока Народов России», и стал инициатором принятия Керенского в ряды масонов. Во вновь избранном депутате, только начинающем свою общественную карьеру, Некрасов увидел политика с большим будущим. По свидетельству Милюкова, Некрасов был умнее Керенского и использовал его, оставаясь при этом в тени.

Масоны составляли пусть не преобладающую, но

влиятельную часть депутатов последней Думы. Однако Керенский и здесь сумел в короткий срок выдвинуться на первый план. Ему было легче, нежели многим. Представители крупных фракций, таких как кадетская, были связаны решениями партийного руководства. В отличие от них за Трудовой группой не стояла организованная политическая сила. Керенский был более свободен в своем поведении, ему ничего не мешало претворять в жизнь масонскую доктрину.

Еще раз повторим: российское масонство начала XX столетия имело мало общего с тем, что возникает в умах у широкой публики при слове «масон». Не было таинственных обрядов, не было «всемирного правительства», протянувшего свои щупальца во все стороны. Вместо этого существовала разветвленная сеть полулегальных организаций, объединявших пестрый по составу контингент участников. Принадлежность к масонам давала одно, но очень ценное преимущество — возможность обзавестись полезными знакомствами в самых разных сферах. Керенский воспользовался этим максимально широко. Если проанализировать состав его ближайшего окружения в ту пору, когда он будет занимать различные министерские посты, мы увидим две группы: с одной стороны, молодые адвокаты, с другой — знакомые Керенского по масонским ложам. В этом отношении масонский опыт оказался Керенскому очень кстати.

ДЕЛО БЕЙЛИСА

В начале XX века на территории Российской империи проживало свыше пяти миллионов евреев. Долгое время в отношении них действовали жесткие ограничительные правила. Евреям (за исключением купцов первой гильдии и обладателей ученых званий) не разрешалось жить вне пределов черты оседлости, включавшей в себя западные и юго-западные губернии. Поступление евреев в средние и высшие учебные заведения было ограничено процентной нормой. Официальные власти не пресекали, а в ряде случаев сознательно подогревали бытовой антисемитизм. Результатом попустительства со стороны властей стали многочисленные еврейские погромы, прокатившиеся в начале столетия по многим городам юга страны.

Со временем ситуация стала меняться. Казалось, что о кошмарах прошлого можно забыть навсегда. Тем большей неожиданностью для русского общества стало знаменитое «дело Бейлиса». Началась эта история в марте 1911 года, когда на окраине Киева был найден убитым гимназист Андрей Ющинский. Способ убийства вызвал оторопь у видавших виды полицейских чинов — на теле мальчика было более сорока ран, нанесенных каким-то колющим орудием.

Следствие разрабатывало несколько версий, но в итоге сосредоточилось на одной. В день убийства Андрея Ющинского видели в компании его ровесника — Жени Чеберяка. Его мать, Вера Чеберяк, была известна полиции как содержательница воровского притона. Следователи предположили, что погибший мальчик стал очевидцем какого-то преступления и потому был убит.

Неожиданно появился новый свидетель, который сообщил, что видел Андрея и Женю играющими на территории кирпичного завода Зайцева. Здесь к ним якобы подошел бородатый мужчина, который и увел Андрея с собой. Позже свидетель опознал в мужчине заводского приказчика Менделя Бейлиса. С этой поры следствие приняло новый оборот. Бей-лис стал главным подозреваемым. В качестве такового в июне 1911 года он был взят под стражу.

Бейлис был евреем, его хозяин Зайцев — тоже, на территории кирпичного завода располагалась синагога хасидов. В итоге дело чем дальше, тем больше стало отдавать антисемитизмом. У Бейлиса нашлись как ярые защитники, так и столь же непримиримые обвинители. Последние выдвинули версию о том, что убийство носило ритуальный характер. В ход пошли

подтасовка фактов и фальшивые экспертизы. Справедливости ради, нужно сказать, что и сторонники Бейлиса не всегда пользовались законными средствами. Вместо того чтобы искать аргументы в пользу его невиновности, они пытались протолкнуть первоначальную версию об убийстве мальчика кем-то из окружения Веры Чеберяк. При этом точно так же использовались и ложные вещественные доказательства, и подставные свидетели.

Дело запуталось окончательно. Трижды менялась команда следователей, некоторые ключевые свидетели внезапно умерли при весьма подозрительных обстоятельствах. Расследование взял под личный контроль министр юстиции И. Г. Щеглови-тов. Он открыто поддержал версию о ритуальном убийстве, и под давлением из столицы обвинение наконец сформулировало свою позицию.

Между тем вся история давно уже вышла за локальные рамки. Дело Бейлиса всколыхнуло Россию. В его защиту выступило множество самых разных людей. Среди них были и те, кто не скрывал своей неприязни к евреям. Коллега Керенского, депутат Думы В. В. Шульгин, был позже приговорен к восьми месяцам заключения за распространение «заведомо ложных сведений». Шульгин был давним юдофобом, но и он не мог спокойно смотреть на то, как попирается закон.

Государственная дума — еще третьего созыва — тоже откликнулась на громкое дело. Керенский этого не застал, что не помешало ему активно включиться в кампанию протеста. На страницах журнала «Северные записки» он поместил несколько статей в защиту Бейлиса. Керенский писал, что обвинители Бейлиса выдают себя за защитников России, в то время как они являются ее злейшими врагами. «Тяжело еврейскому народу переживать „кровавый навет“, большие угрозы таит в себе этот навет самому существованию той или другой части еврейского населения — но не только в этом ужас, ужас в сознании: это у нас случилось, это с нашим именем связан мировой позор! Мы это допустили, вот наше преступление, наш грех перед всем человечеством, перед самими собою».[76]

Мотивы поведения Керенского всегда нужно рассматривать с осторожностью. Мы уже писали о том, что он умел быть искренним в пафосе и гневе, но при этом никогда не забывать о том, какое впечатление производят его слова. Дело Бейли-са — это, кажется, единственный случай, когда Керенский говорил и действовал так, как того требовала совесть, не заботясь о дивидендах, которые это способно принести. Большой пользы ему от этого не было — так говорил и писал в ту пору едва ли не каждый. Интересно, что сорок лет спустя, работая над

воспоминаниями, Керенский отзывался о деле Бейлиса почти в тех же самых словах.

Процесс по делу Бейлиса начался в Киеве 25 сентября 1913 года. Обвиняемого защищали лучшие адвокаты. Керенский тоже ходатайствовал о привлечении его к защите, но Союз адвокатов отдал предпочтение более опытным профессионалам. Среди них были фигуры первой величины, такие как Н. П. Ка-рабчевский, А. С. Зарудный и сотоварищ Керенского по Государственной думе кадет В. А. Маклаков. Изо дня в день в зале судебных заседаний шла сложнейшая дуэль. Обвинение совершило ошибку, уведя на второй план уголовную составляющую дела. Главной задачей прокурора стало доказательство факта ритуального убийства. Для защиты это было подарком. Адвокаты Бейлиса без труда опровергали все аргументы такого рода, тем более что в большинстве своем они были основаны на весьма произвольном прочтении древних иудейских текстов.

Наконец, на тридцать четвертый день процесса перед присяжными были поставлены два вопроса: доказан ли сам факт преступления и доказана ли вина обвиняемого? Присяжные совещались полтора часа, после чего был оглашен вердикт. На первый вопрос они ответили «да», на второй — «нет». Тут же в зале суда Бейлис был освобожден из-под стражи. Имя убийц Андрея Ющинского так навсегда и осталось тайной.

В Петербурге Керенский увлеченно следил за сообщениями из Киева. Его переполняла энергия, и единственная мысль портила настроение — он в стороне от происходящего. Но внезапно в голову Керенскому пришла идея, которую он немедленно начал воплощать в жизнь. По его инициативе 23 октября 1913 года (то есть еще до завершения процесса) была созвана коллегия петербургских адвокатов. Керенскому не стоило большого труда добиться того, чтобы коллегия приняла резолюцию по поводу дела Бейлиса. В ней от имени общего собрания присяжных поверенных округа выражался протест против «извращения основ правосудия, проявившегося в создании процесса Бейлиса, против возведения в судебном порядке на еврейский народ клеветы, отвергнутой всем культурным человечеством, и против возложения на суд несвойственной ему задачи пропаганды расовой и национальной вражды». В резолюции говорилось: «Это надругательство над основами человеческого общежития унижает и позорит Россию перед лицом всего мира, и мы поднимаем свой голос на защиту чести и достоинства России».[77]

Письмо подписали 25 петербургских адвокатов, в том числе П. Н. Переверзев, А. В. Бобрищев-Пушкин, Н. Д. Соколов. На

одном из первых мест стояла и фамилия Керенского. Реакция властей на это письмо своей неадекватностью удивила многих. Подписавшие этот документ были привлечены к суду по 279-й статье Уголовного уложения, предусматривавшей наказание за «распространение подметных писем».[78] Эта статья не применялась в судебной практике уже лет тридцать и считалась пережитком далекого прошлого. Тем не менее власти сочли возможным извлечь ее из забвения. Говорили, что на этом настоял лично министр юстиции Щегловитов, срывавший таким образом свое недовольство после провала процесса по делу Бейлиса.

Слушания по «делу 25 адвокатов» начались в окружном суде Петербурга 3 июня и продолжались до 6 июня 1914 года. Все обвиняемые были признаны виновными. Двадцать три человека были приговорены к шести месяцам заключения в крепости. Соколов, как один из основных авторов, и Керенский, как инициатор принятия резолюции, получили восемь месяцев тюремного заключения с последующим запретом занимать выборные должности. Реально Керенскому не пришлось отбывать приговор — его защищала депутатская неприкосновенность. Эта история скорее сыграла ему на пользу, так как еще раз подтвердила его репутацию политика демократической ориентации. Правда, в центре внимания прессы Керенский на этот раз пробыл очень недолго. В мире назревали очень важные события, оттеснившие на второй план все остальное.

ВОЙНА

В конце июня 1914 года Дума завершила очередную сессию, и депутаты разъехались. Керенский выехал в Екатеринбург на съезд учителей начальных школ, а оттуда сел на поезд в Самару. Здесь в городском театре состоялась встреча местной общественности с гостями из столицы, в которой помимо Керенского принял участие его коллега депутат Некрасов. На следующее утро они вдвоем отправились на пристань, чтобы следовать дальше. Неожиданно на набережной появился газетчик, громко кричавший: «Последние новости! Австрия отправила ультиматум Сербии!»

Керенский вспоминал: «Было чудесное летнее утро. В лучах солнца ослепительно сверкала гладь Волги, на палубах огромного парохода, стоявшего у пристани, толпились радостные возбужденные люди. Мало кто из них обратил внимание на мальчишку-газетчика, но в нашей маленькой компании все разговоры сразу же оборвались. Радужного настроения, порожденного столь успешным пребыванием в Самаре, — как не бывало. Мы слишком хорошо понимали, что этот ультиматум означал общеевропейскую войну».[79]

Дальнейшие события развивались молниеносно. 19 июля (1 августа по новому стилю) 1914 года Германия объявила России войну. На следующий день с балкона Зимнего дворца Николай II торжественно огласил манифест о начале войны. Все свидетели единодушно отмечают небывалую атмосферу этих минут. Дворцовая площадь до отказа была заполнена народом. При появлении царя людское море опустилось на колени и, сняв шапки, разразилось криками «ура!». Невозможно было представить, что не пройдет и трех лет, как те же люди будут с ненавистью рвать царские портреты и сбивать с вывесок двуглавых орлов.

Пока же патриотические настроения переливались через край. Два дня спустя в столице было разгромлено германское посольство. Очевидец вспоминал: «Громадное здание посольства было освещено только внизу. Там бегали какие-то люди и выбрасывали в окна различные предметы. Скоро появился свет на втором этаже, затем и выше. Бегающие фигуры появились на всех этажах. Особенно суетилась какая-то барышня в шляпке. Кипы бумаг полетели из окон верхнего этажа и как снег посыпались листами на толпу. Летели столы, стулья, комоды, кресла… все с грохотом падало на тротуары и разбивалось вдребезги. Публика улюлюкала и кричала „ура“. А на крыше здания какая-то группа,

стуча и звеня молотками, старалась разбить две колоссальные конные статуи».[80]

Полиция пыталась успокоить толпу, но никто ее не слушал. Наконец была вызвана пожарная машина. Струи воды из брандспойта заставили собравшихся у здания людей разойтись. Наиболее горячие головы звали идти громить австрийское посольство, но вызванные казачьи разъезды не допустили этого.

26 июля состоялась однодневная чрезвычайная сессия Государственной думы. После речей председателя Совета министров И. Л. Горемыкина и министра иностранных дел С. Д. Сазонова по очереди выступили представители всех парламентских фракций. Лейтмотив был один и тот же — политические партии и национальные объединения заявляли о своей готовности отложить все споры и объединиться перед натиском врага. От имени фракции трудовиков выступал Керенский. В ту пору он был одержим идеей объединения всех социалистических партий на платформе защиты страны. В этом же духе была выдержана и его речь: «Мы верим, что страдания на полях сражений укрепят братство русского народа и приведут к общей цели — освобождению страны от чудовищных оков… Крестьяне, рабочие и все, кто желает счастья и процветания родине, будьте готовы к тяжким испытаниям, которые нас ожидают впереди, соберитесь с силами, ибо, защитив свою страну, вы освободите ее».[81]

На этом фоне диссонансом прозвучали декларации двух социал-демократических фракций. От имени большевиков выступил Г. И. Петровский, от меньшевиков — Н. С. Чхеидзе. К этому времени расхождения между большевиками и меньшевиками зашли очень далеко, но в отношении к войне они были почти единодушны. Социал-демократы осудили войну и заявили, что она ведется только в интересах буржуазией правительств воюющих стран. Выступления эти настолько расходились с духом момента, что, вопреки правилу не подвергать цензуре издание думских материалов, в стенограмме речей Петровского и Чхеидзе были сделаны серьезные купюры.

Большевистская фракция в Думе была невелика — к этому времени в ней насчитывалось всего пять человек. Шестой — Роман Малиновский, как выяснилось позже, был агентом полиции и по требованию своего начальства накануне войны сложил полномочия. Но оставшиеся пятеро депутатов проявили невиданную активность. С их помощью в Петрограде (так с августа 1914 года на русский манер был переименован Петербург) была создана подпольная типография, где печатались антивоенные воззвания. Однако главный центр большевизма в это

время находился за границей, в нейтральной Швейцарии, куда с началом войны перебрался Ленин.

Осенью 1914 года выходившая в Женеве газета «Социал-демократ» напечатала написанный Лениным манифест «Война и российская социал-демократия». В нем были сформулированы три главных тактических лозунга: поражение своего правительства в войне; превращение войны империалистической в войну гражданскую; создание нового Интернационала. В условиях общего подъема патриотических настроений «пораженчество» Ленина грозило оттолкнуть от большевиков даже те слои, которые их традиционно поддерживали. Для того чтобы разъяснить новые лозунги, большевистское руководство приняло решение провести нелегальную партийную конференцию.

Местом ее проведения, несмотря на риск, был избран Петроград, а точнее, ближайший дачный пригород — Озерки, куда можно было добраться на городском трамвае. Делегатов ожидалось немного, и потому для собрания был выбран небольшой дом конторщика Гаврилова, человека далекого от всякой политики, а значит, не известного жандармам. Однако, несмотря на все предосторожности, вечером 4 ноября 1914 года в дом Гаврилова нагрянула полиция.[82] Все, находившиеся там, были арестованы. Депутаты заявили протест, апеллируя к своей парламентской неприкосновенности. В конце концов, уже утром 5 ноября, их отпустили, но к вечеру того же дня снова арестовали.

В феврале 1915 года в Особом присутствии Петроградской судебной палаты состоялось слушание по делу депутатов-большевиков. Защитниками на суде были Керенский, Н. Д. Соколов и московский адвокат Н. К. Муравьев. Они сделали все, что могли, но, несмотря на это, обвиняемые были приговорены к бессрочной ссылке с последующим поражением в правах.

Приговор был вынесен с нарушением закона, так как большевики-депутаты продолжали пользоваться парламентской неприкосновенностью. Представление министра юстиции о их исключении из числа членов Думы думская комиссия по личному составу оставила без ответа. Когда Дума была созвана на очередную сессию, часть правых депутатов вернулась к вопросу о судьбе большевистской фракции и потребовала поставить вопрос о ее исключении на общее голосование. И снова в защиту арестованных большевиков выступил Керенский.

«Господа члены Государственной думы! — обратился он к залу. — У меня величайшая просьба: сейчас, когда все острее и острее положение в стране, когда терпение масс истощается… забудьте наши несогласия, забудьте ваши классовые позиции и

вспомните о стране. Вспомните о Родине, скажите им — руки прочь, вы — пораженцы, предатели и продажные люди!» Надо сказать, что это была не самая удачная речь Керенского. В итоге так и осталось неясным, каких «пораженцев» он столь страстно клеймил — «темные силы», скрывающиеся в царском окружении, или тех же большевиков, осужденных за пораженческую агитацию. Но, так или иначе, Дума отказалась исключать большевистскую фракцию и во всех официальных списках ссыльные депутаты продолжали числиться и далее.

Позже, в первые дни революции, Керенский — к тому времени уже министр юстиции — распорядится немедленно освободить депутатов-большевиков. Потом ему это часто вспоминали недоброжелатели, упрекавшие его в попустительстве большевизму. Но по-иному он просто не мог. Керенского и большевиков разделяло многое, но при всех расхождениях они еще очень долго оставались для него такими же борцами за свободу, как и представители других революционных партий. В этом в значительной мере кроется ответ на вопрос о причинах непоследовательного поведения Керенского в 1917 году.

НАКАНУНЕ

Возбужденного настроения первых недель войны хватило ненадолго. Неудачное вторжение в Восточную Пруссию в августе 1914 года еще могло быть списано на случайность, тем более что за этим последовали победы в австрийской Галиции. Но развал экономики, быстро прогрессирующая инфляция охладили патриотизм обывателя. С фронта потянулись эшелоны с ранеными, и конца всему этому не предвиделось.

Весной следующего 1915 года врагу удалось прорвать русские позиции. То, что произошло дальше, газеты назвали «Великим Отступлением». В короткий срок русские армии оставили Польшу, Литву, Курляндию. Фронт стабилизировался на линии, протянувшейся от Риги до Буковины и Бессарабии. Войска обеих сторон зарылись в окопы, началась многомесячная война на выживание.

Страна переживала тяжелое время, но личные дела депутата Керенского складывались наилучшим образом. В 1915 году он уже официально стал главой фракции трудовиков и в этом качестве вошел в Совет старейшин Государственной думы. Популярность Керенского вышла за стены Таврического дворца. Мы уже упоминали журнал «Северные записки». Он начал выходить всего за два года до войны, но быстро стал одним из самых модных столичных изданий. Среди авторов, участием которых редакция заманивала подписчиков, были Бальмонт, Бунин, Сергеев-Ценский, Шмелев. В этом ряду на равных упоминалась и фамилия Керенского. Читатели журнала ждали его статей, и Керенский не разочаровывал их, публикуясь в каждом номере.

Эти месяцы были и временем бурной политической деятельности Керенского. Он не оставил планов объединения на общей платформе всех социалистических течений. С учетом же явного нежелания социал-демократов идти на такой контакт Керенский сосредоточился на установлении связей между различными народническими группами. Еще в конце 1914 года Керенский предпринял попытку объединения народников под крылом информационного бюро при «Вольном экономическом обществе». Само это общество, история которого восходила еще ко временам Екатерины II, к этому времени все больше втягивалось в политику. Почувствовав это, власти в январе 1915 года запретили его деятельность.

16—17 июля 1915 года на квартире Керенского (по адресу — Загородный проспект, 23) состоялась нелегальная конференция, в

которой приняли участие три десятка делегатов от различных организаций трудовиков и правых эсеров. Просторные пятикомнатные апартаменты (тоже показатель материального благосостояния) давали возможность разместиться всем, не стесняя при этом семью хозяина. На конференции обсуждались вопросы о думской деятельности Трудовой фракции, об издании народнического печатного органа, о создании координационного центра народнических групп.

Политическая работа Керенского не могла не привлечь внимания тех, кому по долгу службы было положено знать все. В Особом отделе Департамента полиции на Керенского было заведено секретное досье. Одновременно за ним было установлено негласное наблюдение. В донесениях филеров Керенский фигурировал под кличкой «Скорый».

Здесь надо вспомнить, что сотрудники наружного наблюдения — филеры, как правило, не знали имени и фамилии того, за кем им было приказано следить. Они давали объекту слежки кличку, чаще всего основываясь на какой-то бросающейся в глаза отличительной черте — «Толстый», «Лысый» и т. д. Керенский не случайно стал «Скорым». Все, кто знал его, вспоминают, что передвигался он исключительно бегом. При этом походка у него была запоминающаяся. «Керенский не шел, как обычно ходят люди по улице, а почти бежал, и на согнутых в коленях ногах, что было необычно и некрасиво».[83]

Керенский хорошо знал о слежке и позволял себе даже шутить по этому поводу. Осенью 1915 года при обсуждении в Думе бюджета Министерства внутренних дел Керенский обратился к вновь назначенному министру Хвостову с предложением… сэкономить казенные средства: «Мне представляется, господин министр, что от пятнадцати до двадцати человек выделены для того, чтобы заботиться о моей драгоценной персоне, поскольку они сменяют друг друга днем и ночью. Почему бы вам не посоветовать директору Департамента полиции предоставить в мое распоряжение машину с шофером? Ведь тогда он будет знать все — куда, когда и с кем я направляюсь — да и мне это пойдет во благо: не придется тратить такую уйму времени на поездки по городу и так уставать от этого». Хвостов (сам недавний депутат) засмеялся и ответил: «Если предоставить вам машину, то придется дать их и всем вашим коллегам, а это разорит казну».[84]

В конце 1915 года Керенский тяжело заболел. Давняя простуда, полученная во время поездки на ленские прииски, обернулась острой формой пиелонефрита. Врачи две недели не могли поставить диагноз, и близкие Керенского всерьез

беспокоились за его жизнь. Наконец в одной из частных клиник Гельсингфорса Керенскому сделали операцию по удалению почки. После этого ему пришлось почти семь месяцев проходить курс реабилитации. На это время Керенский отошел от политики.

К лету 1916 года, когда здоровье позволило Керенскому вернуться к работе, политическое положение в стране серьезно изменилось. Неудачи на фронте, дороговизна и угроза голода стали причиной растущего недовольства. В этой ситуации правящие круги повели себя крайне неудачно. Вместо того чтобы искать пути взаимодействия с общественностью, правительство, во главе которого встал новый премьер Б. В. Штюрмер, отвечало категорическим «нет» на любые разговоры о переменах. Ответная реакция не заставила себя ждать. В августе 1915 года крупнейшие парламентские фракции сформировали «Прогрессивный блок», вставший в оппозицию власти.

Думские социалисты, к которым принадлежал и Керенский, не вошли в блок, но активно поддержали его. Теперь в Таврическом дворце звучали речи, немыслимые в начале войны. Вряд ли Керенский мог предвидеть скорую революцию, но он интуитивно чувствовал, что события набирают оборот, и потому сам был активен как никогда. В августе 1916 года он отправляется в Туркестан. Причиной этой поездки было не стремление увидеться с братом, занимавшим должность прокурора в Ташкенте. Туркестанский вояж Керенского стал частью парламентского расследования обстоятельств, вызвавших восстание местного населения — казахов, киргизов, узбеков. За две недели Керенский помимо Ташкента побывал в Бухаре, Самарканде, Андижане. Позже, выступая с думской трибуны, он открыто заявил, что туркестанское восстание было спровоцировано грубой политикой центральных властей, произволом и взяточничеством чиновников на местах.

На обратном пути Керенский задержался в Саратове и Самаре, где выступал с публичными лекциями и встречался с местными представителями народнических групп. Вернулся он в Петроград, как раз успев к большим переменам. В сентябре 1916 года министром внутренних дел неожиданно был назначен товарищ (заместитель) председателя Государственной думы А. Д. Протопопов. Для Керенского он был не только коллегой-парламентарием, но и земляком — уроженцем Симбирска. Вероятно, одной из причин, побудившей царя остановиться на кандидатуре Протопопова, был его статус парламентария. Николай II наивно рассчитывал на то, что Дума, получив министра из своей среды, на этом и успокоится. Но надежды эти не сбылись. В глазах либеральной оппозиции Протопопов был

ренегатом, и с его назначением тон думских речей стал еще более агрессивным.

1 ноября 1916 года должна была открыться очередная парламентская сессия. Задолго до этого в Петрограде начали ходить слухи о том, что ожидается что-то необычное, и потому в назначенный день балконы в зале заседаний Думы были переполнены любопытствующей публикой. То, что произошло дальше, не обмануло ожиданий любителей сенсаций. Главным событием дня стала речь Милюкова. С небывалой резкостью он обрушился на правительство. Милюков приводил факты, доказывавшие бездарность властей, и каждый пассаж заканчивал вопросом: «Что это, глупость или измена?» Ответом Милюкову был гром аплодисментов. Среди депутатов и публики, и без того наэлектризованных слухами, речь кадетского лидера вызвала едва ли не истерику.

В результате через день, когда должно было состояться следующее заседание Думы, зал был набит до последнего предела. На этот раз главным номером программы стало выступление Керенского. Свою речь он начал патетически: «Страна истекает кровью», а закончил словами: «Мы заставим уйти тех, кто губит, презирает, издевается над страной!» По приказу властей речь Керенского, как и речь Милюкова, была изъята из стенограммы и запрещена к публикации в газетах. Как результат — обе речи мгновенно разошлись по стране в сотнях рукописных копий (причем в ряде случаев эти списки содержали гораздо более крамольные слова, нежели оригиналы).

Газеты окрестили происходящее в Думе «штурмом власти». Следствием его стал уход Штюрмера в отставку. Но разгоряченная успехом оппозиция требовала большего. Ситуация принимала все более неконтролируемый характер. В середине декабря был убит Распутин, которого считали главным вдохновителем «темных сил», окружавших трон. Среди убийц Распутина оказались двоюродный брат царя великий князь Дмитрий Павлович, князь Феликс Юсупов и правый депутат Думы Пуришкевич. Своим поступком они рассчитывали спасти монархию, но на деле лишь ускорили ее падение. Смерть Распутина стала последней новостью уходящего года. Новый, 1917 год грозил стать не менее бурным. Однако масштабы надвигающейся бури не мог представить никто.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ФЕВРАЛЬ

Роковой для России 1917 год начинался в обстановке мрачной и тревожной. Известия с фронта не сулили ничего утешительного. В тылу население роптало на дороговизну, в очередях, почти не скрываясь, говорили о немецких шпионах, засевших у трона. Именно слухи в значительной мере и определяли общественные настроения в последние месяцы существования российской монархии. Сначала это были фантастические истории о царе, царице и Распутине, истории скабрезные, подчас за гранью пристойности.

Убийство Распутина немногим изменило ситуацию. Один из современников, профессор-юрист М. П. Чубинский, записал в эти дни в своем дневнике: «По городу ходят вздорные слухи: одни говорят о покушении на государя, другие о ранении государыни Александры Федоровны. Утверждают (и это очень характерно), будто вся почти дворцовая прислуга ненавидит государя, и охотно вспоминается история с сербской королевой Драгой».[85] Напомним, что королева Драга в 1903 году была убита заговорщиками вместе со своим мужем королем Александром Обреновичем. Сейчас мы знаем, что никаких попыток покушения на императора и императрицу не было, но сам факт появления подобных слухов весьма показателен.

Многим из нас свойственно задним числом искать тайные предзнаменования великих перемен. Так хочется верить, что судьба посылает людям предостережения и, если их вовремя увидеть и понять, можно избежать самого страшного. Не отступила от этого правила и история русской революции. В середине января 1917 года в Мариинском театре должна была состояться премьера оперы «Немая из Портичи», рассказывавшей о восстании в XVII веке жителей Неаполя против испанского господства. Опера эта была под запретом в России почти сто лет. Ажиотаж создавало и то, что в ней должна была исполнять танцевальную партию знаменитая Матильда Кшесинская.

Однако общие мрачные настроения коснулись и этого, совсем уж не связанного с политикой события. Начались разговоры о том, что, где бы ни ставили эту оперу, немедленно начинались народные волнения, восстания и даже революции — так было в Испании, Бельгии, Италии и Мексике.[86] Сама Кшесинская вспоминала, что в день премьеры всем, и артистам и зрителям, было не по себе: «На сцене совершалась революция, горел дворец и все было озарено отблесками пламени, как бы предупреждая, что и нас ждет такая же участь, но уже не на театральной сцене, а

в жизни. И действительно, не прошло и месяца, как свершилась революция».[87]

Страна катилась в пропасть, шансы спастись таяли с каждым днем. Единственной возможностью нормализовать обстановку были взаимные уступки со стороны власти и оппозиции. Но и власть, и оппозиция сознательно усугубляли обозначившийся кризис.

15 февраля после долгих рождественских каникул открылись заседания Государственной думы. По тону первых же выступлений стало ясно, что за прошедшие полтора месяца многое изменилось. По сравнению с тем, что говорилось в стенах парламента сейчас, ноябрьский «штурм власти» мог показаться демонстрацией высшей степени лояльности. Дума недвусмысленно дала понять, что время переговоров прошло. В речи лидера умеренных националистов В. В. Шульгина содержался прямой призыв к разрыву: «Если человек хочет прыгнуть в пропасть — надо всеми силами удерживать его. Но если ясно, что он все равно прыгнет, — надо подтолкнуть его, потому что, может быть, в этом случае он допрыгнет до другого края».[88]

Если уж так говорил последовательный монархист Шульгин, то чего следовало ждать от Керенского? В его речи прозвучало такое, чего Таврический дворец не слышал никогда. «Как можно законными средствами бороться с теми, кто сам закон превратил в орудие издевательства над народом?.. С нарушителями закона есть только один путь — физического их устранения». На этом месте Родзянко переспросил оратора, что тот имеет в виду. Ответ не оставлял сомнений: «Я имею в виду то, что совершил Брут во времена Древнего Рима».[89]

По распоряжению Родзянко слова эти были исключены из стенограммы. Однако это не помешало министру юстиции обратиться к председателю Думы с официальным ходатайством о лишении Керенского парламентской неприкосновенности для предания суду за тяжкое государственное преступление. Получив бумагу, Родзянко вызвал Керенского в свой кабинет и сказал: «Не волнуйтесь, Дума никогда не выдаст вас».

Есть категория фанатиков, готовых в любой момент взойти на эшафот и даже получающих удовольствие от этого. Керенский, и это совершенно однозначно, таковым не был. Сейчас он рисковал, но только потому, что интуитивно улавливал настроения момента. Это была, быть может, главная черта Керенского как политика, позволившая ему уже в ближайшие месяцы сделать головокружительную карьеру.

Между тем положение в столице обострялось с каждым днем.

На рабочих окраинах зрело недовольство, готовое в любой момент выплеснуться на улицу. Полицейская агентура регулярно сообщала о назревающих беспорядках, но в окружении императора царило удивительное благодушие. Министр внутренних дел А. Д. Протопопов сумел убедить царя в том, что ситуация находится под контролем. 22 февраля Николай II покинул Петроград, направляясь в Ставку, в Могилев. Перед его отъездом глава правительства князь Н. Д. Голицын получил царский указ о роспуске Думы. Дату на указе премьер должен был поставить по своему усмотрению.

Буквально на следующий день скрытое напряжение прорвалось наружу. Все началось с продовольственных волнений, спровоцированных недопоставкой в город хлеба. Уже 24 февраля волнения переросли в массовые демонстрации и митинги. Все происходило так быстро, что стороннему наблюдателю сложно было поверить в стихийный характер происходящего. В городе заговорили о том, что за бунтом черни стоят все те же думские депутаты, в которых власть привыкла видеть своих главных врагов. Императрица, остававшаяся с больными детьми в Царском Селе, 24 февраля писала мужу: «Я надеюсь, Ке-дринского из Думы повесят за его ужасную речь — это необходимо (военный закон, военное время), и это будет примером. Все ждут и умоляют тебя проявить твердость».[90] Кедринский — это Керенский (императрица плохо знала депутатов и потому перепутала), а «ужасная речь» — цитировавшееся нами выступление на заседании 15 февраля.

Это можно отнести к разряду курьезов — первым вождя революции в Керенском увидела царица Александра Федоровна, никогда не отличавшаяся ни прозорливостью, ни глубоким знакомством с политической ситуацией. Но, может быть, как раз благодаря своей политической наивности императрица почувствовала то, что не видели (или, точнее, не хотели видеть) думские политики первого эшелона. Керенский действительно метил на самый верх. Только задуманная им карьера предполагала не постепенное восхождение по бюрократической лестнице, а стремительный взлет. Не сенатор или министр, даже не премьер, представляющий парламентское большинство, а народный трибун — вот та роль, в которой он себя видел.

Меньшевик Н. Н. Суханов, автор известных «Записок о революции», вспоминал о своей встрече с Керенским за несколько дней до описываемых событий. Семейство Керенских незадолго до этого переехало по новому адресу — Тверская улица, дом 29, квартира 1. Помещение было еще не обжитым, в комнатах царил страшный холод. Керенский кутался в теплую серую фуфайку, в

то время как его собеседник обрушил на него страстный монолог. «Я совершенно определенно высказывал, — писал позднее Суханов, — что так или иначе Керенскому придется стать в центре событий. И он не спорил с этим, не ломаясь и не напуская на себя смирения паче гордости».[91]

Впрочем, сомнения, а вместе с ними и страх за свое будущее должны были оставаться у Керенского и в это время. Никто не мог быть уверен в том, что власть не найдет силы подавить назревавшую революцию. В субботу 25 февраля Дума собралась на очередное заседание, ставшее, как оказалось, последним. Совещались в этот раз недолго. Через полтора часа заседание было прервано, а новая встреча назначена на два часа дня в понедельник 27 февраля.

Следующий день был выходным, но в Таврическом дворце с утра стал собираться народ. За закрытыми дверями кабинетов совещались фракции и группы, из комнаты в комнату бегали взволнованные депутаты. В одну из таких суматошных минут Шульгин столкнулся в коридоре с Керенским. Тот по обыкновению мчался куда-то, наклонив голову и широко размахивая руками. Увидев Шульгина, Керенский, однако, остановился.

— Ну, что, господа, надо что-то делать. Ведь положение плохо.

— Ну, если вы так спрашиваете, — ответил Шульгин, — позвольте в свою очередь спросить вас: по вашему-то мнению что нужно? Что вас удовлетворило бы?

— Что? Да в сущности немного… Важно одно: чтобы власть перешла в другие руки.

— Чьи?

— Это безразлично. Только не бюрократические.

— Ну а еще что надо?

— Ну, еще там, — Керенский махнул рукой, — свобод немножко. Ну, там печати, собраний и все такое…

— И это всё?

— Всё пока. Не спешите, не спешите…[92]

Если Шульгин верно передал этот разговор (а не доверять ему нет оснований), то Керенский в это время не догадывался, как повернутся события в ближайшие часы. Точнее сказать, о грядущих переменах догадывались все, но никто не мог предугадать масштабы, которые они примут.

Из Таврического дворца Керенский поехал к своему давнему сотоварищу по адвокатскому цеху — присяжному поверенному А. А. Демьянову. У того уже собралось несколько знакомых, оживленно обсуждавших происходящее в городе. Обмен

мнениями продолжился за обедом. Керенский не стал задерживаться долго и примерно через час откланялся. Вместе с князем В. А. Оболенским, которому было по дороге, они направились пешком к Неве. Трамваи не ходили, но путь от Бассейной, где жил Демьянов, не занял много времени.

Троицкий мост был оцеплен солдатами, которые не пускали прохожих с Петроградской стороны. Керенский остановился в нерешительности:

— Уж не знаю, переходить ли Неву? Зайдешь туда, а назад не пустят. Между тем завтра мне необходимо быть в Думе.

— Что вы, Александр Федорович, — возразил Оболенский. — Предъявите депутатскую карточку, вас и пропустят.

— Депутатская карточка может не помочь мне, а повредить. Ведь мой арест за последнюю речь принципиально решен… Если сегодня распустят Думу, завтра, вероятно, меня арестуют…[93]

К себе на квартиру Керенский вернулся только поздно вечером. Около восьми его застал по телефону Суханов. (Суханову навсегда врезался в память телефонный номер Керенского: 119-60.) У Керенского в эти часы собралась компания его ближайших друзей, для того чтобы обменяться слухами. Однако ничего нового Керенский Суханову не сообщил, да, похоже, и сам в происходившем ориентировался плохо. Ситуация менялась так быстро, что вряд ли кто мог предсказать даже ближайшее будущее. Керенский тоже не мог знать, куда уже в ближайшие месяцы его приведут начавшиеся события. Простившись с друзьями, он лег спать, не догадываясь еще, что это его последняя ночь под семейным кровом.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

У австрийского писателя Стефана Цвейга есть цикл новелл о «звездных часах человечества». Звездный час — это рубеж, перелом, историческая развилка, формирующая будущее. «Если пробьет звездный час, он предопределяет грядущие годы и столетия, и тогда — как на острие громоотвода скопляется все атмосферное электричество — кратчайший отрезок времени вмещает огромное множество событий. То, что обычно протекает одновременно, размеренно или последовательно, сжимается в это единственное мгновение, которое все устанавливает, все предрешает: одно-единственное „да“ или „нет“, одно „слишком рано“ или „слишком поздно“ предопределяет судьбу сотен поколений, направляет жизнь отдельных людей, целого народа или даже всего человечества».[94] Далеко не каждому доводится испытать звездный час, но уж если это тебе суждено, то имя твое навсегда останется в истории.

Звездным часом нашего героя стало 27 февраля 1917 года. В один день из политика, известного в ограниченных кругах, Керенский превратился в фигуру всероссийского масштаба, чья популярность с каждым днем только нарастала. Этот взлет был неожидан не только для окружающих, но и для него самого. Как и почему это произошло, мы попытаемся разобраться в этой и последующих главах.

Этот главный день в жизни Керенского начался для него необычно рано. Еще со времен адвокатской практики у него сложился весьма своеобразный распорядок. Адвокаты, как и положено представителям «свободных профессий», не были связаны обязательным приходом на службу к определенному часу. Керенский, как правило, ложился спать далеко за полночь, засиживаясь в очередном политическом салоне или — реже — в кабинете над бумагами. Зато и вставал он не раньше десяти-одиннадцати утра.

27 февраля 1917 года он еще спал глубоким сном и не слышал, как в восемь утра у него в квартире раздался телефонный звонок. К трубке подошла его жена — Ольга Львовна. На другом конце провода был старый приятель Керенского присяжный поверенный В. В. Сомов. Он сообщил, что солдаты лейб-гвардии Волынского и Литовского полков взбунтовались и с оружием вышли на улицу.[95] Слухи о восстании в гарнизоне периодически возникали и в предыдущие дни, но так и оставались только слухами. По этой причине Ольга Львовна не стала будить мужа, посчитав, что лишний час сна не помешает.

Однако почти сразу же телефон зазвонил вновь. На этот раз это был коллега Керенского по Думе депутат Н. В. Некрасов. Он настойчиво попросил разбудить хозяина. Когда Керенский наконец подошел к аппарату, Некрасов повторил ему известие о восстании гвардейских полков и попросил как можно скорее прибыть в Таврический дворец.

Позднее Керенский вспоминал, что поначалу спросонья он не осознал значения переданных Некрасовым новостей. Но вдруг холодным душем пришло ощущение, сразу уничтожившее все остатки сна — все, пробил решающий час.[96] Не успев толком позавтракать, Керенский буквально выбежал из квартиры. Здание Думы находилось в пяти минутах ходьбы (квартира на Тверской выбиралась именно с учетом близости к Таврическому дворцу). Не было и половины девятого, когда Керенский через боковую дверь (библиотечный подъезд, известный только посвященным) вошел в Таврический дворец.

В этот ранний час дворцовые коридоры были еще пустынны. Лишь кое-где можно было увидеть уборщиков, натиравших до блеска бронзовые дверные ручки. Ни дворцовые служители, ни собиравшиеся понемногу во дворец депутаты не догадывались, что время отсчитывает даже не последние мирные часы, а последние минуты.

Некрасова и других депутатов Керенский нашел в Екатерининском зале. От них он узнал, что накануне был получен императорский указ о роспуске Думы. Роспуск парламента ставил депутатов в сложное положение. Не подчиниться указу было равнозначно открытому нарушению закона, безропотно разойтись значило бы утерять всякий контроль над происходящим. В итоге было решено считать Думу распущенной, но собраться на частное совещание. Для того чтобы подчеркнуть его неофициальный характер, провести совещание решили в малом, так называемом Полуциркульном зале, располагавшемся по соседству с главным залом заседаний, сразу же за председательской трибуной.

Полуциркульный зал едва вместил всех присутствующих. Многим депутатам не нашлось стульев, и пришлось стоять вдоль стены. На совещании обсуждался один вопрос — как вести себя в сложившейся обстановке. О происходящем в городе депутаты имели довольно смутное представление, но доходившая до дворца отрывочная информация рисовала картину подлинной революции. Под влиянием этого некоторые горячие головы предлагали объявить думу Учредительным собранием, но в итоге было принято компромиссное предложение Милюкова. Оно заключалось в создании Временного комитета «для восстановления порядка и для сношения с лицами и

учреждениями». Это предельно обтекаемое название давало возможность приспособиться к любому исходу ситуации. Главой Временного комитета стал председатель Думы М. В. Род-зянко, а в состав были включены лидеры крупнейших фракций, в том числе и Керенский.

Насколько можно судить по воспоминаниям участников этих событий (протоколы «неофициального заседания» не велись), Керенский в ходе обсуждения не выступал. Да и в зале-то он не сидел, а постоянно выбегал к телефону. Многочисленные информаторы из числа друзей и знакомых сообщали ему о событиях в городе. Таврический дворец находился на отшибе, и его обитатели не слишком хорошо представляли себе, что происходит в других районах города. Между тем к этому времени творилось уже нечто невообразимое.

27 февраля стало решающим днем революции. Исход событий определило восстание солдат столичного гарнизона. Соединившись с рабочими, которые вот уже несколько дней митинговали в центре города, солдаты начали громить полицейские участки, а чуть позже захватили тюрьму «Кресты» и освободили находившихся там заключенных. Когда Керенский очередной раз говорил по телефону, случайный свидетель этого разговора только и слышал: «Рабочие… солдаты… полки…» Создавалось впечатление, что именно Керенский отсюда, из Таврического дворца, руководит происходящим. Кто-то уже начал допытываться: «Александр Федорович! Когда же, наконец, придут ваши полки?»

Позднее сам Керенский вспоминал не без некоторой иронии: «Мои полки! Вот в какой роли видели меня депутаты, возможно, благодаря моей, на их взгляд, непоколебимой уверенности. Я с нетерпением ждал, когда двери Думы откроются, поскольку лишь союз восставших солдат с народными представителями был способен спасти положение. Без конца названивал по телефону, бросался к окнам, рассылал записки по окрестным улицам, допытываясь, идут ли они наконец. Они не шли. Время летело с головокружительной быстротой».[97]

Разумеется, Керенский меньше всего руководил вершившимися событиями. Он просто лучше других депутатов представлял масштабы происходящего. Еще более важно, что он раньше других понял — законы теперь устанавливает не парламент, а улица. Не принципиально, что раньше — это раньше на час. В любом случае Керенский был готов к тому, что для других депутатов оказалось полной неожиданностью.

Заседание было в разгаре, когда у дверей раздались крики и в зал вбежал офицер, в полурасстегнутой шинели и без головного

убора. С порога он почти закричал:

— Господа члены Думы! Я прошу защиты. Я начальник караула, вашего караула, охранявшего Государственную думу… Ворвались какие-то солдаты… Моего помощника тяжело ранили… Хотели убить меня… Я едва спасся. Что это такое? — помогите…

Совещание в Полуциркульном зале началось около полудня. Прибавив время на дебаты (и учитывая традиционное депутатское многословие), можно предположить, что описанная сцена происходила в час-полвторого дня. Жаль, что никто из мемуаристов не отметил этот момент точно, ибо он стал поворотным рубежом не только в биографии Керенского, но и в истории русской революции в целом.

Для Керенского действительно настал звездный час. В то время как растерянные депутаты не знали, как реагировать на вопль несчастного начальника караула, у Керенского уже был готовый ответ:

— Происшедшее подтверждает, что медлить нельзя! Я постоянно получаю сведения, что войска волнуются! Они выйдут на улицу… Я сейчас еду по полкам. Необходимо, чтобы я знал, что я могу им сказать. Могу ли я сказать, что Государственная дума с ними, что она берет на себя ответственность, что она становится во главе движения?

Резкий тон Керенского и подчеркнутая решительность в голосе не оставляли сомнений в том, что для него лично со всеми колебаниями покончено. Это было удивительно — человек, в течение всего дня не произнесший публично ни слова, вдруг оттеснил самого председателя Думы. В зале кто-то произнес, и в наступившей тишине это услышали все: «Он у них — диктатор…»[98]

Не дожидаясь реакции других депутатов, Керенский в том виде, в каком был — без пальто и шляпы, выбежал во двор. У кованой ограды, окружавшей дворцовый сад, бескрайним морем колыхалась толпа. Группа солдат уже перелезла через решетку и пыталась открыть запертые ворота. Керенский подскочил к первому попавшемуся и схватил его за рукав.

Граждане солдаты! Великая честь выпадает на вашу долю — охранять Государственную думу… Объявляю вас первым революционным караулом…

Таща за руку свою недоуменно озирающуюся жертву, он почти побежал ко входу во дворец. Сквозь открытые ворота сада за ним валила черная масса людей. К трем часам дня чинная парламентская резиденция превратилась в сумасшедший дом. Везде — в комнатах, коридорах, парадных залах и самых

укромных уголках — сидели, стояли и даже лежали сотни людей. Махорочный дым заставлял слезиться глаза, плевки и раздавленные окурки покрывали штучный паркет. Новые обитатели дворца мгновенно уничтожили все запасы еды и питья в парламентском буфете, заодно растащив серебряные ложки.

«Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенты, просто люди… Живым вязким человеческим повидлом они залили растерянный Таврический дворец. Залепили зал за залом. Комнату за комнатой, помещение за помещением… Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопровода бросала в Думу все новые и новые лица… Но сколько их ни было — у всех было одно лицо: гнусно-животно-тупое или гнусно-дья-вольски-злобное…»[99] Эти слова В. В. Шульгина могут показаться, мягко говоря, излишне эмоциональными. Но именно таким было ощущение большинства депутатов. Многие из них все предыдущие годы ждали революцию, жадно торопили ее. Революция представлялась им прекрасной дамой с обнаженной грудью, как на известной картине Эжена Делакруа. Но на деле революция обернулась пришествием «грядущего хама», и думские либералы растерялись. Они осознали, что власть, которую они так азартно критиковали, защищала их от улицы, обеспечивала им комфортную и беззаботную жизнь. Теперь все изменилось, и будущее казалось безрадостным и непредсказуемым.

Поэтому-то прожженные политики безропотно уступили первенство «мальчишке» Керенскому. Об этом позже откровенно написал все тот же Шульгин: «Революционное человеческое болото, залившее нас, все же имело какие-то кочки… Эти „кочки опоры“, на которых нельзя было стоять, но по которым можно было перебегать, — были те революционные связи, которые Керенский имел: это были люди, отчасти связанные в какую-то организацию, отчасти не связанные, но признававшие его авторитет…»[100] Никого серьезного за спиной Керенского не было. Таковой силы в ту пору просто не существовало, но именно отсутствие ее и помогло Керенскому. Все подсознательно ждали, что вот-вот появится кто-то, кто возглавит движение. Не может быть, чтобы великая революция произошла абсолютно стихийно, что трехсотлетняя история династии Романовых закончится так нелепо и в одночасье. Конечно нет! В ближайшие же часы заявит о себе тайный Исполнительный комитет и скажет: «Это наших рук дело». В ближайшие часы появится вождь, который восстановит порядок, поведет за собой растерянную страну.

Керенский занял место, готовое принять кого угодно. Это не означает, разумеется, что вождем мог стать любой человек с улицы. У Керенского были те достоинства, которые помогли ему

не только взлететь вверх, но и сравнительно долго удерживаться наверху. Об этих его качествах нам придется говорить еще немало, пока же отметим только одно — Керенскому нравилась его новая роль. Он летал по залам и коридорам Таврического дворца: кому-то отдавал приказы, что-то подписывал. За целый день он не ел, не пил, не присел даже на минуту, но тем не менее не ощущал усталости. Сам Керенский вспоминал об этом: «День и ночь я метался по Думе, как в трансе, то протискиваясь через плотные стены людей, то кружа по полутемным пустым коридорам. В изнеможении впадал в полуобморочное состояние на пятнадцать — двадцать минут, приходил в себя, выпив стакан коньяку или черного кофе. Время от времени кто-нибудь из друзей ловил меня на ходу или прерывал беседу, заставляя поспешно поесть».[101] Несостоявшийся «артист императорских театров» чувствовал себя на сцене в день самой главной премьеры. С каждым новым приказом, с каждой грозной репликой фигура Керенского все больше вырастала в масштабах.

Ближе к вечеру Керенскому поднесли на подпись бумагу об издании «Бюллетеня думских сообщений», поскольку другие газеты в столице не выходили. Подписывая разрешение, Керенский представил себя в роли градоначальника и не удержался от смеха. «Чему смеетесь, Александр Федорович? — спросил один репортер. — Разве не знаете, что в данный момент вы всемогущи в России?» — «Что ж, — вспоминал позднее Керенский, — приятно было это слышать».[102]

Он, наверное, и сам не понял, насколько это было страшно для России, да в конечном счете и для него самого. Это было очень по-актерски — получать удовлетворение от того, что твоя игра сумела убедить публику. Зритель поверил, что на сцене не артист, а Гамлет, или король Лир, или — вождь, который спасет страну в годину страшных испытаний. Но артист выслушал аплодисменты и покинул сцену, а политик, сыгравший вождя, должен был выполнять обязательства, то есть спасать страну. Однако для этого нужны совсем другие качества, которых у Керенского не было. Впрочем, понадобилось восемь месяцев, для того чтобы это стало понятно.

«РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ПРОЛИВАЕТ КРОВИ»

Все когда-то заканчивается, подошел к концу и сумасшедший день 27 февраля 1917 года. К вечеру напряжение постепенно начало спадать. Толпа схлынула, и в Таврическом дворце остались лишь разрозненные кучки людей. Какие-то солдаты притащили с собой пулемет и установили его у входа. Впрочем, защитники революции и сами были не слишком уверены в ее победе. Когда где-то на улице раздались выстрелы, солдаты ударились в панику, разбили окна в Полуциркульном зале и начали выскакивать из окон в сад. Потом, успокоившись, они разбрелись по дворцу, выискивая место для ночевки.

В эти часы старый знакомый Керенского меньшевик Н. Н. Суханов также ходил по помещениям дворца, пытаясь найти, где бы ему пристроиться на ночь. Долгое время ему это не удавалось: везде — на диванах и креслах, на столах и подоконниках — кто-то уже сидел, лежал или откровенно храпел, не стесняясь соседей. Наконец Суханов нашел пристанище в Белом зале, где еще несколько дней назад заседали депутаты российского парламента. Суханов устроился в ложе, предназначенной для членов Государственного совета. С улицы раздавались редкие выстрелы, в высоких окнах метались сполохи пламени — это на другом конце Таврического сада пылало здание Петроградского губернского жандармского управления.

Керенский вспоминал: «Первая ночь революции показалась нам вечностью».[103] До полуночи он и другие члены Временного комитета сидели в кабинете председателя Думы, обсуждая создавшееся положение. Большинство присутствующих полагали, что комитет должен открыто объявить о том, что берет власть в свои руки. Родзянко продолжал колебаться. После долгих бесполезных дебатов было решено дать ему время на обсуждение. Родзянко остался в кабинете один, а остальные вышли в коридор. Кто-то вытащил папиросу, кто-то присел прямо на подоконник. Часы пробили двенадцать. С последним ударом дверь кабинета растворилась, и на пороге показалась грузная фигура Родзянко:

— Я согласен. Но только под одним условием. Я требую — и это относится особенно к вам, Александр Федорович, чтобы все члены комитета безусловно и слепо подчинялись моим распоряжениям…[104]

Многих из слушателей покоробил этот ультимативный тон (и это, к слову, во многом стоило Родзянко карьеры), но только не Керенского. В ином случае он бы взвился от возмущения, но сейчас скромно смолчал. Керенский к этому времени уже с

полной ясностью понял, что в новой ситуации все решает не сговор политиков, а изменчивые симпатии толпы. Подтверждение этого последовало очень скоро — уже через два дня Родзянко оказался не у дел, тогда как Керенский продолжил свое стремительное восхождение к вершинам власти.

Между тем наступал новый день, второй день революции. Для новой власти он стал настоящим кошмаром. К этому времени исход событий уже в достаточной мере определился, и те, кто до сих пор выжидал, спешили выразить свою поддержку победителям. С самого утра Таврический дворец осаждали бесконечные депутации. Целые полки под наспех сделанными красными знаменами приходили присягнуть Государственной думе. Их сменяли делегаты от каких-то учреждений, обществ и союзов. Все хотели видеть Родзянко или, на худой конец, кого-то из других депутатов. «Родзянко шел и говорил своим запорожским басом колокольные речи. Кричал о родине, о том, что „не позволим врагу, проклятому немцу, погубить нашу матушку-Русь“… — и все такое говорил, и вызывал у растроганных (на минуту) людей громовое „ура“… Это было хорошо — один раз, два, три… Но без конца и без счета — это была тяжкая обязанность, каторжный труд, который совершенно отрывал от какой бы то ни было возможности работать».[105]

«Ура» кричали любому выступающему, призывал ли он к борьбе до победного конца, или к немедленному прекращению войны. Эти восторженные крики, бесконечная Марсельеза, топот сапог и надрывные телефонные звонки создавали совершенно непередаваемую какофонию, которую нормальный человек долго переносить был неспособен. Прославленные думские ораторы не выдерживали в такой обстановке и часа. Единственными исключениями были все тот же могучий Родзянко и Керенский.

Керенскому его новая роль доставляла искреннее удовольствие. Много лет спустя он вспоминал об этом: «Получив наконец возможность говорить свободно со свободными людьми, я испытывал чувство пьянящего восторга».[106] Впервые в жизни в таком масштабе он ощутил поклонение толпы, и это наполняло его энергией. На очередном из бесконечной череды проходивших тогда митингов его внезапно подхватили на руки и так внесли на трибуну. В ответ Керенский произнес речь, в которой превзошел сам себя. «Я говорил, что Россия наконец свободна, в каждом рождается новая личность. Нас зовет великий долг, мы обязаны отдать все свои силы служению родине. Я говорил, что надо удвоить усилия, одновременно продолжая войну и служа революции, и в решении этой задачи должен лично участвовать каждый человек в стране. Я вспоминал революционных героев

всех поколений, доблестно погибших за свободу потомков, подчеркивал, что представители всех слоев общества отдали жизнь за общее дело, и потому в данный великий момент все классы должны сплотиться с полным взаимным доверием».[107] Ответом ему были рев толпы и сотни взметнувшихся в воздух рук.

Нам кажется, что поведение Керенского в эти первые дни революции в значительной степени объясняет его дальнейшую судьбу. Его энергия, политическая воля, наконец, просто вера в себя впрямую зависели от того, в какой мере восторженно его воспринимает публика. Это его заводило, делало его сильным, решительным, великим. Один раз ощутив это чувство, он уже не мог без него обходиться. Удивительный взлет Керенского в февральско-мартовские дни был вызван именно этим, равно как эта же причина привела его через восемь месяцев к катастрофическому падению.

Но пока Керенский мог в полной мере упиваться властью над толпой. Одного его слова было достаточно, для того чтобы покарать или возвеличить любого. Подтверждением этого стала история с арестом прежних царских сановников. Еще днем 27 февраля в Таврический дворец доставили бывшего министра юстиции И. Г. Щегловитова, того самого, который в разгар дела Бейлиса приказал отдать Керенского под суд. Сейчас он был арестован прямо на квартире и под конвоем доставлен в здание Государственной думы.

Известие об аресте Щегловитова произвело сильное впечатление на депутатов. Еще с утра они сами могли ожидать, что проведут ночь в тюрьме, а тут вдруг неожиданно для себя оказались в роли тюремщиков. Наиболее умеренные потребовали немедленного освобождения арестованного. Подоспевший Родзянко вежливо пригласил Щегловитова в свой кабинет. Именно в этот момент к собравшимся подбежал Керенский:

— Нет, Михаил Владимирович, господин Щегловитов здесь не гость, я не освобождаю его.

Повернувшись к бывшему сановнику, Керенский громко провозгласил:

— Иван Григорьевич Щегловитов, вы арестованы. Ваша жизнь в безопасности, революция не проливает крови…[108]

На следующий день арестованных министров доставляли в Таврический дворец уже десятками. Среди них были и действующие члены правительства, и те, кто уже находился в отставке, как, например, глубокий старик И. Л. Горемыкин. Его вытащили прямо из постели, не дав одеться, и единственное, что он успел сделать, так это надеть поверх старой ночной рубашки цепь ордена Андрея Первозванного.

Когда в Таврический дворец привезли бывшего военного министра В. И. Сухомлинова, дело едва не дошло до прямой расправы. Сухомлинова еще ранее обвиняли в государственной измене, и теперь толпа была готова убить его на месте как «немецкого шпиона». Керенскому пришлось долго уговаривать разгоряченных солдат, убеждая их, что Сухомлинова обязательно отдадут под суд, а до тех пор ни один волос не должен упасть с его головы. (Сам Сухомлинов позднее писал: «Хорошо, что я был в фуражке, а то люди убедились бы, что им нечего оберегать на моей голове».[109])

Но самый тяжелый эпизод был связан с арестом бывшего министра внутренних дел А. Д. Протопопова. В глазах общественного мнения он олицетворял «темные силы» и считался главным виновником всех преступлений свергнутого режима.

Протопопов пришел сдаваться сам, когда понял, что игра окончательно проиграна. Керенский вспоминал, как в коридоре Думы его остановил небритый человечек в мятой одежде.

— Я пришел к вам по собственной воле. Пожалуйста, арестуйте меня.

Однако оказалось, что это не так-то просто сделать. Протопопова нужно было еще вывести в безопасное место, а агрессивно настроенная толпа грозила растерзать его прямо на месте. И вновь Керенскому удалось спасти положение. В своих воспоминаниях Шульгин описывает эту сцену следующим образом: «Он (Керенский. — В. Ф.) был бледен, глаза горели, рука поднята… Этой протянутой рукой он как бы резал толпу. Все его узнали и расступились на обе стороны, просто испугавшись его вида. И тогда в зеркале я увидел за Керенским солдат с винтовками, а между штыками тщедушную фигурку с совершенно затурканным лицом. Я с трудом узнал Протопопова».[110] С криком «Не сметь прикасаться к этому человеку!» Керенский буквально протащил Протопопова через битком набитый солдатами Екатерининский зал. Лишь добравшись до охраняемого кабинета председателя Думы, Керенский бессильно рухнул в кресло: «Садитесь, Александр Дмитриевич».

Арестованных сановников поместили под стражу в так называемый «министерский павильон». Это было отдельное здание, связанное с залом заседаний Думы застекленной галереей. Когда-то именно здесь дожидались времени своего выступления члены правительства, приглашенные на заседание парламента. Теперь, когда павильон превратился в место заключения для бывших министров, его название приобрело совсем другой смысл. В административном отношении «министерский павильон» не являлся частью комплекса думских

зданий, и это давало формальные основания избежать обвинений в превращении Думы в тюрьму.

В «министерском павильоне» арестованные провели два дня. Комфорта тут было мало, но в целом больших проблем по этой части узники не испытывали. Один из них, жандармский генерал П. Г. Курлов, вспоминал: «Обращение с нами было негрубое: нам предложили чаю, бутерброды и папиросы, а также объявили о возможности написать письма, которые немедленно будут переданы родным, что и было действительно исполнено каким-то студентом».[111] Единственное, что угнетало обитателей павильона, так это запрещение говорить между собой. Комендант Таврического дворца полковник Энгель-гардт, посетивший арестованных от имени Родзянко, отменил было этот запрет. Однако уже через несколько минут в павильоне появился Керенский и отчитал караульных за нарушение его приказа. На все объяснения последовал ответ: «Мне нет никакого дела до председателя Думы, я здесь один начальник».

До последних минут заключенные «министерского павильона» пребывали в неизвестности относительно своего будущего. Пугала даже не перспектива оказаться в тюрьме, а возможность бессудной расправы. Один из арестованных — директор Морского корпуса вице-адмирал В. А. Карцов от страха повредился рассудком. С криком: «Дайте мне умереть! За что вы мучаете меня, издеваетесь надо мной…» он бросился на караульного. Тот от неожиданности выстрелил, на выстрел в комнату ворвались другие солдаты и открыли беспорядочный огонь. Лишь по случайности никто больше не пострадал, но адмирал Карцов от полученных ран скончался.[112] После этой истории арестованные сановники были наконец перевезены в Петропавловскую крепость.

Дальнейшая их судьба — предмет отдельного разговора. В какой-то мере мы еще коснемся позднее этой темы. Сейчас нам более интересно разобраться в мотивах поведения Керенского. Злые языки говорили, что его отказ освободить Щегло-витова был местью за историю с «делом 25 адвокатов». Нам кажется, что Керенский при всех своих недостатках вряд ли бы опустился до такого. Им двигали другие, вполне человеческие чувства. Шульгин писал: «В этом отношении между Керенским, который главным образом ведал „арестным домом“, и нами установилось немое соглашение. Мы видели, что он ломает комедию перед революционным сбродом, и понимали цель этой комедии. Он хотел спасти этих людей». Шульгин не слишком любил Керенского и неприязнь свою к нему не скрывал ни тогда, ни позже. Но тем не менее он признавал: «В этом сказался весь

Керенский: актер до мозга костей, но человек с искренним отвращением к крови в крови».[113]

По-настоящему талантливый актер способен убедить не только зрителей, но и самого себя. Он не играет — живет на сцене. Керенский сочинил для себя и окружающих героическую пьесу о революции. Действующие лица этой пьесы были красивыми и мужественными людьми, даже злодеи здесь внушали уважение. В этой пьесе не могло быть убийств и насилия, ведь зрителю это может не понравиться. Зато слова о том, что революция не проливает крови, звучали вполне в духе задуманного действа.

Рискуя утомить читателя, приведем еще одну цитату из воспоминаний современника: «К вечеру во внутреннем дворе госпиталя высилась громадная куча обезображенных людских тел. Шел снежок и тихо засыпал этот трофей революции, а женщины лезли через заборы, стояли у всех щелей, любопытствовали, смеялись и оскверняли своими нечистыми побуждениями самое важное в жизни каждого человека — смерть…»[114] Это Кронштадт в тот же день, 28 февраля 1917 года, когда за несколько часов в городе было убито три адмирала и свыше двух десятков офицеров. Страшными расправами были отмечены февральские дни в Гельсингфорсе. В самом Петрограде убийства на улицах были в это время обычным делом. Но это в жизни, а со сцены вновь звучит: «Революция не проливает крови!» Не Керенский был автором мифа о «великой и бескровной». Скорее он, этот миф, был порождением общей эйфории, ощущения праздника, который не хотелось омрачать разговорами о смерти. Но для большинства людей праздник быстро прошел, сменившись суровыми буднями. Керенский же еще долго продолжал жить в декорациях той пьесы, где нет места предательству, грязи и крови. Он именно жил на сцене, то есть чувствовал и вел себя совершенно искренне. Но кому от этого было легче?

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Вечером 27 февраля 1917 года, когда Таврический дворец гудел как улей от наплыва толпы, среди других любопытствующих в его коридорах оказался князь В. А. Оболенский, член руководства кадетской партии и давний знакомый многих парламентариев. В Думе он был в общем-то посторонним человеком, но имел достаточно солидный вид, и потому к нему постоянно обращались за справками и разъяснениями. В числе других к Оболенскому обратились трое каких-то молодых людей с просьбой предоставить им комнату для заседания.

— А кто вы?

— Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов.

Позднее Оболенский вспоминал: «Эти слова не имели для меня еще того смысла, который приобрели через несколько дней. Я даже обрадовался, что из происходящей анархии выкристаллизовалось что-то организованное. Я ответил, что не состою депутатом и не могу распоряжаться отводом комнат, но постараюсь посодействовать им».[115] Как раз в эту минуту мимо проходил товарищ (заместитель) председателя Думы А. И. Коновалов. Оболенский обратился к нему:

— Александр Иванович, вот Совет рабочих депутатов просит отвести ему комнату для заседаний.

Коновалов рассеянно взглянул на просителей и сказал:

— Идите в комнату бюджетной комиссии, она свободна.

Так волею случая эта тесная комната под несчастливым номером 13 стала местом рождения организации, оказавшей решающее влияние на судьбу всей страны. Двенадцатью годами ранее в Петербурге уже действовал Совет рабочих депутатов. Созданный в разгар первой русской революции, он просуществовал недолго и был разогнан. К слову, товарищем председателя его был Троцкий, скрывавшийся тогда под фамилией Яновский. Осенью 1917-го Троцкий вновь возглавит столичный Совет, но об этом нам еще предстоит говорить.

Инициаторами воссоздания Совета стали думские депутаты-социалисты. Один из них — меньшевик Н. С. Чхеидзе был избран председателем Исполкома. Его товарищами (заместителями) стали М. И. Скобелев и Керенский. По словам самого Керенского, он узнал об этом только задним числом. «Я счел свое избрание чистой случайностью, так как не присутствовал на заседании и даже не помню, заглядывал ли туда. По правде сказать, я даже после избрания очень редко бывал на заседании Совета и

Исполнительного комитета».[116] Вполне возможно, что это действительно было так. Керенский был занят тогда другими, более интересными ему делами.

Русская революция продолжалась уже третий день. За это время Таврический дворец коренным образом изменил свой облик. Вот каким увидел его один из очевидцев: «Солдаты, солдаты, солдаты с усталыми, тупыми, редко добрыми или радостными лицами; всюду следы импровизированного лагеря, сор, солома; воздух густой, стоит какой-то сплошной туман, пахнет солдатскими сапогами, сукном, потом; откуда-то слышатся истерические голоса ораторов, митингующих в Екатерининском зале, — везде давка и суетливая растерянность».[117] На дверях появились бумажки с названиями каких-то немыслимых комитетов и учреждений. Вдоль стен и между колонн были установлены столики, за которыми барышни эмансипированного вида торговали агитационной литературой.

Временный комитет Государственной думы спрятался в кабинете председателя парламента, пытаясь отгородиться от затопившего дворец людского моря. Но и здесь трудно было найти покой. В воспоминаниях Шульгина мы находим любопытный эпизод. Утром 1 марта он, как и накануне, застал своих коллег по Временному комитету в кабинете Родзянко. Не успел Шульгин обменяться с ними и парой слов, как в кабинет ворвался Керенский. За ним какой-то человек под охраной солдат с винтовками нес объемистый бумажный пакет. Театральным жестом Керенский бросил пакет на стол:

— Наши секретные договоры с державами… Спрячьте…

После этих слов Керенский вышел, хлопнув дверью, а присутствующие в недоумении уставились на пакет.

— Что за безобразие, — сказал Родзянко, — откуда он их таскает?

Что делать с принесенными бумагами, никто не знал, в кабинете не было даже шкафа, чтобы их спрятать. Наконец кто-то нашелся:

— Знаете что — бросим их под стол. Под скатертью ведь совершенно не видно… Никому в голову не придет искать их там.

Пакет отправился под стол, но не прошло и пяти минут, как в комнате вновь появился Керенский.

— Тут два миллиона рублей. Из какого-то министерства притащили…

В итоге миллионы оказались под столом рядом с секретными договорами. Шульгин не выдержал и обратился к находившемуся тут же Милюкову:

— Павел Николаевич, довольно этого кабака. Мы не можем

управлять Россией из-под стола… Надо правительство…

— Да, конечно, надо, но события так бегут…

Это все равно. Надо правительство и надо, чтобы вы его составили. Только вы можете это сделать. Давайте подумаем, кто да кто…[118]

Собственно, примерный состав правительства был намечен уже давно, еще в те времена, когда шли разговоры о «министерстве доверия». Однако новые условия внесли в предполагаемый список некоторые коррективы. Прежде на пост главы правительства намечался Родзянко. Но председатель Думы был человеком амбициозным, да к тому же отличался диктаторскими замашками. Поэтому в итоге он был заменен на известного земского деятеля князя Г. Е. Львова. Тот имел характер покладистый, и это перевесило его очевидную нерешительность и безынициативность. Портфель министра иностранных дел в правительстве получил П. Н. Милюков, а военным министром стал лидер октябристов А. И. Гучков, когда-то возглавлявший парламентскую комиссию по военным делам. Позже нам придется познакомиться и с некоторыми другими министрами, а пока упомянем еще одного участника вновь сформированного кабинета. Обер-прокурором Святейшего синода, то есть главой ведомства по делам православной церкви, стал В. Н. Львов (однофамилец премьера). В Думе он был известен как великий путаник, хотя человек добрый и честный. Нам еще предстоит встретиться с ним в августе 1917-го, когда настанут тяжелые времена и правительство окажется перед серьезным выбором.

Состав правительства был во многом случайным. По словам все того же Шульгина, «на кончике стола, в этом диком водовороте полусумасшедших людей, родился этот список из головы Милюкова, причем и голову эту пришлось сжимать, чтобы она хоть что-то могла сообразить».[119] Правительство объявило себя Временным, имея в виду, что оно берет на себя власть только до созыва Учредительного собрания. Но срок его существования мог оказаться значительно короче.

В тех вариантах списка кабинета, которые ходили по Думе годом раньше, на роль министра юстиции предназначались представители партии кадетов — В. А. Маклаков или В. Д. Набоков. Теперь же этот пост был предложен Керенскому. Инициатива приглашения Керенского исходила от Милюкова. Кадетский лидер не слишком любил суетливого депутата-трудовика, но не мог не признать, что в последние дни его значимость выросла неизмеримо. Милюков понимал, что без сотрудничества с левыми правительство не проработает и недели.

Залогом этого сотрудничества он считал включение в состав кабинета Чхеидзе (в качестве министра труда) и Керенского.

Однако отношения между правительством и Советом рабочих депутатов едва не оказались разорваны в самом начале. Причиной этого стал знаменитый «Приказ № 1», адресованный полкам Петроградского гарнизона. В нем предписывалось немедленно приступить к созданию в частях и подразделениях выборных солдатских комитетов. В политическом отношении приказ подчинял гарнизон Совету рабочих депутатов. Особенно важен был пятый пункт приказа, передававший все оружие под контроль комитетов и категорически запрещавший выдачу его офицерам.

Современники считали «Приказ М 1» одной из главных причин развала армии. Провозглашенное в нем недоверие к офицерам привело к тому, что уже через короткое время за офицерством закрепилось клеймо «контрреволюционеров». По сути это был первый шаг к гражданской войне, хотя вряд ли авторы приказа сознавали это. Среди авторов прежде всего называли присяжного поверенного Н. Д. Соколова (по словам Шульгина, «человека очень левого и очень глупого»). Надо сказать, что Соколов в то время был близким соратником Керенского, хотя сам Керенский всячески открещивался от участия в создании приказа.

Так или иначе, но приказ вызвал крайнее возмущение у членов правительства. Это поставило под угрозу намечавшееся соглашение с Советом. Но лидеры Совета тоже не решались идти на полный разрыв с либералами из правительства. Около полуночи в кабинет, где заседали министры, пришла делегация Совета в составе Н. Д. Соколова, Н. Н. Суханова и Ю. М. Стеклова. Резиденция правительства представляла собой комнату, в которой стояли несколько простых канцелярских столов плюс разнокалиберные стулья и кресла. Суханов вспоминал: «Здесь не было такого хаоса и столпотворения, какие были у нас, но все же комната производила впечатление беспорядка: было накурено, грязно, валялись окурки, стояли бутылки, неубранные стаканы, многочисленные тарелки, пустые и со всякой едой, на которую у нас разгорелись глаза и зубы».[120] Голод давал себя знать, но и на то, чтобы поесть, не хватало времени. Делегация должна была найти точки соприкосновения в позициях правительства и Совета, а сделать это было непросто.

Вопрос о немедленном введении демократических свобод или объявлении всеобщей амнистии споров не вызвал. Но делегаты Совета настаивали на немедленном провозглашении России республикой, а против этого категорически был Милюков. Еще

более резкое неприятие министров вызвало предложение ввести в армии институт выборных офицеров. Споры затянулись на всю ночь. Шульгин позднее писал об этом: «Это продолжалось долго, бесконечно. Это не было уже заседание. Было так. Несколько человек, совершенно изнеможенных, лежали в креслах, а эти три пришельца сидели за столиком вместе с седовласым Милюковым. Они, собственно, вчетвером вели дебаты, мы изредка подавали реплики из глубины прострации… Керенский то входил, то выходил, как всегда — молниеносно и драматически. Он бросал какую-нибудь трагическую фразу и исчезал. Но в конце концов совершенно изнеможенный и он упал в одно из кресел…»[121]

Была уже глубокая ночь, когда переговоры окончательно зашли в тупик. Милюков упрекал представителей Совета в том, что те своими необдуманными призывами разжигают неизбежную гражданскую войну. Те, в свою очередь, недвусмысленно обвинили правительство в потакании контрреволюционным элементам. Казалось, дело идет к окончательному разрыву. Но в последний момент положение спас Керенский. Шульгин вспоминал: «Мне показалось, что я слышу слабый запах эфира. В это время Керенский, лежавший пластом, вскочил как на пружинах…

— Я желал бы поговорить с вами…

Это он сказал тем трем. Резко, тем безапелляционным шекспировским тоном, который он усвоил в последние дни…

— Только наедине… Идите за мною…

Они пошли. На пороге он обернулся:

— Пусть никто не входит в эту комнату.

Никто и не собирался. У него был такой вид, точно он будет пытать их в „этой комнате“».[122]

Через четверть часа дверь распахнулась. На пороге стоял бледный Керенский:

— Представители Исполнительного комитета согласны на уступки.

После этого проект совместной декларации был составлен довольно быстро. Правда, уже на следующее утро наметившееся соглашение было вновь разорвано. Временному правительству и Исполкому Совета понадобится еще больше недели, для того чтобы выработать хотя бы примерные правила взаимодействия. Но мы пишем не историю революции, а биографию Керенского. А потому важно заметить, что именно Керенский был в февральско-мартовские дни тем связующим звеном, которое сохраняло неустойчивый контакт двух органов, претендовавших на верховную власть. Это обстоятельство делало его незаменимым и для тех, и для других. Мы уже писали, что этим было обусловлено

само появление Керенского в составе правительства. Та же причина заставила Совет санкционировать его вхождение в кабинет.

«ЗАЛОЖНИК ДЕМОКРАТИИ»

Вступлению Керенского в состав Временного правительства мешало одно весьма важное обстоятельство. Дело в том, что накануне Исполком Совета большинством 13 голосов против восьми принял решение не участвовать в формировании кабинета и не посылать в него своих представителей. Таким образом, соглашаясь занять кресло министра юстиции, Керенский шел на конфликт с руководством Совета.

На дворе стояла глубокая ночь. Керенский не был у себя на квартире три дня и лишь мельком видел жену, которая пришла в Таврический дворец искать пропавшего супруга. Чувствуя страшную усталость, он решил добраться домой, чтобы поспать хотя бы до утра. Но уснуть ему так толком и не удалось. Позже он писал: «Два-три часа я провел в полуобморочном состоянии как в бреду. Потом вдруг вскочил на ноги, получив в конце концов ответ на вопрос, о котором, казалось, забыл. Решил немедленно звонить сообщить, что принимаю пост во Временном правительстве и буду объясняться не с Исполнительным комитетом, а с самим Советом. Пусть он решает проблему, возникшую между Исполнительным комитетом и мной!»[123]

По словам Керенского, главной причиной, заставившей его принять такое решение, была тревога за судьбу находящихся в «министерском павильоне» сановников. Спасти их от расправы мог, по его мнению, только он сам и никто другой. Однако будем осторожны, принимая это объяснение. Керенский принадлежал к любопытной категории, не так часто встречающейся среди обычных граждан, зато среди политиков — сплошь и рядом. Такие люди предельно искренни в своих словах и убеждениях, они несомненные идеалисты и альтруисты. Но почему-то при всем своем альтруизме они неизменно получают выгоду в любой ситуации.

Главное — убедить себя, после этого убедить других гораздо проще. В конкретной ситуации Керенского это было совсем несложно. В отличие от Исполкома, где заседали люди достаточно образованные, на пленуме Совета преобладали представители фабрик и гарнизонных частей. На них Керенский надеялся повлиять своим красноречием.

Показательно, что о своем окончательном решении принять министерский портфель Керенский тут же по телефону сообщил Милюкову, получив у того полное одобрение. Ему и в голову не пришло звонить кому-то из Исполкома Совета. Его противники должны были оставаться в неведении вплоть до последней

минуты.

Заседание Совета началось около двух часов дня. Керенский появился в Таврическом дворце к этому сроку, но в зал заседаний не пошел, оставшись в соседней комнате, отделенной от зала занавеской. По словам Суханова, он выглядел уверенным и отдохнувшим. От нервного возбуждения предыдущей ночи не осталось и следа. Кто-то из находившихся в комнате попытался вызвать Керенского на спор, но тот отвечал вяло, явно прислушиваясь к происходившему в зале заседаний.

В зале член Исполкома Ю. М. Стеклов (в ту пору меньшевик, а в недалеком будущем — верный приверженец большевизма) делал доклад о результатах переговоров с Временным комитетом Государственной думы. Его речь затянулась больше чем на час. Наконец раздались аплодисменты, свидетельствующие о том, что оратор закончил говорить. В этот момент Керенский неожиданно вскочил и бросился в зал. Он попытался пробиться к президиуму, но плотная толпа не давала ему пройти. Тогда Керенский взобрался на стол, стоящий тут же, в конце зала, и отсюда громко попросил слова. Кто-то из собравшихся повернулся на его голос, раздались неуверенные хлопки.

Керенский начал в своей излюбленной манере — тихо, почти шепотом, постепенно повышая голос до крика. Суханов вспоминал: «Бледный как снег, взволнованный до полного потрясения, он вырывал из себя короткие отрывистые фразы, пересыпая их длинными паузами… Речь его, особенно вначале, была несвязна и совершенно неожиданна, особенно после спокойной беседы за занавеской…»[124]

— Товарищи, доверяете ли вы мне? — обратился Керенский к собравшимся. Естественно, что из зала послышались голоса: «Да, да! Доверяем!»

— Товарищи! — продолжал оратор. — Я говорю от всей глубины моего сердца, я готов умереть, если это будет нужно. Товарищи, в настоящий момент образовалось. Временное правительство, в котором я занял пост министра. Товарищи, я должен был дать ответ в течение пяти минут и потому не имел возможности получить ваш мандат…

Товарищи, в моих руках находятся представители старой власти, и я не решился выпустить их из своих рук. Я принял сделанное мне предложение и вошел в состав Временного правительства в качестве министра юстиции. Немедленно по вступлении на пост министра я приказал освободить всех политических заключенных и с особым почетом препроводить их из Сибири сюда к нам, наших товарищей-депутатов, членов социал-демократической фракции IV Думы и депутатов II Думы.

Освобождаются все политические заключенные, не исключая и террористов.

Далее последовало самое главное.

— Ввиду того, что я взял на себя обязанности министра юстиции раньше, чем я получил от вас формальные полномочия, я слагаю с себя обязанности товарища председателя Совета рабочих депутатов. Но я готов новь принять от вас это звание, если вы признаете это нужным.[125]

Реакцию собравшихся несложно было предугадать. Сам Керенский позже утверждал, что его вынесли из зала на руках, хотя другие очевидцы вспоминают об этом в менее патетических тонах. Но несомненно, что главного Керенский добился — теперь оспаривать его решение принять министерский портфель стало просто невозможно.

Многократно растиражированная прессой речь Керенского сделала его известным всей стране. Депутат Керенский тоже не любил находиться в тени, но его популярность не выходила за рамки ничтожного круга читателей, способных одолеть газетные отчеты о думских дебатах. Сейчас на глазах рождался новый Керенский — не чинный парламентарий, а революционный трибун. Уже в этом первом его выступлении в новом качестве проявилось то, что станет причиной неслыханного взлета Керенского и последующего стремительного краха.

Стараясь соблюдать предельную объективность, мы все же вынуждены сказать — Керенский повел себя как чистой воды демагог. Но, с другой стороны, надо отдать должное его умению ориентироваться в новой для него ситуации. Он интуитивно понял, что непривычную к речам аудиторию не проймешь обычными приемами парламентского оратора. Ей требовалось что-то посильнее. Отсюда и заявления о своей готовности умереть прямо здесь и сейчас. Никто из столпов адвокатуры или политиков старой школы никогда не позволил бы себе такого, а у Керенского это сработало, да еще как.

За эффектными ораторскими конструкциями незамеченным прошло главное. Строго говоря, никакой формальной санкции на свое вступление в правительство Керенский так и не получил. Голосования по этому вопросу не было, и заменить таковое бурные аплодисменты не могли. Но для самого Керенского этого было вполне достаточно. Долгим уговорам членов Исполкома он предпочел прямое обращение к толпе. В дальнейшем он будет поступать именно так. Поначалу это будет приносить неизменный успех, но конечные результаты такого поведения станут крайне печальны. Керенский окажется один, он сам поставит себя в такое положение — одинокий оратор перед восторженной массой

слушателей. Его не поддерживала и не будет поддерживать ни одна партия, ни одна политическая сила. Восторг, всеобщее обожание станут тем единственным, на чем основывалось его положение. Как показало будущее, это был очень неустойчивый фундамент.

Для самого Керенского его дебют в роли революционного вождя дался непросто. Видевшие его в эти минуты вспоминают, что он едва не падал в обморок. Какие-то люди поддерживали его, кто-то пытался налить в стакан успокаивающей микстуры. Но когда он наконец заговорил, в голосе его звучало торжество. Керенский обладал удивительной способностью вживаться в очередной образ. Сейчас он ощущал себя «заложником демократии», и каждый шаг его, каждая деталь в поведении и внешнем облике должны были подчеркивать это. Революционный министр начинал свою карьеру, и об этом обязана была узнать вся Россия.

ОТРЕЧЕНИЕ

В те самые минуты, когда Керенский объявлял Исполкому Совета о своем намерении занять министерский пост, по соседству, в большом зале Таврического дворца, выступал Милюков. В то время такие речи были в новинку, и помещение было набито битком. Наконец дело дошло до вопросов.

— А кто вас выбрал? — крикнули из толпы.

— Нас выбрала русская революция! — ни на секунду не поколебавшись, отвечал Милюков.

Зал взорвался овациями. Мало кто понял, что оратор просто обошел скользкую проблему. Действительно, Временное правительство никто не выбирал и никто не уполномочивал брать власть. По сути дела, его образование было результатом кулуарного сговора нескольких человек. Но главная беда была даже не в сговоре, а в том, что новое правительство было далеко не единодушно во взглядах на настоящее и будущее страны. Это наглядно стало видно уже в ближайшие часы.

Даже опытному парламентскому оратору Милюкову пришлось непросто, когда из зала прозвучал вопрос о будущем царя и династии. Предвидя негативную реакцию на свои слова, он начал с оговорки:

— Я знаю наперед, что мой ответ не всех вас удовлетворит. Но я скажу его. Старый деспот, доведший Россию до полной разрухи, добровольно откажется от престола — или будет низложен. Власть перейдет к регенту великому князю Михаилу Александровичу. Наследником будет Алексей.

Из зала послышались крики:

— Это старая династия!

Да, господа, это старая династия, которую, может быть, не любите вы, а может быть, не люблю и я. Но дело сейчас не в том, кто что любит. Мы не можем оставить без ответа и без разрешения вопрос о форме государственного строя. Мы представляем его себе как парламентарную и конституционную монархию. Быть может, другие представляют иначе. Но если мы будем спорить об этом сейчас, вместо того, чтобы сразу решить вопрос, то Россия окажется в состоянии гражданской войны и возродится только что разрушенный режим.[126]

Милюкова все же проводили аплодисментами, хотя и не столь бурными, как вначале. Однако уже вечером в Таврический дворец начали поступать многочисленные резолюции протеста, принятые на всевозможных митингах и собраниях. Свое недовольство стремлением правительства сохранить монархию

высказал и Исполком. От Милюкова отмежевались и другие министры, заявившие, что сказанное им является сугубо его личным мнением.

Тем не менее вопрос о царе нужно было как-то решать. В тот же самый день, около трех часов пополудни, из Петрограда выехала делегация Временного комитета. Ее участники — А. И. Гучков и В. В. Шульгин должны были разыскать Николая II и убедить его подписать отречение в пользу сына. Разыскать, потому что еще двумя днями ранее царский поезд покинул Ставку, направляясь в столицу. Позже стало известно, что от станции Малая Вишера поезд повернул на Псков ввиду слухов, что дальнейший путь на Петроград уже перекрыт мятежниками.

В Пскове Николай II рассчитывал найти поддержку в лице главнокомандующего Северным фронтом генерала Н. В. Рузского. Однако тот отнюдь не был настроен поднимать войска на защиту трона. Когда-то генерал присягал на верность царю и отечеству. Когда между ними пришлось выбирать, Рузский колебался недолго. Все предыдущие дни он регулярно получал информацию о происходящем в Петрограде и был куда лучше, чем император, осведомлен о том, как далеко зашли события. Ранним утром 2 марта, когда царский поезд уже находился в Пскове, Рузский связался по телеграфу с Родзянко. Тот сообщил, что время уступок прошло и единственным выходом является отречение Николая в пользу наследника.

В 10 часов утра Рузский появился в императорском салон-вагоне и положил на стол перед царем ленту телеграфных переговоров с Родзянко. Как позже рассказывал журналистам сам генерал, царь воспринял новость сдержанно и внешне спокойно. Он сказал, что для блага России готов отречься от престола, но боится, что народ этого не поймет. У Рузского был в запасе еще один аргумент. Его телеграфные переговоры с Родзянко синхронно передавались в Ставку, где за происходящим пристально следил начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал М. В. Алексеев. От его имени главнокомандующие всех пяти фронтов циркулярной телеграммой были запрошены о их отношении к возможности отречения. Сейчас Рузский предъявил копию этой телеграммы царю.

Для Николая II должно было стать неприятным сюрпризом то обстоятельство, что Алексеев фактически солидаризировался с Родзянко. Правда, оставалась надежда на то, что главнокомандующие выскажутся в поддержку своего монарха. Но к трем часам дня в Пскове были получены ожидавшиеся ответы. Все запрошенные генералы, включая великого князя Николая

Николаевича, сообщали, что, по их мнению, альтернативы отречению нет. Тогда же на простом телеграфном бланке царь набросал короткий текст манифеста и отдал его Рузскому для передачи на телеграф. Но Рузский не успел этого сделать, поскольку из Петрограда поступило сообщение о том, что в Псков выехали представители Временного комитета Государственной думы. В этой связи было решено задержать обнародование отречения до их прибытия.

Гучков и Шульгин добрались до Пскова уже в одиннадцатом часу вечера. Почти сразу их провели в царский поезд. Николай II принял посланцев из столицы в гостиной, обтянутой зеленым шелком. При разговоре присутствовали также министр двора граф В. Б. Фредерике и присоединившиеся чуть позже генерал Н. В. Рузский и начальник штаба фронта генерал Ю. Н. Данилов.

Царь как обычно был внешне спокоен. Думские посланцы выглядели значительно хуже. Генерал Данилов вспоминал: «Депутаты были одеты по-дорожному, в пиджаках, и имели помятый вид. Очевидно, на них отразились предыдущие бессонные ночи, путешествия и волнения. Особенно устало выглядел Шульгин, к тому же, как казалось, менее владевший собой. Воспаленные глаза, плохо выбритые щеки, съехавший несколько на сторону галстук вокруг измятого в дороге воротничка».[127] Разговор начал Гучков. Глухим голосом, не глядя на собеседника, он объяснял, что революция — свершившийся факт, что спасти страну и монархию может только отречение императора в пользу сына.

Гучков говорил довольно долго. Когда он закончил, царь ответил: «Я принял решение отречься от престола. До трех часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына Алексея. Но к этому времени я переменил решение в пользу брата Михаила. Надеюсь, вы поймете чувства отца».[128] Это стало неожиданностью, но ни у кого из присутствовавших не хватило сил пускаться в споры. В итоге был подготовлен текст манифеста об отречении. По просьбе Шульгина он был датирован тремя часами пополудни, хотя на деле приближалась полночь. После короткого ужина у Рузского делегаты отправились в обратный путь, предварительно телеграфировав в Петроград об итогах своей миссии. Ответа они дожидаться не стали и потому не знали, какой переполох в столице произвела их телеграмма.

Министры новорожденного Временного правительства не спали четвертую ночь подряд. Энергии ни у кого не оставалось, и потому разговоры носили вялый и отрывочный характер. Откинувшись на стуле, дремал Милюков. В углу комнаты Керенский о чем-то тихо беседовал с министром путей сообщений

Н. В. Некрасовым. Наконец около трех часов ночи 3 марта 1917 года была получена долгожданная телеграмма от Гучкова и Шульгина. Затишью мгновенно пришел конец. Керенский ракетой взвился с места: «Михаил — император? Немыслимо, просто безумие!» Напомним, что накануне на заседании Исполкома Совета Керенский публично объявил себя республиканцем. Впрочем, значение этого заявления не стоит преувеличивать. Республика, амнистия, всеобщие выборы традиционно были частью символа веры любого представителя левой интеллигенции. Большинство из них при этом не слишком задумывались о том, почему республика лучше монархии. Позиция Керенского была для него совершенно естественной. Удивительно другое — большинство его коллег по кабинету тоже без энтузиазма восприняли идею воцарения Михаила. На них, очевидно, повлияло настроение улиц, министры просто боялись, что революционная стихия сметет и их, если они выскажутся в поддержку монархии.

Единственным, кто не колеблясь высказался в пользу сохранения трона, был Милюков. Он отнюдь не был принципиальным монархистом, но в его понимании преемственность власти была единственным способом избежать эскалации анархии. Несмотря на ночное время и усталость, Керенский и Милюков тут же вступили в жесткую полемику. К счастью, это продолжалось недолго — у спорщиков попросту не было сил. Сошлись на том, что с обнародованием царского манифеста следует подождать, а тем временем встретиться с Михаилом и выяснить его позицию.

Известно было, что великий князь находится в Петрограде, но где именно его искать, никто не знал. Наконец удалось выяснить, что Михаил перебрался из Зимнего дворца в дом княгини Путятиной, здесь же, по соседству, — на Миллионной, 12. Рано утром, как только позволили приличия, Керенский позвонил по добытому номеру телефона. Оказалось, что великий князь тоже не спал всю ночь. В ответ на переданную ему просьбу он немедленно согласился встретиться с министрами.

Перед самым отъездом из Таврического дворца Милюков наудачу позвонил на вокзал и выяснил, что Гучков и Шульгин только что вернулись в столицу. Тем не менее было решено их не дожидаться, а предложить им прямо проехать на Миллионную. На встречу с великим князем члены правительства выехали на двух автомобилях. Не доезжая дома княгини Путятиной, машины оставили у тротуара и дальше пошли пешком, чтобы не привлекать нежелательного внимания. Великий князь принял визитеров в гостиной на втором этаже. Он был заметно

взволнован — известие об отречении стало для него полной неожиданностью. Что-то говорили Керенский и Род-зянко, затем слово взял Милюков. Он говорил долго, больше часа, явно затягивая время. Нетрудно было понять, что Милюков ждет появления Гучкова и Шульгина.

Между тем вернувшимся из Пскова эмиссарам Временного комитета пришлось пережить на вокзале несколько неприятных минут. Гучков попытался объявить о воцарении Михаила рабочим железнодорожного депо и едва избежал физической расправы. К счастью, у депутатов нашлись добровольные помощники, сумевшие добыть автомобиль. На всякий случай Гучкову и Шульгину дали вооруженную охрану, но главной охранной грамотой и универсальным пропуском был огромный красный флаг, развевавшийся над сиденьем водителя. Шульгин вспоминал: «Мы неслись бешено… День был морозный, солнечный… Город был совсем странный — сумасшедший, хотя и тихим помешательством… пока… Трамваи стали, экипажей, извозчиков не было совсем… Изредка проносились грузовики с ощетиненными штыками. Куда? Зачем? Все магазины закрыты, но самое странное то, что никто не ходит по тротуарам, все почему-то выбрались на мостовую. И ходят толпами. Главным образом толпы солдат. С винтовками за плечами, не в строю, без офицеров — ходят толпами, без смысла… И на лицах не то радостное, не то растерянное недоумение…»[129]

В особняке на Миллионной думские эмиссары появились как раз вовремя — Милюков уже заканчивал свою речь. Хриплым голосом он, по словам Шульгина, не говорил, а каркал: «Если вы откажетесь, ваше высочество, будет гибель. Потому что Россия… Россия теряет свою ось. Монарх это ось, единственная ось страны…» Аргументы Милюкова были понятны, но все же мало кого убедили. Из всех присутствовавших только Гучков высказался в поддержку кадетского лидера. Даже Родзянко, даже искренний монархист Шульгин (видимо, впечатленный увиденным на улицах) не рискнули солидаризироваться с Милюковым.

Позицию большинства собравшихся высказал Керенский: «Ваше высочество, мои убеждения — республиканские. Но сейчас разрешите вам сказать как русский — русскому. Павел Николаевич Милюков ошибается. Приняв престол, вы не спасете Россию. Наоборот. Перед лицом внешнего врага начнется гражданская внутренняя война. Умоляю вас во имя России принести эту жертву. С другой стороны, я не вправе скрыть здесь, каким опасностям подвергаетесь вы лично в случае решения принять престол. Во всяком случае, я не ручаюсь за жизнь вашего

высочества».

Михаил молча выслушал всех и попросил время подумать. Он пригласил с собой Родзянко и вместе с ним вышел в соседнюю комнату. Как позже вспоминал Родзянко, великий князь задал единственный вопрос — может ли правительство гарантировать ему жизнь, если он согласится занять трон.[130] Родзянко был вынужден ответить отрицательно. Похоже, что Михаил уже принял решение — его уединение с Родзянко продолжалось не более четверти часа. Выйдя к ожидавшим его членам правительства, он сказал:

«В этих условиях я не могу принять престола».

Керенский немедленно сорвался с места: «Вы совершаете благородный, поистине патриотический поступок. Обязуюсь довести это до всеобщего сведения и позаботиться о вашей защите». Часы в гостиной пробили полдень. Тут же был составлен текст отречения Михаила, который вместе с манифестом Николая И в тот же день был опубликован в газетах.

Принято считать, что время все расставляет по своим местам. Но почти столетие, прошедшее с того рокового дня, так и не внесло ясности в вопрос: кто же был прав, Милюков или Керенский? Историки позднейших лет, в зависимости от своих политических симпатий, обвиняли Керенского в том, что он уничтожил последний шанс сохранить монархию, или воздавали ему хвалу за предотвращение гражданской войны. Но насколько реально в той ситуации было воцарение Михаила? Позже Шульгин писал: «Принять престол сейчас — значило во главе верного полка броситься на социалистов и раздавить их пулеметами».[131] Но этого полка не было. Не было ни в Петрограде, ни в Москве, ни на фронте. Фронт, продолжавшаяся война с Германией стали вечным проклятием русской революции. Любой решительный шаг немедленно вызывал вопрос: а как это отразится на положении фронта? В итоге в течение всего периода пребывания у власти Временное правительство колебалось и осторожничало. В конечном счете кровь все равно пролилась, но тот факт, что Россия все же получила восемь месяцев свободы, был определен в особняке на Миллионной.

«ДИКТАТУРА АДВОКАТУРЫ»

В здании своего министерства на Екатерининской Керенский появился только 4 марта. Все предыдущие дни Министерство юстиции не работало, как и другие правительственные учреждения. Прежний министр Н. А. Добровольский был арестован, а новый никак не мог добраться до места службы. В министерство Керенский прибыл на автомобиле. У входа его уже ждала толпа журналистов. Под прицелом фотокамер Керенский демонстративно пожал руку министерскому швейцару. Старый швейцар Моисеев, прослуживший на этом месте не один десяток лет, от неожиданности отпустил дверь, которую услужливо распахнул, и она с шумом захлопнулась прямо перед носом нового хозяина особняка.

В газеты эта история попала в причесанном виде как свидетельство демократизма нового министра. Прошло пять лет, и уже в эмиграции писатель Аркадий Аверченко обращался к Керенскому: «Знаете ли вы, с какого момента Россия пошла к погибели? С того самого, когда вы, глава России, приехали в министерство и подали курьеру руку».[132] С тем, к чему ведет игра в демократию, Керенскому пришлось столкнуться буквально на следующий день. Вместе с несколькими спутниками он отправился на автомобиле в Зимний дворец. Рядом с шофером уселся какой-то солдат — то ли для охраны министра, то ли просто желая прокатиться по городу. Неожиданно на Садовой автомобиль остановился, а солдат выскочил и куда-то побежал. Керенский спросил у водителя, что это значит, и получил ответ, что солдат приказал остановиться, так как хочет купить газету. Керенский вспыхнул: «Что за безобразие! Поезжайте дальше немедленно. Пусть он пешком идет».[133] Однако дело было сделано, и Керенскому приходилось потом вести бесконечные переговоры с делегатами от курьеров и младших письмоводителей, убеждать чиновников различных департаментов, желающих поставить начальником выборного из своей среды.

В результате текущая работа быстро пришла в запустение, тем более что и Керенскому она наскучила уже недели через две-три. Один из современников так описывал атмосферу в доме на Екатерининской: «Самый внешний вид когда-то аккуратно содержимого помещения выглядел теперь неряшливо, чему немало способствовали загрязнившиеся красные тряпицы, развешанные кое-где, в виде революционных эмблем. Курьеры и сторожа бестолково мыкались от двери к двери, не понимая, кого

нужно просителям, которые толпились массами в министерских коридорах и расходились, не добившись толка. Все, вместе взятое, производило впечатление какого-то временного пристанища пришлых людей».[134] Новый министр предпочитал делать «большую политику», предоставив мелочи другим.

Адвокат А. А. Демьянов, ставший директором одного из департаментов Министерства юстиции, позже вспоминал: «Беседовать с Керенским о делах было чрезвычайно трудно: его почти никогда нельзя было захватить; у него никогда не было ни одной свободной минуты. Я стал ходить к нему рано утром, когда он вставал и пил кофе. Тут на лету происходили у меня с ним все переговоры».[135] Это был характерный для Керенского стиль. Точно так же он будет вести себя и на посту военного министра, и тогда, когда займет премьерское кресло.

Но в первые дни пребывания в качестве министра юстиции Керенскому еще нравилось играть роль карающей десницы правосудия. Направлена она была в первую очередь против высших чинов судебного ведомства и прокуратуры, сделавших карьеру при старом режиме. Новый министр отправлял их в отставку десятками. Это невольно вызывало в памяти поведение худших из прежних министров юстиции. Один из современников писал, что «в лице Керенского судебное ведомство приобрело левого Щегловитова; пусть Керенский искренне толковал, что хочет поставить правосудие в России на недосягаемую высоту, но поступками своими кривил его влево, как Щегловитов вправо».[136] Кандидатов на освобождающиеся должности новый министр искал прежде всего в знакомой ему среде. Кабинеты министерского особняка на Екатерининской заполнили адвокаты всех мастей и рангов.

Товарищем (заместителем) министра стал петроградский адвокат А. С. Зарудный, в прошлом один из защитников Бей-лиса. На важнейший пост прокурора Петроградской судебной палаты был назначен другой столичный адвокат — П. Н. Пе-реверзев. Целый ряд представителей адвокатского цеха получил места сенаторов, в том числе Н. Д. Соколов — автор знаменитого «Приказа № 1». Помимо прочего, он был одним из руководителей Петроградского совета, но вот оно честолюбие — представляться он все же предпочитал «сенатор Соколов».

Даже самые опытные адвокаты (а может быть, опытные и в первую очередь) имеют весьма специфический угол зрения и на законы, и на процесс судопроизводства. Керенскому в силу молодости и отсутствия практики не хватало знаний во многих областях юстиции. Однако, вместо того чтобы привлечь людей, такими знаниями обладающих, он еще более ослабил свое

ведомство, сделав ставку исключительно на коллег по профессии. В результате сложилась ситуация, которую современники не без иронии называли «диктатурой адвокатуры».

Представителям адвокатской корпорации вообще свойственно переоценивать значение слова, и потому задуманные реформы потонули в обилии разговоров. «В здании Министерства юстиции, во всех углах, и утром, и по вечерам, заседали комиссии. Либеральные профессора-юристы наслаждались в них своим собственным, долго сдерживаемым красноречием. Уголовники (специалисты по уголовному праву. — В. Ф.) Чубинский и Люблинский побивали в этом отношении все рекорды, не уступал им только все еще красноречивый А. Ф. Кони, который, после переговоров с Керенским, согласился принять должность первоприсутствующего сенатора в уголовном кассационном департаменте. Товарищ нового министра, А. С. Зарудный, председательствуя, руководил прениями, не отказывая и себе в удовольствии высказывать свое мотивированное суждение по поводу каждого высказанного мнения.

Общая комиссия подразделялась на специальные, а эти последние на подкомиссии и на бюро докладчиков. Кто только в них не заседал. Тут были и вновь испеченные сенаторы, из адвокатов, и из, бывших прежде в загоне, либеральных судебных деятелей, и вновь назначенные прокуроры и председатели палат и окружных судов, и некоторые чины прежнего министерства, зарекомендовавшие себя, так или иначе, либерально. Но адвокаты всюду преобладали».[137]

Будучи рожденным революцией, Временное правительство сочетало в себе законодательную и исполнительную власть. В чрезвычайных условиях это было и неплохо, поскольку позволяло принимать законы без долгого обсуждения в парламенте. Но на практике это преимущество зачастую терялось из-за того, что любое начинание тонуло в комиссиях и комитетах, а подчас и сознательно тормозилось в силу межведомственного соперничества. Задним числом вспоминая первые мартовские недели, многие современники характеризовали их как время упущенных возможностей.

Впрочем, сделано все же было немало. Надо отдать должное Керенскому — именно его министерство было инициатором наиболее радикальных перемен. Закон от 20 марта 1917 года отменял национальные и вероисповедные ограничения на свободу передвижения, поступление на государственную службу и учебу. Этим окончательно были уничтожены пресловутая еврейская черта оседлости и иные дискриминационные меры в отношении евреев. Постановлением от 12 марта Временное

правительство отменило смертную казнь. Была уничтожена цензура, сняты запреты на деятельность политических партий и общественных организаций. Даже критики правительства признавали, что Россия за счи-таные дни превратилась в самую свободную из воюющих стран. Другое дело, что внезапная свобода больно ударила по порядку и дисциплине. В короткий срок свобода переродилась во вседозволенность, а демократию заменила диктатура толпы. Примером может служить история знаменитых «птенцов Керенского».

Мы уже писали о том, что политическая амнистия и всеобщие выборы были главными лозунгами русской радикальной интеллигенции как минимум с девятьсот пятого года. Поэтому в первые же часы своего пребывания в должности министра юстиции (и не успев еще добраться до министерства) Керенский подписал распоряжение, предписывавшее немедленно освободить из тюрем всех политических заключенных. Эта телеграмма поступила на места днем 3 марта, когда в большинстве городов переворот стал уже свершившимся фактом. Новые революционные власти поспешили открыть двери тюрем, не особо разбираясь в том, за что были осуждены их обитатели. Террористы, на счету которых были жизни невинных людей, участники бандитских экспроприаций вышли на свободу как жертвы старого режима.

В предреволюционной России сложно было провести грань между уголовной и политической преступностью. Либеральная общественность аплодировала убийцам царских сановников. Но это сочувствие было косвенным оправданием убийства как такового. Не случайно Борис Савинков устами героя одного из своих романов задавался вопросом: «Я не понимаю, почему одних людей убивать можно, а других нет?» Кстати, Савинков — террорист с немалым опытом, как и другой его сотоварищ по партии эсеров — убийца Гапона Петр Рутенберг, вскоре занял министерское кресло во Временном правительстве.

Как правило, в тюрьмах уголовники и политические сидели бок о бок, и освобождение «политиков» вызвало брожение среди тех, кто оставался за решеткой. Массовые волнения заключенных имели место в Москве, Ярославле, Ростове, Красноярске. Это побудило нового министра юстиции 14 марта разослать на места телеграмму, где говорилось о том, что «в ближайшем будущем последует приказ о сокращении для всех осужденных сроков наказания и об условном освобождении для некоторых из них». Через три дня, 17 мая 1917 года, Временным правительством было принято постановление «Об облегчении участи лиц, совершивших уголовные преступления». В нем была объявлена

амнистия по отношению к целому ряду категорий заключенных: достигшим шестидесяти лет, больным и увечным и т. д. Отдельная статья постановления предполагала освобождение лиц, не входивших в эти категории, но изъявивших желание добровольно вступить в ряды действующей армии.[138]

Многие обитатели тюрем поспешили воспользоваться этой возможностью. Однако бывшие дезертиры и уголовники, как правило, не желали воевать, при первой возможности дезертировали и вообще своим присутствием разлагали и без того неустойчивые фронтовые части. По этой причине 10 июля 1917 года приказом по военному министерству было введено уточнение: добровольцы из числа бывших уголовников отныне зачислялись в строй только с согласия полковых комитетов. В течение месяца полковые комитеты должны были представить письменный отзыв о поведении вновь прибывших. Если отзыв был отрицательным, то вчерашних арестантов было предписано препровождать обратно для отбытия оставшихся сроков заключения.[139] Естественно, что на практике это чаще всего сделать было невозможно.

Освобождение сначала политических, а потом части уголовных заключенных внесло полную дезорганизацию в тюремную жизнь. Меры, предпринимавшиеся либералами из Министерства юстиции, только добавляли масла в огонь. Вновь назначенный начальник Главного управления мест заключения профессор А. В. Жиделенко первым своим приказом от 8 марта 1917 года упразднил применение оков и темных карцеров. Исходя из «необходимости признавать в заключенных личное человеческое достоинство», было предписано удалить из их одежды «все отличия, унижающие заключенных в их собственных глазах и в глазах общества». Большинство уголовного населения тюрем восприняло эти гуманные шаги как разрешение на вседозволенность. Местные же власти, дабы избежать обвинений в «реакционности», в конфликтах между тюремным начальством и заключенными предпочитали становиться на сторону последних.

Постановление от 17 марта предполагало освобождение только тех заключенных, которые характеризовались примерным поведением. Фактически же на свободе оказались даже самые матерые рецидивисты. В народе их прозвали «птенцами Керенского». Уровень преступности в стране немедленно взлетел вверх. В криминальной статистике преобладали кражи, но возросло число и более тяжких преступлений, тем более что оружия, благодаря дезертирам, было хоть отбавляй. Именно в это время в обиход вошло ранее неизвестное слово «бандиты».

Известно, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Либеральные адвокаты и профессора, пришедшие с Керенским в Министерство юстиции, были движимы самыми гуманными побуждениями, но их действия лишь усугубили надвигавшийся хаос. К тому же общую линию нового министра трудно было назвать объективной и сбалансированной. Тюремные камеры, освобожденные выпущенными на свободу уголовниками, недолго оставались пустыми. Очень скоро их заполнили арестованные деятели старого режима.

ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ

Самым известным узником революции был, конечно, отрекшийся император. Из Пскова царь отправился в Ставку, в Могилев, для того чтобы попрощаться с войсками. 8 марта он подписал последний приказ по армии: «Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестную нашу Родину, повинуйтесь Временному правительству, слушайтесь ваших начальников. Помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу. Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспримерная любовь к нашей великой Родине. Да благословит вас Господь Бог, да ведет вас к победе Святой Великомученик и Победоносец Георгий».

Подписывая этот документ, царь не знал, что еще накануне, 7 марта, Временное правительство постановило признать Николая II и его супругу лишенными свободы. Отрекшегося императора было предписано доставить в Царское Село. Императрица Александра Федоровна была арестована еще за два дня до этого. Арест императрицы лично осуществил новый главнокомандующий Петроградским военным округом генерал Л. Г. Корнилов, чья судьба в скором времени так тесно переплетется с судьбой Керенского.

Днем 9 марта императорский поезд прибыл в Царское Село. На перроне главного пассажира уже ждала охрана. Автомобиль доставил его в Александровский дворец, где бывший царь наконец смог увидеться с женой и детьми. Впрочем, его надежды на воссоединение с семьей сбылись не в полной мере. Оказалось, что бывшего царя и царицу предписано содержать отдельно, позволяя им общаться только в течение нескольких часов днем. Это было частью инструкции по содержанию арестованных, разработанной лично Керенским. Она обязывала членов царской семьи не покидать помещения без особого на то разрешения. Для прогулок были отведены специальные места в парке, обязательно огороженные от внимания посторонних. Всякие свидания с арестованными были запрещены, и любое исключение из этого правила допускалось только с личного разрешения Керенского. Вся корреспонденция царской семьи подлежала обязательной цензуре.

Сам Керенский не спешил встретиться с бывшим императором. Прежде ему никогда не приходилось общаться с Николаем II, и его представления о царе были вполне в духе того, что писала на этот счет левая пресса. Керенскому виделся громкий процесс над «тираном», способный стать достойной точкой в истории великой революции. Известный адвокат Н. П.

Карабчевский передал в воспоминаниях свой разговор с Керенским, состоявшийся как раз в эти дни. Новый министр юстиции предложил Карабчевскому сенатское кресло, но тот отказался, сказав, что предпочитает остаться в прежнем статусе.

— Я еще пригожусь в качестве защитника…

— Кому? — с улыбкой спросил Керенский. — Николаю Романову?..

— О, его я охотно буду защищать, если вы затеете его судить.

Далее произошло то, что стало для Карабчевского полной неожиданностью. «Керенский откинулся на спинку кресла, на секунду призадумался и, проведя указательным пальцем левой руки по шее, сделал им энергичный жест вверх. Я и все поняли, что это намек на повешение. — Две, три жертвы, пожалуй, необходимы! — сказал Керенский, обводя нас своим не то загадочным, не то подслеповатым взглядом благодаря тяжело нависшим на глаза верхним векам».[140]

Вряд ли Карабчевский придумал эту сцену — и причин для того у него особых не было, да и само это поведение очень вписывается в характерную для Керенского театральную манеру. Сейчас он играл революционного вождя — Робеспьера, Дантона, Сен-Жюста. Но и преувеличивать значение сказанного тоже не стоит. Мы уже писали о том, что по характеру своему Керенский был отнюдь не кровожаден. К тому же несколькими днями раньше, а именно — 7 марта 1917 года, выступая на заседании Исполкома Московского совета, он прямо сказал: «Временное правительство взяло на себя ответственность за личную безопасность царя и его семьи. Это обязательство мы выполним до конца. Царь с семьей будет отправлен за границу, в Англию. Я сам довезу его до Мурманска».[141]

Первое свидание революционного министра со свергнутым монархом состоялось только 21 марта, спустя почти три недели после отречения. Керенский в сопровождении свиты появился в Александровском дворце после полудня. Первым делом он собрал в коридоре всю прислугу и караульных и обратился к ним с речью, призывая бдительно охранять вверенных им арестантов. Свидетелю этой сцены запомнился облик министра: «Он был одет в высокие сапоги, синий френч, наглухо застегнутый, без признаков белья и напоминал рабочего в воскресном костюме. Его движения были резкими и отрывистыми, он не ходил, а бегал по комнатам, говоря громко, очень быстро. У него был бегающий взгляд и несимпатичное лицо».[142]

Через гофмаршала двора графа П. К. Бенкендорфа Керенский попросил доложить царю, что хотел бы встретиться с ним и императрицей. Некоторое время ему пришлось подождать. Как

позже он сам писал об этом, в эти минуты его охватило невольное волнение. Вспоминал ли вождь победившей революции, как гимназистом он рыдал на панихиде по отцу того, кого сейчас он приехал карать и миловать?

Вернулся Бенкендорф: «Его Величество милостиво согласился принять Вас». Керенский вспоминал: «Вся семья в полной растерянности стояла вокруг маленького столика у окна прилегающей комнаты. Из этой группы отделился невысокий человек в военной форме и нерешительно, со слабой улыбкой на лице направился ко мне… Я быстро подошел к Николаю II, с улыбкой протянул ему руку и отрывисто произнес: „Керенский“, как делал обычно, представляясь кому-либо». Далее последовала краткая беседа, а напоследок бывший царь, по словам Керенского, даже пожелал ему успехов на государственном посту.[143]

Удивительное дело — человеческое восприятие. Та же самая сцена в описании Бенкендорфа выглядит сосем по-друго-му. «Керенский вошел один. Остановившись на пороге, он сделал что-то вроде поклона и назвал себя: „Министр юстиции“… Взволнованный, с дрожащими руками, словно в лихорадке, Керенский не стоял на месте; он притрагивался ко всем вещам на столе; из его уст вылетали бессвязные слова; у него был вид сумасшедшего».[144] Конечно, в этом описании немало гротеска, но, к слову, одна деталь подмечена верно. Керенский в минуты волнения действительно брал в руки первый попавшийся мелкий предмет, начинал вертеть его в пальцах, не отдавая себе в этом отчета.

Меньше всего впечатления это свидание произвело на бывшего царя. В дневниках Николая II этому эпизоду посвящены всего три строчки. «Сегодня днем внезапно приехал Керенский, нынешний Мин. Юстиции, прошел через все комнаты, пожелал нас видеть, поговорил со мною минут пять, представил нового коменданта дворца и затем вышел».[145] Не победитель, великодушно прощающий побежденных, не плебей, робеющий перед недавним владыкой. Так, очередной, любопытствующий зевака вроде караульных солдат, которые поначалу выстраивались в очередь, чтобы поглядеть на царскую семью.

Для Керенского же результаты этого свидания были более существенны. Адвокат Н. П. Карабчевский виделся с Керенским сразу после возвращения того из первой поездки в Царское Село. Он вспоминал: «Мне показалось, что Керенский был несколько взволнован; во всяком случае, к чести его, должен отметить, что он не имел торжествующе-самодовольного вида. По его словам, с государем, или, как он называл его, Николаем Н-м, он имел довольно продолжительную беседу. Царь представил ему и

наследника… Относительно государыни он обмолвился: „Она во всей своей замкнутой гордыне. Едва показалась, и… приняла меня по-императорски“…»[146]

Как и большинство представителей левой российской интеллигенции, Керенский в политике мыслил стереотипами. Царь для него был «деспотом» и «тираном», свое наивное детское благоговение перед монархом он если и вспоминал, то со стыдом, как вспоминается многое из опыта юных лет. Сейчас, во время свидания в Царском, Керенский увидел перед собой живого человека, меньше всего похожего на карикатурный образ из сатирических журналов мартовских дней. В разговоре с сенатором С. В. Завадским Керенский произнес фразу, которая, как нам кажется, очень хорошо характеризует его чувства: «А ведь Николай II далеко не глуп, вопреки тому, что мы о нем думали».[147]

После первой поездки в Царское Село Керенский стал бывать здесь при первой же возможности, проявляя даже некоторую назойливость. Позже он писал, что поставил перед собой задачу разрешить загадку личности бывшего царя. Может быть, дело обстояло по-другому и Керенский просто попал под влияние знаменитого обаяния последнего российского императора. Так или иначе, но царская семья нашла в лице Керенского если не друга, то надежного защитника. Винить его, как это делали эмигранты-монархисты, в том, что именно он проложил дорогу к трагической екатеринбургской истории, было бы совершенно неправомерно.

Здесь не место обсуждать вопрос о том, почему так и не состоялась решенная было правительством отправка царской семьи за границу. С уверенностью можно сказать, что не Керенский был виновником срыва этого замысла. Но все это не означает, что он в одночасье отбросил тот образ мысли, который и привел его под знамена революции. Бывший царь был исключением, в нем и только в нем Керенский увидел человека. Царское же окружение, прежние министры и сановники так и остались для него представителями «темных сил», считаться с которыми вовсе не обязательно.

МИНИСТРЫ В ТРУБЕЦКОМ БАСТИОНЕ

Наш рассказ позволяет вернуться к судьбе узников «министерского павильона». Напомним, что 1 марта они были переведены из Таврического дворца в Петропавловскую крепость. В камерах Трубецкого бастиона, где когда-то содержались декабристы, оказались бывшие министры (включая трех премьеров), жандармские генералы, сенаторы. Число заключенных менялось, но средней цифрой можно считать полтора десятка человек, включая двух женщин — жену бывшего военного министра В. А. Сухомлинова и близкую подругу царицы фрейлину А. А. Вырубову. К слову сказать, Вырубову арестовал лично Керенский во время своего первого визита в Царское Село.

Арестованные содержались под стражей без всякого обвинения, что очень напоминало многим недавние времена, только, пожалуй, в еще более худшем виде. Вспомним, как Керенский в дни пребывания в «Крестах» объявил голодовку за то, что ему в положенный двухнедельный срок не предъявили обвинения. Сейчас на вопрос Завадского, как может министр юстиции держать в тюрьме без формального основания, Керенский ответил: «Я держу их под стражею не как министр юстиции, а на правах Марата».[148]

Честно говоря, сомнительно, чтобы Керенский завидовал кровавой славе пресловутого «друга народа». Во время мартовской поездки в Москву он, напротив, говорил, что не собирается быть Маратом русской революции. Керенский попросту попал в почти безвыходную ситуацию. Освобождение из крепости бывших царских сановников немедленно было бы использовано против него его противниками слева. Между тем оставлять их в тюрьме было невозможно, поскольку уже первое расследование показало, что прямых нарушений закона за арестованными нет.

Выходом для Керенского стало создание Верховной (позже — Чрезвычайной) следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и других высших должностных лиц. Во главе ее был поставлен московский адвокат Н. К. Муравьев, его заместителями стали сенаторы С. В. Иванов и С. В. Завадский (последний вышел из состава комиссии в середине апреля). К работе комиссии были привлечены ученые — такие как академик С. Ф. Ольденбург и П. Е. Щеголев — историк и литературовед, издатель журнала «Былое». Их пребывание в комиссии было вызвано стремлением зафиксировать для истории детали

закулисной деятельности прежнего режима. Очень скоро эта задача стала для комиссии основной, так как собственно противозаконных действий арестованных сановников следователям комиссии обнаружить не удалось. Да, конечно, были мелкие злоупотребления по службе, вроде назначения на должности по протекции, но ни один суд не счел бы это основанием для приговора.

В итоге сложилась странная картина. Допросы, регулярно проводившиеся следователями комиссии, вылились в интервью для истории, но сами интервьюируемые содержались в тюрьме как опасные преступники. При этом тюремный режим отнюдь не отличался гуманностью. Бывший военный министр В. А. Сухомлинов в первый раз оказался в крепости еще за год до революции и имел возможность сравнивать прежние и новые порядки. По его словам, «режим при царском правительстве был строгий, но гуманный, — а при новом порядке, или, говоря правильнее, беспорядке — бесчеловечный, чисто инквизиторский».[149] На прогулку заключенных выводили всего на несколько минут в день, кормили их остатками обеда караульной команды, в крепость регулярно наведывались какие-то случайные посетители, для того чтобы посмотреть, как сидят бывшие царские слуги. Ходили разговоры, что караульная команда брала с таких визитеров деньги за удовлетворение их любопытства.

Особенно тяжелым было положение женщин. В воспоминаниях Вырубовой немало впечатляющих эпизодов из времени ее пребывания в крепости. «Самое страшное — были ночи. Три раза ко мне в камеру врывались пьяные солдаты, грозя изнасиловать. Первый раз я встала на колени, прижимая к себе икону Богоматери, и умоляла во имя моих стариков родителей и их матерей пощадить меня. Они ушли. Второй раз я в испуге кинулась об стену. Стучала и кричала. Сухомлинова слышала меня и тоже кричала, пока не прибежали солдаты из других коридоров… В третий раз приходил один караульный начальник. Я со слезами упросила его, он плюнул на меня и ушел. Наше положение было тем ужаснее, что мы не смели жаловаться: солдаты могли отомстить нам…»[150]

Жалобы заключенных вызывали у охраны в лучшем случае злорадство, а чаще — неприкрытое раздражение. Под стать охране был и тюремный врач доктор Серебряников, казалось, получавший удовольствие от вида чужих страданий. Но в конце апреля Серебряников был смещен и на его место назначен И. И. Манухин. Добрую память об этом человеке сохранили многие десятки сменявших друг друга узников Трубецкого бастиона.

Манухин был талантливым ученым, учеником знаменитого Мечникова. Как практикующий врач, он тоже пользовался широкой популярностью. Самым известным его пациентом был Горький, которого Манухин сумел вылечить от туберкулеза.

У Манухина был широкий круг знакомых среди левой интеллигенции. В его квартире на углу Сергиевской и Потемкинской любого посетителя ждал радушный прием. Здесь неоднократно бывал и Керенский, которого с Манухиным, помимо прочего, объединяли и масонские связи. Но самое главное — Манухин был человеком честным и отзывчивым. Когда ему стало известно о порядках, царивших в Петропавловской крепости, он добровольно вызвался занять должность тюремного врача.

Назначение Манухина привело к разительным переменам. «Для доктора, — вспоминала Вырубова, — все мы были пациенты, а не заключенные. Он потребовал пробу пищи и приказал выдавать каждому по бутылке молока и по два яйца в день. Воля у него была железная, и хотя сперва солдаты хотели его несколько раз поднять на штыки, они, в конце концов, покорились ему, и он, невзирая на грубости и неприятности, забывая себя, свое здоровье и силы, во имя любви к страждущему человечеству, все делал, чтобы спасти нас».[151] Вырубова имела основание восторженно писать о Манухине. Благодаря его настояниям она в середине июля была освобождена из Петропавловской крепости и переведена в арестный дом на Фурш-тадтской, где режим содержания был гораздо легче.

Шли месяцы, а будущее заключенных Трубецкого бастиона по-прежнему оставалось неопределенным. Во время июльских событий, когда Временное правительство едва не лишилось власти, Петропавловская крепость была занята отрядом болыпевиствующих матросов. В этот момент от физической расправы арестованных спасла только случайность.

О том, что происходило в стране, узники Петропавловской крепости могли узнавать только по случайным разговорам с охраной. Сухомлинов вспоминал, что как-то на прогулке услышал от караульного унтер-офицера: «Обождите немного, мы вам скоро доставим сюда Керенского с товарищами».[152] Неожиданно в середине августа поступило распоряжение об освобождении части заключенных. Они не были оправданы, но в качестве меры наказания к ним было предписано применить высылку за границу. Другие же дожили до октябрьского переворота и успели увидеть в соседних камерах министров уже Временного правительства.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗА РАБОТОЙ

Первое заседание Временного правительства состоялось в субботу 4 марта 1917 года. Таврический дворец в предыдущие дни подвергся настоящему разгрому, и заседать там не было никакой возможности. Поэтому министры собрались в здании Министерства внутренних дел (напомним, что во главе его стоял князь Г. Е. Львов, совмещавший этот пост с обязанностями премьера). Там же правительство собиралось в течение двух последующих дней. Лишь с 7 марта заседания были перенесены в Мариинский дворец, который и стал до середины июля главной правительственной резиденцией.

Это роскошное здание в самом центре города было некогда построено Николаем I для своей старшей дочери. В последующие годы Мариинский дворец стал местом пребывания Государственного совета. В первые недели революции дворец быстро утратил респектабельный вид. Французский посол М. Палеолог увидел его в эти дни таким: «В вестибюле, где раньше благодушествовали лакеи в пышной придворной ливрее, оборванные, грязные, наглые солдаты курят, валяются на скамейках. С начала революции большая мраморная лестница не подметалась. Тут и там разбитое стекло, царапина от пули на панно свидетельствуют о том, что на Исаакиевской площади происходил жаркий бой».[153]

В первое время заседания правительства происходили два раза в день — в четыре часа пополудни и в девять вечера. Вечернее заседание затягивалось до глубокой ночи. Каждый раз работа начиналась с огромным опозданием. Вины министров в этом не было или почти не было — опаздывали они потому, что честно просиживали в своих ведомствах по 10–12 часов, пытаясь справиться с потоком текущих дел. Другой вопрос, что это по большей части был сизифов труд. Основная часть новых министров не имела никакого опыта бюрократической деятельности и была едва знакома друг с другом.

Мы уже писали о том, что первый состав Временного правительства был предельно случаен. Князь Г. Е. Львов получил кресло премьера только потому, что другие члены кабинета не хотели видеть в нем Родзянко. Но даже главный инициатор этой интриги П. Н. Милюков быстро разочаровался в новом министре-председателе. Другой осведомленный современник — управляющий делами Временного правительства В. Д. Набоков позднее вспоминал, что Львов «не только не сделал, но даже не попытался сделать что-нибудь для противодействия все

растущему разложению. Он сидел на козлах, но даже не пробовал собрать вожжи».[154] В спорах между министрами Львов предпочитал оставаться в стороне и избегать самостоятельной позиции.

Пассивность премьера могла бы быть компенсирована наличием в правительстве сплоченной группы, чья линия поведения и определила бы позицию кабинета. Но в первом составе Временного правительства таковой не оказалось. Формально можно было говорить о существовании некой кадетской фракции, поскольку четверо из одиннадцати министров состояли в партии кадетов. Однако на практике даже среди них не было полного единомыслия. Самой яркой фигурой из министров-кадетов был, несомненно, признанный партийный лидер П. Н. Милюков. Он получил портфель министра иностранных дел, о котором мечтал давно.

В своих воспоминаниях Милюков без лишней скромности писал, что он был единственным из министров, кому не пришлось учиться на лету и кто сел в министерское кресло с полным знанием дела.[155] Действительно, Милюков имел прочные связи в дипломатических кругах и легко находил общий язык с иностранными послами. Но кадетскому лидеру было свойственно некоторое доктринерство и упорное нежелание считаться с обстоятельствами. В результате Милюков быстро оказался в изоляции, что через два месяца и привело его к отставке.

Товарищем Милюкова по партии был министр земледелия А. И. Шингарев. Свою карьеру он начинал как земский врач, но в Государственной думе получил известность прежде всего ожесточенной критикой Столыпинской реформы. Набоков писал, что Шингарев всю жизнь оставался «русским провинциальным интеллигентом, представителем третьего элемента, очень способным, очень трудолюбивым, с горячим сердцем и высоким строем души… но в конце концов рассчитанным не на государственный, а на губернский или уездный масштаб».[156] К правительственной работе он оказался абсолютно не подготовлен. Его длинные речи в привычной думской манере вызывали у коллег по кабинету только раздражение. К тому же аграрный вопрос для России был особенно болезненным. Тут не справился бы и куда более сильный человек, а уж Шингарева эта борьба с ветряными мельницами за считаные недели едва не довела до нервного срыва.

Министр просвещения и тоже член кадетской партии А. А. Мануйлов в политическом отношении себя почти не проявлял. Хотя в прошлом он был ректором Московского университета и даже избирался в Государственный совет, то есть имел

определенный опыт административной работы, но это был опыт мирного времени. В революционную эпоху Мануйлов, совсем не боец по складу характера, оказался мало пригоден для высоких постов.

Четвертым представителем кадетской партии в составе правительства был министр путей сообщения Н. В. Некрасов. Он был опытным инженером-путейцем, да к тому же человеком немалой энергии и силы характера. Казалось, лучшего кандидата было не найти. Но Некрасов давно уже находился в конфронтации с Милюковым. В период их совместного пребывания в правительстве эти расхождения усугубились еще дальше и в итоге закончились полным разрывом.

Таким образом, кадетская «четверка» тянула в разные стороны и стать прочным ядром кабинета не могла. Среди других членов правительства самой заметной фигурой был военный министр А. И. Гучков. Выходец из богатейшей семьи московских фабрикантов-текстильщиков, он не проявил никакого интереса к семейному делу. Гучков был натурой энергичной, честолюбивой и в чем-то склонной к авантюризму. В молодые годы, будучи студентом одного из германских университетов, он прославился как отчаянный бретер. Ему всегда не хватало острых ощущений. Гучков совершил путешествие в Тибет, в период Англо-бурской войны воевал добровольцем на стороне буров и даже попал в плен к англичанам.

В политике Гучков выдвинулся стремительно и вскоре стал известен на всю Россию. С момента создания «Союза 17 октября» Гучков превратился в его признанного лидера. Позже он был избран председателем III Государственной думы, где октябристы играли решающую роль. В этом качестве Гучков поддерживал правительство Столыпина, но не колеблясь покинул свой пост, когда посчитал, что правительство нарушило закон. Остается добавить, что высокие посты не охладили темперамент Гучкова. На радость газетным репортерам, он то и дело оказывался участником дуэлей (один раз он даже вызвал Милюкова) и других скандальных историй.

Однако сейчас знавшие его прежде могли подумать, что Гучкова подменили. Былая кипучая энергия куда-то исчезла, он стал замкнут и молчалив. Набоков вспоминал: «Когда он начинал говорить своим негромким и мягким голосом, смотря куда-то в пространство слегка косыми глазами, меня охватывала жуть, сознание какой-то полной безнадежности. Все казалось обреченным».[157] Действительно, уже давая согласие занять кресло военного министра, Гучков не верил в конечный успех. К тому же он в это время тяжело болел и не всегда принимал

участие в заседаниях правительства.

Большинство других министров ни опытом, ни известностью не могли составить конкуренцию Гучкову или Милюкову. Обер-прокурор Святейшего синода В. Н. Львов (мы уже писали о нем и еще будем писать), равно как и государственный контролер И. В. Годнее, представляли собой фигуры малопримечательные. Более заметной личностью был министр торговли и промышленности А. И. Коновалов. Он представлял российских предпринимателей нового поколения, очень сильно отличавшегося от почти карикатурных типажей из пьес Островского. Коновалов учился в Московском университете, стажировался на предприятиях Германии и Франции. На своих фабриках он давно уже ввел 9-часовой рабочий день, строил больницы и школы. Будучи депутатом Думы, он инициировал обсуждение законопроекта о введении социального страхования для рабочих, об охране труда женщин и малолетних.

Назначение Коновалова было вполне понятным, чего никак нельзя было сказать о другом министре, представлявшем в правительстве торгово-промышленные круги. Шульгин писал: «Михаил Иванович Терещенко был очень мил, получил европейское образование, великолепно „лидировал“ автомобиль и вообще производил впечатление денди гораздо более, чем присяжные аристократы. Последнее время „очень интересовался революцией“, делая что-то в военно-промышленном комитете. Кроме того был весьма богат. Но почему, с какой благодати, он должен был стать министром финансов?»[158]

Этим вопросом задавались многие. Как совсем еще молодой человек (ему было всего тридцать!), театрал и меломан, возглавил финансовое ведомство воюющей страны? Милюков, главный составитель списка министров, писал, что Терещенко сел в кресло министра финансов «по ассоциации со своим капиталом». Он действительно был фантастически богат — говорили, что его личное состояние превышает сто миллионов. Ему принадлежали многочисленные сахарные заводы и винокурни, сотни тысяч десятин земли. Но не купил же он, в конце концов, министерский портфель!

То, что было тайной для современников, теперь уже таковой не является. Терещенко был членом «Великого Востока Народов России», так же как и Керенский. Впрочем, не только Терещенко. При ближайшем рассмотрении в составе Временного правительства оказывается как минимум четверо масонов — помимо Керенского и Терещенко, это Некрасов и Коновалов. Было бы слишком категоричным заявлять, что именно масоны свергли российскую монархию, но очевидно, что они поспешили

воспользоваться этим. Главное помнить, что было первичным, а что вторичным. Керенский, Коновалов, а также, вероятнее всего, и Некрасов попали в состав правительства вовсе не благодаря своим масонским связям. А вот Терещенко вполне мог быть подсунут Милюкову (кстати, отнюдь не масону), когда тот пытался сформировать список кабинета.

Впрочем, сам по себе этот выбор оказался вполне удачен. По свидетельству все того же Набокова, Терещенко быстро вжился в новую роль. «Я помню, когда ему приходилось докладывать Временному правительству, его доклады всегда были очень ясными, не растянутыми, а напротив сжатыми и прекрасно изложенными… Он отлично схватывал внешнюю сторону вещей, умел ориентироваться, умел говорить с людьми—и говорить именно то, что должно было быть приятно его собеседнику и соответствовать взглядам последнего».[159] Терещенко оказался единственным из министров (если не считать самого Керенского), кто пережил все реорганизации правительства и оставался в составе кабинета вплоть до октябрьского переворота.

Переоценивать принадлежность того или иного политика к масонам не следует, но и отрицать влияние этого фактора тоже было бы ошибкой. Даже непосвященному наблюдателю было заметно, что Керенский, Терещенко и Некрасов действуют сплоченной группой (Коновалов покинул министерский пост в июле, с тем чтобы вернуться в прежнее кресло в сентябре). По сути, эта группа представляла единственное относительно крепкое ядро в составе правительства. Таким образом, у Керенского было огромное преимущество перед конкурентами в борьбе за власть, и он этим не преминул воспользоваться.

ГУЧКОВ И КЕРЕНСКИЙ

За два с половиной года войны численность русской армии достигла невообразимых размеров — под ружье было поставлено свыше 10 миллионов человек. Ничего даже близко похожего не было за всю предыдущую историю России. Фактически все мужское население, способное по возрасту и состоянию здоровья нести военную службу, надело погоны.

Армия стирала прежние сословные, профессиональные, имущественные границы. Рабочие, крестьяне, городские обыватели — те, кто в мирной жизни имел разные интересы, цели, политические симпатии, оказались свалены в один котел и перемешаны. В итоге родилась беспримерная сила, страшная, вдобавок к численности, наличием у нее оружия. Именно солдатская стихия в дни революции играла решающую роль во всех важнейших событиях. Взять ее под контроль, наверное, не удалось бы никому, но тот, кто сумел бы направить ее в нужное русло, мог заранее считать себя победителем.

Керенский очень хорошо понимал это. Начиная с середины марта он предпринял несколько поездок на фронт. В другое время могло бы показаться странным, что министр юстиции — лицо сугубо гражданское по характеру своей деятельности — столь пристально интересуется проблемами армии. Но те, кто был в курсе правительственных интриг, восприняли это должным образом. Керенский начал кампанию по смещению Гучкова и не особенно скрывал это.

Замысел Керенского облегчался тем, что Гучков вовсе не собирался бороться за министерский портфель. Он хорошо был информирован о происходящем в армии и потому видел будущее в самых мрачных тонах. На заседании Временного правительства вечером 7 марта 1917 года Гучков делал доклад о положении на фронте. Сказанное им дышало такой безнадежностью, что другие члены кабинета даже не рискнули вступить в обсуждение. Обстановку попытался разрядить Набоков, который полушутя сказал: «Если все действительно так, то у нас нет другого выхода кроме сепаратного мира с Германией». Шутка не получилась — никто из министров даже не улыбнулся.

Гучков пытался что-то делать, но у него плохо получалось. Прежде всего он постарался добиться отмены «Приказа № 1». Напомним, что этот документ дал толчок к созданию в армии и на флоте выборных солдатских и матросских комитетов. В день своего вступления в должность Гучков отправил главнокомандующим всеми фронтами телеграмму, в которой

заявил, что Временное правительство не признает «Приказ № 1». В то же время при военном министерстве была создана комиссия под началом генерала А. А. Поливанова для обсуждения вопросов о пересмотре некоторых начал воинской службы. По словам самого Гучкова, созданием комиссии он надеялся выиграть время и дождаться, пока страсти успокоятся.[160] Комиссия пришла к выводу, что попросту отменить распоряжения Совета нельзя и следует искать компромисс.

После долгих переговоров с представителями Исполкома Гучкову удалось добиться принятия «Приказа № 2». Он подтверждал изменение статуса солдат (кстати, приказом отменялось бытовавшее прежде наименование «нижний чин»), но в отношении других положений «Приказа № 1» было оговорено, что они имеют силу только для тыловых частей. «Приказ № 2» был разослан 5 марта 1917 года, причем от имени не только Совета, но и Временного правительства, дабы показать, что между ними нет никаких противоречий.

На практике «Приказ № 2» имел последствия самые незначительные. Остановить процесс создания солдатских комитетов было уже невозможно. С каждым днем армия все больше превращалась в анархическую и неуправляемую массу. В этой ситуации очень многое зависело от позиции офицерства и генералитета. Но русское офицерство большей частью находилось в растерянности. Это состояние затронуло и высший командный состав.

В день отречения Николай II передал полномочия Верховного главнокомандующего великому князю Николаю Николаевичу, уже занимавшему этот пост в начальный период войны. Но настроения в обществе были настолько враждебны династии, что великий князь через два дня счел нужным сложить с себя обязанности главковерха. На это место был назначен генерал М. В. Алексеев. Предыдущие полтора года он был начальником штаба Верховного главнокомандующего, и по этой причине ему не пришлось бы долго входить в курс дела.

Алексеев был, несомненно, компетентным специалистом, но напрочь лишенным качеств лидера. Он делал все, что мог, но мог, к несчастью, немногое.

По инициативе Гучкова была развернута широкомасштабная чистка высшего командного состава. Со своих постов были сняты четверо из пяти главнокомандующих фронтами, две трети командующих армиями и командиров корпусов. Устранялись в первую очередь те из старших начальников, кто не сумел приспособиться к новой обстановке, растерялся или, напротив, упрямо продолжал гнуть прежнюю линию.

Наиболее заметные последствия для будущего имело назначение командующим Петроградским военным округом генерала Л. Г. Корнилова. В историю русской революции имя Корнилова вписано крупными буквами, и потому есть смысл хотя бы в общих чертах напомнить его биографию. Новому командующему к описываемому времени исполнилось сорок шесть лет. Родился он на далекой окраине империи, почти на границе с Китаем. Отец Корнилова, сибирский казак, дослужился до чина хорунжего, а в отставке занимал должность станичного писаря. После окончания кадетского корпуса и Михайловского артиллерийского училища Корнилов вышел подпоручиком в Туркестанскую артиллерийскую бригаду. Через три года он поступил в Академию Генерального штаба, которую окончил с малой серебряной медалью.

Корнилов получил назначение в штаб Туркестанского военного округа, располагавшийся в Ташкенте. В последующие годы по заданию русской военной разведки он объездил приграничные районы Китая, Афганистана, Персии, Индии. Восток занимал особое место в жизни Корнилова. Невысокий, смуглокожий, с характерными азиатскими чертами лица, доставшимися ему в наследство от кого-то из предков-степняков, он сам воспринимался современниками как воин эпохи Чингисхана, сочетавший жестокость и отвагу.

Мы уже писали о том, как пересеклись в юности судьбы Александра Керенского и Владимира Ульянова. Истории было угодно, чтобы в юношеские годы Керенский встретился и с другим главным персонажем пьесы под названием «русская революция». В далеком азиатском Ташкенте русское офицерство и чиновничество составляло замкнутую группу, где все знали друг друга. Корнилов не раз бывал на вечерах в доме Керенского-старшего. Вряд ли он обратил тогда внимание на хозяйского сына, но гимназист Саша Керенский хорошо запомнил молодого офицера, о храбрости которого уже тогда складывались легенды.

В Русско-японскую войну Корнилов в чине подполковника занимал должность штаб-офицера при управлении 1-й стрелковой бригадой. За сражение под Мукденом он был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. В последующие годы он служил в Генеральном штабе, был военным агентом в Китае, командовал различными частями и соединениями. Ко времени мировой войны Корнилов был уже генералом и вскоре после ее начала получил под командование 48-ю пехотную дивизию.

Весной 1915 года дивизия Корнилова занимала участок фронта в Карпатских горах. Здесь проходила единственная дорога на восток, переполненная беженцами и обозами отступавшей

русской армии. В середине апреля австрийцы предприняли попытку захватить перевал. Три дня шел непрерывный бой. Неся огромные потери, остатки дивизии сумели пробиться из окружения, но Корнилова среди них не было. Только спустя пять дней стало известно, что он находится в плену.

После почти полутора лет пребывания в австрийских лагерях Корнилов бежал, воспользовавшись помощью лагерного фельдшера, чеха по национальности. После долгого и опасного путешествия по вражеской стране ему удалось пересечь границу с Румынией и оттуда уже беспрепятственно вернуться в Россию. Корнилов оказался единственным из русских генералов, кто сумел бежать из плена, и потому история его побега наделала много шума. Вероятнее всего, именно тогда он обратил на себя внимание Гучкова.

Для Гучкова назначение Корнилова было попыткой навести порядок в среде окончательно разложившегося столичного гарнизона. Однако этот шаг имел и иные, не афишируемые громко причины. Позднее Гучков вспоминал: «С самого начала я подумал, что без гражданской войны и контрреволюции мы не обойдемся».[161] Поэтому с первых же дней он начал искать людей, преимущественно из военной среды, способных возглавить борьбу с анархией. Наиболее подходящей кандидатурой на роль вождя контрреволюции, по мнению Гучкова, был адмирал Колчак. Но со счетов Гучков не сбрасывал и Корнилова, предполагая пока поближе к нему присмотреться.

В своей деятельности Гучков сделал ставку на новых людей, тех, кто не был дискредитирован близостью к свергнутому режиму. В основном это полковники и молодые генералы — те, кто мог найти линию поведения в новой ситуации. Ближайшее окружение военного министра составили «младотурки» — так еще с предвоенных времен называли реформистски настроенную группу молодых офицеров Генерального штаба. Весной 1917 года в ряды «младотурок» входили генералы Г. А. Якубович и князь Г. Н. Туманов, полковники П. А. Половцев, Л. С. Туган-Барановский, Б. А. Энгельгардт, А. И. Верховский. Гучков видел в них свою опору, не зная, что многие из них уже сделали ставку на Керенского.

У Керенского среди «младотурок» были свои люди. Таковым был брат его жены полковник В. Л. Барановский. Накануне революции он служил в управлении генерал-квартирмейстера Ставки, но уже в конце марта был прикомандирован к военному министерству, вероятно, не без помощи ставшего столь влиятельным шурина. «Ушами и глазами» Керенского при Гучкове был также инженер П. И. Пальчинский. В короткий

период существования Временного комитета Государственной думы он был членом его военной комиссии и сейчас продолжал регулярно бывать в военном министерстве. Пальчинский был масоном и хорошим знакомым Керенского еще с довоенных времен.

Как-то в начале апреля на очередном заседании поливановской комиссии Пальчинский по секрету сообщил Полов-цеву, Энгельгардту, Якубовичу и Туманову, что вечером хочет отвести их на свидание с неким человеком. С кем конкретно — сообщить он наотрез отказывался и этим чрезвычайно всех заинтриговал. Была глубокая ночь, когда вся компания в автомобиле Пальчинского отправилась в путь по темным петроградским улицам. Автомобиль остановился на Итальянской у здания Министерства юстиции.

В просторном министерском кабинете прибывших встретил Керенский. Он объяснил, что пригласил их для того, чтобы выяснить некоторые проблемы, понимание которых необходимо ему как члену правительства. Первым вопросом Керенского было: годится ли Алексеев в верховные главнокомандующие? Бóльшая часть приглашенных высказалась за Алексеева, но разговор как-то сам по себе перешел на обсуждение других кандидатур. У Половцева создалось впечатление, что Керенский прощупывает мнение относительно назначения Брусилова. В своем дневнике Половцев записал: «У Керенского что-то на уме. Неужели Брусилов с ним снюхался? Способен. Тогда создается комбинация Керенского с Брусиловым против Гучкова с Алексеевым. Посмотрим».[162]

Беседа продолжалась до трех часов ночи. После этого Пальчинский на своем автомобиле развез всех по домам. По дороге он объяснил, что Керенский — единственный, кто может остановить анархию в стране, и потому его нужно держаться. Впрочем, для Гучкова эта встреча долго тайной не оставалась. Уже на следующее утро Половцев счел нужным сообщить о ней военному министру. В ответ Гучков улыбнулся и сказал, что не имеет ничего против, если министр юстиции будет ближе знать военные дела. Гучков и сам был мастером заговоров, и интриги Керенского ему были видны с полной ясностью. Однако он явно не считал нужным придавать этому значение. Наверное, в другое время это было правильным поведением. Но в эпоху революции ситуация менялась с удивительной быстротой. Прошел всего месяц, и Гучков был вынужден уйти из правительства, уступив свое место именно Керенскому.

МИЛЮКОВ И КЕРЕНСКИЙ

И все же главным антагонистом Керенского во Временном правительстве был не Гучков, а министр иностранных дел Милюков. Одной возрастной разницы между ними (двадцать два года) было вполне достаточно для полного взаимного непонимания. Но и в других отношениях трудно было найти двух более несхожих людей. Керенский — стриженный ежиком, с бритым лицом, ежеминутно пребывающий в движении. Милюков — седовласый обладатель роскошных усов, вальяжный в каждом жесте. Керенский — истеричный оратор, гипнотизирующий слушателей не столько содержанием, сколько энергетикой своих речей. Милюков — тоже признанный мастер слова, но совсем другого толка. Один из современников писал об этом так: «Его гладкая, логичная, с убеждением и большой уверенностью в себе и своей правоте произносимая речь всегда больше политическая „лекция“, чем идущий от сердца к сердцу призыв народного трибуна, оратора Божьей милостью. Аргументация Милюкова всегда была достаточно сложна, и всей этой „осложненное™“ мы тогда не понимали».

Милюков не имел себе равных в парламентской аудитории, но никак не в роли митингового оратора. Вероятнее всего, ему не сложно было усвоить в общем-то простые приемы тогдашних властителей толпы, но делать этого он не собирался принципиально. Свою речь он традиционно начинал не с принятого в эти дни обращения «граждане», и не с революционного «товарищи», а со старорежимного: «милостивые государыни и милостивые государи».

Все тот же И. Куторга писал: «Нужно вспомнить тогдашний Петроград, чтобы со всей ясностью себе представить, что эти „милостивые государыни и государи“ действовали, как красная тряпка тореадора на разъяренного быка. На солдатском митинге или где-нибудь на Выборгской стороне, бывало, достаточно такого обращения, воспринимаемого как вызов и насмешка и контрреволюционная демонстрация вместе, чтобы Милюков не мог больше сказать ни слова. Поднималась буря. И тем не менее, зная наперед впечатление от сакраментальных слов, Милюков, нисколько не смущаясь, вылезал с ними на следующий день, такой же корректный, подтянутый, розовый, с дипломатической улыбкой на устах, и бросал серым шинелям, ситцевым платочкам те слова обращения, с которыми он привык обращаться в своих бесчисленных лекциях к дамам и господам петербургской интеллигенции».[163]

В этом упрямстве — весь Милюков. Человек, несомненно, умный, он знал об этом и очень высоко себя ценил. По этой причине он не собирался приспосабливаться под обстоятельства, полагая, что они должны приспособиться под него. Так было всегда, и чаще всего обстоятельства отступали. Милюкову удавалось «переупрямить» и своих коллег по Думе, и сановников царя. Но сейчас ему противостояла не воля отдельных людей, а разбушевавшаяся стихия. Милюков не захотел этого понять и поплатился министерским креслом.

В воюющей стране, какой была Россия, любой внешнеполитический вопрос так или иначе затрагивал главную тему — продолжать ли войну или же заключать с врагом мир. После двух с половиной лет, когда поражения преобладали над победами, антивоенные настроения были в стране очень сильны уже сами по себе. Революция, легализировавшая антивоенную пропаганду, еще более усугубила дело. Весной 1917 года некоторую популярность получили лозунги так называемого «революционного оборончества». Это понятие подразумевало, что с момента революции война изменила свой характер — из несправедливой и захватнической она превратилась в войну за защиту революционных завоеваний. Обязательным условием при этом был отказ России от аннексий и контрибуций.

«Революционное оборончество» было взято на вооружение лидерами Совета, но в этом они встретили категорическое противодействие со стороны министра иностранных дел. Сам Милюков характеризовал свою позицию следующим образом: «Министр иностранных дел вел эту политику в духе традиционной связи с союзниками, не допуская мысли о том, что революция может ослабить международное значение России резкой переменой ориентации и изменением взгляда на заключенные соглашения и принятые обязательства».[164] Если перевести эту длинную фразу на более понятный язык, следовало понимать, что Милюков собирается до последнего отстаивать все обещания относительно приобретений, которые Россия должна была получить после окончания войны. В первую очередь речь шла о контроле над черноморскими проливами. По этой причине левые газеты окрестили лидера кадетов Милюковым-Дарданелльским, что его ни в малейшей мере не смущало и даже служило поводом для гордости.

Но даже в правительстве Милюков не находил единомышленников. Большинство прочих министров предпочитали максимальную осторожность. В первой официальной декларации нового кабинета, опубликованной 7 марта 1914 года, вопрос о войне был изложен предельно

обтекаемо. «Временное правительство будет верно соблюдать все союзы и сделает все, от него зависящее, чтобы обеспечить армии все необходимое для доведения войны до победного конца». В ответ на это Совет 14 марта принял обращение к народам всего мира. В нем говорилось о готовности российского пролетариата защищать свою свободу от всех реакционных посягательств — как изнутри, так и извне. Особо в обращении содержался призыв «начать решительную борьбу с захватническими стремлениями правительств всех стран». Стрела была направлена в Милюкова, и именно так это поняли все.

Однако Милюков тоже не собирался складывать оружие. На страницах кадетского официоза — газеты «Речь» — он опубликовал 23 марта пространное интервью, в котором вновь говорил о недопустимости отказа от соглашений, отвечающих национальным интересам России. Появление этой публикации вызвало настоящий скандал в правительстве. Больше всего возмущался Керенский. Набоков вспоминал: «Я живо помню, как он принес с собой в заседание номер „Речи“ и, — до прихода Милюкова, — по свойственной ему манере, неестественно похохатывая, стуча пальцами по газете, приговаривал: „Ну, нет, этот номер не пройдет“».[165] Когда наконец появился Милюков, Керенский устроил ему настоящий скандал. Он кричал, что при царе у министра иностранных дел не могло быть собственной политики, а была политика императора. Так должно быть и сейчас: «Мы для вас — государь император!»

В ответ Милюков с полным хладнокровием заявил, что его интервью было вызвано беседой журналистов с Керенским, опубликованной в московских газетах. Что до него самого, то он считал и считает, что проводит в жизнь политику Временного правительства, а если это не так, то он требует, чтобы ему об этом было прямо сказано. Другим министрам стоило немалого труда погасить ссору. Было решено, что впредь члены правительства будут воздерживаться от публичного высказывания собственного мнения. Конфликт был улажен, но с тех пор отношения Керенского и Милюкова испортились окончательно.

Набоков так писал о Керенском: «Я могу удостоверить, что Милюков был его bete noire[166] в полном смысле слова. Он не пропускал случая отозваться о нем с недоброжелательством, иронией, иногда с настоящей ненавистью».[167] Причины такого отношения лежали в двух плоскостях. Во-первых, Керенский верил в мир без аннексий и контрибуций столь же искренне, сколь искренне Милюков считал необходимым сохранение прежних договоров России с союзниками. Во-вторых, Милюков как политик был куда опытнее Керенского. В спорах он всегда

сохранял хладнокровие, в то время как Керенский быстро оказывался на грани истерики. Керенский понимал свою слабость, и любви к Милюкову ему это не прибавляло. Трудно сказать, сознавал он это сам или нет, но фактически вся деятельность Керенского в правительстве была в это время направлена на то, чтобы выжить Милюкова.

Между тем Совет требовал от правительства прямого ответа на вопрос о целях войны. Эта проблема была поставлена на совместном заседании министров и представителей Совета 24 марта 1917 года. Делегация Совета пыталась убедить членов правительства в том, что публичный отказ от завоевательных целей внесет перелом в настроения масс. Солдаты увидят, что они действительно воюют за свободу, и в едином порыве поднимутся против врага. Бóльшая часть министров, включая и премьера, была готова согласиться на принятие соответствующего воззвания. Но Милюков ответил решительным отказом: такого документа он опубликовать не может и своей подписи на нем не поставит. С большим трудом князю Львову удалось смягчить общий тон. Было решено оставить вопрос открытым и вновь собраться через несколько дней.

Милюков не нашел поддержки у большинства своих коллег по кабинету. Не только Керенский и поддерживавшие его Некрасов и Терещенко, но даже князь Львов и вполне умеренные Коновалов и государственный контролер Годнев склонялись к тому, чтобы дать Совету нужные заверения. В итоге родилась декларация, 28 марта опубликованная в столичных газетах. В ней Временное правительство заявляло, что «дело свободной России — не насильственный захват чужих территорий, но утверждение прочного мира на основе самоопределения народов». Желаемый компромисс был достигнут, но ситуацию это успокоило очень ненадолго. Наивная вера в то, что слова могут что-то изменить, исчезла уже весьма скоро, причем при весьма трагичных обстоятельствах. Особую роль в этом сыграл новый фактор, дотоле почти не проявлявший себя. Этим фактором были большевики, быстро набиравшие влияние в стране.

БОЛЬШЕВИКИ

Происшедшие в стране перемены изменили облик некогда чопорной столицы империи. Дочь британского посла Мири-эль Бьюкенен увидела революционный Петроград таким: «Грязные красные флаги развевались теперь над Зимним дворцом, крепостью и правительственными учреждениями… Императорские гербы больше не украшали магазины и подъезды, золотые орлы на Мариинском театре были сброшены вниз. Сотни солдат, дезертировавших с фронта, грязных и оборванных, наводняли улицы, праздно толкались на перекрестках, слушая речи агитаторов и экстремистов, или бесцельно катались на трамваях, набиваясь на крыши вагонов и гроздьями свисая с подножек».[168]

Характерной приметой этого времени стали бесконечные митинги, стихийно возникавшие на каждом углу. Казалось, что вся Россия с головой окунулась в политику. Партийные программы и лозунги превратились в самую модную тему для обсуждения. Обыватели, еще вчера как от огня шарахавшиеся от политических разговоров, теперь гордо причисляли себя к эсерам, социал-демократам или, на худой конец, к кадетам.

Революция внесла существенные изменения в состав российских политических партий. В одночасье исчезли прежде многочисленные монархические партии и союзы. Та же судьба постигла партию октябристов. Они оказались слишком респектабельны для нового времени, не приспособлены к ситуации, когда речь шла не о парламентской борьбе, а об изменчивых симпатиях толпы.

Единственной не социалистической партией, удержавшейся на политической арене, были кадеты. Руководство партии попыталось взять на вооружение новую лексику и новые лозунги. На VII съезде, проходившем в марте 1917 года, кадеты объявили себя республиканцами. Однако это не очень помогло. В массовом представлении кадеты воспринимались как партия буржуазии и интеллигенции, а значит, чужая, «барская». Свою лепту к этому добавляла репутация лидера партии П. Н. Милюкова. В итоге родился карикатурный образ, совсем не способствовавший росту партийных рядов:

Глазки черны, ручки белы,
На ногах штиблеты.
Если хочешь Дарданеллы —
Запишись в кадеты.

A. Vill 18/X.

Родители Керенского — Федор Михайлович и Надежда Александровна.

Саша Керенский на руках у матери. 1882 г.

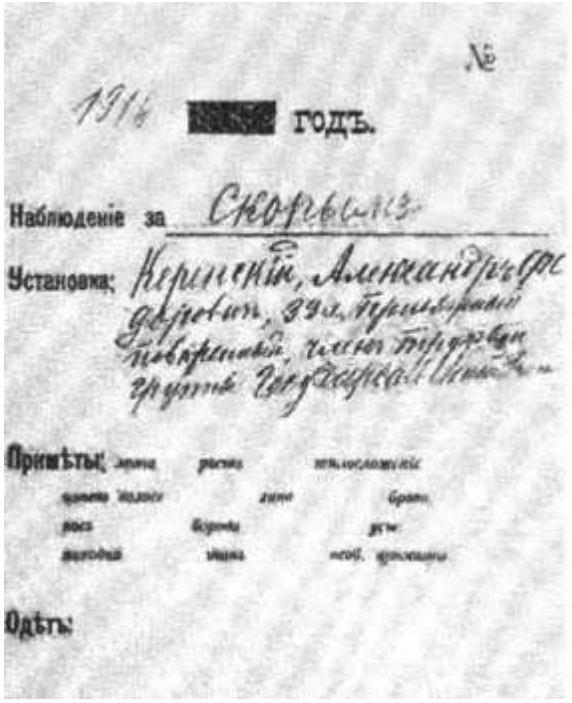
Мужская гимназия в Симбирске.

Гимназист Александр Керенский. 1893 г.

Вокзал в Ташкенте.

Ольга Львовна Керенская с сыновьями Олегом и Глебом.

Петербургский университет.



№

1914 [redacted] ГОДЪ.

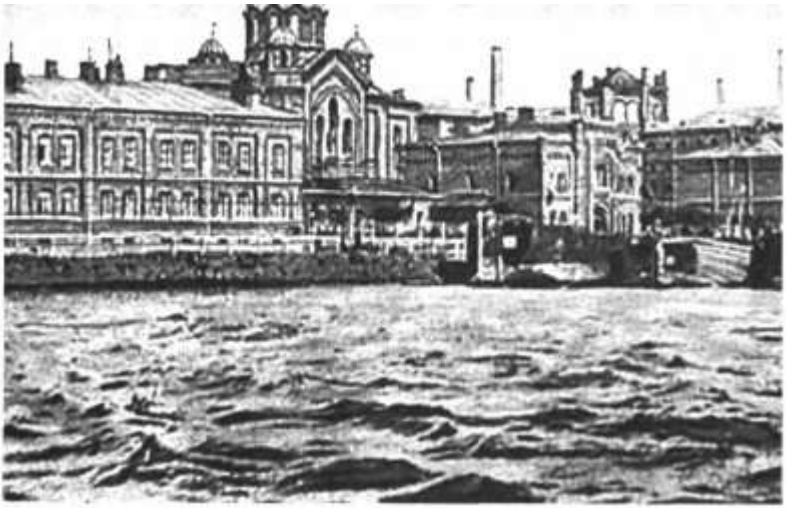
Наблюденіе за Скорбным.

Установка: Керенскій, Александръ Ѳе
Ѳедоровичъ, 33 л., Тамбовской
губерніи, члена Государ
ственной Думы.

Приметы: лицо рост

Одѣтъ:

Дело, заведенное на Керенского в Департаменте полиции.



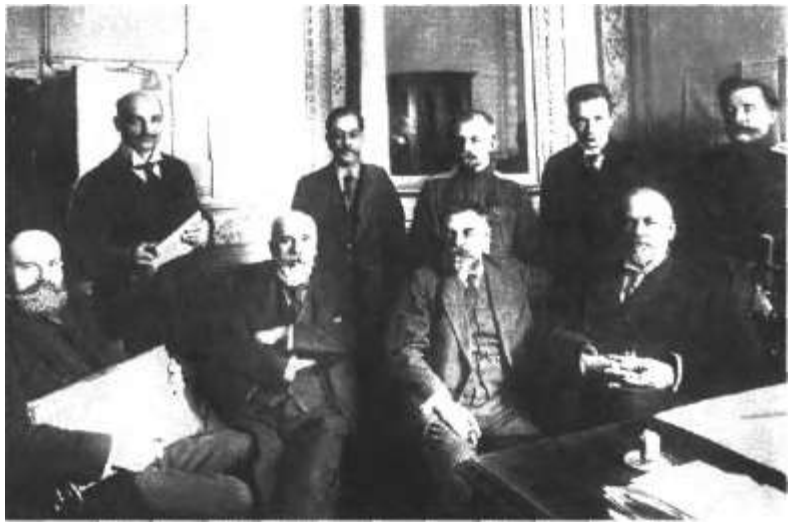
Тюрьма «Кресты» в Петербурге.

Александр Федорович Керенский накануне Февральской революции.

Фракция трудовиков в IV Государственной думе. Второй справа в нижем ряду — А. Ф. Керенский.

Таврический дворец.

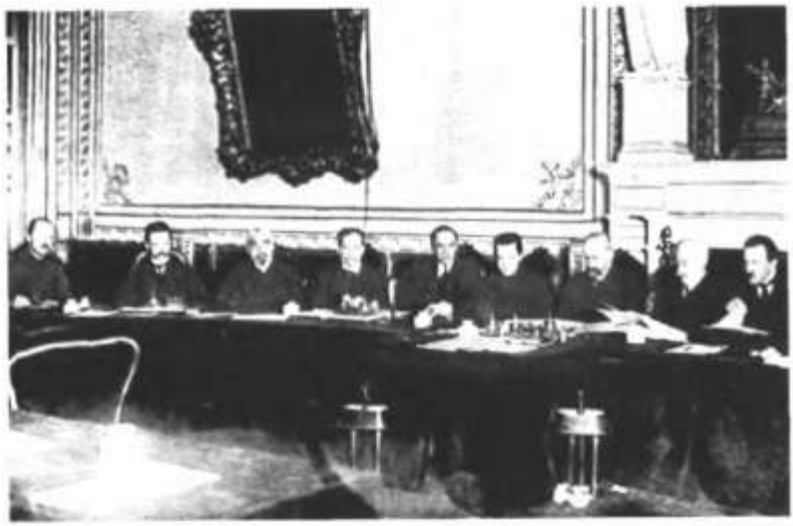
Солдатская демонстрация в Петрограде в дни Февральской революции.



Временный комитет Государственной думы. Второй справа во втором ряду — Керенский.

Александр Иванович Гучков.

Павел Николаевич Милюков.



Временное правительство первого состава. По правую руку от министра-председателя князя Г. Е. Львова — Керенский.

Печать временного правительства. Рисунок И. Я. Билибина.

Демонстрация в поддержку временного правительства. Апрель 1917 г.

Уличные столкновения в Петрограде 21 апреля 1917 года. Рисунок И. А. Владимирова.

Керенский на фронте.

Памятный жетон в честь Керенского. Лицевая и оборотная стороны.

Военный министр А. Ф. Керенский производит смотр солдат гвардии Литовского полка. Май 1917 г.

Генерал М. В. Алексеев.

Генерал А. А. Брусилов.

Керенский и адмирал А. В. Колчак

Керенский и адмирал Колчак.

Кронштадтские матросы — "краса и гордость революции".

Дом Кшесинской — штаб большевиков.

События 4 июля 1917 года в Петрограде. Фото К. К. Булла.

Дача Дурново — штаб анархистов.

Генерал П. А. Половцев в группе солдат и офицеров, принимавших участие в ликвидации вооруженного выступления 3–5 июля 1917 года.

Войска, вызванные с фронта для наведения порядка в Петрограде.

Как российские трехцветные флаги терялись в эти дни на фоне огромного количества красных полотнищ, так и либеральные партии, вроде кадетов, отошли на второй план под натиском социалистов. Самой же популярной из социалистических партий весной 1917 года была партия эсеров. Численность эсеровских рядов, по некоторым подсчетам, превысила миллион человек. Но в большинстве своем "мартовские эсеры", как стали называть это новое пополнение, были контингентом ненадежным. К партии они присоединились под влиянием конъюнктуры и никаких обязательств перед ней за собой не видели. В итоге разбухание партийного состава привело лишь к новым проблемам. Среди эсеров отчетливо назревал раскол. Правое крыло и центр, возглавляемый В. М. Черновым, стояли на позициях поддержки Временного правительства. Левое же крыло эсеров, представленное прежде всего М. А. Спиридоновой, ратовало за скорейшее прекращение войны и передачу власти социалистам.

Та же картина имела место и у меньшевиков. Разве что количество фракций и групп, на которые дробилась партия, было большим. На крайне правом фланге меньшевизма стояла группа "Единство" во главе с патриархом российской социал-демократии Г. А. Плехановым. Свыше тридцати лет Плеханов прожил в эмиграции и, вернувшись в Россию, никак не мог свыкнуться с обстановкой на родине. Он убеждал, проклинал, призывал, но голос его оставался не услышан толпой. Левый фланг

меньшевиков представляла группа, объединявшаяся вокруг газеты "Новая жизнь". Она была настроена резко критично по отношению к Временному правительству, хотя и воздерживалась от прямых призывов к его свержению. Центристские позиции занимала та часть меньшевистских лидеров, которая была представлена в Исполкоме Петроградского совета. Это были Н. С. Чхеидзе, И. Г. Церетели, М. И. Скобелев и некоторые другие. Они лояльно относились к сотрудничеству с правительством, хотя и вынуждены были оглядываться на поведение масс.

Большевики в марте 1917 года серьезным влиянием в стране не пользовались. Ко времени революции численность их едва доходила до 20 тысяч человек. К тому же наиболее авторитетные вожди большевизма находились в это время либо в эмиграции, либо в ссылке. Одним из первых распоряжений Керенского в качестве министра юстиции как раз и был приказ об освобождении всех находящихся на каторге и в ссылке политзаключенных. В Сибирь за ними были посланы два специальных санитарных поезда № 182 и 190. Местным властям было предложено широко оповестить население о времени, когда они будут следовать обратно. На маленьких и больших станциях собирались толпы народу с оркестрами и хлебом-солью. Провинциальный обыватель, лишенный зрелищ, как всегда доставшихся на долю столиц, жаждал поглазеть на борцов за свободу. Ну а поезд останавливался в лучшем случае на пять минут или вообще шел мимо, не снижая скорости. Так и получалось, что очередной "герой революции", глядя из окна на собравшуюся толпу, "скользнул по ней улыбкой нежною, скользнул, а поезд вдаль умчало".

Возвращение ссыльных усугубило и без того существовавшие разногласия внутри большевистского руководства. Формально центром партийной работы в России было Русское бюро ЦК. Но отношения его с Петербургским комитетом партии[169] складывались непросто. Столичный комитет, представлявший самую крупную организацию страны, не слишком-то склонен был считаться с решениями Русского бюро. С первых чисел марта резиденцией Петербургского комитета и Русского бюро стал особняк балерины Матильды Кшесинской с чудесным видом на Неву и Троицкую набережную. Кшесинская покинула дом в страхе перед революцией, а когда задумала вернуться, выяснилось, что у дома уже новые хозяева. Ни судебный иск, ни вмешательство самого Керенского так и не помогли владелице вернуть свою собственность. С тех пор слова "дом Кшесинской" у жителей столицы стали прочно ассоциироваться с большевиками.

Несмотря на соседство, Русское бюро и Петербургский

комитет по-разному оценивали сложившуюся после революции обстановку. Уже 4 марта Русское бюро приняло резолюцию, где говорилось, что "теперешнее Временное правительство по существу контрреволюционно, так как состоит из представителей крупной буржуазии и дворянства. А потому с ним не может быть никаких соглашений". Резолюция выдвигала задачей создание Временного революционного правительства из представителей демократических сил. Петербургский комитет счел такие лозунги преждевременными и, в свою очередь, призвал рабочих не выступать против существующей власти, но быть готовыми сделать это, если правительство пойдет на реставрацию старого порядка.

Вернувшиеся из Сибири ссыльные со всем пылом включились в эту борьбу. Самой авторитетной фигурой из их числа был Ю. Б. Каменев. В начале мировой войны он тайно прибыл в Россию как эмиссар ЦК и был арестован вместе с членами большевистской фракции Государственной думы. По приезде в Петроград Каменев опубликовал в "Правде" статью, где писал, что лозунгом партии должно быть давление на Временное правительство с целью заставить его заключить демократический мир и пойти на коренные преобразования во внутренней политике. Каменев писал, что в той мере, в какой правительство пойдет на такие шаги, ему обеспечена поддержка демократии. Таким образом, в первые недели революции большевики занимали позицию в целом лояльную по отношению к сложившейся власти. Но так дело обстояло только до появления в России Ленина.

С начала войны Ленин жил в Цюрихе. Пресса нейтральной Швейцарии позволяла ему достаточно объективно оценивать ситуацию в России, но предсказать, сколь стремительно она начнет развиваться, было не дано и ему. В начале января, выступая на собрании рабочей молодежи в Народном доме Цюриха, Ленин говорил, что Европа чревата революцией, но тут же добавил, что его поколение до решающей битвы, возможно, не доживет. Между тем до революции оставалось полтора месяца.

После того как до Цюриха дошли известия об отречении царя, Ленин думал только о том, как вернуться в Россию. Его репутация "пораженца" сильно в этом ему мешала. В 1915 году Ленин принял самое активное участие в международной социалистической конференции, собравшейся в швейцарской деревне Циммервальд. Под его влиянием радикально настроенная часть делегатов приняла резолюцию о немедленном прекращении войны. Власти Англии и Франции опасались, что и в России Ленин развернет антивоенную пропаганду, и потому тянули с выдачей ему разрешения на проезд через свою

территорию.

В Цюрихе тем временем возник комитет по эвакуации эмигрантов, куда вошли представители самых разных политических групп. На одном из его заседаний и прозвучала идея возвращения через Германию. С помощью швейцарских социал-демократов было достигнуто соглашение с германскими представителями о пропуске эмигрантов в Россию при условии, что на родине они будут агитировать за возвращение немецких военнопленных. На деле власти Германии делали ставку на все то же "пораженчество" Ленина и, как оказалось, не ошиблись в своих расчетах.

Знаменитый "пломбированный вагон", в котором эмигрантам предстояло проехать через Германию, в реальности, конечно, не был опломбирован. Но в тамбурах стояла охрана, а пассажиры не имели права выходить на станциях. Всего в вагоне ехало 32 человека, в том числе 19 большевиков, 6 бундовцев и 3 меньшевика. Среди пассажиров вагона были женщины и даже один ребенок. Вагон доехал до Штетина, дальше путь лежал на пароме в Швецию, а оттуда поездом через Финляндию в Россию.

Ленин прибыл в Петроград вечером 3 апреля 1917 года. На Финляндском вокзале ему была устроена торжественная встреча. В ту же ночь в особняке Кшесинской Ленин произнес речь, которая легла в основу знаменитых "апрельских тезисов". Ленин говорил о том, что революция уже переросла буржуазно-демократический этап, и призывал немедленно начать подготовку к свержению Временного правительства. Бред — таково было общее мнение по этому поводу не только либеральной, но и социалистической прессы. Оппоненты и противники Ленина поначалу очень сильно его недооценили. Это в полной мере относится к Керенскому.

Вряд ли Ленин забыл своего гимназического директора, но это не помешало ему зачислить Керенского в разряд врагов. Еще из Швейцарии Ленин писал на родину: "Никакой поддержки Временному правительству. Керенского особенно подозреваем". Для Керенского биография большевистского вождя тоже не была секретом. Однако если Ленин с самого начала был настроен бескомпромиссно, то для Керенского на первых порах было характерно некоторое благодушие в отношении своего земляка. Набоков вспоминал: "В одном из мартовских заседаний Временного правительства, в перерыве, во время продолжавшегося разговора на тему о все развивающейся большевистской пропаганде, Керенский заявил — по обыкновению истерически похохатывая: "А вот погодите, сам Ленин едет… Вот когда начнется по-настоящему"".

К этому времени уже было известно о том, что Ленин намеревается возвращаться в Россию через Германию. Узнав об этом, Милюков пришел в ужас. "Господа, неужели мы их впустим при таких условиях!" Однако ему было заявлено, что формальных оснований помешать Ленину не существует. Князь Львов примирительно сказал, что в конце концов сам факт обращения Ленина к услугам немцев сильнее, чем что-либо другое, подорвет его авторитет.

В последующие недели о Ленине на заседаниях кабинета почти не вспоминали. Не слишком обеспокоил министров даже прозвучавший из уст большевистского вождя призыв к свержению правительства. "Помню, — писал позже все тот же Набоков, — Керенский уже в апреле, через некоторое время после приезда Ленина, как-то сказал, что он хочет побывать у Ленина и побеседовать с ним, и в ответ на недоуменные вопросы пояснил, что ведь он живет в совершенно изолированной атмосфере, никого не знает, видит все через очки своего фанатизма, около него нет никого, кто бы хоть сколько-нибудь помог ему ориентироваться в том, что происходит".[170]

Как известно, встреча Ленина и Керенского так никогда и не состоялась. Но если бы это и произошло, вряд ли бы будущее существенно изменилось. Большевики ясно определили свою позицию и менять ее не собирались. Это стало очевидно уже в ближайшие недели.

НОТА МИЛЮКОВА

С первым серьезным испытанием на прочность Временному правительству пришлось столкнуться уже в конце апреля 1917 года. И хотя причины кризиса были куда глубже, непосредственный толчок к нему дало уже известное нам соперничество Керенского и Милюкова. Оба министра перестали скрывать взаимную неприязнь уже и публично. В первых числах апреля правительство принимало в Мариинском дворце французских депутатов-социалистов М. Кашена, М. Муте, Э. Лафона и представителей английских лейбористов Д. О'Грэди, В. Торна и У. Сандерса. Это был первый контакт новых российских властей с официальной делегацией стран-союзниц, и потому прием организовали на высшем уровне.

С речью о целях войны перед гостями выступил Милюков. Он говорил, что, несмотря на происшедшие перемены, Временное правительство "с еще большей силой будет добиваться уничтожения немецкого милитаризма, ибо наш идеал в том, чтобы уничтожить в будущем возможность каких бы то ни было войн". Ни слова об аннексиях сказано не было, но Керенского это не удовлетворило. В своем выступлении он заявил: "Энтузиазм, которым охвачена русская демократия, проистекает не из каких-либо идей частичных, даже не из идеи отечества, как понимала эту идею старая Европа, а из тех идей, которые заставляют нас думать, что мечта о братстве народов всего мира претворится скоро в действительность… Мы ждем от вас, чтобы вы оказали на остальные классы населения в своих государствах такое же решающее влияние, какое мы здесь внутри России оказали на наши буржуазные классы, заявившие ныне о своем отказе от империалистических стремлений".[171]

В данном случае остроту ситуации добавляла еще одна деталь. Керенский плохо владел иностранными языками, и его речь на французский синхронно переводил Милюков. Разумеется, выступление Керенского он воспроизвел дословно, но интонациями, взглядом, недоуменно поднятыми бровями дал понять, что со сказанным абсолютно не согласен. Именно в этот момент, по словам Набокова, стало ясно, что во Временном правительстве сформировались два непримиримых течения. "И было несомненно, что рано или поздно — скорее рано, чем поздно, — искусственная комбинация Керенский—Милюков должна будет разрушиться".[172]

Неделю спустя, 13 апреля, Керенский от своего имени дал в газеты сообщение о том, что Временное правительство готовит

ноту союзным державам, где разъяснит свой взгляд на продолжение войны. Это вмешательство в компетенцию министра иностранных дел встретило крайнее недовольство Милюкова. По его настоянию на следующий день в газетах было помещено опровержение. Однако вопрос о ноте союзникам было решено не снимать с повестки дня. Милюков предложил сделать поводом для подачи ноты разъяснение слухов о намерении русского правительства заключить сепаратный мир с Германией. Текст ноты был подготовлен самим Милюковым, но скорректирован после обсуждения с другими членами кабинета. Особо нужно отметить, что текст в итоге одобрил и Керенский. Поначалу он пытался возражать, но снял свои замечания, после того как за представленный вариант высказались Терещенко и Некрасов.

Нет смысла воспроизводить здесь полное содержание ноты Милюкова. Девять десятых ее — ставшие уже привычными слова о свободе и демократии. Единственное, что можно было при желании трактовать как проявление империалистических замыслов, — это заявление о том, что Временное правительство, "ограждая права нашей родины, будет вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников". Для полной гарантии правильного восприятия эта фраза была сопровождена отсылкой к правительственной декларации от 28 марта. Иными словами, все подводные камни были заранее выявлены, все возможные последствия просчитаны, и ничто не предвещало того, что нота вызовет столь бурную реакцию, каковая последовала через считаные дни.

Для того чтобы понять случившееся дальше, необходимо на какое-то время отступить от основной канвы нашего рассказа. Поговорим о революционных праздниках, тем более что тема эта заслуживает самого пристального внимания. Первые недели революции, во всяком случае в Петрограде, были временем непрекращающихся торжеств. Каждый день центральные улицы города были запружены очередным шествием — шли солдаты, шли рабочие, шли рабочие вместе с солдатами — как символ единства, попарно, взявшись за руки. Одна беда — настроение эти массовые действа создавали не столько праздничное, сколько какое-то нервозное, болезненно-возбужденное.

Высшей точкой всего этого стали торжественные похороны жертв революции на Марсовом поле. Дату их дважды переносили, сначала с 10 на 17 марта, потом на 23 марта. В назначенный день было холодно и пасмурно, серые тучи низко висели над крышами, временами шел дождь, переходящий в мокрый снег. Многотысячная толпа запрудила все подступы к Марсовому полю. Под непрекращающиеся траурные марши в братские могилы

опустили 180 обтянутых кумачом гробов. Самым непонятным было то, что на похороны не были допущены священники. Жертвы революции были погребены без молитвы в неосвященной земле. По этой причине казачьи полки из числа столичного гарнизона отказались принять участие в церемонии.

Мрачный, похоронный оттенок был вообще свойствен всему революционному церемониалу. Не случайно наиболее популярными музыкальными темами этих месяцев были "Вы жертвою пали" или "Марсельеза", исполняемая в стиле "Дубинушки":

Э-э-х, да, э-х, да отречемся
От старого мира.

Главным же праздничным днем в революционной России должно было стать 1 мая. Ввиду расхождения старого и нового стилей его в России отмечали досрочно — 18 апреля. Центром торжеств, как и раньше, стало Марсово поле. Здесь рядом со свежими могилами были установлены грузовики, задрапированные красными полотнищами. С этих импровизированных трибун бесконечные ораторы обращались к собравшейся толпе под звуки все той же надоевшей "Марсельезы". Все это продолжалось до темноты и завершилось концертом-митин-гом в Мариинском дворце, где по ходу дела музыкальные номера перемежались пламенными политическими речами.

Призывы и лозунги пьянили сильнее, чем вино. Весь следующий день столица отходила как от страшного похмелья, а сутки спустя, 20 апреля, город взорвался новым приступом ненависти. В этот день с утра в газетах была опубликована нота Милюкова. Ее появление спровоцировало стихийные митинги и демонстрации. Принято считать, что инициатива в этом деле принадлежала запасному батальону гвардейского Финляндского полка, который вывел на улицу прапорщик Ф. Ф. Линде — недоучившийся студент-математик, меньшевик-интернационалист по партийной принадлежности. На короткое время Линде стал героем газетных репортажей, но в августе 1917 года те же самые "братцы-солдатики", не задумываясь, убьют его, когда он попытается удержать их от бегства с позиций.

К середине дня тысячные толпы вооруженных рабочих и солдат запрудили центральные улицы Петрограда. На вопрос: "Куда идете, товарищи?" — следовал ответ: "Спасать революцию!" — "А оружие зачем?" — "На врагов революции".[173] Огромная масса людей окружила Мариинский дворец. Над головами колыхались наспех сделанные транспаранты: "Долой министров-

капиталистов", "В отставку Милюкова и Гучкова".

Собравшиеся на площади перед дворцом не знали, что министров там нет. По причине болезни Гучкова заседание кабинета проходило в здании военного министерства на Мойке. Участники заседания собрались в кабинете, примыкавшем к личным апартаментам министра. Здесь стоял длинный стол, на котором были разложены листы бумаги и карандаши. Строгого порядка не было: кто-то входил, а кто-то выходил. Один из присутствовавших на этой встрече — генерал Ю. Н. Данилов вспоминал: "Все участники имели измученный вид и явились на заседание в простых, довольно помятых костюмах. Должно ли это было свидетельствовать о демократических настроениях собравшихся или просто об отсутствии у них досуга — сказать не берусь, но особенно мне бросился в глаза поминутно мелькавший силуэт одного из членов собрания, нервно шагавшего из угла в угол кабинета. На нём была однобортная темная тужурка с мягким воротником. Его порывистые манеры, бритое лицо, прищуренные глаза с часто закрывающимися веками и правая рука, висевшая на черной перевязи, невольно останавливали на себе внимание".[174] Читатель уже догадался, что это был Керенский.

Заседание носило особенный характер. На него заранее были приглашены высшие военные чины, в том числе Верховный главнокомандующий генерал М. В. Алексеев и командующий Черноморским флотом адмирал А. В. Колчак. Обсуждалось положение на фронте. Общий тон был самым пессимистическим. Всем присутствовавшим (исключая разве что Гучкова) пришлось добираться на Мойку по запруженным толпой улицам, и вид многих тысяч разгоряченных людей не способствовал подъему настроения. Кто-то из министров (по словам Колчака — Милюков) мрачно сказал: "Мы можем обсуждать здесь и говорить о чем угодно, а может быть, через несколько времени мы все т согроге (вместе. — В. Ф.) будем сидеть в Крестах или крепости. Какую же ценность имеют при данном положении наши суждения?"[175]

Заседание уже подходило к концу, когда адъютант доложил о прибытии генерала Корнилова. Он сообщил, что в городе происходит вооруженное выступление против правительства, но командование округа располагает достаточными силами, способными навести порядок. Корнилов просил от правительства официальной санкции на применение силы. Последовало общее молчание, никто из министров не хотел высказываться первым. Наконец встал министр торговли и промышленности А. И. Коновалов. "Александр Иванович, — сказал он, обращаясь к

Гучкову. — Я вас предупреждаю, что первая пролитая кровь — и я ухожу в отставку".[176] В том же духе высказались и другие присутствовавшие. Керенский в обычной для него патетической манере подвел итог: "Наша сила заключается в моральном воздействии, в моральном влиянии, и применить вооруженную силу значило бы выступить на прежний путь насильственной политики, что я считаю невозможным".[177]

Во второй половине дня ситуация на улицах Петрограда начала меняться. У Мариинского дворца собралась уже другая публика. Сменились и лозунги на транспарантах: "Война до победного конца", "Верните Ленина Вильгельму". Ободренный поддержкой, Милюков занял неуступчивую позицию. Вечером все в том же Мариинском дворце собралось совместное заседание правительства и Исполкома Совета. Лидеры Совета настаивали, чтобы правительство официально дезавуировало вызвавшую такую бурную реакцию ноту. Но Милюков выступил категорически против, согласившись только на разъяснение некоторых наиболее спорных положений. Таковое разъяснение появилось на следующий день. В нем говорилось, что нота не является результатом деятельности одного Милюкова, а была единодушно одобрена всеми министрами. Что касается упомянутых в ноте санкций и гарантий, то под ними подразумеваются послевоенное ограничение вооружений и организация международного трибунала для виновников развязывания войны. Совет принял разъяснение правительства, и дело, казалось бы, было улажено. Однако именно в этот день на улицах столицы пролилась кровь.

С утра 21 апреля на Невском вновь продолжились стихийные митинги. Правда, они не имели уже тех масштабов, как накануне. Теперь уже не многотысячные толпы, а отдельные группы по десять—двадцать человек собирались на перекрестках, говорили, спорили. Проблема была в том, что сторонники и противники правительства находились в опасном соседстве. В итоге у кого-то не выдержали нервы. На углу Невского и Садовой вспыхнула перестрелка.

Невольными свидетелями этой сцены стали будущий белый вождь генерал П. Н. Врангель и член Исполкома Совета меньшевик В. С. Войтинский. Врангель вспоминал: "Во время столкновения я находился как раз в "Европейской" гостинице. Услышав первые выстрелы, я вышел на улицу. Толпа в панике бежала к Михайловской площади; нахлестывая лошадей, скакали извозчики. Кучка грязных, оборванных фабричных в картузах и мягких шляпах, в большинстве с преступными, озверелыми лицами, вооруженные винтовками, с пением "Интернационала"

двигались посреди Невского. В публике кругом слышались негодующие разговоры — ясно было, что в большинстве решительные меры правительства встретили бы только сочувствие".[178] Войтинский менее категоричен, но и он в целом подтверждает нарисованную Врангелем картину: "У меня получилось впечатление, что начали стрелять со стороны антиправительственной (рабочей) демонстрации… Как бы то ни было, жертвы оказались в рядах патриотической манифестации".[179]

По разным данным, было ранено от пяти до семи человек. Но количественный показатель в данном случае не главный. Впервые после революции политический спор кончился стрельбой и ранеными. Это окончательно похоронило миф о "великой и бескровной". Период революционной эйфории закончился, начиналось новое время, не сулившее в будущем ничего хорошего.

КОАЛИЦИЯ

Пролитая кровь на время отрезвила обе противостоящие стороны. В Петрограде было восстановлено относительное спокойствие, но кризис был далеко не завершен. Вечером 21 апреля состоялось второе совместное заседание правительства и руководства Совета, на котором князь Львов впервые поставил вопрос о коллективной отставке членов кабинета. В своем выступлении он сказал, что нынешний конфликт не является частным случаем. "За последнее время правительство вообще взято под подозрение. Оно не только не находит в демократии поддержки, но встречает там попытки подрыва его авторитета". Обращаясь к представителям Совета, Львов заявил: "Мы решили позвать вас и объясниться. Мы должны знать, годимся ли мы для нашего ответственного поста в данное время. Если нет, то мы для блага родины готовы сложить свои полномочия, уступив место другим".[180]

Позицию председателя поддержали большинство министров. Против был один Милюков. Он полагал, что правительство вообще не должно оправдываться перед Советом, поскольку возникло без всякого его участия и ответственности перед ним не несет. Но у Милюкова не нашлось союзников. Единственным человеком, на чью поддержку он мог надеяться, был Гучков, но тот уже решил для себя вопрос о дальнейшем пребывании в министерском кресле. Гучков крайне пессимистически оценивал ситуацию и иного выхода, кроме отставки, не видел.

Милюков оказался в одиночестве. Масла в огонь подлил присутствовавший на совещании член Исполкома Совета известный эсеровский деятель В. М. Чернов. Он начал с реверансов по адресу Милюкова, но в итоге заявил, что, по его мнению, тот "лучше мог бы развернуть свои таланты на любом другом посту, хотя бы в качестве министра народного просвещения". Для Милюкова это стало полной неожиданностью, но по молчанию своих коллег он понял, что этот вопрос обсуждается уже давно.

Все, кому приходилось сталкиваться со знаменитым упрямством Милюкова, знали, что он сам ни за что не уйдет со своего поста, а тем более не согласится с портфелем министра просвещения. На этот случай в ход была пущена тяжелая артиллерия. 26 апреля в газетах появилось письмо Керенского, адресованное в ЦК партии эсеров, в Исполком Совета и Временный комитет Государственной думы. Керенский писал, что изменившаяся ситуация требует нового подхода к формированию

правительства. Если первый его состав был образован за счет приглашения конкретных лиц, то теперь настало время замешать министерские посты по принципу представительства политических организаций. Таким образом, Керенский предлагал заменить "деловой" кабинет партийным. Поскольку ни одна из партий не могла претендовать на преобладающее влияние, неизбежной становилась коалиция.

Далее Керенский заявлял, что в нынешнем составе правительства он оставаться не может и потому подает в отставку. Это был сильный ход. Керенский пользовался популярностью куда большей, чем другие министры, и его уход, по сути дела, означал неизбежную отставку всего правительства. Премьер Львов оказался перед выбором. Он должен был расстаться либо с Керенским, либо с Милюковым.

Надо сказать, что идея коалиции имела противников не только среди сторонников Милюкова, но и у немалой части Исполкома Совета. Дело в том, что делегировать своих представителей в правительство означало бы взять на себя ответственность за его деятельность, а лидерам Совета куда больше нравилось прежнее положение безответственных критиков. Вечером 28 апреля вопрос о коалиции был поставлен на голосование Исполкома. Итог был отрицательным — 24 против, 22 — за при 8 воздержавшихся.

Тогда на защиту своего предложения бросился Керенский. На следующий день, 29 апреля, в Таврическом дворце собралось совещание фронтовых делегатов. После выступления военного министра Гучкова, который рисовал обстановку в самых мрачных тонах, слово было предоставлено Керенскому. На этот раз он превзошел самого себя. Его речь была шедевром ораторского искусства. "Неужели, — заявил он, — русское свободное государство есть государство взбунтовавшихся рабов? Я жалею, что не умер два месяца тому назад: я бы умер с великой мечтой, что раз и навсегда для России загорелась новая жизнь, что мы умеем без хлыста и палки уважать друг друга и управлять своим государством не так, как старые деспоты". Керенский еще раз подтвердил, что единственным способом установить общественное согласие он считает формирование коалиционного правительства.

На следующий день о "взбунтовавшихся рабах" писали все газеты. Как ни странно, но выступление Керенского было очень сочувственно встречено и околокадетскими кругами, увидевшими во "взбунтовавшихся рабах" деятелей из Совета. В свою очередь, Исполком еще раз осознал, что с Керенским надо считаться. Однако решающую роль в изменении позиции руководства

Исполкома сыграло другое событие — отставка Гучкова. О ней говорили давно, но все равно она стала неожиданностью. Официально заявление об уходе из правительства Гучков подал 30 апреля. Через несколько дней, выступая на частном совещании членов Государственной думы, он откровенно объяснил свои мотивы: "Я ушел от власти, потому что ее просто не было; болезнь заключается в странном разделении между властью и ответственностью: на одних полнота власти, но без тени ответственности, а на видимых носителях власти полнота ответственности, но без тени власти".[181]

Уход Гучкова стал толчком к новой фазе переговоров. Утром 1 мая князь Львов встретился с представителями Исполкома и поставил перед ними вопрос: либо формируется коалиционный кабинет, либо нынешнее правительство в полном составе отказывается от полномочий. Ранее Таврический дворец посетила делегация чинов военного министерства во главе с полковником Якубовичем. Со своей стороны они тоже пытались убедить руководство Совета санкционировать образование коалиции, угрожая в противном случае развалом фронта. Зная близость "младотурок" к Керенскому, можно предположить, что этот визит был инициирован или по крайней мере санкционирован им. В итоге новое голосование, состоявшееся вечером того же дня, принесло 44 голоса сторонникам коалиции при 19 голосах против и 2 воздержавшихся.

Следующий день, 2 мая, выдался не по-весеннему холодным. С ночи лил дождь, сменившийся после полудня мокрым снегом. На улице царило ненастье; что же касается атмосферы в здании военного министерства, где проходили переговоры между представителями правительства и Исполкома, то она тоже была весьма прохладной. Общую платформу коалиции стороны сформулировали на удивление быстро. Правительство согласилось с формулой "мир без аннексий и контрибуций", а Совет, в свою очередь, не возражал против подтверждения союзнических обязательств.

Разногласия настали, когда на обсуждение был поставлен вопрос о персональном составе правительства. Делегаты от Исполкома настаивали на том, чтобы "революционной демократии" было предоставлено минимум шесть мест. Представители правительства не говорили ни да ни нет. Масла в огонь добавило присутствие на совещании Милюкова. Лидер кадетов был обижен на всех и вся. За несколько дней до этого он уезжал в Ставку и перед отъездом взял с Гучкова обещание не предпринимать никаких шагов до его возвращения. Гучков, как мы уже знаем, обещания не сдержал, и Милюков вернулся тогда,

когда все уже было фактически решено. Сейчас Милюков демонстративно прощался с бывшими коллегами. Князь Львов попытался робко протестовать: "Да что вы! Не уходите". Но Милюков холодно произнес: "Вы были предупреждены" — и с гордо поднятой головой покинул зал.

С его уходом все почувствовали облегчение. Вечный оптимист обер-прокурор Синода В. Н. Львов начал громко рассуждать о том, что все закончилось хорошо. На это присутствовавший на переговорах Суханов мрачно сказал: "Помяните мое слово — если все будет развиваться так же, мы через два месяца увидим во главе правительства Ленина".

Переговоры о составе кабинета продолжались еще два дня, и только к вечеру 4 мая портфели были окончательно распределены. Пост главы правительства по-прежнему сохранил князь Львов. Военным и морским министром стал Керенский. Он давно домогался этого, и его назначение никого не удивило. Министром иностранных дел вместо ушедшего Милюкова был назначен Терещенко. Вот это в какой-то мере могло считаться сенсацией. Впрочем, Терещенко на новой должности чувствовал себя так же непринужденно, как и в кресле министра финансов, и без труда находил общий язык как с союзническими дипломатами, так и с социалистами из Совета.

Министры-социалисты (считая Керенского) получили искомые шесть министерских кресел. При этом три выделенных им министерства были заново придуманы, то есть не имели своего аппарата и четко очерченной сферы деятельности. Это Министерство труда, отданное меньшевику М. И. Скобелеву, Министерство почт и телеграфов, которое возглавил И. Г. Церетели, и Министерство продовольствия, во главе которого встал народный социалист А. В. Пешехо-нов. Министром земледелия вместо кадета Шингарева стал лидер эсеров В. М. Чернов. Последним из министров-социалистов стал новый министр юстиции адвокат П. Н. Пере-верзев, причислявший себя к трудовикам. Надо сказать, что Переверзева и Пешехонова можно отнести к социалистам лишь с большой натяжкой. По своим взглядам они были скорее левыми либералами и в правительстве явно тяготели к кадетам.

Вопрос об участии в правительстве кадетов до последнего оставался неясным. Милюков категорически отверг все уговоры своих сотоварищей, просивших его согласиться на пост министра просвещения. Тем не менее кадетский лидер не протестовал против представительства кадетов в органах верховной власти. При окончательном раскладе министр путей сообщения Некрасов, министр просвещения Мануйлов и министр торговли и

промышленности Коновалов сохранили свои прежние должности. Шингарев сменил Министерство земледелия на финансовое ведомство. Более того, в правительстве появился новый министр-кадет — Д. И. Шаховской, возглавивший вновь созданное Министерство государственного призрения. Остались в составе правительства также государственный контролер Годнев и обер-прокурор Синода В. Н. Львов.

Если рассматривать коалицию как компромисс между "социалистами" и "капиталистами", то у последних было заметное численное большинство. На деле картина выглядела сложнее. "Советская" фракция в правительстве объединяла трех министров — Скобелева, Церетели и Чернова. Такой же по численности была кадетская группа — Шингарев, Мануйлов, Шаховской. Некрасов и Коновалов, будучи формально членами кадетской партии, в силу своих масонских связей были ближе к Керенскому. К ним примыкал и Терещенко.

Таким образом, трем социалистам и трем кадетам противостояла группа Керенского. С ней чаще всего блокировались оставшиеся министры — Переверзев, Годнев и Львов-"синод-ский". Фактически Керенский с мая стал главным лицом в правительстве. Функции министра-председателя князя Львова чем дальше, тем больше приобретали исключительно представительский характер. Керенский с полным правом мог считать, что верховная власть уже в его руках. Человеку сложно заметить за собой изменения, особенно если эти изменения происходят за короткий срок. Но для сторонних наблюдателей было очевидно: Керенский меняется с каждым новым шагом наверх. Министр-идеалист постепенно уступал место вождю, властному и уверенному, хотя бы внешне.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

"ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ РЕВОЛЮЦИИ"

Популярность Керенского росла с каждым месяцем. Уже весной он, министр юстиции, человек, занимающий не самый значимый в кабинете пост, воспринимался как символ Временного правительства и, в широком смысле, всей революции. С назначением на должность военного министра к числу восторженных поклонников Керенского примкнули миллионы солдат на фронте и в тылу. Никогда, ни раньше, ни позже, ни один из российских лидеров не удостаивался такого масштабного и беззаветного обожания. Конечно, можно вспомнить Сталина и позднейших советских вождей, но в этом случае поклонение в значительной степени было разыгранным, между тем как восторги по адресу Керенского были искренними и бескорыстными.

Весной и летом 1917 года газеты были полны приветственными телеграммами в адрес Керенского. Вот один, взятый наугад, пример: "Команда ярославского военного лазарета, собравшись 9 мая для выборов членов дисциплинарного суда, единогласно постановила приветствовать Вас — первого министра-социалиста, пользующегося любовью и уважением всей Руси великой. С радостью отдаем все наши силы в Ваше распоряжение".[182] Попробуем разобраться в этом тексте. Лазаретная команда (сколько в ней числилось человек? двадцать? тридцать?), собравшись для решения вполне конкретного вопроса, ни с того ни с сего посылает министру телеграмму с выражением преданности и любви. Если подумать, в этом было что-то ненормальное.

Энтузиазм поклонников Керенского не знал границ. В мае 1917 года газеты серьезно обсуждали вопрос о создании специального "Фонда имени Друга Человечества А. Ф. Керенского".[183] Тогда же московская фабрика Д. Л. Кучкина, специализировавшаяся на изготовлении памятных знаков, выпустила жетон с портретом нового министра юстиции. На обороте красовалась надпись: "Славный, мудрый, честный и любимый вождь свободного народа". Об этой атмосфере всеобщего восхищения Керенским позже с иронией писал В. В. Маяковский:

Подшит к истории,
пронумерован и скреплен.
Его рисуют
и Бродский, и Репин.

К слову, о "теме Керенского" в живописи. Оба упомянутых Маяковским портрета, к счастью, сохранились, и мы можем увидеть, каким запечатлела Керенского кисть самых известных художников его времени. На незаконченном портрете Репина Керенский изображен в интерьере своего рабочего кабинета в Зимнем дворце. Приглушенные тона, едва пробивающийся через стекло свет создают впечатление интимности и умиротворения. Керенский расслаблен, каким он редко бывал в реальной жизни, он улыбается и совсем непохож на главу правительства революционной России. Совсем другим выглядит Керенский на портрете Бродского. Будущий автор пафосных портретов Ленина изобразил Керенского в напряженной, почти угрожающей позе. Его плечи, да и вся фигура непропорционально велики по сравнению с головой, так что создается впечатление, что он как бы нависает над зрителем. Это другой Керенский — не "друг человечества", а скорее "вождь", решительный и неумолимый. Стоит ли говорить, что Керенский не был ни тем ни другим?

Но вернемся к "феномену Керенского". Найти объяснение ему пытались уже современники, не говоря об историках позднейших лет. Главное, что чаще всего упоминается в этой связи, — это якобы поразительный ораторский талант Керенского. Действительно, революция была временем ораторов — больших и малых, талантливых и бездарных. Генерал П. Н. Врангель, оказавшийся весной 1917 года в Петрограде, вспоминал: "Это была какая-то вакханалия словоизвержения. Казалось, что столетиями молчавший обыватель ныне спешил наговориться досыта, нагнать утерянное время. Сплошь и рядом в каком-либо ресторане, театре, кинематографе, во время антракта или между двумя музыкальными номерами какой-нибудь словоохотливый оратор влезал на стул и начинал говорить. Ему отвечал другой, третий, и начинался своеобразный митинг. Страницы прессы сплошь были заняты речами членов Временного правительства, членов Совета рабочих и солдатских депутатов, речами разного рода делегаций. Темы были всегда одни и те же: осуждение старого режима, апология "бескровной революции", провозглашение "борьбы до победного конца" (до "мира без аннексий и контрибуций" тогда еще не договорились), восхваление "завоеваний революции"".[184]

Следует учитывать еще одно обстоятельство. В условиях дефицита массовых зрелищ эту нехватку в значительной мере восполняли революционные митинги. На популярных ораторов "ходили", как прежде ходили на талантливого певца или артиста.

Не случайно существовало расхожее выражение "теноры революции", иронически обозначавшее профессионалов этого жанра. В этом ряду Керенский был на одном из первых мест.

Английский дипломат-разведчик Р. Локкарт оставил любопытное описание одного из выступлений Керенского. Дело было 25 мая 1917 года, Керенский только что прибыл с фронта в Москву и прямо с вокзала отправился в Большой театр, где должен был состояться очередной концерт-митинг. Перед собравшейся в театре публикой читал стихи Бальмонт, пел Собинов, но это был лишь "разогрев" в ожидании главного номера. Наконец, под гром аплодисментов на сцене появился Керенский. Он поднял руку и заговорил. Содержание его выступления передать сложно, но главное в данном случае не содержание, а то, что было потом. "Окончив речь, он в изнеможении упал назад, подхваченный адъютантом. Солдаты помогли ему спуститься со сцены, пока в истерическом припадке вся аудитория повскакала с мест и до хрипоты кричала "ура". Человек с одной почкой, человек, которому осталось жить полтора месяца, еще спасет Россию. Жена какого-то миллионера бросила на сцену свое жемчужное ожерелье. Все женщины последовали ее примеру. И град драгоценностей посыпался из всех уголков громадного здания".[185]

Локкарт, человек далеко не восторженный, называл Керенского одним из величайших ораторов в истории. Однако вот что странно: опубликованные речи Керенского абсолютно не производят впечатления. В них нет ни убеждающей логики, ни эффектных риторических приемов. По своему содержанию они представляют собой набор одних и тех же повторяющихся фраз, излишне пафосных, излишне красивых и чаще всего абсолютно бессодержательных. "Я растопчу цветы души моей… Я замкну свое сердце и брошу ключи в море" — это типичные для Керенского обороты. Самая известная фраза Керенского о "взбунтовавшихся рабах" была, во-первых, прямой цитатой из Аксакова, а во-вторых, подсказана ему накануне одним из его собеседников.

Выступая перед многотысячной толпой, Керенский словно преображался. В обычной жизни у него был совсем не сильный, а скорее мягкий голос. К тому же он слегка картавил. Но на трибуне все менялось. Голос Керенского становился хриплым. Начиная речь спокойно и даже тихо, он к концу уже не говорил, а что-то отрывочно выкрикивал.

Американская журналистка Рета Чайлд Дорр так описывала выступления Керенского: "Он слишком взвинчен на трибуне, дергается, бросается из стороны в сторону, делает шаги назад и

вперед, теребит свой подбородок… Все его жесты импульсивны и нервозны, голос довольно пронзителен".[186] Сенатор С. В. Завадский, знавший Керенского по Министерству юстиции, полагал, что его ораторские способности более воздействовали не на ум и даже не на чувства, а на нервы слушателей.[187] Выступая, он заводил не только аудиторию, но и самого себя. Неудивительно, что всплески нервной энергии чередовались у Керенского с неизбежными срывами, очень напоминавшими наркотическую абстиненцию. Мы уже писали о том, что ходили слухи, будто Керенский и впрямь нюхает то ли эфир, то ли кокаин.

Позже, уже в эмиграции, писатель Р. Б. Гуль записал любопытную историю, услышанную им от Керенского. Речь шла о тех временах, когда Керенский еще работал адвокатом. Как-то председатель суда попросил его вкратце набросать содержание своего выступления. Керенский ответил, что сделать этого не может. "Почему?" — удивился собеседник. "Потому что когда я выступаю, я не знаю, что я скажу. А когда я кончил, я не помню, что я сказал".[188] Публика слушала Керенского, но не слышала, о чем он говорит. Воспринимались не слова, а жесты, интонации, общий настрой. Причем эмоциональное воздействие выступлений Керенского было настолько сильно, что действовало не только на непосредственных слушателей, но через них — на более широкую аудиторию.

Можно сказать, что Керенский был телевизионным политиком дотелевизионной эпохи. Он имел тот необходимый артистический талант, который должен быть присущ каждому политику, напрямую общающемуся с массами. Несостоявшийся "артист императорских театров" все-таки взял свое. Но как в артисте или оперном певце, аудитория Керенского ценила не слова, а манеру исполнения. В этом-то и была главная слабость Керенского-оратора. Он не убеждал, а заражал своими чувствами. Поэтому, когда эмоциональный удар ослабевал, у слушателей Керенского не оставалось в головах ничего кроме неясных воспоминаний.

Как талантливый артист, Керенский умел и любил нравиться, причем эта любовь подчас принимала характер болезненной страсти. Это было заложено в характере, Керенскому сложно было сделать что-то с собой. Буквально за несколько дней до большевистского переворота он с гордостью сообщил своим коллегам по кабинету министров: "Знаете, что я сейчас сделал? Я подписал 300 своих портретов".[189] Как артисту ему льстила популярность, как политик он принимал ее за искреннюю поддержку и просчитался в этом.

Конечно, ораторские способности Керенского сыграли огромную роль в формировании его необыкновенной популярности, но одного этого было бы мало. "Феномен Керенского" сложился из целого ряда факторов. Во-первых, молодость, которая воспринималась как очевидное достоинство, особенно если учесть, что трем последним премьерам царской России было каждому далеко за шестьдесят. Во-вторых, то обстоятельство, что Керенский не уставал причислять себя к социалистам. Совместная пропаганда левых партий сумела в это время внушить значительной части населения представление о социализме как единственном варианте развития страны, а Керенский был лучшим кандидатом на роль живого воплощения этого курса.

Все это вместе взятое можно объединить одним словом — надежда. Даже в февральско-мартовские дни, когда эйфория, казалось бы, захлестнула всех, в сознании людей подспудно нарастало ощущение чего-то страшного. Страна ждала лидера, человека, способного совершить чудо. Эти надежды на лучшее постепенно стали отождествляться с Керенским. Иллюстрацией таких настроений может служить стихотворение, присланное некой дамой из Моршанска в редакцию одного из столичных журналов:

> Гляжу портрет его.
> Какое славное лицо,
> Как много мужества, ума и воли.
> И стало на душе легко —
> Анархии не будет боле.[190]

Эти строки наивны и смешны, но, несомненно, искренни. Чувствуя, что от него ждут, Керенский играл сильного человека. Но это была только игра, ибо ни по причине личных качеств, ни в силу обстановки помешать надвигавшемуся ужасу он не мог. Постепенно это становилось все заметнее. Один из современников, достаточно близко знавший Керенского, позже писал: "Я редко видел человека, который бы так старался доказать свою силу и вместе с тем оставлял такое яркое впечатление безволия и слабости".[191] Постепенно это становилось заметно и другим.

В начале осени, когда популярность Керенского начала уже стремительно падать, журнал "Республика" преподнес читателям запоздавший сюрприз — специальный номер, посвященный недавнему кумиру. Эпиграфом к нему стали строки: "Его, как первую любовь, России сердце не забудет".[192] Первая любовь,

как это чаще всего и бывает, оказалась непрочной. Несбывшиеся надежды рождали разочарование, разочарование перерастало в ненависть. В памяти большинства Керенский остался калифом на час, человеком, развалившим Россию, приведшим к власти большевиков. И лишь немногие, те, кто сохранил память об "эпохе надежд", не предали поруганию ее главного героя.

"ГРАЖДАНИН МИНИСТР"

Любой взявшийся за биографию политика рискует потерять своего героя, увлекшись описанием его деятельности. Труднее всего увидеть в политике живого человека с его повседневными привычками, манерой вести себя в бытовых ситуациях. Между тем без этого не обойтись, поскольку эти мелочи нередко существенно влияют на судьбы тысяч, а то и миллионов людей — тех, кто внимает вождю. В этой главе мы попробуем познакомиться с Керенским — человеком, хотя заранее скажем, что сделать это будет очень трудно.

Основная проблема в том, что наши главные свидетели — современники — не могли воспринимать Керенского беспристрастно. Восторг, безграничное поклонение или столь же безграничная ненависть — вот разброс оценок мемуаристов. Даже внешность Керенского нарисовать с помощью цитат из воспоминаний современников крайне трудно. "Наружность он имел не совсем заурядную. Рыжеватые волосы он носил бобриком. Большая его голова при среднем росте казалась слишком несоразмерна туловищу. И лицо он имел бледное с нездоровой и дряблой кожей".[193] Таким запомнил Керенского писатель М. М. Зощенко. Другой очевидец тоже вспоминает "топорщащийся бобрик над вытянутым, длинным лицом, и собачью старость переутомленных висячих щек, и тяжелый грушеобразный нос, и нездоровый, серо-желтый цвет кожи".[194]

В воображении после этого возникает образ почти карикатурный. К слову сказать, карикатуристы очень любили рисовать Керенского именно из-за наличия узнаваемых черт, которым кисть художника легко могла придать гротесковый вид. Конечно, можно обвинить авторов воспроизведенных нами воспоминаний в сознательном или бессознательном принижении былого кумира. Но, рассматривая многочисленные фотографии Керенского 1917 года, приходишь к выводу, что в этих описаниях немало истины. На фотографиях Керенский действительно выглядит намного старше своих тридцати шести лет.

Главная причина этого — тот сумасшедший ритм, который Керенский задал себе с самого начала революции. Нередко ему приходилось бодрствовать по несколько суток подряд, трижды и даже четырежды в день выступать с речами перед многотысячной аудиторией. Спать он ложился в три-четыре часа ночи, а вставал уже в восемь утра. В бытность Керенского премьер-министром заседания кабинета, подчиняясь ночному образу жизни главы правительства, начинались в полночь, а то и позже.

Известный философ Ф. А. Степун, близко общавшийся в ту пору с Керенским, позже писал: "Я глубоко уверен, что большинство сделанных Керенским ошибок объяснялись не тою смесью самоуверенности и безволия, в которой его обвиняют враги, а полной неспособностью к технической организации рабочего дня. Человек, не имеющий в своем распоряжении ни одного тихого, сосредоточенного часа в день, не может управлять государством. Если бы у Керенского была непреодолимая страсть к ужению рыбы, он, может быть, и не проиграл бы Россию большевикам".[195]

Знаменитая деталь, запомнившаяся современникам и увековеченная на сотнях фотографий, — Керенский с правой рукой, висящей на перевязи или заложенной за пуговицы френча. Эта "наполеоновская" поза дала повод для многих язвительных замечаний. На деле все было просто — во время поездок на фронт Керенскому пришлось за руку здороваться с тысячами поклонников. Он сам вспоминал о том, что как-то его "целовала целая дивизия". После речи военного министра наэлектризованная толпа смяла охрану, чтобы лично прикоснуться к кумиру. По словам Керенского, "это было черт знает что, я был в полной уверенности, что через полчаса окажусь трупом".[196] Результатом бесчисленных рукопожатий стала тяжелая форма невралгии, не позволявшая ему даже пошевелить пальцами.

Удивительно, как организм Керенского выдерживал эту нагрузку, особенно если вспомнить, что его трудно было назвать здоровым человеком. Мы уже писали о том, что всего за несколько месяцев до этого он пережил тяжелейшую операцию по удалению почки. В довершение всего Керенский был близорук почти до слепоты. Он тщательно скрывал это обстоятельство даже от друзей и сознательно не носил очки. У Исаака Бабеля есть рассказ "Линия и цвет", в котором он описывает свою встречу с Керенским в санатории Халила под Гельсингфорсом, где тот восстанавливал силы после операции. В разговоре выяснилось, что Керенский крайне близорук. Далее состоялся следующий разговор:

"— Нужны очки, Александр Федорович.

Никогда.

Тогда я сказал с юношеской живостью:

— Подумайте, вы не только слепы, вы почти мертвы. Линия, божественная черта, властительница мира, ускользнула от вас навсегда. Мы ходим с вами по саду очарований, в неописуемом финском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледенелых и розовых краев

водопада там, у реки. Плакучая ива, склонившаяся над водопадом, — вы не видите ее японской резьбы. Красные стволы сосен осыпаны снегом. Зернистый блеск роится в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву и на поверхности волнистой, как линия Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. А шелковый чулок фрекен Кирсти и линия ее уже зрелой ноги? Купите очки, Александр Федорович, заклинаю вас.

— Дитя, — ответил он, — не тратьте пороху. Полтинник за очки — это единственный полтинник, который я сберегу. Мне не нужна ваша линия, низменная, как действительность. Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами даже в Клязьме. Зачем мне веснушки на лице фрекен Кирсти, когда я, едва различая ее, угадываю в этой девушке все то, что я хочу угадать? Зачем мне облака на этом чухонском небе, когда я вижу мечущийся океан над моей головой? Зачем мне линии, когда у меня есть цвета? Весь мир для меня — гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во сне, сердце мое раздувается от восторга, я вижу пурпурный бархат на Джульетте, лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды. И вы хотите ослепить меня очками за полтинник".

Конечно, рассказ Бабеля нельзя считать стенографической записью его разговора с Керенским. Скорее всего, отказ Керенского носить очки объяснялся (как это и бывает в большинстве случаев) страхом испортить сложившийся образ. В быту близорукость ему не слишком мешала, а на самый крайний случай у него имелся лорнет, придававший его лицу удивительно старушечий вид.

К слову, возможно, именно крайняя близорукость Керенского определила его манеру публичных речей. Выступая перед публикой, он просто не видел аудитории и вынужден был реагировать на другие факторы. Говоря по-другому, он "чувствовал" своих слушателей именно потому, что не мог их видеть.

Надо сказать, что Керенский очень тщательно следил за тем, как он выглядит на публике. В дни своего пребывания депутатом Думы он одевался по последней моде, даже с некоторой щеголеватостью. Но революция мгновенно изменила его внешний вид. Теперь он носил черную тужурку со стоячим воротником, в которой был похож не то на студента, не то на великовозрастного гимназиста.

Момент превращения запечатлел в своих воспоминаниях управляющий делами Временного правительства В. Д. Набоков.

Дело было в тот самый день, когда Керенский добился от Совета одобрения своего вхождения в состав правительства. Керенский был одет как всегда — в костюм и крахмальную рубашку с галстуком. Рубашка по тогдашней моде имела жесткий воротничок с загнутыми углами. Керенский неожиданно взялся за эти уголки и отодрал их. В результате галстук съехал куда-то под жилетку и новоявленный министр юстиции приобрел нарочито-пролетарский вид.[197]

Вступление Керенского в должность военного министра привело к новому переодеванию. На фотографиях, запечатлевших его в первые дни после нового назначения, он еще одет как человек сугубо штатский — в длинное летнее пальто и мягкую шляпу. Но уже во время поездки на фронт Керенский появляется в новом облике. На нем короткий френч английского образца, а на голове — кепи с высокой тульей. Новый костюм придавал Керенскому "полувоенный вид". С другой стороны, отсутствие каких-либо знаков различия и видимые расхождения с форменной одеждой должны были показать, что военный министр — лицо гражданское.

Если не брать во внимание одежду, то в быту Керенский был неприхотлив. У него не было особых пристрастий в еде, разве что он любил сладкое и мог зараз съесть три порции десерта. Один из тех, кому пришлось как-то присутствовать за столом у Керенского, описывает это так. "Блюда вполне скромного завтрака подавались, довольно нескладно, двумя министерскими курьерами (теперь "товарищами"), одетыми в летние коломянковые тужурки. Вина на столе не было, но был квас и вода. Пухлые салфетки и вся сервировка напоминали буфет второстепенной железнодорожной станции, да и сами завтракавшие за одним столом люди казались сборищем куда-то спешащих пассажиров, случайно очутившихся за общей буфетной трапезой".[198]

Это происходило на служебной квартире министра юстиции, располагавшейся прямо в здании министерства. После назначения министром Керенскому первую неделю пришлось ночевать в кабинете, так как в квартире продолжала жить семья его предшественника — царского министра юстиции Добровольского. Свою семью он сумел перевезти в министерский особняк только в середине марта. Казенное жилье было холодным и неудобным. Квартира представляла собой анфиладу проходных комнат, и уединиться в ней не было никакой возможности. К тому же, несмотря на часовых у входа, в квартире всегда толпился какой-то случайный народ — студенты, курсистки, жалобщики и просители.

Когда Керенский был назначен военным министром, он переехал в "довмин" на набережной Мойки. Однако семью он с собой не взял. Ольга Львовна вместе с сыновьями Олегом и Глебом вернулась в квартиру на Тверской улице, которую Керенские предусмотрительно оставили за собой. Квартира находилась на первом этаже, но Керенскому и в голову не пришло поставить охрану на улице или у подъезда.

Сыновья Керенского продолжали учиться в частной школе М. А. Шидловской, где одновременно занимались Дмитрий Шостакович и два сына Троцкого. Позднее Глеб Керенский вспоминал: "Шостаковича я не очень хорошо помню — он был постарше на один класс. А вот Троцких помню прекрасно, я их хорошо знал: старший ходил в один класс с Олегом, а младший учился вместе со мной".[199] Дети редко общались с отцом — лишь один раз, когда Керенский уже жил в Зимнем дворце, они вместе с матерью ходили к нему обедать. По словам Глеба Керенского, "это был весьма скромный обед, но в конце нам подали сахар — по тем временам роскошь".[200]

Для Керенского, как и для многих политиков, платой за общественный успех стал семейный разлад. В первые недели революции Ольга Львовна старалась всегда быть рядом с мужем. В те дни ее видели и запомнили многие современники. "Очень моложавая на вид, энергичная и подвижная, она производила впечатление плохо упитанной курсистки, нервно и повышенно воспринимающей жизненные тяготы. Бледное лицо ее, обрамленное светло-русыми, зачесанными книзу волосами, было скорее приятно".[201] Другой увидел Ольгу Керенскую в ту пору юный гимназист, а позже писатель и литературовед Лев Успенский: "Милое лицо, большие грустные глаза, как у дамы на том серовском портрете, взглянув на который психиатр Тарновский сразу же определил тяжелую судьбу и душевные недуги женщины, послужившей художнику моделью… Была в этих ее глазах какая-то тревога, смутный испуг, страх перед будущим".[202]

У Ольги Львовны были основания для тревоги — она не могла не видеть, что муж все более отдаляется от нее. Уже к середине лета по Петрограду поползли слухи о разводе Керенского. Разлучницей называли актрису Елизавету Тиме. По словам знающих людей, Керенский то ли тайно обручился с ней, то ли уже обвенчался. В былые годы Керенский действительно не слишком усердно хранил супружескую верность. У него было много романов на стороне, самым продолжительным из которых был роман с двоюродной сестрой его жены студенткой-медичкой Еленой Барановской. Ольга Львовна знала об изменах мужа, но

каждый раз прощала его. Однако слухи о Керенском и актрисе Тиме вряд ли имели серьезную основу. У него попросту не оставалось времени на любовную интрижку, да и каждую минуту его окружали десятки людей, не давая побыть одному. Конкуренткой Ольги Львовны была не другая женщина — с этим-то она привыкла мириться, — а большая политика, отнимавшая у Керенского все силы.

Постоянное напряжение требовало разрядки. К несчастью Керенского, ему не удалось найти эффективного способа релаксации. Он никогда не курил, был равнодушен к алкоголю (хотя в совсем уж тяжелую минуту мог выпить предложенную рюмку коньяку), все слухи о том, что он то ли нюхает эфир, то ли вкалывает морфий, были не более чем слухами. В былые, казавшиеся теперь спокойными времена в квартире Керенских по праздникам собирались шумные компании. Душой общества был сам хозяин. Он был хорошим рассказчиком, имел неплохой голос — мягкий баритон — и знал десятки оперных арий и романсов. Но сейчас все это ушло в прошлое.

Как ни странно, при всей крайней общительности Керенского друзей у него оказалось мало. Знакомым было несть числа, еще больше — восторженных поклонников обоего пола, но не друзей, на которых можно было бы опереться в тяжелую минуту. Впрочем, в окружении Керенского был человек, никогда не занимавший никаких постов, но очень близкий ему лично. Это "бабушка русской революции" Е. К. Брешко-Брешковская.

Как мы помним, Керенский познакомился с ней во время поездки на ленские прииски. Первым же своим распоряжением в качестве министра юстиции Керенский освободил Брешко-Брешковскую и со всеми почестями отправил ее в столицу. "Бабушка" поселилась в квартире Керенского, хотя в Петрограде жил ее родной сын — скандальный писатель и журналист. Даже в Зимнем дворце, куда Керенский не взял семью, для "бабушки" он распорядился выделить особое помещение. Недоброжелатели не упускали случая зло шутить насчет "ге-ронтофилии" Керенского. "С этой "бабушкой" возились как с писаной торбой. Керенский сделал из нее свою "маскотту" (амулет. — В. Ф.), он всюду таскал ее с собой и по городу, и на фронтах, где перед нею преклоняли знамена… Как он не уморил от переутомления эту старуху, непостижимо".[203] Действительно, для Керенского "бабушка" была не просто символом романтической эпохи революционного движения, она стала для него живым талисманом. Он всегда относился к Брешко-Брешковской с огромным уважением, но никогда не спрашивал ее совета в практических делах.

Надо признать, что человеку, поднявшемуся к вершинам

власти, трудно сохранить друзей. К тому же дружба в такой ситуации может стать попросту обременительной, поскольку друзья, как правило, претендуют на особое положение. Политическому лидеру важнее иметь не друзей, но команду помощников — умных и деловых, способных на то, на что не способен он сам, но не претендующих на его место. У Керенского такой команды, людей, на которых он мог опереться, не было. Это проявлялось и раньше, но особенно стало ощутимо с назначением его на пост военного министра.

КЕРЕНСКИЙ НА ФРОНТЕ

На новом посту Керенскому досталось тяжелое наследство. Два месяца революции успели до предела разложить армию. Бóльшая часть тыловых гарнизонов пребывала в состоянии полной анархии. На фронте процветало дезертирство. Солдаты открыто отказывались подчиняться приказам офицеров, при каждом случае угрожая им физической расправой. Дело быстро шло к катастрофе, но социалисты из Петроградского совета по-прежнему были убеждены в том, что главной задачей момента является дальнейшая "демократизация" вооруженных сил. Очередным шагом на этом пути стала "Декларация прав солдата".

История ее появления такова: еще в начале марта на заседании солдатской секции столичного Совета был поднят вопрос о подготовке документа, который детализировал и конкретизировал бы положения "Приказа № 1". Первоначальный его вариант был передан затем в "поливановскую комиссию", которая попыталась смягчить наиболее резкие формулировки. В итоге родившийся в недрах комиссии проект не удовлетворил ни правых, ни левых.

Декларация объявляла, что военнослужащие пользуются гражданскими правами во всей их полноте, имеют право состоять в общественных, политических и профессиональных организациях и не могут быть подвергнуты телесному наказанию, не исключая и отбывающих срок в военно-тюремных учреждениях. Было объявлено об отмене военной цензуры, отменялось обязательное отдание чести, вместо чего устанавливалось "взаимное добровольное приветствие". Выражения "так точно", "никак нет", "здравия желаем" и т. д. заменялись общеупотребительными "да", "нет", "здравствуйте".

Вместе с тем в декларации было заявлено, что каждый военнослужащий "обязан строго согласовывать свое поведение с требованиями военной службы и воинской дисциплины". Параграф четырнадцатый устанавливал, что "в боевой обстановке начальник имеет право под своей личной ответственностью применять все меры, до применения вооруженной силы включительно, против не исполняющих его приказания подчиненных".

В конце апреля проект декларации был разослан для ознакомления главнокомандующим фронтами и произвел на них самое гнетущее впечатление. По предложению генерала М. В. Алексеева, занимавшего в ту пору пост Верховного главнокомандующего, 2 мая 1917 года в Могилеве состоялось

совещание для обсуждения присланных документов. На нем присутствовали главнокомандующие четырех из пяти фронтов, а также ряд других старших начальников. Общее мнение выразил главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал А. А. Брусилов: "Есть еще надежда спасти армию и даже двинуть ее в наступление, если только не будет издана декларация… Но если ее объявят — нет спасения. И я не считаю тогда возможным оставаться ни одного дня на своем посту…"[204]

В итоге было решено немедленно ехать в Петроград и прямо обратиться к правительству с требованием приостановить развал армии. Два дня спустя, 4 мая 1917 года, в большом зале Мариинского дворца собрались Временное правительство в полном составе и приехавшие из Могилева генералы. Долго ждали представителей Совета. Наконец те прибыли, и совещание началось. Во вступительном слове генерал Алексеев констатировал, что революция привела не к ожидаемому подъему духа, но, напротив, дала оправдание трусам и шкурникам. Выступившие вслед за ним главнокомандующие фронтами привели десятки примеров того, как революционная пропаганда разлагает армию. Представителям Совета оставалось только оправдываться. Кандидат в министры И. Г. Церетели пытался объяснить предыдущие шаги Совета: "Вам, может быть, был бы понятен приказ № 1, если бы вы знали обстановку, в которой он был издан. Перед нами была неорганизованная толпа, и ее надо было организовать".

Собравшихся попытался примирить Керенский: "Тут никто никого не упрекал. Каждый говорил, что он перечувствовал. Каждый искал причину происходящих явлений. Но наши цели и стремления — одни и те же. Временное правительство признает огромную роль и организационную работу Совета солдатских и рабочих депутатов, иначе бы я не был военным министром. Никто не может бросить упрек этому Совету. Но никто не может упрекать и командный состав, так как офицерский состав вынес тяжесть революции на своих плечах, так же как и весь русский народ".[205]

Уезжали из Петрограда генералы в мрачном настроении. Единственная надежда была на то, что Керенский не будет спешить с подписанием "Декларации прав солдата". Сам военный министр последующие дни провел в разъездах. Он успел побывать в Гельсингфорсе, где ознакомился с состоянием базы Балтийского флота, а уже 10 мая отбыл на фронт. На следующий день, находясь в поезде между Петроградом и Киевом, Керенский поставил свою подпись под текстом "Декларации". Но с ее обнародованием он не спешил. В Керенском удивительным

образом уживались искренность и хитрость. Он как-то сказал генералу В. И. Гурко, что считает необходимым "говорить правду и только правду, однако — не всю".[206] "Декларация" могла стать весомым козырем в политической игре, а до той поры ее надо было придержать.

После короткой остановки в Киеве Керенский 13 мая прибыл в Каменец-Подольск, где должен был собраться съезд делегатов от частей и соединений Юго-Западного фронта. Большой зал городского театра был набит в этот день битком. Одним за другим выступали ораторы, представлявшие разные политические группы и партии. Среди них, между прочим, были будущий большевистский главковерх прапорщик Н. В. Крыленко. Наконец слово было предоставлено военному министру. Керенский был в ударе. "Вы самые свободные солдаты мира! Разве вы не должны доказать миру, что та система, на которой строится сейчас армия, — лучшая система? Разве вы не докажете другим монархам, что не кулак, а Советы есть лучшая сила армии? Наша армия при монархе совершала подвиги: неужели при республике она окажется стадом баранов?"[207]

На следующий день Керенский в сопровождении генерала Брусилова выехал на передовую. В течение дня он пять раз выступал с речами, каждый раз срывая шквал аплодисментов. Очевидцем одного из таких выступлений оказался прапорщик Ф. А. Степун. Он вспоминал: "Как сейчас вижу Керенского, стоящего спиной к шоферу в своем шестиместном автомобиле. Кругом плотно сгрудившаяся солдатская толпа. Сзади нее офицерские фуражки и погоны. Неподалеку от меня, у заднего крыла, стоит знакомая фигура дважды раненного пехотного поручика. Приоткрыв рот, он огромными печальными глазами и полными слез в упор смотрит на Керенского и не только ждет, но как будто бы требует у него какого-то последнего всерешающего слова".

Приступ ораторского вдохновения, посетивший Керенского накануне, не прошел и к этому времени: "Его широко разверстые руки то опускаются к толпе, как бы стремясь зачерпнуть живой воды волнующегося у его ног народного моря, то высоко поднимаются к небу. В раскатах его взволнованного голоса уже слышны характерные для него исступленные всплески. Заклиная армию отстоять Россию и революцию, землю и волю, Керенский требует, чтобы и ему дали винтовку, что он сейчас пойдет вперед, чтобы победить или умереть".

Аудитория слушала Керенского завороженно. Внезапно однорукий поручик протиснулся вперед и, подойдя к Керенскому, сорвал с себя Георгиевский крест и нацепил его на френч военного министра. Керенский пожал поручику руку и передал

крест своему адъютанту: в благотворительный военный фонд. "Приливная волна жертвенного настроения вздымается все выше: одна за другой тянутся к Керенскому руки, один за другим летят в автомобиль Георгиевские кресты, солдатские и офицерские. Бушуют рукоплескания. Восторженно взвиваются ликующие возгласы: "За землю и волю!", "За Россию и революцию!", "За мир всему миру!" Где-то, поднимаясь и ширясь, надвигаются на автомобиль торжественные звуки "Марсельезы"".[208]

Эффект таких речей был поразителен, хотя и недолог. Скептики могли сколько угодно иронизировать, называя выступления Керенского "поэзоконцертами". Действительно, в них было что-то схожее с эстрадными выступлениями Игоря Северянина: "Тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин". Но публика проглатывала эти бесконечные "я", передозировку пафоса и повторы. Если бы Керенский призвал к немедленному наступлению, нет сомнений — вся многотысячная толпа его слушателей тотчас бы ринулась на врага. Но если бы наступление предстояло на следующий день, никаких гарантий дать было нельзя.

Мы уже писали о том, что, выступая, Керенский заводил не только аудиторию, но и самого себя. В эти минуты он и сам верил в то, что ведет за собой народ, что его словам внимает вся Россия. Но это не мешало ему рассчитывать свои шаги, умело пользоваться настроением момента. Именно 14 мая, в день своего триумфа, Керенский передал в печать текст "Декларации прав солдата". Одновременно в газетах был опубликован подписанный Керенским приказ о наступлении. Собственно, это не был настоящий приказ, а скорее воззвание, призывавшее быть готовым к активным действиям. Керенский обращался к солдатам: "Вы понесете на концах штыков ваших мир, правду и справедливость. Вы пойдете вперед стройными рядами, скованные дисциплиной долга и беззаветной любви к революции и родине".

Позже Н. Н. Суханов писал о том, что в строках этого приказа так и чувствуется, как Керенский видит себя в роли героя Великой французской революции. Все это так — и позерства, и театрального пафоса в приказе больше чем достаточно. Однако обратим внимание на то, как удачно дополняют друг друга приказ и "Декларация прав солдата". "Декларация" должна была стать уступкой левым и заставить их смириться с идеей наступления, приказ — вселить надежду в генералитет и офицерство. Предполагалось, что все будут довольны или по крайней мере не станут возражать.

Завершая поездку по передовой, Керенский отправил в

Петроград телеграмму: "Доношу Временному правительству, что, ознакомившись с положением Юго-Западного фронта, я пришел к положительным выводам, которые сообщу по приезде".[209] Остается гадать, обманывал ли Керенский правительство, или обманывался сам. Скорее второе — видя восторг слушателей, он принимал его за чистую монету. Между тем аудитория, вдоволь накричавшись "браво!", "бис!", расходилась по своим делам и быстро забывала завершившееся представление. Как адвокат, как несостоявшийся артист, Керенский всегда переоценивал силу слова. В его понимании уговорить означало то же, что и приказать. Не случайно позже за Керенским укрепилась кличка "главноуговаривающий". Самое поразительное, что Керенского она совсем не обижала.

До поры до времени этот прием срабатывал. Но уговоров хватало ненадолго, что показала неприятная история, имевшая место в Севастополе.

КОЛЧАК

Севастополь в ту пору был главной базой Черноморского флота. По сравнению с Балтикой здесь долгое время сохранялась видимость закона и порядка. Главная заслуга в этом принадлежала командующему флотом вице-адмиралу А. В. Колчаку. Это был один из самых молодых (ему едва исполнилось 42 года) и талантливых русских адмиралов. В прошлом известный полярный исследователь, крупнейший специалист по минному делу, он возглавил Черноморский флот с июля 1916 года. За этот короткий срок Колчак сумел добиться немалых успехов. Черное море было фактически очищено от вражеских судов. Турецкие корабли были заперты в Мраморном море, а выходы из пролива Босфор перекрыли минные поля.

С началом революции Колчак сумел найти общий язык с Советами. Образованный в Севастополе Центральный военно-исполнительный комитет (ЦВИК) возглавил лейтенант Р. Р. Левговд, бывший прежде флаг-офицером Колчака. Сам адмирал нередко присутствовал на заседаниях ЦВИКа и утверждал все его постановления.

Черноморский флот сохранял боеспособность даже тогда, когда на Балтийском флоте разложение дошло до необратимой черты. Более того, в конце апреля ЦВИК принял решение направить в Кронштадт и Гельсингфорс матросскую делегацию, с тем чтобы убедить моряков-балтийцев в необходимости сохранять дисциплину. Ее возглавил знаменитый Федор Баткин, в прошлом недоучившийся студент, чьи ораторские способности, по оценке современников, могли соперничать со способностями Керенского.

Неожиданно это событие стало переломным моментом в судьбе Черноморского флота и его командующего. Капитан 1-го ранга М. И. Смирнов, в ту пору — начальник штаба у Колчака, позднее писал: "На состоянии флота посылка этой делегации, сравнительно небольшой, отразилась очень плохо. Уехали лучшие, наиболее убежденные и патриотичные люди. Многие из них принадлежали к составу комитетов, где они успели втянуться в работу и поправеть. Пришлось произвести добавочные выборы в комитеты, после чего состав их значительно ухудшился".[210] Все чаще в отношениях между ЦВИКом и командованием возникали конфликты. Один из них едва не привел к полному разрыву.

На одном из заседаний ЦВИКа в середине мая было принято решение об аресте помощника начальника Севастопольского порта генерал-майора Н. П. Петрова. Суть дела состояла в следующем. Интендантские органы, отвечавшие за питание

личного состава флота, закупали у населения скот. Остававшиеся после забоя скота шкуры, по правилам, нужно было сдавать на кожевенный завод. Однако, по данным ЦВИКа, генерал Петров договорился с неким торговцем кожами Дикен-штейном и отправлял шкуры ему по заниженной цене, кладя разницу в свой карман.

Когда об аресте было доложено Колчаку, он категорически отказался санкционировать решение ЦВИКа. Дело было не в личности Петрова (через два года во время допроса в Иркутске Колчак даже не вспомнил его фамилию), а в том, что это создавало прецедент. Колчак не мог допустить, чтобы флотский комитет своим решением арестовывал офицеров — ведь именно с этого начался развал на Балтике.

ЦВИК со своей стороны тоже проявил упорство. В ночь на 13 мая генерал Петров был арестован и препровожден на гауптвахту. Наутро президиум ЦВИК официально одобрил этот шаг. Колчак оказался в сложном положении. Не отреагировать на происходящее означало бы признать, что на флоте существует более высокая инстанция, чем командующий. В тот же день адмирал направил телеграммы председателю Временного правительства князю Львову, военному министру Керенскому и Верховному главнокомандующему генералу Алексееву с просьбой принять его отставку с должности командующего флотом.

На следующий день в Севастополе были получены две правительственные телеграммы. Одна, адресованная ЦВИКу, содержала распоряжение об освобождении генерала Петрова. Вторая, на имя адмирала Колчака, содержала просьбу взять отставку обратно. Временное правительство со своей стороны обещало предпринять все меры для водворения на Черноморском флоте порядка. Это можно было считать победой Колчака, но победой очень непрочной. Ее результаты требовалось закрепить, и чем скорее, тем лучше. Поэтому, узнав, что Керенский в ближайшее время прибывает в Одессу, Колчак немедленно отбыл для личного разговора с ним.

Колчак уже встречался с Керенским на апрельском совещании в военном министерстве. Эта встреча оставила у него гнетущие воспоминания. Когда по приезде в Севастополь его спросили, какое впечатление на него произвел Керенский, Колчак ответил коротко: "Болтливый гимназист".[211] Но сейчас адмирал был готов обратиться за помощью к Керенскому, лишь бы тот помог восстановить на флоте дисциплину и спокойствие.

Военный министр и командующий Черноморским флотом встретились 16 мая 1917 года. В этот день в знаменитом Одесском оперном театре состоялся многолюдный митинг. В

едином порыве аудитория встала, когда в ложе показался Керенский с красной лентой через плечо. Почти час несмолкающие аплодисменты не давали ему раскрыть рот. Керенский раскланивался и бросал в зал алые розы из огромной охапки, услужливо поданной кем-то из сопровождающих.

Речь Керенского была полна привычной патетики и красивых слов. "Товарищи! В нашей встрече я вижу тот великий энтузиазм, который объял всю страну, и чувствую великий подъем, который мир переживает раз в столетие. Не часты такие чудеса, как русская революция, которая из рабов делает свободных людей… Нам суждено повторить сказку Великой французской революции. Бросимся же вперед за мир всего мира, с верой в счастье и величие народа!"[212]

Как обычно, аудитория мало вслушивалась в то, что говорил Керенский, но те, кто следил за сказанным, должны были внутренне содрогнуться после упоминания французской революции. Любой, закончивший гимназический курс, слышал про якобинскую диктатуру, утопившую Францию в крови. Сейчас Керенский, не задумываясь, обещал такое же будущее России.

После Керенского говорил адмирал Колчак. Его речь по контрасту с выступлением военного министра могла показаться сдержанной и сухой. Но в ней было столько искренней боли за страну, ее армию и флот, что слушатели проводили адмирала аплодисментами, почти не уступавшими овациям в адрес Керенского.

Сразу после окончания митинга Колчак и Керенский вышли через черный ход и направились в порт, где их ждал прибывший с адмиралом отряд из четырех миноносцев. Колчак и Керенский беседовали всю ночь, пока длился переход из Одессы в Севастополь. Адмирал убеждал Керенского в том, что необходимо срочно принимать меры для укрепления дисциплины в армии и на флоте, в противном случае он отказывался брать на себя дальнейшую ответственность за происходящее. Керенский почти не возражал, но просил быть более гибким, учитывая брожение, идущее в стране.

На следующий день на флагманском линкоре "Георгий Победоносец" состоялась торжественная встреча военного министра. Обойдя строй матросов, Керенский обратился к ним с речью, в которой заявил, что правительство всецело доверяет командующему флотом. В тот же день он побывал на заседании ЦВИКа, где первым делом произвел в прапорщики его председателя вольноопределяющегося Софронова. В этом был привычный стиль Керенского — раздать каждому по прянику, а в итоге утопить конфликт в словах. "Вот видите, адмирал, — сказал

он на прощание Колчаку, — все улажено. Мало ли что, теперь приходится смотреть сквозь пальцы на многие вещи; я уверен, что у вас не повторятся события. Команды меня уверяли, что они будут исполнять свой долг…"[213] Колчак в этом отношении был настроен более пессимистично, но все же дал обещание оставаться на своем посту.

После отъезда Керенского ситуация на Черноморском флоте не изменилась к лучшему. В конце мая из Петрограда в Севастополь выехала делегация моряков-балтийцев. По словам М. И. Смирнова, "вид у них был самый разбойничий — с лохматыми волосами, фуражками набекрень — все они почему-то носили темные очки".[214] Поначалу делегация была задержана в Симферополе распоряжением губернского комиссара Временного правительства. Однако это вызвало такую бурю возмущения среди матросов, что власти сочли за благо отпустить арестованных.

Приезд балтийской делегации окончательно разрушил порядок и дисциплину на Черноморском флоте. Выступая на митингах, ораторы из Кронштадта призывали своих товарищей-черноморцев покончить с засильем офицеров. По их словам, офицерские организации готовят контрреволюционный мятеж и единственным способом избежать этого может стать поголовное разоружение всех офицеров. Таких речей в Севастополе еще не слышали. Сказалось то, что прежде Колчак тщательно оберегал флот от левых агитаторов. Матросы-черноморцы не имели необходимого иммунитета и спасовали перед агрессивной манерой гостей.

Начались нападки и на самого командующего флотом, чего раньше не было. На одном из митингов какой-то оратор обвинил Колчака в том, что он богатый помещик и потому заинтересован в продолжении войны как можно дольше. Взяв ответное слово, Колчак заявил, что все его имущество составляют чемоданы, которые его жена в последний момент вывезла из Либавы накануне захвата ее немцами. Колчак сказал, что если кто-нибудь обнаружит у него имение или капиталы в банке, он охотно отдаст их нашедшему.

Несколькими днями спустя произошел инцидент, подобного которому раньше и представить было невозможно. Команда миноносца "Жаркий" потребовала удаления своего командира старшего лейтенанта Г. М. Веселаго за то, что он "чрезмерно храбрый", а потому рискует жизнями своих матросов. После этого Колчак приказал спустить на "Жарком" флаг и вывести его из числа боевых сил.

Конфликт нарастал. На очередном митинге 5 июня 1917 года встал вопрос о неком офицере, который посмел выругаться, когда

при смене караула ему не отдали честь. Митинг постановил арестовать виновного. В этот момент на волне общего возбуждения кто-то предложил немедленно разоружить всех офицеров. Когда об этом доложили Колчаку, он приказал собрать на палубе "Георгия Победоносца" всю команду. Обратившись к ним, он сказал, что офицеры всегда верой и правдой служили Родине и потому приказ о их разоружении является незаслуженной обидой. Эту обиду он воспринимает и на свой счет и потому слагает с себя командование флотом. Свою золотую саблю, пожалованную ему за участие в обороне Порт-Артура, Колчак выбросил в море, не желая отдавать ее никому.

О своей отставке Колчак тот же сообщил в Петроград. Ответом ему была телеграмма за подписями князя Львова и Керенского. В ней Колчаку и капитану Смирнову, как "допустившим явный бунт", предписывалось немедленно выехать в столицу для доклада. Через несколько дней в Мариинском дворце состоялось заседание правительства. Объясняя обстоятельства своего ухода, Колчак попытался уйти от эмоций, но Смирнов прямо обвинил в происшедшем Керенского. По его словам, вооруженные силы могут существовать только на основе дисциплины и порядка. Свобода, которую так рьяно проповедует военный министр, неизбежно выливается в хаос и анархию. После этих слов князь Львов прервал его и попросил Смирнова и Колчака выйти, для того чтобы правительство приняло решение.

В итоге Смирнов был переведен на Каспийское море, а Колчак отправлен во главе военной миссии за границу.

В том, что произошло в Севастополе, был виновен не только Керенский. Остановить прогрессирующий развал армии не смог бы и волшебник. Однако к этому развалу Керенский, несомненно, приложил свою руку. В оправдание его можно сказать, что он, как и в большинстве случаев, был предельно искренен в своем поведении. По словам Колчака, Керенский "как-то необыкновенно верил во всемогущество слова, которое, в сущности говоря, за эти два-три месяца всем надоело".[215] Именно в это время начало проявляться то обстоятельство, которое через короткий срок приведет Керенского к краху. Он трагически отставал от времени. Керенский жил еще атмосферой февральско-мартовских дней, в то время как страна постепенно отходила от угара первых месяцев революции. Хуже всего, что Керенский категорически отказывался понимать это. Он обманывал и себя и сотни тысяч тех, кто продолжал ему верить.

НАЗНАЧЕНИЕ БРУСИЛОВА

Одним из первых мероприятий Керенского на посту военного министра стали кадровые перемещения. Должность первого товарища (заместителя) министра занял генерал А. А. Маниковский — известный специалист в области военного снабжения. Остальные посты поделили между собой "младотурки". Товарищами министра были назначены полковники Г. А. Якубович и князь Г. Н. Туманов. Полковник Л. С. Туган-Барановский стал начальником канцелярии министерства. При министерстве было учреждено Политическое отделение, которое возглавил прапорщик П. М. Толстой. Чуть позже главнокомандующим Петроградским военным округом был назначен еще одни представитель "младотурок" — генерал П. А. Половцев.

Расставив на ключевые позиции верных людей, Керенский фактически устранился от дальнейшей повседневной работы. За два месяца пребывания в должности военного министра он в общей сложности находился в Петрограде не более двух недель. В эти дни он большую часть времени проводил на заседаниях правительства или Исполкома Совета, а в своем министерстве фактически не появлялся. Ф. А. Степун позднее писал о Керенском, что, "неустанно носясь над хаосом революции, он был вездесущ и поэтому неуловим. Заставить его хоть на минуту "снизиться" не было никаких человеческих сил".[216] В отсутствие Керенского военное министерство впало в спячку. Если во времена Гучкова в особняке на Мойке постоянно толпился народ, то сейчас министерские коридоры были пусты, и лишь изредка здесь можно было встретить несведущего просителя, забредшего в наивной надежде найти "революционного министра".

Надо сказать, что "революционный министр" обладал властью куда большей, чем была у военного министра императорской России. В мировую войну глава военного министерства отвечал в первую очередь за снабжение армии. Все важнейшие назначения производились приказом Верховного главнокомандующего. Иначе и быть не могло в ту пору, когда эту должность занимали великий князь Николай Николаевич, а потом и сам царь. Ситуация изменилась уже в первые дни революции. Начало новой практике положил Гучков, задумавший провести чистку высшего командного состава. Но Гучков хотя бы знал значительную часть старших генералов. Керенский же дотоле вряд ли был знаком с кем-то из них. Его поступки в новой должности подчас производят впечатление то ли полной некомпетентности, то ли

поражающей наивности.

Главным консультантом Керенского по военным вопросам стал его шурин полковник (позднее — генерал-майор) В. Л. Барановский. Прежде он занимал скромный пост в управлении генерал-квартирмейстера, но в начале мая был отозван в столицу и назначен главой личной канцелярии (кабинета) военного министра. Керенский писал о нем в своих воспоминаниях: "Полковник Барановский ежедневно докладывал мне о текущих событиях, следил за назначениями в Ставке и держал меня в курсе событий, которые происходили в Петрограде во время моих частых поездок на фронт".[217] Недоброжелатели называли Барановского "нянькой", "телогреем" Керенского. Но Барановский не отличался сильным характером, да и не имел таких знакомств среди генералитета, чтобы быть по-настоящему полезным.

Между тем Керенский задумал очень важный шаг — замену Верховного главнокомандующего. В момент отречения Николай II передал обязанности верховного вождя русской армии великому князю Николаю Николаевичу. Но революция развивалась слишком быстро, чтобы позволить кому-то из Романовых занимать столь высокий пост. Уже через несколько дней великий князь был вынужден сложить с себя обязанности главковерха. Новым Верховным главнокомандующим стал генерал М. В. Алексеев, при царе выполнявший обязанности начальника штаба Ставки.

Генерал Алексеев был талантливым стратегом, хотя скептики полагали, что ему недостает инициативности и широты мышления. "Сутуловатый, с косым взглядом из-под очков, вправленных в простую металлическую оправу, с несколько нервной речью, в которой часто слышны были повторяющиеся слова, он производил впечатление скорее профессора, чем военного и государственного деятеля".[218] В среде высшего генералитета у Алексеева хватало недоброжелателей и завистников. Однако не это побуждало Керенского искать замену Алексееву.

С первых же дней в новой должности Алексеев проявил резко враждебное отношение к революционным преобразованиям в армии. Он считал, что политическая агитация в войсках в разгар войны неуместна и опасна. Именно Алексеев стал инициатором апрельской поездки главнокомандующих фронтами на встречу с правительством в Петроград. Взгляды Керенского и Алексеева на то, что нужно делать для оздоровления армии, были диаметрально противоположными. Если Алексеев видел выход в восстановлении дисциплины, то Керенский считал своей задачей пробудить в солдатах сознательность. К моменту занятия им

должности военного министра вопрос о смещении Алексеева был практически решен. Проблема заключалась лишь в том, кем его заменить.

В условиях предельной политизации всей общественной жизни любой человек, занимавший публичную должность, неизбежно становился фигурой политической. Поэтому кандидат на роль Верховного главнокомандующего должен был обладать известностью и популярностью. Из числа таковых наиболее подходящим в глазах Керенского был генерал А. А. Брусилов. Знаменитый июньский прорыв 1916 года сделал имя Брусилова известным всей стране. К тому же Брусилов пользовался репутацией человека гибкого. В отличие от других представителей высшего генералитета он не скупился на слова о свободе и демократии, что позволяло ему в какой-то мере сотрудничать с армейскими комитетами.

Если верить приведенному нами в одной из предыдущих глав свидетельству генерала П. А. Половцева, мысль о кандидатуре Брусилова созрела у Керенского еще до того, как он сел в кресло военного министра. Окончательно эта идея оформилась во время его поездки на фронт. Сам Керенский писал об этом так: "Возвращаясь в закрытой машине из поездки по Юго-Западному фронту, мы с Брусиловым попали в небывало сильную грозу. Не знаю почему, но именно в этот момент, когда в окна машины барабанил дождь, а над головой сверкали молнии, мы ощутили какую-то взаимную близость. Разговор наш приобрел неофициальный и непринужденный характер, как водится у старых друзей… Я поделился теми трудностями, с которыми столкнулось правительство в своих отношениях с левыми политическими кругами. Брусилов же рассказал о том огромном уроне, который нанесла армии изжившая себя бюрократическая система управления, об оторванности многих высших офицеров от реальной жизни".[219]

Возвращаясь с фронта, Керенский на несколько часов остановился в Могилеве. В это время в Ставке проходил съезд офицеров армии и флота. На его заседаниях звучала самая резкая критика в адрес правительства и конкретно военного министра. Казалось бы, личное присутствие Керенского на съезде давало ему уникальную возможность убедить делегатов, привлечь их на свою сторону. Но признанный оратор, только что выступавший перед многотысячными солдатскими толпами, неожиданно смалодушничал. Керенский хорошо понимал не только сильные, но и слабые стороны своего ораторского таланта. Он отнюдь не мог гарантировать успех у аудитории, которая воспринимала не только эмоциональный настрой, но и содержание речи.

Не ответив на приглашение организаторов съезда, Керенский позвал к себе в вагон Алексеева для разговора один на один. Однако беседа не удалась. К привычным революционным заклинаниям Керенского Алексеев не проявил ни малейшего интереса, а в ответ снова начал повторять аргументы в пользу восстановления военной дисциплины. Керенский покидал Могилев с уже готовым решением. Через два дня, 22 мая 1917 года, правительственным распоряжением Алексеев был снят со своего поста, а вместо него назначен Брусилов. Это повлекло за собой и другие кадровые перемещения. Главнокомандующим Юго-Западным фронтом вместо Брусилова стал генерал А. Е. Гутор. Одновременно в отставку был отправлен командующий Западным фронтом генерал В. И. Гурко, слишком открыто выражавший свое недовольство политикой Временного правительства. Его заменил генерал А. И. Деникин, прежде бывший начальником штаба у Алексеева. В свою очередь, на его место был назначен генерал А. С. Лукомский.

С первых же дней Брусилов столкнулся с настороженным отношением офицеров Ставки. В офицерской среде он был популярен и при других обстоятельствах его назначение могло бы вызвать самое искреннее одобрение. Но сейчас в нем видели креатуру Керенского, к тому же сама процедура заочного увольнения Алексеева была воспринята многими как грубое оскорбление. Деникин писал: "Могилев принял нового Верховного главнокомандующего необычайно сухо и холодно. Вместо обычных восторженных оваций, так привычных "революционному генералу", которого толпа носила по Каменец-Подольску в красном кресле, — пустынный вокзал и строго уставная церемония. Хмурые лица, казенные фразы". [220]

Брусилов, несомненно, чувствовал такое к себе отношение. Как-то в разговоре с Деникиным он обмолвился: "Антон Иванович! Вы думаете, мне не противно махать постоянно красной тряпкой? Но что же делать? Россия больна, армия больна. Ее надо лечить. А другого лекарства я не знаю". И Алексеев, и Брусилов стремились к одному — восстановлению боевой мощи русской армии, но по-разному видели путь достижения этой цели. Брусилов в Могилеве пытался действовать так же, как Колчак в Севастополе. Он был готов лично присутствовать на заседаниях Совета, но в ответ на требование уничтожить "контрреволюционное гнездо" в Ставке ответил решительным отказом. Все это занимало у нового главковерха огромное количество времени и сил и отвлекало его от главной задачи — подготовки давно задуманного наступления русской армии.

ПОСЛЕДНЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ

К этому времени о грядущем наступлении газеты твердили как минимум две недели. Когда Керенский проездом с фронта встретился в Киеве с журналистами, ему в первую очередь задали вопрос о том, когда же оно начнется. Керенский ответил: "Не могу сказать, но раньше, чем вы думаете".[221]

В реальности ситуация вокруг наступления складывалась совсем не радужная. Решение о подготовке совместного наступления было принято еще в ноябре 1916 года на конференции с участием союзников во французском городке Шанти-льи. Оно было намечено на февраль следующего года. Предполагалось, что одновременный удар на востоке и западе сокрушит Германию и приведет к окончанию войны. Однако русская революция спутала все карты.

Быстрое разложение русской армии поставило под вопрос саму возможность наступления. Уже 12 марта, всего десять дней спустя после отречения царя, новый Верховный главнокомандующий генерал М. В. Алексеев писал военному министру, что, по его мнению, "теперь дело сводится к тому, чтобы с меньшей потерей нашего достоинства перед союзниками или отсрочить ранее принятые обязательства, или совсем уклониться от исполнения их. Сила обстоятельств приводит нас к выводу, что в ближайшие четыре месяца наши армии должны были сидеть покойно, не предпринимая решительной, широкого масштаба операции".[222]

В то же время другие представители высшего генералитета, напротив, полагали необходимым ускорить подготовку наступления. Особенно активно эту позицию отстаивал Брусилов еще в бытность свою главнокомандующим Юго-Запад-ным фронтом. Он полагал, что активизация боевых действий заставит солдат забыть о политике и тем остановит процесс распада армии. Брусилова поддержал главнокомандующий Западным фронтом генерал В. И. Гурко. Под их влиянием изменил свои взгляды и Алексеев. 30 марта 1917 года он подписал приказ начать подготовку наступления, сроки которого предварительно намечались на первые числа мая. Сроки эти объяснялись расчетом на то, что наступление русской армии будет продолжением наступления союзников на западе, к началу которого Россия просто не успевала.

Апрельские бои во Франции не привели к существенному изменению военной ситуации. По этой причине русское командование вновь приняло решение сдвинуть сроки

предполагаемых операций. В конце мая, как мы уже знаем, генерал Алексеев покинул свой пост. Конкретные даты начала наступления были определены в приказе нового Верховного главнокомандующего генерала А. А. Брусилова от 4 июня 1917 года. Начать 12 июня должен был Юго-Западный фронт, десять дней спустя предполагалось выступление Западного фронта, 1 июля к ним должны были присоединиться Северный и Румынский фронты.

Согласно этим планам, главный удар наносился силами Юго-Западного фронта, считавшегося наименее затронутым разложением. В соответствии с этим главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал А. Е. Гутор поставил задачи перед входившими в состав фронта армиями. Основная нагрузка ложилась на 7-ю и 11-ю армии, наступавшие в направлении Львова. Особой армии, расположенной севернее, предписывалось сковать противника и не позволить ему перебросить силы в направлении главного удара.

Началу операций предшествовала серьезная подготовка. На всех фронтах, где предполагались наступательные действия, русские войска имели численный перевес над противником не менее чем в полтора-два раза. Еще более заметным было превосходство в артиллерии. Начальник штаба Ставки генерал А. С. Лукомский писал об этом: "На успех надеялись вследствие сосредоточения на фронте значительной артиллерии и считали, что, может быть, при поддержке могущественного артиллерийского огня части пойдут вперед, а победа даст и все остальное".[223] Особенно крупные силы были стянуты на Юго-Западном фронте. Здесь на участке длиною в 70 километров было сосредоточено 42 пехотных и 9 кавалерийских дивизий против 22 дивизий противника. В составе русской артиллерии было около 1300 орудий, в то время как у немцев и австрийцев лишь 700.[224]

Проблема, однако, была не в количественных показателях. Войска стремительно теряли дисциплину. В прифронтовой полосе процветали насилие и мародерство. В полках шли бесконечные митинги, на которых решался вопрос, выполнять или нет приказы командования.

К этому времени вопрос о наступлении давно уже превратился из чисто военного в политический. Для тех, кого страшила нараставшая в стране анархия, наступление было последней надеждой на оздоровление армии и консолидацию общественных сил. По этой причине радикальные политические группы из числа противников Временного правительства были заинтересованы в том, чтобы наступление не состоялось или закончилось неудачей. В эти дни В. И. Ленин писал:

"Наступление, при всех возможных исходах его с военной точки зрения, означает политически укрепление духа империализма, настроений империализма, увлечений империализмом, укрепление старого, не смененного, командного состава армии… укрепление основных позиций контрреволюции".[225] В такой ситуации судьба наступления решалась не только на фронте, но и за тысячи километров от него в глубоком тылу.

Для Керенского вопрос о наступлении носил особый характер. Успех или неудача должны были дать ответ, насколько правильным было все то, что он до сих пор делал в должности военного министра. Керенский хотел лично присутствовать при происходящем, а так как дела задержали его в столице, то первоначально намеченная дата была отодвинута на четыре дня. Только 16 июня в Тарнополе, где располагался штаб 7-й армии Юго-Западного фронта, Керенский подписал приказ о начале наступления. Обратим внимание на эту деталь: приказ подписывает не Верховный главнокомандующий, а военный министр. Это было нарушением всех существующих правил и военной субординации. Однако в быстро менявшейся обстановке тех дней никто не обратил на это должного внимания.

Наступление Юго-Западного фронта началось с мощной артиллерийской подготовки. На участке главного удара плотность русской артиллерии достигала 40 орудий на один километр.[226] Никогда прежде русская армия не располагала такой орудийной мощью. Артобстрел продолжался в течение двух дней, не прекращаясь ни днем ни ночью. В 10 часов утра 18 июня в бой пошла пехота. Атака была успешной. К полудню русские войска заняли первую линию окопов противника, а на отдельных участках — вторую и третью. За один этот день в плен было взято свыше десяти тысяч вражеских солдат и офицеров. Но и русские потери оказались велики. Убито было свыше двух с половиной тысяч человек, ранено около десяти тысяч.

Однако уже к вечеру первого дня наступление начало давать сбои. На отдельных участках фронта русские войска, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением противника, вынуждены были отойти на первоначальные позиции. На второй день стало ясно, что продвижение 7-й армии приостановилось. Командование фронта приняло решение перегруппировать силы, поддержав дополнительными подкреплениями натиск 11-й армии. Новая попытка наступления, предпринятая 23 июня, привела к тому, что после незначительного продвижения вперед 11-я армия тоже перешла к обороне.

На этом фоне особенно ярко выглядели успехи 8-й армии, которой командовал генерал Л. Г. Корнилов. Уволенный в апреле

с должности главнокомандующего войсками Петроградского военного округа, Корнилов меньше чем за два месяца сумел в значительной степени восстановить в своей армии порядок и дисциплину. На участке фронта, где наступала 8-я армия, в первый же день было взято в плен более семи тысяч солдат и офицеров противника, захвачено 48 орудий. Все попытки германо-австрийского командования остановить продвижение русских войск были неудачны. Развивая удар, части 8-й армии 27 июня заняли укрепленный город Галич. На следующий день армия после упорного боя взяла Калуш, а ее авангард переправился на западный берег реки Ломницы. В ходе наступления армия продвинулась вперед на 25–30 километров. Пленные немецкие офицеры на допросах говорили, что такого стремительного натиска русских они не видели за всю войну.[227] Но успех в любой момент мог превратиться в неудачу. Армия понесла большие потери. Начались затяжные дожди, реки были готовы выйти из берегов. Вражеское командование, обеспокоенное складывающейся ситуацией, спешно перебрасывало на опасный участок фронта подкрепления.

Самым же главным было то, что успех 8-й армии не был поддержан соседями. Среди солдат 7-й и 11-й армий усилилось брожение. Многие части самовольно покидали передовую и отходили в тыл. Офицеры, пытавшиеся удержать солдат на позициях, рисковали при этом жизнью. 2 июля 1917 года за попытку остановить бегство с передовой был убит солдатами командир 22-го гренадерского Суворовского полка подполковник Рыков. Главнокомандующий фронтом генерал Гутор немедленно приказал расформировать мятежный полк, но и это не изменило ситуацию.

Тем временем германское командование подтянуло на восток новые силы, и 6 июля немецкие и австрийские войска перешли в контрнаступление. Не выдержав натиска, русские армии начали отступать. За короткое время отступление приняло вид панического бегства. Полки и дивизии превратились в неуправляемую орду. На своем пути она грабила и убивала, жертвами ее становились мужчины, женщины и дети. Очевидцы рисуют страшную картину паники тех дней: "По улицам метались обозные солдаты и интендантские чиновники, пытаясь запрягать подводы и нагружать их всяким добром: сапогами, шинелями, банками с консервами и так далее. Не успевала такая подвода двинуться с места, как на нее налетала кучка бежавших с фронта, скидывала весь груз и, неистово нахлестывая лошадей, уносилась в тыл. Ругань и крик висели в воздухе. Бежавшие все прибывали и прибывали. Кое-где уже пылало пламя. Но вот над деревней

появились два немецких аэроплана и начали обстреливать деревню пулеметным огнем. Суматоха поднялась страшная. Теперь уже просто выпрягали лошадей из подвод и удирали верхом. Кто не успевал захватить лошадь, скидывал сапоги, если они у него еще были, и бросался бежать босиком".[228]

Русское командование попыталось отвлечь силы противника с Юго-Западного фронта. 9 июля началось наступление на Западном фронте, на следующий день его поддержали армии Северного фронта. Но энергичный поначаау натиск захлебнулся здесь почти сразу же. Не могли спасти ситуацию и относительно успешные действия на Румынском фронте. Первые победы обернулись страшной катастрофой, и она продолжала расширять масштабы.

СЪЕЗД СОВЕТОВ

В те дни, когда на фронте готовилось наступление, в Петрограде начал свою работу первый Всероссийский съезд Советов. Хотя Советы действовали почти в каждом городе России и в каждой воинской части, единого координирующего центра у них прежде не было. Фактически роль такового выполнял Петроградский совет, но по составу он представлял только рабочих и солдат столицы. Всероссийский съезд должен был изменить это положение и увенчать всю систему Советов центральным исполнительным органом.

На съезд съехалось больше тысячи делегатов, представлявших триста с лишним Советов. Такое количество людей не уместилось бы ни в одном из залов Таврического дворца, и потому для проведения съезда было снято здание кадетского корпуса на Васильевском острове. О своей партийной принадлежности заявили примерно две трети делегатов. Из этого числа почти поровну были представлены меньшевики (248) и эсеры (285 человек). Новым явлением можно было считать присутствие на съезде довольно значительного количества делегатов-большевиков. Хотя их было существенно меньше, чем меньшевиков и эсеров, но 105 большевиков составляли третью по численности партийную фракцию.

Заседания съезда открылись 3 июня 1917 года и с самого начала вылились в ожесточенную межфракционную борьбу. Для меньшевиков и эсеров главной задачей было получить одобрение съезда в отношении вступления представителей советских партий в состав Временного правительства. Их тезис заключался в том, что в настоящее время нет такой политической силы, которая способна взять власть в стране в одиночку. Именно об этом говорил в своей речи на второй день работы съезда И. Г. Церетели, недавно назначенный министром почт и телеграфов.

Речь Церетели стала отправной точкой для выступления Ленина. Вождь большевиков впервые говорил перед такой многочисленной аудиторией, к тому же настроенной далеко не сочувственно. Вдобавок в зале была неважная акустика, и даже первые ряды, не говоря о тех, кто сидел в конце, слышали оратора плохо. Но все это с лихвой компенсировалось содержанием сказанного.

"Гражданин министр почт и телеграфов заявил, что в России нет политической партии, которая согласилась бы целиком взять власть на себя, — говорил Ленин. — Я отвечаю "есть". Ни одна партия отказаться от этого не может, все партии борются и

должны бороться за власть, и наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком".

Это можно было расценить как прямой и публичный призыв к свержению правительства. Масла в огонь добавили следующие слова: "Опубликуйте прибыли господ капиталистов, арестуйте 50 или 100 крупнейших миллионеров… Без этого все фразы о мире без аннексий и контрибуций — пустейшие слова". Слушатели были ошеломлены. Через полгода такого рода кровожадные призывы станут обычным делом, но тогда, летом, они производили необычное и пугающее впечатление.

За столом президиума уже нетерпеливо ерзал Керенский. Сразу после Ленина он попросил слова. Керенский, как обычно, говорил о свободе и демократии, о мире всему миру. Отвечая на призыв Ленина арестовать сотню капиталистов, Керенский патетически бросил в зал: "Что же мы, социалисты или держиморды?" Немедленно разгорелся спор о том, можно ли считать это оскорблением. Председательствовавший на заседании меньшевик Е. П. Гегечкори разъяснил, что "держиморда" — это литературное слово. В ответ выступивший вслед А. В. Луначарский обозвал "держимордой" самого председателя. В перепалке все как-то забыли о выступлении Ленина. Это было ошибкой. Большевики уже были готовы перейти от слов к делу, и ближайшие дни показали это наглядно.

На следующий день произошло событие, вызвавшее целый вал неожиданных последствий. На Ивановской улице в первом этаже дома, принадлежавшего герцогу Лейхтенбергскому, располагалась типография газеты "Русская воля". Когда-то ее основал бывший царский премьер А. Д. Протопопов. После революции газета утратила определенное политическое лицо и превратилась в бульварный листок выраженной желтой окраски. Главным богатством газеты была типография, оснащенная по последнему слову техники. Сюда и явились 5 июня несколько десятков вооруженных людей. Служащим типографии они объявили, что представляют собой боевой отряд анархистов и прибыли для того, чтобы избавить рабочих от "гнета капиталистической эксплуатации".

Наборщики прохладно отреагировали на свое "освобождение" и предпочли покинуть помещение. Что касается анархистов, то они укрепились в захваченном здании и заявили, что конфискуют типографию со всем оборудованием "для нужд социализма". После этого редакция "Русской воли" обратилась с жалобой к прокурору, а заодно и в Исполком столичного Совета. Однако когда представители Совета явились на Ивановскую для переговоров, захватчики ответили, что "они никакой власти не

признают и плюют на Совет".

Дело дошло до съезда. На вечернем заседании 5 июня была принята резолюция с решительным осуждением действий анархистов и требованием скорейшего освобождения захваченного здания. Позиция съезда придала храбрости властям. Главнокомандующий Петроградским округом генерал Половцев с ротой Семеновского полка и двумя сотнями казаков перекрыл Ивановскую и блокировал все выходы из захваченного здания. Анархисты пробовали тянуть время, но Половцев ультимативно потребовал, чтобы все находившиеся в помещении типографии сложили оружие и покинули дом. Полчаса колебаний — и анархисты стали выходить на улицу с поднятыми руками. Позднее Половцев с иронией вспоминал: "Публика, запрудившая все соседние улицы, устраивает мне бешеную овацию, как будто бы я взял Берлин… Какие-то личности вскакивают на подножку автомобиля и жмут мне руки, девицы в окнах машут платочками и бросают цветы. Словом — триумф на Ивановской улице".[229]

Впрочем, триумф продолжался недолго. Задержанные были отвезены не в тюрьму, а в здание кадетского корпуса, где заседал съезд Советов. Два дня они пробыли здесь под стражей, а потом без последствий были выпущены на свободу. При этом левая пресса успела заклеймить "наймитов реакции" за то, что кому-то из анархистов казаки по дороге успели намять бока.

Захват типографии "Русской воли" поставил вопрос о дальнейшей судьбе дачи Дурново. В те дни в Петрограде о ней ходили самые пугающие слухи. Сама дача, находившаяся во владении старинного дворянского рода Дурново, представляла собой двухэтажный особняк с колоннами по фасаду. Располагалась она в районе Полюстровской набережной на Выборгской стороне. Дом был окружен роскошным садом и со стороны производил впечатление тихой и уединенной барской усадьбы. Так, вероятно, оно и было в XVIII веке, когда была построена дача. Однако за последующее столетие вокруг выросли огромные заводы, и дача неожиданно оказалась в самом центре фабричного района.

В дни революции дачу захватили анархисты и сделали ее своим штабом. В Петрограде говорили о страшных оргиях, которые устраивали новые хозяева дачи, о том, что дача набита оружием, а в каждом окне торчит пулемет. Отряд анархистов, пытавшийся конфисковать типографию "Русской воли", тоже был составлен из числа обитателей дачи Дурново. На этом основании министр юстиции А. В. Пешехонов 7 июня отдал распоряжение о выселении с дачи ее незаконных обитателей. Но когда посланный для исполнения этого распоряжения прокурор прибыл на дачу,

выяснилось, что здесь нашли приют чуть ли не два десятка разномастных организаций. Среди осевших в этой "вороньей слободке" были правление профсоюзов Выборгского района, рабочий клуб "Просвет", профсоюз булочников, Петроградская федерация анархистов-комму-нистов и т. д. И каждой из этих структур решительно негде было больше разместиться.

Прокурор отбыл ни с чем, но известие о том, что власти пытаются выселить обитателей дачи, разнеслось по всему Выборгскому району. Немедленно забастовали соседние заводы, требуя наказать виновных в столь вопиющем посягательстве на свободу. Возмущение приобрело совершенно неожиданные масштабы. Рабочие окраины Петрограда были охвачены настроениями, каких не было с февральско-мартовских дней.

Происходившим поспешили воспользоваться большевики. На заседании большевистского ЦК было решено назначить на 10 июня демонстрацию под лозунгом "Долой Временное правительство!". Решение это хранилось в строжайшей тайне. Не только правительство, но и эсеро-меньшевистское руководство Советов должно было быть поставлено перед фактом. Но в последний момент тайна стала достоянием гласности. Вечером 9 июня в президиум съезда Советов был доставлен свежий номер большевистской "Правды" с призывами к демонстрации.

Если бы не конспирация, в которой готовилось выступление, вряд ли бы оно кого-то напугало. В те дни демонстрации самого разного рода проходили ежедневно. Но секретность, которую развели вокруг своего плана большевики, сразу породила много подозрений. Заговорили о том, что большевики под видом демонстрации планируют вооруженный захват власти. Одновременно пронесся слух о том, что правительство вызвало с фронта 20 тысяч казаков для карательной экспедиции в рабочие районы. Керенскому пришлось долго оправдываться по этому поводу.

В итоге съезд принял решение запретить на ближайшие три дня любые уличные шествия в столице. Делегаты съезда разъехались по фабрикам и воинским частям, для того чтобы уговорить рабочих и солдат отказаться от выступления. Один из таких посланцев, меньшевик В. С. Войтинский, вспоминал, как ему пришлось общаться с солдатами 3-го пехотного полка: "Зачем вы при оружии? — Идем резать буржуазию". Когда же Войтинский попросил их остаться в казармах и сказал, что он член Исполкома Петросовета, поднялся крик: "Комитет жидами захвачен!"[230]

С трудом, но демонстрацию удалось отменить. Сыграло свою роль и то, что большевистское руководство побоялось идти против съезда. На следующий день "Правда" вышла с белыми

пятнами на месте спешно снятых призывов к выступлению. Казалось бы, ситуация успокоилась! Из-за чуть было не разразившегося кризиса Керенский задержался в столице дольше, чем он планировал, и только 13 июня отбыл на фронт. Перед отъездом он обратился с приказом по гарнизону: "Я уезжаю из Петрограда и хотел бы верить, что пока я буду делать вне Петрограда то, что мне подсказывает мой революционный долг, вы, товарищи, пока меня здесь не будет, не нанесете удара в спину мне и революции". Особой прозорливостью Керенский не отличался. Предсказатель из него всегда был плохой. Но на этот раз он как в воду глядел. Впрочем, об этом позже.

АНАРХИЯ

Введенный съездом Советов запрет на уличные шествия вызвал резкую критику со стороны крайних левых. Для того чтобы избежать обвинения в покушении на свободу, руководство съезда было вынуждено объявить, что 18 июня в Петрограде состоится демонстрация, в которой могут принять участие все желающие. Предполагалось, что она пройдет под лозунгами "единства революционной демократии". На практике же в день демонстрации абсолютно преобладали большевистские лозунги. Большевики хорошо подготовились еще к 10 июня и сейчас демонстрировали свои силы.

По сообщениям газет, в воскресенье 18 июня на улицы Петрограда вышло свыше полумиллиона человек. По масштабам это было сопоставимо с первомайскими шествиями. Однако, как вспоминал Н. Н. Суханов, июньской демонстрации было свойственно заметное своеобразие. "На лицах и в движениях, во всем облике манифестантов не было заметно живого, действенного участия в делаемом деле. Не было заметно ни энтузиазма, ни праздничного ликования, ни политического гнева. Массы позвали, и они пошли. Пошли все — сделать требуемое дело и вернуться обратно… Вероятно, одна часть, вызванная в этот воскресный день из своих домов, была равнодушна. Другая считала манифестацию казенной и чувствовала, что делает не свое, а заказанное, пожалуй, лишнее дело. На всей манифестации был деловой налет".[231]

В целом демонстрация прошла организованно и без эксцессов. Единственным исключением была очередная выходка все тех же анархистов с дачи Дурново. Группа анархистов сумела проникнуть в одиночную тюрьму и освободила около десятка заключенных, среди которых были и обвиняемые в шпионаже. Это обстоятельство дало властям формальный повод для того, чтобы разогнать наконец беспокойных обитателей дачи.

Вечером того же дня правительство по настоянию министра юстиции Переверзева приняло решение потребовать выдачи скрывающихся на даче Дурново вражеских агентов. Осуществление этой меры было поручено генералу Половцеву. Тот подошел к порученному делу как к серьезной военной операции. К захвату дачи были привлечены солдаты гвардейских Преображенского и Литовского полков, казаки, а также два броневика. Было предусмотрено все, даже вызвана карета скорой помощи на случай наличия раненых. Для того чтобы пресечь возможные колебания солдат, Половцев заявил о том, что он

действует по поручению Совета.

На рассвете 19 июня отряд Половцева блокировал дачу со всех сторон. Однако провести операцию, пользуясь тем, что обитатели дачи спят, не удалось. Те услышали снаружи шум и приготовились к обороне. Министр юстиции Переверзев, лично присутствовавший на месте событий, потребовал выдать беглых арестантов. От имени находившихся на даче анархистов в переговоры вступил матрос А. Г. Железняков. Это был тот самый Железняков, кому в январе 1918 года будет суждено разогнать Учредительное собрание. Сейчас же он заявил, что защитники дачи сдаваться не намерены: "Вы, товарищ министр, войдете в дом только через наши трупы".

В ответ Половцев отдал приказ к штурму. Анархисты начали бросать из окон второго этажа бомбы, но ни одна из них не взорвалась. Солдаты выломали двери и ворвались в здание. За считаные минуты все, кто находился в помещении дачи, были схвачены и обезоружены. Участник этой операции начальник контрразведки округа капитан Б. В. Никитин позднее вспоминал: "Те, кто видел эту группу, никогда ее не забудут. Числом около ста, то были не люди, а выходцы из нижнего подвала петроградской трущобы, в грязных лохмотьях, с лицами, отмеченными разъедающим клеймом порока. Вероятно, большинство из них долгие годы не видело куска мыла, а ножницы никогда не прикасались к их всклокоченной гриве и щетине".[232]

Один из анархистов, некто Аснин, стал жертвой случайной пули. Аснин с Железняковым забаррикадировались в дальней комнате и сопротивлялись до последнего. Выламывая дверь в комнату, кто-то из солдат по ошибке нажал на курок, и пуля попала Аснину в голову.

К утру отряд Половцева покинул территорию дачи. Это было сделано как раз вовремя, так как днем к даче стали подтягиваться толпы рабочих с соседних заводов, узнавших о происшествии. Половцеву и Переверзеву пришлось оправдываться и перед съездом Советов. От очередных обвинений в попрании свободы их спасла только случайность. Делегатам были предъявлены фотографии трупа убитого Аснина. Характерные татуировки на его теле не оставляли сомнений в его богатом уголовном прошлом. Комиссия съезда решила не ворошить столь деликатную тему, и всю историю поспешили замять.

Зато на правительство "победа под дачей Дурново" произвела огромное впечатление. По сути, это был первый случай, когда власть попыталась дать отпор анархии и хулиганству. Министры с надеждой спрашивали Половцева, не пора ли разобраться и с

захватчиками дома Кшесинской, но генерал разумно предпочел уклониться от этого предложения.

Напомним, что особняк, принадлежавший приме Мариинского театра Матильде Кшесинской, был еще в февральские дни реквизирован для нужд Петербургского комитета большевистской партии. Кшесинская жаловалась во все инстанции, дойдя до самого Керенского, но напрасно. Один из руководителей Петроградского совета Н. Н. Суханов вспоминал, как в середине марта к нему в Таврический дворец пришла необычная просительница. Сильно волнуясь, она сообщила, что ее направил Керенский, который и выдал ей рекомендательное письмо. Сопровождавший даму представительный мужчина поспешил представить ее:

— Это госпожа Кшесинская, артистка императорских театров. А я — ее поверенный.

Оказалась, что Кшесинская просит вернуть ее дом, захваченный во время революции.

— А кто его занял?

— Его заняли… социалисты-революционеры-большевики.

Единственное, что смог сделать Суханов — это помочь Кшесинской побывать в собственном доме. Как позже писала об этом Кшесинская, ее глазам открылась картина полного разорения. "Великолепный ковер, привезенный из Парижа, был залит чернилами, а всю мебель вынесли вниз. Из модного шкафа вырвали дверцу вместе с петлями и вынули все полки, а в шкаф поставили винтовки… В моей ванне было полно окурков".[233]

Тогда хозяйка решила требовать возврата особняка через суд. Дело слушалось 6 мая 1917 года в камере мирового судьи 58-го участка Петрограда. В исковом заявлении содержалось требование выселить из дома кандидата прав В. И. Ульянова. Ответчик в суд не пришел, а его интересы представлял присяжный поверенный М. Ю. Козловский. Свою тактику защита построила на том обстоятельстве, что революция явочным порядком ввела новые правила вместо устаревших правил эпохи империи. Козловский заявил, что "если стоять на почве законности, то революционное право — такое же право, как и всякое другое. Это — народный закон".[234] Тем не менее судья иск Кшесинской удовлетворил и потребовал от нынешних обитателей особняка очистить его в течение двадцати дней. Большевистские юристы (а в рядах ленинской партии были отнюдь не только деклассированные элементы) обжаловали это решение, но суд высшей инстанции оставил его в силе.

Утром 12 июня 1917 года поверенный Кшесинской в сопровождении судебного пристава появился у дверей особняка.

Перед этим адвокаты Кшесинской обращались в районный комиссариат с просьбой выделить в их распоряжение наряд милиции. Однако районные власти побоялись влезать в историю с непредсказуемыми последствиями и запросили штаб военного округа. Оттуда обещали прислать трех казаков, но в итоге ничего сделано не было. Напрасно поверенный Кшесинской целый день ждал на улице перед особняком. К вечеру из Петроградского совета пришло распоряжение выселение прекратить.

Этот случай можно считать характерным примером настроений тех дней. Закон перестал быть законом. Всё отныне решала сила. Впрочем, точнее сказать, не сила, а слабость Временного правительства и безапелляционная наглость его оппонентов. Достаточно было поднять в печати шум о попрании свободы и демократии, и власть уступала, убоявшись обвинений в реакционности. В революционной России правили бал классовый эгоизм и шкурничество, слегка прикрытое социальной демагогией.

Страна катилась в пропасть, грозя в любой момент развалиться на сотню крохотных республик, "самых свободных в мире". Одно из таких квазигосударств появилось, можно сказать, под самым носом Временного правительства. В хорошую погоду с набережной Васильевского острова без труда можно было разглядеть купол Морского собора в Кронштадте. С начала революции главная база Балтийского флота жила своей особой жизнью. Здесь царствовала матросская вольница. Комиссар Временного правительства В. П. Пепеляев (будущий премьер-министр в сибирском правительстве Колчака) не имел никакой реальной власти в городе и крепости. Кронштадтом управлял Совет рабочих и солдатских депутатов, в котором сильнейшее влияние имели большевики и анархисты.

Решение Кронштадтского совета от 16 мая 1917 года, объявлявшего себя единственной властью в городе, стало лишь формальным признанием фактически сложившейся ситуации. По сути дела, "кронштадтская республика" отказалась далее признавать власть Временного правительства. В Мариинском дворце это вызвало настоящую панику. В Кронштадт выехала делегация в составе двух министров-социалистов И. Г. Церетели и М. И. Скобелева. Начались долгие переговоры. Камнем преткновения стал вопрос о статусе правительственного комиссара. Совет настаивал на своем праве избирать комиссара и соглашался лишь на последующее его утверждение правительством. Министры, в свою очередь, требовали, чтобы комиссар назначался общепринятым порядком.

Не менее сложным был вопрос о судьбе арестованных

офицеров. Февральско-мартовские дни ознаменовались в Кронштадте целой серией кровавых расправ. Уцелевшие офицеры были брошены в тюрьму, где содержались в ужасающих условиях. Об этом рассказал один из иностранных журналистов, посетивший в это время Кронштадт. "Отворив железные двери, мы вошли в комнату с низким потолком, где на металлических койках сидели и лежали полуодетые, небритые и неухоженные люди. Все они были прежними сатрапами царского режима в Кронштадте. Здесь находился морской офицер — человек старше пятидесяти лет, на котором заключение уже стало сказываться. "Посмотрите, — сказал он, взяв меня за руку и приложив ее к выступающей бедренной кости, — чем я это заслужил?" Я подошел к генерал-майору, бывшему командующему крепостной артиллерией Кронштадта. Он был в одной рубашке, лишившись мундира с многочисленными наградами на груди, хотя участвовал в обороне Порт-Артура и польской кампании. Его брюки цвета берлинской лазури с красными лампасами носили на себе следы трехмесячного заключения. Он робко посмотрел на меня, словно сомневаясь, не унизит ли он свое достоинство, если расскажет о своих злоключениях случайному иностранцу. "Я бы хотел, чтобы они выдвинули против нас хоть какое-нибудь обвинение, — наконец сказал он, — потому что сидеть тут три месяца и не знать, что тебя ждет, довольно тяжело"".[235]

Самое страшное было в том, что арестованные не нарушили ни одного закона. Даже хромавшая на обе ноги юстиция Временного правительства не нашла бы доказательств их вины. Те из офицеров, кто при таких же обстоятельствах попал в тюрьму в Петрограде, давно были выпущены на свободу. Несчастье кронштадтских узников заключалось в том, что они оказались в застенках первой "республики Советов" и никто не мог помочь им.

Судьба дома Кшесинской, дачи Дурново, история "кронштадтской республики" были показателем тяжелейшего кризиса власти. Собственно, власти как таковой, казалось, не было вообще. В Мариинском дворце сидели министры, с которыми никто не считался, а где-то на фронте без устали носился "главноуговаривающий". Любая политическая сила, если она действительно была силой, могла подойти и беспрепятственно взять верховные регалии из слабых рук Временного правительства. Будущее России виделось неведомым и ужасным.

УКРАИНСКИЙ УЗЕЛ

Если разговоры о "кронштадтской республике" все же содержали элемент иронии, то деятельность сепаратистских сил на окраинах бывшей империи всерьез грозила единству страны. С этой проблемой Временному правительству пришлось столкнуться и в Финляндии, и в балтийских губерниях, и в Закавказье. Летом 1917 года особенно остро встал вопрос о ситуации на Украине.

По сравнению с традиционно беспокойной Польшей или той же Финляндией Украина в прежние годы редко давала поводы для головной боли центральным властям. Украинское национальное движение было очень слабым и почти не находило приверженцев за пределами узкого круга интеллигенции. Иное дело австрийская Галиция, где это движение, собственно, и зародилось. Именно австрийское командование с началом мировой войны попыталось разыграть украинскую карту, для того чтобы ослабить Россию. В Петербурге привыкли воспринимать политические силы, ратовавшие за независимость Украины, исключительно как вражескую агентуру. На деле все было гораздо сложнее. Когда революция смела былые государственные устои, украинское национальное движение стало нарастать день ото дня.

В начале апреля 1917 года в Киеве прошел Всеукраинский национальный конгресс, сформировавший постоянно действующий орган — Украинскую центральную раду. Она была образована преимущественно из представителей левых партий, соединявших в своей деятельности социалистическую идеологию и лозунги национальной автономии. Рада потребовала от Временного правительства скорейшего признания автономного статуса Украины, замену российских чиновников на украинских, украинизацию церкви и армии.

Создание украинской армии выдвигалось при этом на первый план. Расчет был очевиден — наличие вооруженной опоры должно было придать Раде больше веса в сложных переговорах с Петроградом. Уже с весны 1917 года в запасных батальонах Юго-Западного и Румынского фронтов явочным порядком началась украинизация. На практике это сводилось к этнической чистке офицерского состава. Вывести в отдельные части солдат-украинцев было технически невозможно, к тому же отличить великоросса от украинца в большинстве случаев было непросто.

Одновременно началось формирование украинских добровольческих частей. Правда, среди волонтеров преобладали

те, кто рассчитывал, что, "если из них будут формировать особые части, будь то украинские, еврейские или персидские, они не скоро попадут на фронт".[236] В результате гордость Рады — украинский полк имени Богдана Хмельницкого — взбунтовался при первой же попытке отправить его на передовую.

В апреле—мае 1917 года в Петрограде проходили переговоры между делегацией Рады и представителями Временного правительства. В ходе этих дискуссий выяснилось принципиальное расхождение сторон. Рада требовала всего и сразу: включения в территорию автономии не только коренных украинских губерний, но и Бессарабии, Крыма и Кубани; признание Украины субъектом международного права; конфискации собственности "москвофильских" организаций. Временное же правительство, не отвергая в принципе идею украинской автономии, полагало необходимым детальную предварительную проработку этого вопроса.

Доклад о ходе переговоров с украинской делегацией был заслушан на заседании правительства 23 мая. В итоге единогласно была принята резолюция: "Заслушав доклад, Временное правительство не признало возможным удовлетворить пожелания делегации, исходя прежде всего из того соображения, что все вопросы, связанные с автономией как Украины, так и других местностей государства, могут быть решены лишь Учредительным собранием". В Киеве решение Временного правительства было воспринято как сигнал к разрыву. В ответ на это 10 июня 1917 года Рада провозгласила свой первый "универсал" (манифест), где в одностороннем порядке объявлялась автономия Украины.

Одновременно был создан исполнительный орган — Генеральный секретариат, заявивший претензии на роль особого краевого правительства. Председателем Генерального секретариата и секретарем (министром) внутренних дел стал писатель и драматург В. Винниченко. Секретарем по военным делам был назначен С. Петлюра — в прошлом скромный бухгалтер, чья фамилия вскоре станет известна не только на Украине, но и по всей России. Одним из первых шагов Генерального секретариата стало решение о выводе солдат-украинцев из состава существующих частей с последующим переводом их на Юго-Западный фронт.[237] Нетрудно представить, что в условиях продолжающейся войны такое мероприятие могло привести к дезорганизации всей армии. Одновременно Генеральный секретариат тайно распорядился не пропускать на фронт эшелоны с продовольствием и боеприпасами.

Стиль поведения вождей Центральной рады удивительно напоминал тактику большевиков. Дело не только в том, что в Раде заседали такие же социалисты-радикалы (в первом универсале содержался призыв к немедленной аграрной реформе за счет конфискации помещичьих земель). И большевики, и украинские "самостийники" действовали по принципу "чем хуже, тем лучше". И те и другие добивались победы не за счет собственной силы, а в результате слабости противной стороны. Летом 1917 года большевики далеко не утвердили свое влияние в стране. То же самое можно сказать и о лидерах украинского движения. В русско-еврейском Киеве оратора, говорившего на украинском языке, вряд ли сумели бы понять без перевода.

Тем не менее сторонники украинизации набирали силу с каждым днем. Новый рычаг давления на Временное правительство появился у них после начала июньского наступления. Угроза спровоцировать развал фронта, раздававшаяся со стороны радикально настроенных украинских кругов, побуждала петроградские власти идти на все возможньге уступки. Первоначально Временное правительство попыталось воздействовать на ситуацию словом, призвав "братьев-украинцев" не "отрываться от общей Родины, не идти гибельным путем раздробления освобожденной России, не раскалывать общей армии в минуты грозной опасности".[238]

Однако обращения не возымели действия. Тогда было решено послать в Киев правительственную делегацию для поиска компромисса. В нее вошли министр почт и телеграфов меньшевик И. Г. Церетели, министр иностранных дел М. И. Терещенко, к которым позже должен был присоединиться находившийся на фронте Керенский. Наряду с этим в Киев в качестве частного лица выехал министр путей сообщения Н. В. Некрасов.

Состав этой делегации способен вызвать недоумение. Что касается Церетели и Керенского, то их задача была понятна. Церетели должен был убедить своих единомышленников-социалистов из Центральной рады; присутствие военного министра диктовалось первостепенным значением вопросов, связанных с сохранением фронта. Но при чем тут министр иностранных дел, если правительство категорически отказывало автономной Украине в международном статусе? И совсем непонятен на первый взгляд "частный визит" в Киев Некрасова.

Объяснение можно найти, если вспомнить, что Керенский, Некрасов и Терещенко были спаяны масонскими узами. Дело в том, что и председатель Рады историк М. С. Грушевский, и Винниченко, и Петлюра входили в ту же ложу "Великий Восток Народов России". Можно предположить, что петроградские

министры-масоны рассчитывали найти взаимопонимание у своих киевских "братьев". Если это было так, то расчет не оправдался.

28 июня 1917 года Церетели и Терещенко прибыли в Киев. На следующий день с фронта приехал Керенский. С утра до вечера в Педагогическом музее, где заседала Рада, шли нескончаемые переговоры. Внушительное здание Педагогического музея, несмотря на то что построено оно было всего за несколько лет до войны, уже стало одной из архитектурных достопримечательностей Киева. Над его высоким стеклянным куполом развевался желто-голубой украинский флаг, а ниже, страшно раздражая "самостийников", шла гранитная надпись: "На благое просвещение русского народа".

Вечером 29 июня руководство Рады организовало на площади перед музеем военный парад. Цель этой акции была очевидна — показать, что в распоряжении украинской стороны имеется реальная военная сила. Правда, украинская армия состояла из двух неполных полков. По этой причине устроители парада использовали нехитрый прием: промаршировав по площади, очередная шеренга бегом огибала музей, с тем чтобы снова повторить торжественный проход.

Переговоры затянулись на три дня. Только поздно вечером 30 июня было достигнуто соглашение. Временное правительство признавало автономию Украины и Генеральный секретариат в качестве высшего органа краевой власти. В свою очередь, украинская сторона обязалась не предпринимать вплоть до Учредительного собрания никаких шагов в отношении независимости Украины. Согласно достигнутой договоренности, состав Рады должен был быть пополнен представителями "национальных меньшинств" — русских, евреев и поляков.

За киевскими переговорами внимательно следили в Петрограде. Временное правительство специально перенесло свои заседания в здание главного телеграфа, чтобы постоянно быть на связи с Киевом. Накануне отъезда Церетели и Терещенко правительство приняло специальное решение — делегация не должна подписывать никаких документов без одобрения всех членов кабинета. Известие о том, что эта договоренность нарушена, стало для большинства министров полной неожиданностью. Особенно резко возражали министры-кадеты.

2 июля правительственная делегация вернулась из Киева в Петроград и в тот же день доложила о результатах своей деятельности. Керенский, выступавший в роли основного докладчика, поставил вопрос жестко — согласованный с Радой текст должен быть принят без изменений. Против этого резко возражали министры-кадеты. Дело было не в автономии Украины

как таковой. Министры-кадеты заявили, что в последнее время с их мнением вообще не считаются и постановления правительства продавливаются голосами социалистов и примкнувшей к ним группы Керенского. Когда вопрос о ратификации заключенных в Киеве соглашений был поставлен на голосование, кадеты вновь оказались в меньшинстве. Тогда трое министров — А. И. Шингарев, Д. И. Шаховской, А. А. Мануйлов, а также товарищ министра торговли и промышленности В. А. Степанов подали прошение об отставке. В тот же день это решение было одобрено Центральным комитетом кадетской партии.

Позиция кадетского ЦК поставила в сложное положение еще одного министра-кадета — Н. В. Некрасова. Как член партии, он был обязан выполнять решения ее руководящего органа. Но Некрасов предпочел солидарность с Керенским, подкрепленную масонскими узами. Первоначально он заявил об отставке, но через несколько дней сообщил о своем выходе из партии и в результате остался в правительстве.

Отставка министров-кадетов спровоцировала новый, второй с апреля, правительственный кризис. Это стало очередным показателем глубокого кризиса власти и спровоцировало на открытое выступление тех, кто стремился эту власть свергнуть.

ИЮЛЬСКИЕ ДНИ

В этот раз Керенский провел в Петрограде меньше суток. Вернувшись из Киева 2 июля, он на следующее утро покинул столицу — положение на фронте требовало его срочного присутствия. На пути от военного министерства к Варшавскому вокзалу Керенскому в глаза бросились признаки какой-то непонятной активности. "На петроградских улицах замелькали грузовики, полные каких-то неизвестных вооруженных людей. Некоторые объезжали казармы, призывая солдат присоединиться к ожидавшемуся с минуты на минуту вооруженному восстанию. Другие рыскали по городу, разыскивая меня… Только мой поезд отошел от вокзала, как подкатил грузовик под красным знаменем с надписью "Первая пуля — Керенскому"".[239]

Перед этим Керенский отсутствовал в Петрограде две недели. Конечно, его информаторы сообщали ему о наиболее важных событиях, но, поглощенный ситуацией на фронте, он утерял контроль над происходившим в столице. Между тем кризис назревал уже давно — как минимум со времени июньской демонстрации. На заводах шли непрекращающиеся забастовки. То там, то тут прямо на улицах вспыхивали ожесточенные столкновения, грозившие в любой момент перерасти в кровопролитие. Говоря словами очевидца, в Петрограде в эти дни "пахло порохом и кровью".[240]

Решающим фактором в назревавшем политическом противостоянии должен был стать петроградский гарнизон. За четыре месяца революции солдаты расквартированных в столице полков окончательно стали хозяевами города. Один из современников вспоминал: "Кто видел эту оседлую, серую, обнаглевшую сволочь, ее никогда не забудет. Улицы, театры, трамваи, железные дороги — все теперь поступило в их исключительное владение. Остальные жители были теперь только терпимы, — "правов" теперь было только у них. В театрах они занимали царские ложи, на улицах в жаркие дни ходили в подштанниках, на босу ногу, гадили на тротуарах, рвали обивку вагонов на онучи, портили трамваи, перегружая их чрез меру, чуть ли не харкали в лицо прохожих. У лавок, особенно табачных, толпились стеной, мешая в них проникнуть, и приходилось нужное покупать у них втридорога".[241]

Одним из главных возмутителей спокойствия традиционно был Первый пулеметный полк. Полком он только назывался, а по реальной численности приближался к дивизии. В Первом пулеметном полку было почти 20 тысяч солдат при полутора

тысячах пулеметов. Создан он был для того, чтобы готовить пулеметчиков для всех фронтов. По сути дела, полк представлял собой огромную учебную команду, откуда каждую неделю на передовую отправлялись маршевые роты. В февральские дни полк сыграл весьма активную роль. С этого времени бóльшая его часть (три из четырех батальонов) была размещена на Большом Сампсониевском проспекте, в самом сердце Выборгской стороны.

Соседство с крупнейшими заводами оказало влияние на политические пристрастия солдат Первого пулеметного полка. В их среде было очень сильно влияние большевиков. Большевики и анархисты преобладали в составе полкового комитета, фактическим командиром полка был тоже большевик — прапорщик А. Я. Семашко.[242] Солдатам-пулеметчикам в первую очередь угрожала отправка на фронт, и потому полк с особым трепетом относился к своей миссии — охранять завоевания революции в тылу.

Ситуация обострилась с началом июньского наступления. Из Ставки последовало распоряжение — срочно отправить на фронт 30 пулеметных команд. В ответ на это полковой комитет в собрании от 21 июня принял решение приостановить отправку маршевых рот до тех пор, пока война не станет носить революционный характер. Заранее предупреждая любые меры давления, комитет заявил, что в ответ не остановится "перед раскассированием военной силой Временного правительства и других организаций, его поддерживающих". Это уже была прямая угроза.

В воскресенье 2 июля 1917 года в помещении Народного дома на Кронверкском проспекте состоялся концерт-митинг (к лету это словосочетание уже перестало резать слух), организованный полковым комитетом Первого пулеметного. Главными ораторами на митинге были большевики — Г. И. Петровский, А. В. Луначарский, М. М. Лашевич. Бурные овации сорвал Л. Д. Троцкий, формально в большевиках еще не состоявший, но быстро дрейфовавший в их сторону. Митинг завершился принятием резолюции протеста "против политики грубейшего насилия Временного правительства и военного министра Керенского над революционными войсками, воскрешающих старые приемы Николая Кровавого".[243]

Присутствовавшие на митинге вспоминали, что атмосфера там царила крайне возбужденная. Это настроение не прошло и к следующему дню. Утром 3 июля в Первом пулеметном полку было назначено собрание ротных комитетов для обсуждения текущих вопросов. Однако неожиданно на собрании был поднят вопрос об организации вооруженного выступления. Немедленно

был избран ревком, взявший на себя задачу привлечь к планируемой акции рабочих окрестных заводов и солдат других гарнизонных частей.

Позже, когда Временное правительство проводило следствие по делу об июльских событиях, бóльшая часть привлеченных к дознанию всячески стремилась подчеркнуть стихийный характер произошедшего. Несомненно, что стихийный элемент во всем случившемся присутствовал, но внимательное знакомство с деталями наводит на мысль о наличии заранее продуманного плана. Слишком четкими были последующие шаги, слишком быстрой их реализация. Сразу по завершении собрания представители Первого пулеметного полка разъехались по городу. Использовавшийся ими прием был прост и эффективен. Приезжая в очередной полк или на завод, они первым делом заявляли, что все прочие полки и заводы уже приняли решение поддержать выступление. Оставаться в стороне при таком раскладе сил не было никакой возможности.

Самым серьезным союзником инициаторов выступления стала "кронштадтская республика". Делегация Первого пулеметного полка появилась в Кронштадте около двух часов дня. К этому времени на Якорной площади собрался многотысячный митинг. Выступая на нем, петроградские эмиссары прибегли к прямому обману. Они заявили, что в столице уже идет вооруженное восстание против Временного правительства. В распоряжении контрреволюции сосредоточены немалые силы, и над завоеваниями народа нависла прямая угроза.

— Сейчас в Петрограде, может быть, уже льется братская кровь. Неужели вы откажетесь поддержать своих товарищей, неужели вы не выступите на защиту революции?

Заведенная этими речами толпа отвечала яростным ревом. Кто выступил в Петрограде, зачем, каковы цели выступления — все эти вопросы как-то сразу отошли на второй план. Один из лидеров кронштадтских большевиков Ф. Ф. Раскольников позднее писал: "Достаточно было одного факта этого выступления: активное чувство товарищества сообщало кронштадтским массам импульс непосредственного действия, подсказывало, что в такой момент они должны быть вместе со своими кровными братьями — рабочими и солдатами Питера".[244] Тут же на митинге было решено на следующий день отправиться в Петроград, захватив с собой оружие.

В самом Петрограде к вечеру 3 июля стало неспокойно. По улицам носились автомобили — легковые и грузовые, забитые вооруженными людьми. К этому времени сложилась устойчивая манера таких выездов: десяток-другой солдат набивался в кузов, а

двое ложились на широкие крылья кабины грузовика, выставив вперед винтовки со штыками. Получалась своеобразная боевая колесница в духе восточных царей древности.

Возбуждение в городе нарастало. "Всюду шли митинги; ораторы большевики и анархисты безудержно громили Временное правительство и советское большинство; от казармы к казарме перебегали какие-то темные подстрекатели, уговаривавшие солдат примкнуть к вооруженному выступлению заводов, но за всем этим не чувствовалось ни центральной руководящей воли, ни заранее выработанного плана. Как-то вслепую носились по городу вооруженные пулеметами грузовики, как-то сами собой стреляли ружья…" На волне таких настроений активизировались бандиты и погромщики. Ф. А. Степун, которого мы только что процитировали, вспоминал: "Помню, как по пути в Таврический дворец я встретил пьяную компанию, во все горло оравшую: "Товарищи, айда бить жидов!"" [245]

В это время, несмотря на поздний час, возле дома Кшесинской собралась толпа, желавшая услышать кого-то из большевистских вождей. Им же в эту пору приходилось очень непросто. О позиции Первого пулеметного полка в доме Кшесинской узнали фактически сразу. Однако вопрос о том, как реагировать на происходящее, долгое время оставался открытым. За предыдущие месяцы большевистские руководители привыкли не принимать ни одного решения без участия Ленина, а его, как на грех, в это время не было в столице. Накануне он уехал для короткого отдыха на дачу В. Д. Бонч-Бруе-вича в местечко Нейвола в Финляндии. Ему срочно была послана телеграмма, но ожидать его приезда можно было только на следующее утро.

В итоге было решено обратиться к солдатам и рабочим с призывом воздержаться от необдуманных выступлений. Текст такого обращения предполагалось поместить в "Правде", а пока спешно послать на заводы и воинские части агитаторов для разъяснения обстановки. Большевистское руководство было не прочь воспользоваться массовыми выступлениями в столице, но боялось потерпеть неудачу. Однако такую робость проявляли отнюдь не все. Часть партийных работников и особенно руководители Военной организации считали, что ситуация дает шанс на свержение Временного правительства и установление власти Советов. Член Центрального бюро военных организаций, а впоследствии — видный историк революционного движения В. И. Невский вспоминал, что, когда он был послан уговаривать солдат воздержаться от выступления, он преднамеренно делал это так, чтобы побудить их к обратному. Похоже, что так же действовали и другие руководители "военки" — Н. И. Подвойский и К. А.

Мехоношин. Во всяком случае, после июльских дней в ЦК был поднят вопрос о их ответственности за нарушение принятого решения.

Столица быстро погружалась в хаос. Постепенно в городе оформились два центра притяжения — дом Кшесинской и Таврический дворец. Именно к Таврическому дворцу, где заседал ВЦИК Советов, направилась демонстрация солдат Первого пулеметного полка. Уже темнело, а ко дворцу подходили все новые и новые колонны солдат и рабочих. Казалось, что вернулись февральские дни. Таврический дворец вновь был запружен толпами разномастных людей. Июльская жара добавляла проблем — запах пота, немытых тел, табачного дыма создавали непередаваемую атмосферу. Все окна были открыты настежь, а поскольку здание было одноэтажным, в каждом окне, как в ложе, разместились солдаты с винтовками. Членам ВЦИКа негде было даже уединиться, и дискуссию пришлось вести публично, под крики и улюлюканье зрителей. Такая обстановка меньше всего способствовала достижению договоренности. Наступала ночь, и споры, поначалу очень эмоциональные, постепенно затихли. Впереди был новый день, который должен был решить все.

"ПОЛУВОССТАНИЕ"

С утра 4 июля 1917 года могло показаться, что жизнь в городе постепенно успокаивается. На линию вновь вышли было трамваи, но уже к десяти часам их движение прекратилось. С окраин к центру города снова потянулись колонны рабочих и солдат. Около одиннадцати в Петроград прибыл десант из Кронштадта. К счастью для Временного правительства, в Кронштадте не нашлось ни одного боевого корабля. Три десятка разномастных пассажирских пароходов и буксирных судов причалили к Университетской набережной Васильевского острова.

На берег сошло десять тысяч человек, мгновенно запрудивших всю набережную и близлежащие улицы. Играли духовые оркестры, в воздухе развевались красные флаги, ярко светило солнце. Со стороны могло показаться, что готовится веселый праздник, однако впечатление это мгновенно пропадало, когда становилось ясно, что гости из Кронштадта вооружены до зубов. Помимо винтовок, бывших почти у каждого, крон-штадтцы прихватили с собой пулеметы, которые теперь спешно устанавливались на специально подогнанные грузовики.

Наконец под звуки "Интернационала" (он постепенно вытеснял прежде популярную "Марсельезу") колонны матросов двинулись вдоль берега Невы. Раскольников вспоминал: "Мирные обыватели, студенты, профессора, эти постоянные завсегдатаи чинной и академически-спокойной Университетской набережной, останавливались на месте и с удивлением оглядывали нашу необычную процессию".[246] С Васильевского острова по Биржевому мосту колонна повернула на Петербургскую сторону и направилась к Каменноостровскому проспекту.

Перед домом Кшесинской колонна остановилась. С балкона особняка к кронштадтцам обратился Луначарский. Его речь встретили аплодисментами, но и после этого матросы не уходили, а громко требовали, чтобы перед ними выступил Ленин. К этому времени Ленин уже вернулся в столицу. Те, кто видел его в этот день, вспоминали, что он был раздражителен и мрачен. Большевистское руководство не могло решиться — настаивать ли по-прежнему на исключительно мирном характере демонстрации, или впрямую призвать к свержению Временного правительства.

Раскольников с трудом нашел Ленина в дальних комнатах особняка. Тот долго отнекивался от предложения выступить перед матросами, ссылаясь на нездоровье, пока наконец с видимой неохотой не согласился выйти на балкон. Суханов позже

писал, что речь Ленина звучала весьма двусмысленно. "От стоявшей перед ним казалось бы внушительной силы Ленин не требовал никаких конкретных действий, он не призывал даже свою аудиторию продолжить уличные манифестации, хотя эта аудитория только что доказала свою готовность к бою громким путешествием из Кронштадта в Петербург. Ленин только усиленно агитировал против Временного правительства, против социал-предательского Совета и призывал к защите революции и верности большевикам…"[247]

После остановки у дома Кшесинской колонны матросов через Троицкий мост направились на Марсово поле. Там состоялся короткий митинг, на котором почтили память павших бойцов за революцию, а затем вся процессия вышла на Невский проспект. Вновь дадим слово Раскольникову: "Здесь уже фланировали не отдельные буржуа, а целые толпы нарядной буржуазии двигались в ту и другую стороны по обоим тротуарам Невского. С изумлением и испугом они взирали на вооруженных кронштадтцев, по описанию их же газет, представлявшихся им исчадием ада, живым воплощением страшного большевизма. При нашем появлении многие окна открывались настежь и целые семейства богатых и породистых людей выходили на балконы своих роскошных квартир. И на их лицах было то же выражение нескрываемого беспокойства и чувство шкурного, животного страха".[248] Скажем прямо — основания, для того чтобы испугаться, у обитателей Невского были. Матросы время от времени стреляли в воздух для острастки, и уже не раз случайные пули попадали в стекла и оконные рамы.

Очевидцы вспоминали одну особенность июльских дней. В отличие от апрельского кризиса, когда повсюду кипели митинги, участники июльского шествия даже не пытались агитировать прохожих. Матросы шли сосредоточенно и целеустремленно, не обращая внимания на уличную толпу. Еще одна деталь — многие матросы перевернули ленты на своих бескозырках, так, чтобы нельзя было прочесть название корабля. "Это была не демонстрация, — вспоминал чиновник Министерства иностранных дел Г. Н. Михайловский, — а нападение людей, которые опасались расплаты и скрывали свои воинские звания, перевертывая ленту с обозначением своей части или своего судна, как бы стыдясь того, что делают. И если до сих пор герои Февральской революции были "охотниками на львов"… то теперь они уже превратились в "охотников за черепами" — анонимных и всем своим видом невольно вызывавших подозрения в "наемности"".[249]

С Невского манифестация свернула на Литейный проспект.

Около трех часов дня на углу Литейного и Пантелеймо-новской улицы произошел инцидент, имевший трагические последствия. Когда авангард колонны кронштадтцев поравнялся с перекрестком, откуда-то раздались выстрелы. Кто стрелял, в кого — так и осталось неясным. Немедленно заработал пулемет, установленный на грузовике, шедшем во главе колонны. Часть манифестантов бросилась на землю, другие открыли беспорядочный огонь из винтовок.

Когда первый страх прошел, выяснилось, что среди матросов есть убитые и раненые. Скорее всего, они пострадали от своих же сотоварищей, но признать это никто не спешил. Кто-то закричал, что это офицеры и юнкера обстреляли колонну с крыш и из окон. Матросы стали врываться в квартиры, ломая двери и угрожая хозяевам. Неподалеку от перекрестка находилось здание Главного земельного комитета, где в это время проходило заседание. О том, что произошло дальше, рассказал один из его участников, известный экономист А. В. Чаянов: "Матросы врываются в помещение земельного комитета, утверждают, что первый выстрел был от нас, угрожают арестом, обыскивают верхние комнаты. Матросские лица испуганные, напряженные. Вооруженная толпа, высыпав на улицу, не видя противника, но предполагая его за каждым углом, сама пришла в состояние паники. Достаточно хлопнуть окну или двери, достаточно просто резкого движения или крика, как заряженные ружья и пулеметы начинают стрелять сами, часть демонстрантов разбегается, начинаются повальные обыски домов, избиения, иногда убийства. Ужас! Ужас!"

Аналогичные случаи имели место в эти часы в самых разных районах Петрограда: на углу Невского и Садовой, на Каменноостровском, на Суворовском проспектах. Сценарий был почти одинаков — случайные выстрелы во время прохождения очередной вооруженной манифестации провоцировали беспорядочную перестрелку, жертвами которой становились и сами манифестанты, и мирные прохожие. Центральный пункт оказания медицинской помощи зафиксировал в этот день 16 убитых, 40 умерших от ран и 650 раненых. Огромное преобладание раненых над убитыми еще раз подтверждает, что прицельного огня не велось.

По городу распространялись панические слухи. Кто-то говорил, что большевики уже захватили власть, а правительство бежало в Москву, кто-то, наоборот, заявлял, что с фронта прибыл Керенский с казаками и устроил кровавую расправу. Казаки, мол, рубят солдатам головы, а Керенский сидит — почему-то на барабане — и смотрит.

О Временном правительстве в эти дни вспоминали редко. Оно оказалось настолько далеко от происходящего, что можно было подумать, будто его вообще уже не существует. Колонна кронштадтцев проследовала в двух шагах от Исаакиевской площади, но не сделала даже попытки свернуть к Мариинско-му дворцу. Впрочем, правительство заседало не там, а на квартире князя Львова в здании Министерства внутренних дел, но и этот адрес не был большим секретом.

В течение всего дня была предпринята единственная попытка арестовать правительство, да и то какая-то странная. Около 10 утра к зданию Министерства внутренних дел подъехал грузовик с вооруженными людьми. Приехавшие заявили швейцару, что явились за министрами. На переговоры к ним был послан Церетели, но когда он спустился вниз, у подъезда уже никого не было. После этого правительство решило от греха подальше сменить место пребывания. Церетели, Скобелев, Чернов и Пе-шехонов отправились в Таврический дворец. Прочие же министры перебрались в штаб Петроградского военного округа.

В распоряжении главнокомандующего округом генерала П. А. Половцева были две донские казачьи сотни, два эскадрона 9-го запасного кавалерийского полка и батарея конной артиллерии с двумя легкими орудиями. Этих сил хватало только на то, чтобы прикрыть район Дворцовой площади. Время от времени казаки совершали вылазки на прилегающие улицы и однажды даже разоружили грузовик с пулеметом, но на большее правительственные войска были неспособны. Тем не менее Половцев внимательно следил за происходящим в городе. Своим эмиссаром в Таврический дворец, где ожидались главные события, он направил начальника контрразведки капитана Б. В. Никитина.

Между тем около четырех пополудни колонна кронштадт-цев наконец достигла Таврического дворца. Во дворце в это время царила полная паника. Пронесся слух о том, что матросы идут громить Совет. Лидеры ВЦИКа попытались организовать оборону "цитадели демократии". На скорую руку были сформированы две цепи охранения. В них главным образом попали находившиеся во дворце еще со вчерашнего дня солдаты Первого пулеметного полка. Положение сложилось почти анекдотическое — пулеметчики, поднявшие кронштадтцев на выступление, теперь всерьез собрались защищать Таврический дворец от тех же кронштадтцев.

Впрочем, сражения не получилось. За считаные минуты охрана дворца и вновь прибывшие матросы перемешались в неуправляемую толпу. Время от времени вожди ВЦИКа выходили

на крыльцо и пробовали говорить с толпой, но слушали их плохо. Когда же к матросам вышел лидер правых эсеров Чернов (он же министр земледелия во Временном правительстве), его попытались арестовать. Кто-то сообщил об этом Раскольникову, а тот поспешил найти Троцкого. Расталкивая толпу, Троцкий бросился к автомобилю, куда усадили Чернова. Троцкий забрался на капот машины и с этой импровизированной трибуны произнес короткую речь:

— Товарищи кронштадтцы, краса и гордость русской революции! Я убежден, что никто не омрачит нашего сегодняшнего праздника, нашего торжественного смотра сил революции, ненужными арестами. Кто тут за насилие, пусть поднимет руку!

"Краса и гордость" ошеломленно молчали, а тем временем Раскольников потихоньку увел Чернова в здание. Обратим внимание: Троцкий, сам не подозревая, использовал тот же демагогический прием, что и Керенский здесь же четырьмя месяцами ранее. Разница была в том, что Керенский действительно искренне не принимал насилия, в отличие от Троцкого.

Кратковременный арест и освобождение Чернова не успокоили ситуацию. Через некоторое время толпа стала требовать выдачи другого министра — Церетели. Тогда капитан Никитин связался по телефону с помощником начальника штаба округа полковником Ф. И. Балабиным и попросил помощи. Балабин ответил, что в распоряжении штаба всего четыре сотни кавалеристов. Однако Никитин упорствовал, полагая, что настало время продемонстрировать силу.

Около семи часов вечера генерал Половцев получил по телеграфу подписанный Керенским приказ. Военный министр распорядился немедленно прекратить беспорядки в столице. После этого по распоряжению Половцева был сформирован отряд под началом полковника графа С. А. Ребиндера. В него вошли две казачьи сотни и два артиллерийских орудия с запряжками и командой заряжающих. В восьмом часу вечера отряд двинулся по направлению к Таврическому дворцу. Проследовав по Миллионной, отряд вышел на Марсово поле. Здесь бродила неорганизованная толпа солдат, рабочих и матросов. Казаки дали залп из винтовок и пустили коней в галоп. После этого толпа немедленно разбежалась, побросав оружие. Путь вдоль Невы отряд проделал без приключений. Однако неподалеку от перекрестка Литейного и Шпалерной казаки попали под пулеметный обстрел. Пулемет (как позднее оказалось, это была команда солдат Финляндского полка) был установлен на

Литейном мосту.

Оба орудия стали сниматься с передков, но одно тут же было захвачено подбежавшими солдатами. Вторая запряжка успела проскочить на Литейный проспект. Командовал ею штабс-капитан Цагурия. Он сам зарядил пушку гранатой и в упор выстрелил по толпе солдат, запрудивших Литейный мост. Еще два выстрела были сделаны по направлению северного берега Невы. Один снаряд разорвался неподалеку от Петропавловской крепости, другой — в районе дома Кшесинской, вызвав панику среди его обитателей. После этого отряд Ребиндера повернул обратно, оставив попытки добраться до Таврического дворца. Потери отряда составили 6 человек убитыми и 25 ранеными.[250]

День заканчивался, не принеся никакой ясности. В штабе округа было получено сообщение о том, что в Двинске уже формируется сводный отряд для наведения порядка в Петрограде. Однако было ясно, что в столице он появится в лучшем случае через сутки. Пока же перевес сил был на стороне мятежников. Достаточно было легкого толчка, и власть без сопротивления упала бы в руки любого, кто готов был ее взять. Но дело как раз и было в том, что претендентов на это не находилось. Большевики, поначалу рассчитывавшие воспользоваться происходящим, в последний момент испугались.

Позднее Троцкий назвал события 3–4 июля "полувосстанием". Здесь присутствовало все, что мы увидим потом в октябре, — бессилие правительства, стихийное недовольство масс (причем масштабы последнего были бóльшими, чем в октябрьские дни). Не было только одного — руководящего центра, способного подчинить себе ситуацию. В итоге дело закончилось совсем не так, как это видели его инициаторы.

ПОКАЗАНИЯ ПРАПОРЩИКА ЕРМОЛЕНКО

Третий день беспорядков в Петрограде принес с собой очень серьезные перемены. В четыре часа утра 5 июля по приказу генерала Половцева отряд "увечных воинов" под началом поручика Стуканцева захватил редакцию "Правды", разоружив охранявших ее солдат. Что же заставило Половцева, накануне хранившего предельную осторожность, столь резко изменить тактику? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо вернуться на несколько месяцев назад.

25 апреля 1917 года на участке фронта, контролируемом 6-й армией, в руки русских военных властей сдался перебежчик. Данные им показания оказались настолько интересны, что задержанного немедленно переправили в Ставку. Личность перебежчика удалось установить без труда. Им был прапорщик 16-го Сибирского полка Д. С. Ермоленко, тридцати трех лет от роду. С осени 1914 года он находился в плену, где по заданию немцев вел слежку за русскими военнопленными в концентрационных лагерях. Видимо, хозяева были довольны успехами своего подопечного, поскольку предложили ему карьерное повышение. Предполагалось, что Ермоленко будет переброшен в Россию и установит там связи с действующей немецкой агентурой.

Позднее на допросе Ермоленко показал: "3 апреля 1917 года нового стиля я выехал с обер-лейтенантом (оба в штатском платье) в Берлин. Прибыли 3-го вечером. На следующий день мы отправились в главный штаб к капитанам генерального штаба Шидицкому и Люберсу". Они предложили Ермоленко дать им расписку о согласии работать на немецкую разведку. За это ему было назначено вознаграждение в 8 тысяч рублей в месяц плюс 30 процентов от суммы причиненного России ущерба (взрыва складов, мостов и т. д.). Когда Ермоленко спросил, "что же, я один буду работать в этом направлении, и потому от такой работы много пользы ждать нельзя, на это мне сказали, что напрасно я так думаю, что у Германии достаточное количество работает в России агентов-шпионов, работающих для Германии, причем упомянули фамилию Ленина, как лица, работающего от Германии и для Германии, и что дела у него идут великолепно. При этом они упоминали тогда, что Ленин работает во дворце Кшесинской".[251]

В сведениях, сообщенных Ермоленко, концы с концами сходились далеко не всегда. Первое, что бросается в глаза, — это даты. В день, когда состоялся разговор Ермоленко с его

немецкими кураторами, Ленин еще находился за границей и перспективы его возвращения в Россию были неясны. К тому же сама личность Ермоленко меньше всего внушала доверие. Он был дважды контужен (первый раз еще в японскую войну), одно время сам служил в контрразведке, но был уволен за ка-кие-то неблаговидные поступки. Капитан Б. В. Никитин, которому по долгу службы пришлось общаться с Ермоленко, вспоминал эту встречу так: "Я увидел до смерти перепуганного человека, который умолял его спрятать и отпустить".[252] В таком состоянии он мог сказать что угодно.

К слову говоря, контрразведка Петроградского военного округа до последнего момента не имела представления о показаниях Ермоленко. Его дело вела контрразведка при Ставке, а эти ведомства, хотя и родственные, делиться информацией друг с другом не любили. У капитана Никитина были свои поводы, для того чтобы подозревать большевиков в связях с немецкой разведкой. Его агентам удалось выйти на переписку между находившимся в Стокгольме членом большевистского ЦК Я. С. Ганецким и жившим в Петрограде присяжным поверенным М. Ю. Козловским (тем самым, который представлял интересы Ленина в деле об особняке Кшесинской). По мнению Никитина, в этих посланиях содержался зашифрованный обмен сведениями о переводе большевикам немецких денег.

Косвенных доказательств, свидетельствовавших против большевиков, было немало, прямых — ни одного. Тем не менее министр юстиции П. Н. Переверзев вечером 4 июля на свой страх и риск принял решение обнародовать показания Ермоленко. Когда об этом стало известно во ВЦИКе, там поднялся страшный шум. Бóльшая часть эсеро-меныиевистского руководства Совета считала публикацию абсолютно недопустимой. Эти люди боялись, а подчас и откровенно ненавидели большевиков, но не могли отмежеваться от чувств, восходивших еще к эпохе подполья. Обвинить в предательстве своих же товарищей-социалистов в духе этой логики означало обвинить самих себя.

Неожиданно против публикации показаний Ермоленко выступили и некоторые министры во главе с премьером князем Львовым. Некрасов и Терещенко обвинили Переверзева, что тот слишком рано раскрыл карты и тем помешал завершению следствия. Редакции крупнейших газет были уведомлены, что Временное правительство и ВЦИК просят не публиковать документы о связях большевиков с германской разведкой. Единственной газетой, не откликнувшейся на этот призыв, было бульварное "Живое слово". Именно на его страницах 5 июля и был помещен протокол допроса Ермоленко. Документ был передан в

редакцию людьми, не имеющими отношения к власти, — бывшим членом Государственной думы (и в прошлом большевиком) Г. А. Алексинским и старым народовольцем, долголетним узником Шлиссельбурга В. С. Панкратовым.

"Живое слово" было известно как издание самого низкого пошиба, да и у Алексинского репутация была подмочена какими-то прошлыми контактами с полицией, но даже это лишь в незначительной степени снизило эффект от публикации. Чего-то подобного читатели ждали давно. Уже история с "пломбированным вагоном" породила немало разговоров о связях большевиков с Германией. К тому же все это легло на хорошо подготовленную почву.

Первая мировая война породила гигантскую волну шпиономании. О вездесущих немецких агентах писали газеты, слухи о них передавались из уст в уста. Одной из причин крушения российской монархии было то, что авторитет династии был подорван разговорами о царице-немке и ее шпионском гнезде. Образ врага-немца был настолько устойчив, что олицетворение новых врагов — буржуй и контрреволюционер — за пять месяцев революции лишь слегка потеснило его.

Обвинив большевиков и конкретно Ленина в работе на германский генштаб, инициаторы этой акции разыграли беспроигрышную карту. Когда ночью Половцев зачитал показания Ермоленко в Преображенском полку, этого стало достаточно, для того чтобы прежде колебавшиеся преображенцы рота за ротой стали выражать верность правительству.

В одночасье настроения в Петрограде изменились. Многократно цитированный нами Ф. А. Степун писал: "Я прекрасно помню, как всюду поднялся злой шепот и угрожающие большевикам речи. Дворники, лавочники, извозчики, парикмахеры — вся мещанская толпа Петрограда только и ждала того, чтобы начать бить "товарищей, жидов и изменников"".[253] По мере того как известия о "немецком золоте" распространялись по городу, еще вчера бунтовавшие полки и батальоны (на рабочих это произвело меньшее впечатление) спешили откреститься от предателей. Конечно, немалую роль сыграли и известия о том, что к Петрограду движутся фронтовые части, имеющие приказ подавить беспорядки. В итоге вчерашние хозяева петроградских улиц были вынуждены от наступления перейти к обороне.

Ночь рассеяла бушевавшую при свете дня толпу. Рабочие разошлись по домам, солдаты — по казармам. Часть кронштадтцев поздним вечером вернулась на свой остров, другие растворились в огромном городе. Около полутора тысяч матросов провели ночь в Таврическом дворце и прилегающем парке.

Ранним утром Раскольников постарался сплотить этот отряд и пустынными улицами увел его к особняку Кшесин-ской. В большевистском штабе, где еще недавно кипела жизнь, ныне царили растерянность и уныние. Ленин покинул дом Кшесинской сразу же после того, как стало известно о публикации в "Живом слове" показаний Ермоленко. Те представители партийного руководства, кто продолжал оставаться в доме, с часу на час ждали штурма его правительственными войсками.

Немедленно после прибытия матросов Раскольников был назначен комендантом здания и ответственным за оборону. Похоже, что большевистские вожди заранее подготовились к такому исходу событий. У входа в особняк Кшесинской стоял броневик, на крыше и в угловой беседке были установлены пулеметы. Третий пулемет стоял в вестибюле у входа. Не надеясь на эти силы, Раскольников тут же отправил письмо в Кронштадт с просьбой выслать несколько орудий с полным комплектом снарядов. Одновременно специальный посланец выехал в Гельсингфорс — главную базу кораблей Балтийского флота. Раскольников просил товарищей из Центробалта срочно отправить в Петроград миноносец или канонерскую лодку. "Я считал, — вспоминал он позже, — что достаточно ввести в устье Невы один хороший корабль, чтобы решимость Временного правительства значительно пала".[254]

Таким образом, большевистские руководители (или, во всяком случае, часть из них) еще были настроены в это время на продолжение вооруженного сопротивления. Но речь шла в лучшем случае об обороне. По этой причине те, кто еще вчера ставил властям ультиматум, теперь вынуждены были маневрировать. Раскольников отправил своего брата А. Ф. Ильина-Женевского к генералу Половцеву, а сам выехал в Таврический дворец.

Изменившаяся ситуация не оставила в стороне и лидеров ВЦИКа. Не прошло и суток с тех пор, как они дрожали в ожидании ареста, как роли переменились. От имени военной комиссии меньшевик М. И. Либер потребовал от Раскольнико-ва в течение двух часов разоружить всех кронштадтцев. В ответ на возражения Либер заявил, что теперь он дает на принятие решения только десять минут. Вездесущий Суханов позднее вспоминал, каким он увидел Раскольникова и сопровождавших его делегатов из дома Кшесинской. "Вся кучка напоминала затравленных волков, а, пожалуй, гораздо точнее — зайцев. От ее имени Раскольников, жестикулируя из-под своего морского плаща, говорил в тоске и волнении несвязную речь, о чем-то умоляя сидевшую перед ним тройку. — Товарищи, ведь нельзя

же… ведь надо же… Ведь мы же не можем так, то-варшщи. Вы должны понять… Надо же, товарищи, пойти навстречу…"[255]

Его собеседники были неумолимы — речь может идти только о полном разоружении. Раскольников по телефону сообщил о результатах переговоров и покинул Таврический дворец. Однако отправился он почему-то не назад в дом Кшесинской, а на квартиру матери на Выборгскую сторону. Это странное на первый взгляд дезертирство объясняется тем, что большевистские руководители уже приняли решение прекратить сопротивление. Вечером 5 июля 1917 года по городу было распространено обращение, в котором от имени ЦК и Петербургского комитета содержался призыв прекратить демонстрации и забастовки. Одновременно обитатели дома Кшесинской начали переговоры с Половцевым об условиях сдачи (от имени большевиков их вел И. В. Сталин). В итоге было достигнуто соглашение, согласно которому защитники дома Кшесинской должны были сдать оружие, а в обмен получали право беспрепятственно покинуть здание. Около полуночи особняк на Кронверкском проспекте был занят правительственными войсками. Это означало, что мятеж окончательно подавлен.

РЕАКЦИЯ

С утра 6 июля на Варшавский и Николаевский вокзалы стали прибывать эшелоны с войсками, вызванными с фронта для подавления беспорядков. В составе сводного отряда были 14-я кавалерийская дивизия, 117-й Изборский полк, 14-й донской казачий и еще несколько полков и батальонов. Отряд был сформирован за несколько дней до этого на Северном фронте. Инициатива исходила от председателя армейского комитета 5-й армии прапорщика А. А. Виленкина, в недавнем прошлом — многообещающего молодого адвоката. С помощью командующего армией генерала Ю. Н. Данилова Вилен-кину удалось собрать внушительную силу. Начальником отряда был назначен поручик Г. П. Мазуренко, член эсеровской партии с дореволюционным стажем.

На улицах Петрограда фронтовики даже своим внешним видом резко отличались от разнузданных "защитников революции" из столичного гарнизона. Такими их запомнил в этот день Раскольников: "Было странно видеть этих запыленных, усталых, заросших бородами фронтовиков не на ухабистой проселочной дороге, а на каменной мостовой рабочего квартала… Солдаты усталыми жестами стирали пот со своих загорелых лбов. Я внимательно всматривался в их лица. На них отражалось крайнее физическое утомление и близкое к бесчувствию равнодушие".[256] В численном отношении прибывший отряд в 40 раз уступал петроградскому гарнизону (10 тысяч против 400), но этого оказалось достаточно, для того чтобы недавние хозяева столицы в страхе попрятались в казармы.

Прибывшие с фронта солдаты были переполнены ненавистью по отношению к окопавшимся в тылу "героям". Те хорошо это понимали и потому безропотно принимали меры, еще недавно вызвавшие бы бурю возмущения. Днем 6 июля во всех полках петроградского гарнизона было распространено постановление Временного правительства, предписывавшее немедленное расформирование воинских частей, принявших участие в вооруженном мятеже. В числе прочих эта судьба постигла и Первый пулеметный полк. 8 июля солдаты-пулеметчики под конвоем были препровождены на Дворцовую площадь, где был организован своего рода фильтрационный лагерь. После установления роли каждого из солдат в июльские дни 45 зачинщиков бунта были арестованы. Остальных послали на фронт или в провинциальные гарнизоны.

Вечером 6 июля в Петроград прибыл Керенский. На

Царскосельском вокзале его встречал генерал Половцев. Вдоль перрона в качестве почетного караула был выстроен отряд полковника Ребиндера, отличившийся при подавлении мятежа. Керенский был зол и раздражителен. Причина этого очевидна. Наведение порядка в Петрограде произошло без малейшего его участия. Его поспешный отъезд из столицы был воспринят многими как бегство, а последующее бездействие — как проявление слабости. Половцев поспешил еще больше испортить настроение Керенскому. С дороги тот отправил телеграмму, требуя, чтобы к его встрече вдоль улиц были выстроены прибывшие с фронта полки. Но социалисты из Таврического дворца заявили по этому поводу протест. Премьер-министр князь Львов тоже счел, что праздновать триумф в настоящей обстановке было бы ошибочно, и своей властью отменил распоряжение Керенского.

В итоге Керенский приехал в штаб военного округа, где по-прежнему заседало правительство, находясь в самом мрачном расположении духа. Он с порога начал кричать на министров, обвиняя их в том, что они допустили бунт. Обратим внимание — прежде Керенский запросто мог устроить истерику на заседании правительства (в этом был его фирменный стиль), но никогда не позволял себе кричать на своих коллег по кабинету. Теперь Керенский стал другим — всеобщее поклонение незаметно для него самого изменило его характер. Он действительно стал верить в свое великое предназначение, и это позволяло ему смотреть на других свысока.

Куда делся тот Керенский, который совсем недавно заявлял, что "наша сила не в насилии, а в доверии к разуму и совести народа"? Теперь он ультимативно потребовал от правительства санкционировать арест большевистских руководителей. Список их был заранее заготовлен контрразведкой: Ленин, Зиновьев, Козловский, Александра Коллонтай. Аресту также подлежали инициаторы кронштадтского выступления — Раскольников и Рошаль, а также прапорщик Семашко из Первого пулеметного.

Помявшись, министры дали свое согласие. Но в это время на заседании появились представители ВЦИКа. Узнав о планирующихся арестах, они шумно выразили недовольство этим. Они трактовали происходящее как наступление контрреволюции на "заблуждающихся, но честных борцов" — большевиков. Представители Совета считали недопустимым какие-либо аресты до тщательной и доскональной проверки всех выдвинутых против Ленина и его соратников обвинений.

Керенский от этих разговоров пришел в ярость. Он хлопнул дверью и оставил министров и представителей ВЦИКа

договариваться между собой. В полночь Керенскому доставили срочную телеграмму. В ней говорилось, что фронт прорван и русские войска панически отступают. С телеграммой в руке Керенский вернулся в зал, где все еще шли утомительные споры по поводу возможности ограничивать свободу и демократию. Керенский громко прочел телеграмму и спросил делегатов Совета: "Надеюсь, вы больше не будете возражать против арестов?" Ответом ему было молчание.

После этого без долгого обсуждения было принято постановление правительства, предполагавшее тюремное заключение на срок до трех лет для виновных в публичном призыве к погромам, к насилию над какой-то частью населения, к неисполнению законных распоряжений власти. На основании этого Керенский подписал приказ арестовать и предать суду всех лиц, ведущих агитацию против Временного правительства.

Аресты начались в ту же ночь. Были взяты под стражу Козловский и его знакомая — Е. М. Суменсон, через которую тот якобы поддерживал связь с немецкими агентами в Стокгольме. Позже были арестованы Троцкий, Каменев и Луначарский. Ленин и Зиновьев сумели скрыться. В контрразведке было известно, что Ленин в последнее время проживает на Широкой улице в квартире своей старшей сестры Анны Елизаровой. Однако, когда воинская команда под началом капитана Никитина прибыла по этому адресу, застать там удалось только жену Ленина — Надежду Крупскую.

Появилась информация о том, что Ленин скрывается за городом на станции Териоки. Туда немедленно был послан отряд юнкеров. Половцев вспоминал: "Офицер, отправляющийся в Териоки с надеждой поймать Ленина, меня спрашивает, желаю ли я получить этого господина в цельном виде или разобранном… Отвечаю с улыбкой, что арестованные очень часто делают попытки к бегству".[257] В действительности Ленин в это время прятался на квартире Сергея Аллилуева (будущего тестя Сталина). Через два дня он покинул город и некоторое время скрывался в местечке Разлив под Сестрорецком, пока в начале августа не выехал в Финляндию.

Не сразу удалось взять под стражу и Раскольникова. Он вернулся в Кронштадт и чувствовал себя в безопасности. Однако под угрозой полной блокады острова Кронштадтский совет 13 июля дал согласие на арест Раскольникова. Тем не менее Временное правительство так и не смогло до конца ликвидировать независимость "кронштадтской республики". Вплоть до октябрьского переворота Кронштадт продолжал оставаться оплотом большевиков и рассадником анархии.

Символической точкой в истории неудавшегося восстания стали организованные 15 июля похороны убитых на улицах Петрограда казаков. Накануне семь открытых гробов были выставлены в Исаакиевском соборе, и всю ночь у его дверей стояла длинная очередь желающих проститься с покойными. К началу заупокойной службы в собор прибыли министры, руководители ВЦИКа, иностранные послы. В 10 часов утра в соборе появился Керенский. Он был бледен (всю предыдущую ночь он не спал ни часа, договариваясь о формировании нового правительства) и необычно молчалив. Сотни похоронных венков заполняли внутреннее пространство собора. На самом большом, принесенном делегацией Союза казаков, красовалась надпись: "Тем, кто верно выполнял свой долг и погиб от рук германских агентов".

Служба продолжалась больше трех часов. После этого фобы были вынесены на площадь, где выстроились в парадном строю пехотные и кавалерийские полки. На затянутую черным шелком трибуну поднялся Керенский. Его речь была короткой, но эмоциональной. "Граждане! Россия переживает драматический момент. Она ближе к гибели, чем когда-либо в своей истории. Перед всеми вами я открыто заявляю, что все попытки подстрекательства к анархии и беспорядкам, откуда бы они ни проистекали, будут безжалостно пресекаться… Перед телами погибших я призываю вас поклясться, что вместе с нами вы приложите все силы, чтобы спасти государство и свободу". Вскинув правую руку, Керенский прокричал: "Клянусь!" После секундной паузы взорвалась вся площадь: "Клянемся!" Керенский стал спускаться с трибуны, но толпа подхватила его на руки и понесла к автомобилю.

Гигантская процессия запрудила Невский. По подсчетам газет, в шествии приняло участие больше ста тысяч человек. Еще одна особенность — нигде не было видно ни одного красного знамени, только черный, траурный цвет. Ни разу оркестр не сыграл надоевшую "Марсельезу", только похоронные марши. Левая пресса заговорила о том, что контрреволюция поднимает голову.

Действительно, на какое-то время могло показаться, что развитие революции пошло вспять. Волна арестов захлестнула весь Петроград. Большинство из них было делом "добровольных жандармов". Для этого достаточно было простого обвинения в принадлежности к большевикам. Половцев писал: "Арестованных приволакивают в огромном числе. Кого только солдаты не хватают и не тащат в штаб? Немного напоминает манию арестов в первые дни революции. Всякий старается поймать большевика,

ставшего теперь в народном представлении германским наймитом".[258]

Одновременно в настроениях толпы стал отчетливо прослеживаться антисемитский оттенок. Еще несколькими месяцами ранее правые газеты развернули кампанию по "разоблачению псевдонимов", основанную на том, что многие социалисты из Совета были евреями. Чаще других при этом повторялась фамилия Ю. М. Стеклова — Нахамкес. В ту пору Стеклов был меньшевиком, но своими громогласными призывами к расправе над затаившимися контрреволюционерами мало отличался от большевиков. В разгар реакции Стеклову пришлось поплатиться и за это, и за еврейскую фамилию. Ночью 7 июля в квартиру Стеклова ворвалась группа военных. Хозяин квартиры сумел связаться по телефону с Керенским. Тот лично прибыл на место и уговорил оставить Стеклова в покое. Но под утро у дома Стеклова вновь собралась агрессивно настроенная толпа. После этого Стеклов спешно покинул город и перебрался на дачу. На грех, дача Стеклова находилась по соседству с дачей Бонч-Бруевича, где неделей ранее отдыхал Ленин. В ночь на 10 июля отряд юнкеров, посланный за Лениным, не найдя его, прихватил с собой Стеклова. После нового вмешательства Керенского Стеклов был освобожден, но с тех пор в течение месяца не решался ни днем ни ночью покидать Таврический дворец.

В этой ситуации Временное правительство могло реально обезглавить большевистскую партию и общественное мнение приняло бы любые, самые радикальные меры. В эти дни Ленин говорил Троцкому: "Теперь они нас перестреляют. Самый для них подходящий момент".[259] Но власть проявила неожиданные колебания. Нанеся удар влево, она немедленно компенсировала это ударом вправо. Еще 5 июля подал в отставку министр юстиции Переверзев. Фактически его принудили к этому его же коллеги по кабинету, упрекавшие его в чрезмерно поспешном обнародовании документов о связях большевиков с германской разведкой. Через две недели был уволен от должности генерал Половцев. Вслед за ним ушел начальник контрразведки капитан Никитин, в чьих руках находилось расследование дела о связях большевиков и германской разведки. После этого обвинение в адрес Ленина стало разваливаться на глазах.

Найти объяснения такому поведению несложно. Еще недавно в исследованиях, посвященных событиям 1917 года, господствовал тезис о периоде "двоевластия", завершившемся в июльские дни переходом всей власти в руки Временного правительства. Нам это утверждение кажется неверным. "Двоевластие", а точнее фактическое безвластие, продолжалось и

в последующие месяцы. Когда прошел первый страх, крикливые защитники "свободы" вновь подняли головы и правительство вынуждено было с ними считаться. Даже если бы правительство попыталось встать на путь последовательных репрессий, оно не нашло бы реальной силы для их осуществления. Революционная пропаганда слишком глубоко въелась в души, чтобы быть отвергнутой в одночасье.

НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ

Наведение порядка в столице еще не означало завершения политического кризиса. После ухода министров-кадетов и отставки Переверзева правительство фактически перестало существовать. На повестку дня встал неотложный вопрос о реформировании кабинета. На утреннем заседании Временного правительства 7 июля 1917 года министры-социалисты Чернов и Церетели зачитали декларацию, содержавшую программу действий на ближайший период. Она предполагала немедленное провозглашение демократической республики, ускорение подготовки выборов в Учредительное собрание, проведение неотложных мероприятий в области земельного и рабочего вопросов.

Неожиданно эти предложения вызвали резкое противодействие со стороны министра-председателя князя Львова. Он заявил, что не считает возможным оставаться во главе правительства в ситуации, когда ему навязывают решения, с которыми он принципиально не согласен. Детали своих расхождений с социалистами Львов изложил в открытом письме, опубликованном на следующий день всеми центральными газетами.

Интересно, что столь несхожие авторы, как Милюков и Суханов, считали отставку Львова результатом продуманной провокации. Суханов полагал, что за кулисами этой истории стоял Керенский, заранее рассчитывавший именно на такую реакцию главы кабинета. Заявляя об отставке, Львов сам предложил Керенского на роль своего преемника. Решение это было единогласно одобрено другими министрами, и Керенский с 7 июля официально вступил в должность премьера. Одновременно были проведены и некоторые другие перестановки. Церетели занял освободившийся пост министра внутренних дел, а вернувшийся в правительство Некрасов стал заместителем министра-председателя.

Но это было только начало сложной игры, приведшей Керенского на вершину власти. На следующий день, 8 июля, была опубликована правительственная декларация, содержавшая основные положения заявления Чернова и Церетели. Тут вступила в бой новая сила. За прошедшие с начала революции четыре с лишним месяца все успели забыть Временный комитет Государственной думы, когда-то и делегировавший власть первому составу Временного правительства. Однако он продолжал существовать, изредка собираясь на заседания.

Принимавшиеся там решения не имели никакой реальной силы и мало кого интересовали. Но сейчас Временный комитет заговорил в полный голос. В обнародованном им постановлении содержалось категорическое требование, чтобы новое правительство носило коалиционный характер и отражало мнение самых широких кругов российского общества.

Заявление Временного комитета оказалось для Керенского очень кстати. При всех своих социалистических симпатиях он вовсе не собирался всецело подчиняться руководству Советов. Коалиция для него означала баланс сил, позволивший бы ему упрочить собственную власть. Еще одним фактором, игравшим на руку Керенскому, стала ситуация на фронте. Даже находясь в далеком тылу, петроградский обыватель впадал в панику, читая в газетах сообщения о беспорядочном отступлении русских армий, о бесчинствах мародеров и дезертиров.

Под влиянием сведений с фронта ВЦИК пошел на беспрецедентную уступку. В постановлении, принятом 11 июля, высший орган Советов объявлял Временное правительство "правительством спасения революции" с делегированием ему неограниченных полномочий для восстановления организации и дисциплины в армии, а также для борьбы со всеми проявлениями контрреволюции и анархии. Правда, в том же постановлении содержалась и ложка дегтя в виде обязательства министров-социалистов докладывать о своей деятельности ВЦИКу не реже двух раз в неделю.

Керенский воспринял это решение как "карт-бланш" на формирование коалиционного кабинета. В тот же день, 11 июля, было объявлено, что бывшие члены Государственной думы И. Н. Ефремов и А. А. Барышников включаются в состав правительства, первый — в качестве министра юстиции, второй — как управляющий Министерством государственного призрения. Оба они были представителями цензовых, то есть буржуазных, элементов, и их назначение было воспринято как уступка правым. Но именно справа Керенский встретил совершенно неожиданные возражения.

Временный комитет обидело, что Керенский сделал выбор без согласования с ним. Со своей стороны комитет выдвинул инициативу созыва в Москве совещания, на котором были бы представлены помимо Советов также торгово-промышлен-ные круги, кооперативы, профсоюзы, университетская профессура и т. д. Керенский с готовностью поддержал идею и лично сообщил об этом председателю Временного комитета М. В. Родзянко.

В итоге, как казалось, была найдена почва для компромисса. И ВЦИК, и Временный комитет согласились, что новое

правительство будет формироваться лично Керенским. В основу должен быть положен персональный принцип, предполагавший, что министры не несут ответственности перед своими партиями. Руководствуясь этим, Керенский обратился к членам кадетской партии В. Д. Набокову, Н. М. Кишкину и Н. А. Астрову занять должности в формирующемся кабинете. Те, в свою очередь, поставили перед Керенским ряд условий: вопрос о форме государственного строя и важнейших социальных реформах должен быть отложен до Учредительного собрания; необходимо полностью соблюдать единение с союзниками; восстановление дисциплины в армии и борьба с анархией в тылу. Дополнительным условием, не ставившимся публично, было удаление из состава правительства Чернова, которого кадеты считали виновником аграрных беспорядков.

Керенский согласился на всё, за исключением удаления Чернова. В этот момент переговоры прервались, поскольку 15 июля Керенский спешно отбыл на фронт. Когда он через четыре дня вернулся обратно, ситуация существенно изменилась. Министр внутренних дел Церетели заявил репортерам, что социалистическая часть правительства готова допустить в его состав только тех представителей цензовых элементов, которые стоят на позиции декларации от 8 июля. Это был тупик. Стало ясно, что ни левые, ни правые реально не настроены на соглашение.

Последняя попытка примирить враждующих была предпринята на заседании правительства 21 июля 1917 года. Долгие разговоры вновь оказались бесплодными. Керенский в этих спорах участия не принимал, причем отсутствующее выражение его лица порождало сомнение в том, что он вообще слышит аргументы сторон. В шесть часов вечера он неожиданно поднялся и заявил, что ввиду отсутствия какой-либо поддержки его начинаниям он слагает с себя обязанности ми-нистра-председателя и члена кабинета. Коротко откланявшись, он покинул зал.

Керенский исчез из города. Даже пронырливые газетчики не знали, где его искать (позже выяснилось, что он скрытно уехал в Царское Село). Растерянных министров охватило неприятное чувство. Внезапно оказалось, что присутствие Керенского снимало с них ответственность, а теперь каждый встал перед необходимостью отвечать за всё самому. Напрасно наиболее циничные из министров успокаивали своих робких коллег, цитируя Пушкина: "Борис еще поплачется немного, как пьяница над чашею вина, и согласится". Но страх перед неизвестностью оказался сильнее.

Весь вечер министры советовались со своими партийными товарищами. Наконец, к одиннадцати вечера они вновь съехались в Зимний дворец, где уже две недели проходили заседания кабинета. На этот раз в Малахитовом зале присутствовали не только сами министры, но и представители ВЦИКа, Временного комитета и ЦК кадетской партии. Встречу на правах заместителя премьера открыл Некрасов. Он сообщил, что от Керенского получено официальное заявление об отставке. В такой ситуации, по словам Некрасова, возможны три выхода. Первый — правительство передает власть Совету и Временному комитету Государственной думы; второй — вручить полномочия для формирования кабинета одному лицу; третий — выслушать представителей политических организаций. Естественно, что собравшиеся в зале прожженные демагоги выбрали третье.

Заседание затянулось до шести утра. Каждый из присутствующих не преминул выступить с речью, не важно, имела ли она какое-то отношение к теме обсуждения или нет. В конечном счете всё уперлось в позицию социалистов, упорно отстаивавших декларацию от 8 июля. Наконец, не выдержал и Некрасов. Он сказал, что все равно уходит из правительства и потому не собирается больше молчать. Обращаясь к представителям Совета, он заявил, что они парализовали всю деятельность правительства и ведут страну к катастрофе. "Возьмите эту власть в собственные руки и несите ответственность за судьбу России. Или, если у вас нет решимости это сделать, предоставьте власть коалиционному кабинету, но тогда уже не вмешивайтесь в его работу. Не принимайте только в эту ночь половинчатых решений. Не доверяете Керенскому? Тогда составьте чисто социалистический кабинет — и мы уступим вам власть".[260]

Уже под утро было решено, что министры коллективно подают в отставку, с тем чтобы Керенский мог сформировать кабинет по своему усмотрению. Некрасов связался по телефону с Керенским (он один знал, где его искать). Днем 22 июля в газеты было передано официальное заявление. В нем Керенский подтверждал свою готовность взять на себя дело формирования верховной власти. Деликатный вопрос о декларации от 8 июля был закамуфлирован обтекаемой фразой о необходимости исходить из тех начал, которые были выработаны и изложены в "предыдущих декларациях" Временного правительства.

Последующие два дня Керенский посвятил переговорам с кандидатами на министерские посты. В итоговом виде список нового состава правительства был объявлен 25 июля. Из предыдущего состава в нем остались сам Керенский

(сохранивший, помимо премьерского кресла, должность военного и морского министра), Терещенко, Некрасов (ставший министром финансов и одновременно заместителем премьера), министр труда меньшевик Скобелев, министр продовольствия Пешехонов и министр земледелия Чернов. Знаменателен был уход Церетели, всего две недели просидевшего в кресле министра внутренних дел. В этом качестве его заменил представитель эсеров Н. Д. Авксентьев. Меньшевики среди новых членов кабинета были представлены министром почт и телеграфов А. М. Никитиным. Министром торговли и промышленности стал "нефракционный социалист" С. Н. Про-копович — известный ученый-экономист. Пост министра юстиции занял адвокат А. С. Зарудный (тоже близкий по политическим взглядам к умеренным социалистам). Правое крыло представляли министры-кадеты: министр просвещения С. Ф. Ольденбург, министр путей сообщения П. П. Юре-нев, государственный контролер Ф. Ф. Кокошкин, министр государственного призрения И. Н. Ефремов (формально не кадет, но тоже представитель цензовых элементов) и, наконец, обер-прокурор Синода А. В. Карташев. Последний занял место отправленного в отставку В. Н. Львова. Для того это стало полной неожиданностью. Львов считался вернейшим сторонником Керенского. Свою отставку он воспринял как незаслуженную обиду и высказывался по этому поводу, не стесняясь в выражениях.

Процедура образования третьего по счету состава Временного правительства (и второго коалиционного) существенно отличалась от того, что имело место ранее. Первое правительство, родившееся в мартовские дни, формально возникло по почину Государственной думы. Второе, появившееся в результате апрельского кризиса, формировалось по принципу партийного представительства. Третье было сформировано лично Керенским по персональному признаку. Уже это ставило Керенского в особое положение. Неожиданно для всех участников политических комбинаций (и, может быть, в какой-то мере для себя) Керенский оказался единственным связующим звеном между правыми и левыми.

Эта была вершина власти. Вершина не в том смысле, что вся страна отныне повиновалась мановению руки Керенского. Погружавшаяся в анархию Россия не повиновалась никому. Керенский занял место на вершине, потому что отныне не только друзья, но и недоброжелатели должны были молиться за него. Через много лет Керенский писал, что решение возглавить правительство в такой ситуации, возможно, было ошибкой. "Может быть, мне стоило временно уйти в отставку в тот самый

момент, когда мой престиж и популярность в центральных партийных комитетах и среди профессиональных политиков стояли очень высоко. Сохранив авторитет в глазах народа, я, может быть, сберег бы то, что пошло бы на пользу России в худшие, тяжелейшие дни, которые ее ожидали".[261]

Гадать, что было бы, — вещь бесполезная. Важнее другое. Родившаяся в июле конструкция власти была очень неустойчивой. Она всецело зависела от одного человека, от его капризов, настроения, переменчивого поведения. Кого-кого, а Керенского никак нельзя было считать образцом последовательности. К тому же за его спиной не стояли ни одна политическая партия, ни одна организованная сила. Весной и в начале лета 1917 года страной управляла улица. Июльские дни стали апогеем торжества уличной стихии. Теперь наступали времена, когда решающим фактором становились дворцовые интриги.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ВОЕННЫЕ НЕУДАЧИ

В накале политической борьбы события, происходившие на фронте, как-то отошли на второй план. Между тем назревала настоящая катастрофа. Как мы уже писали, к началу июля немцы и австрийцы развернули контрнаступление в расположении русского Юго-Западного фронта, обратив русские армии в паническое бегство. В этих условиях главнокомандующий фронтом генерал Гутор проявил растерянность и неумение контролировать ситуацию. Его панические просьбы о помощи вызывали в Ставке крайнее раздражение. На очередную такую телеграмму от 7 июля главковерх А. А. Брусилов отвечал: "Войск в вашем распоряжении больше, чем нужно. Необходимо принять все меры, чтобы заставить их драться. Не допускаю мысли, что между сосредоточенными в районе прорыва частями не нашлось доблестных и верных долгу полков, которые не остановили бы небольшие части противника, наступающие только потому, что перед ними отходят".[262] Вечером того же дня Брусилов подписал приказ о назначении на должность главнокомандующего Юго-Западным фронтом генерала Корнилова.

Новый пост Корнилов занял в очень тяжелое время. Фронт разваливался на глазах. 8-я армия еще держалась, но было ясно, что и она не сумеет остаться в стороне нараставшей паники. Казалось, что все кончено, враг может продвинуться сколь угодно далеко и не встретить при этом сопротивления. От Корнилова ждали чуда. Но кое-кто, хотя пока таких людей было немного, рассчитывал на нечто большее, чем просто чудо.

В начале июня 1917 года Временное правительство учредило должности армейских комиссаров. В 8-ю армию, которой тогда командовал Корнилов, в этом качестве был прислан член Исполкома Петроградского совета М. М. Филоненко. Накануне революции штабс-капитан Филоненко был помощником командира броневого дивизиона. Подчиненные его не любили. Говорили, что в бытность его на фронте по его приказу был насмерть засечен один из солдат. После этого Филоненко, опасаясь мести, поспешил перевестись в Петроград. В Петроградский совет он попал благодаря хорошо подвешенному языку. Когда в войсках были введены должности армейских комиссаров, у руководства Совета не нашлось под рукой подходящих кандидатур, а Филоненко вызвался сам и потому получил назначение.

В воспоминаниях Ф. А. Степуна можно найти следующую характеристику Филоненко: "Мне этот почти фатовато одетый,

театрально жестикулирующий, остро и четко говорящий человек, по-кошачьи круглоголовый, круглолицый и кругло-глазый, всегда представлялся выходцем из талантливо и умно, но несколько безвкусно написанного авантюрного криминального романа".[263] Склонность Филоненко к авантюризму отмечали и другие знавшие его современники. Таких "профессионалов революции" в те смутные времена было немало. Филоненко решил сделать ставку на Корнилова, с тем чтобы и самому подняться вместе с ним к тем вершинам, которые сулили и власть, и славу, и другие не менее головокружительные перспективы.

Однако для этого нужны были связи, которых у Филоненко попросту не было. Зато они имелись у человека, занимавшего должность комиссара соседней 7-й армии. Имя Б. В. Савинкова хорошо знала вся страна. Правда, скорее не Савинкова, а литератора Ропшина. Подписанные этим псевдонимом романы "Конь бледный" и "То, чего не было" создали Савинкову известность бóльшую, чем деятельность в составе боевой организации партии эсеров. Летом 1917 года в журнале "Былое" начали печататься воспоминания Савинкова, вновь привлекшие к нему изменчивое внимание публики.

Подобно многим писателям, Савинков настолько сросся со своими литературными персонажами, что даже в жизни носил маску Жоржа из "Коня бледного" — холодного и несколько циничного человека с железной волей и неукротимой энергией. Примерно в эти дни Савинкова впервые увидел Ф. А. Степун. Вот как он описывает свои впечатления от этой встречи: "На трибуну взошел изящный человек среднего роста, одетый в хорошо сшитый серо-зеленый френч с непринятым в русской армии высоким стояче-отложным воротником. В суховатом, неподвижном лице, скорее западноевропейского, чем типично русского склада, сумрачно, не светясь, горели небольшие, печальные и жестокие глаза. Левую щеку от носа к углу жадного и горького рта прорезала глубокая складка. Говорил Савинков, в отличие от большинства русских ораторов, почти без жеста, надменно откинув лысеющую голову и крепко стискивая кафедру своими холеными барскими руками. Голос у Савинкова был невелик и чуть хрипел. Говорил он короткими, энергичными фразами, словно вколачивал гвозди в стену".[264]

Удивительно, но этот революционер с гигантским стажем по характеру своему меньше всего был народолюбцем. Савинков никогда не работал в "массах", не занимался пропагандой, не вел просветительские кружки. В подполье он ухитрялся оставаться аристократом и не скрывал несколько брезгливого отношения к толпе. Не изменил он этому и в дни революции. Савинков не

стеснялся называть Петроградский совет "Советом рачьих, собачьих и курячьих депутатов", чем приводил в священный ужас своих собеседников-социалистов.

Савинков был великолепным организатором. К тому же он очень быстро адаптировался к любым условиям. Фронтовое офицерство сначала встретило "цареубийцу" враждебно, но уже через короткое время переменило это отношение. "Всё в нем: военная подтянутость внешнего облика, отчетливость жеста и походки, немногословная дельность распоряжений, пристрастие к шелковому белью и английскому мылу, главным же образом прирожденный и развитой дар распоряжения людьми — делало его стилистически настолько близким офицерству, что оно быстро теряло ощущение органической неприязни к нему".[265] Савинков был фигурой государственного масштаба, но ему никогда прежде не приходилось действовать на таком уровне, а специфическая атмосфера революционного подполья, наполненная интригами и мелким подсиживанием, формировала для этого не лучший опыт.

С Корниловым Савинкова впервые познакомил Филонен-ко. Дело происходило в те страшные дни, когда немцы прорвали русский фронт. Разумеется, и Корнилов, и Савинков накануне встречи попытались собрать максимум информации друг о друге. Для Савинкова не было секретом честолюбие Корнилова, как и то обстоятельство, что многие из окружения генерала хотели бы видеть его в роли российского Наполеона. "Генерал, — обратился Савинков к Корнилову, — я знаю, что если сложатся обстоятельства, при которых вы должны будете меня расстрелять, вы меня расстреляете". Выдержав паузу, он прибавил: "Но если условия сложатся так, что мне придется вас расстрелять, я тоже это сделаю".[266] Всё это звучит театрально до крайности, но вполне вписывается в манеру Савинкова. Корнилова, как ни странно, подобное начало разговора не смутило. Савинков заявил, что как революционер он является категорическим противником любой диктатуры. После короткого молчания Корнилов ответил, что лично он к диктатуре не стремится.

Савинков полагал, что он умеет разбираться в людях. Правда, история с предательством Азефа, которое он так долго отказывался признать, вызывает сомнения в этом его качестве. Хорошо знавший Савинкова английский дипломат-разведчик Р. Локкарт писал о нем: "Он так долго общался со шпионами и провокаторами, что, подобно герою одного из своих романов, он сам не знал, предает ли он себя или тех, кого хотел предать".[267] Во всяком случае, Корнилову Савинков поверил. Позже в показаниях комиссии по "корниловскому делу" он говорил, что из

общения с Корниловым убедился в том, что тот "не только разделяет мой взгляд на необходимость твердой революционной власти, осуществляемой Временным правительством, но является тем человеком, который, стоя близко к Временному правительству, сможет взять на себя всю тяжесть проведения решительных мер для поднятия боеспособности армии".[268] Для Корнилова знакомство с Савинковым тоже стало важным рубежом. Теперь у него появилась солидная политическая поддержка, а значит, трамплин для выхода на новый уровень.

ВОЗВЫШЕНИЕ КОРНИЛОВА

Фронт рушился, как карточный домик. Отступавшая русская армия превратилась в толпу погромщиков и мародеров. На своем пути она творила кровавые бесчинства. В воспоминаниях генерала П. Н. Врангеля мы находим страшную картину этих дней: "Город горел в нескольких местах, толпа солдат, разбив железные шторы, громила магазины. Из окон домов неслись вопли, слышался плач. На тротуаре валялись разбитые ящики, сломанные картонки, куски материи, ленты и кружева вперемешку с битой посудой, пустыми бутылками из-под коньяка. Войсковые обозы сплошь запрудили улицы. На площади застряли артиллерийские парки. Огонь охватывал соседние дома, грозя ежеминутно взрывом снарядов".[269] В данном случае речь идет о галицийском городке Станиславов, но так было повсюду. 10 июля без боя был сдан Тарнополь, где противнику достались гигантские запасы снарядов и продовольствия на общую сумму больше 3 миллиардов рублей.

Накануне, 8 июля, Корнилов отправил Брусилову телеграмму, одновременно адресовав ее копию Керенскому. В телеграмме говорилось, что фронт продолжает разваливаться, хотя на одного солдата противника приходится пять русских. В создавшихся условиях Корнилов считал "безусловно необходимым обращение Временного правительства и Совета к войскам с вполне откровенным и прямым заявлением о применении исключительных мер, вплоть до введения смертной казни на театре военных действий, иначе вся ответственность ляжет на тех, которые словами думают править на тех полях, где царит смерть и позор предательства, малодушия и себялюбия".[270]

В тот же день, когда телеграмма ушла в Могилев и Петроград, Корнилов отправил распоряжение командующим армиями и корпусами. В нем говорилось: "Самовольный уход частей я считаю равносильным с изменой и предательством, поэтому категорически требую, чтобы все строевые начальники в таких случаях, не колеблясь, применяли против изменников огонь пулеметов и артиллерии. Всю ответственность за жертвы принимаю на себя, бездействие и колебание со стороны начальников буду считать неисполнением служебного долга и буду немедленно таковых отрешать от командования и предавать суду".[271] Фактически этим распоряжением Корнилов еще до получения ответа из Петрограда санкционировал введение на фронте смертной казни. За подобную инициативу было очень

легко поплатиться должностью. На это вряд ли решился бы кто-то из других командующих фронтами, даже главковерх Брусилов. Корнилов сделал выбор, и, зная его, можно было понять, что идти он будет до конца.

Вечером 9 июля в штабах армий и фронтов был получен ответ Керенского. Опираясь на 14-й пункт "Декларации прав солдата", премьер санкционировал применение оружия для наведения порядка среди отступающих войск. В ответе указывалось на недопустимость вмешательства комитетов в оперативные решения, а также смену и назначение командного состава. Однако вопрос о введении смертной казни в телеграмме Керенского был обойден.

По приказу Корнилова на Юго-Западном фронте были сформированы особые ударные отряды для борьбы с дезертирством, мародерством и насилием. 9 июля в расположении 11-й армии было расстреляно 14 погромщиков, схваченных на месте преступления. Объявляя об этом по армиям фронта, Корнилов сообщил, что им отдан приказ "без суда расстреливать тех, которые будут грабить, насиловать и убивать как мирных жителей, так и своих боевых соратников, и всех, кто посмеет не исполнять боевых приказов в те минуты, когда решается вопрос существования Отечества, свободы и революции". Корнилов заявлял: "Я не остановлюсь ни перед чем во имя спасения родины от гибели, причиной которой является подлое поведение предателей, изменников и трусов".[272]

Позиция Корнилова нашла полную поддержку у Савинкова и Филоненко. Это получило отражение в телеграмме, посланной за их подписями 11 июля на имя Керенского. Телеграмма, а точнее обращение, была составлена почти в эпическом стиле. Сделано это было не случайно, ибо предназначалась она не только конкретному адресату, но прежде всего для широкого ознакомления. Савинков патетически обращался к премьеру: "Как я отвечу за пролитую кровь, если не потребую, чтобы немедленно были введены с железной решимостью в армии порядок и дисциплина, которые бы не позволили малодушным безнаказанно, по своей воле, оставлять позиции, открывать фронт, губить этим целые части и товарищей, верных долгу, покрывая незабываемым срамом революцию и страну? Выбора не дано: смертная казнь тем, кто отказывается рисковать своей жизнью для родины за землю и волю". В том же духе ему вторил Филоненко: "Я могу заявить одно: смертная казнь изменникам; тогда только будет дан залог того, что не даром за землю и волю пролилась священная кровь".[273] Конечно, Савинков не был заговорщиком или сторонником диктатуры. Он был, как это ни

удивительно для недавнего подпольщика, в первую очередь государственником, приверженцем твердой власти. В Корнилове Савинков увидел человека, который сумеет обеспечить эту твердую власть, не посягая на завоевания революции.

На все послания в свой адрес Керенский не давал ответа. Молчание премьера было связано с тем, что он в это время был занят уже известными нам переговорами по формированию нового состава правительства. Руки Керенского оказались развязаны лишь после того, как ВЦИК принял резолюцию, объявлявшую Временное правительство "правительством спасения революции". Этим премьеру фактически были предоставлены неограниченные полномочия для восстановления порядка и дисциплины в армии и борьбы "со всеми проявлениями контрреволюции и анархии".

12 июля Временное правительство (а фактически единолично Керенский, так как кабинет в это время еще не был сформирован) приняло постановление о восстановлении смертной казни через расстрел за следующие преступления: измену, побег к неприятелю, бегство с поля сражения, уклонение от участия в бою, за подстрекательство или возбуждение к сдаче, бегству или уклонению от сопротивления. Одновременно создавались военно-революционные суды, в состав которых на паритетных началах должны были входить офицеры и солдаты.

В социалистических газетах немедленно появились самые мрачные пророчества. Авторы их пугали началом контрреволюционного террора. На практике применение смертной казни широкого распространения не получило, так как бóльшая часть воинских начальников попросту боялась брать на себя ответственность за конфирмацию приговоров.

Еще 11 июля 1917 года, за день до того как правительство официально приняло решение о восстановлении смертной казни на фронте, Керенский по телеграфу поспешил сообщить Корнилову о том, что его требования приняты. Это не помешало Корнилову в тот же день отправить в адрес правительства новый ультиматум. Приводить здесь полностью это многословное послание значило бы слишком утомить читателя, поэтому мы процитируем лишь наиболее важные его фрагменты: "Армия обезумевших темных людей, не ограждавшихся властью от систематического развращения и разложения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. На полях, которые нельзя назвать полями сражений, царят сплошной ужас, позор и срам, которых русская армия не знала с самого начала своего существования… Выбора нет: революционная власть должна встать на путь определенный и твердый. Лишь в этом спасение

родины и свободы. Я, генерал Корнилов, вся жизнь которого от первого дня сознательного существования доныне проходит в беззаветном служении родине, заявляю, что отечество гибнет, и потому, хотя и не спрошенный, требую немедленного прекращения наступления на всех фронтах, в целях сохранения и спасения армии для ее реорганизации на началах строгой дисциплины".

Корнилов призывал к скорейшему введению военно-полевых судов и смертной казни на фронте. Завершалось послание словами: "Довольно. Я заявляю, что если правительство не утвердит предлагаемых мною мер и тем лишит меня единственного средства спасти армию и использовать ее по действительному назначению — защиты родины и свободы, то я, генерал Корнилов, самовольно слагаю с себя полномочия главнокомандующего".[274] Телеграмму сопровождала приписка Савинкова: "Я, со своей стороны, вполне разделяю мнение генерала Корнилова и поддерживаю высказанное им от слова до слова".

Этот комментарий многое объясняет. Очевидно, что за всеми инициативами Корнилова стоял в ту пору Савинков. Без его поддержки Корнилов, быть может, не решился бы на открытое нарушение субординации, к тому же сильно отдававшее шантажом. Однако Корнилов и Савинков по-разному подходили к своему сотрудничеству. Для Корнилова Савинков был союзником, для Савинкова Корнилов скорее являлся орудием. Писатель В. Б. Шкловский, хорошо знавший всех основных участников этих событий, полагал, что Корнилов был нужен Савинкову для того, чтобы пугать Временное правительство.[275]

Разумеется, было бы ошибкой думать, что Савинков сам стремился к премьерскому креслу. Организованное им с помощью Корнилова давление на Керенского было, в понимании Савинкова, предпринято в интересах самого Керенского. Оно должно было заставить того прекратить колебания, встать на позиции твердой власти. Савинков действовал методами, к которым привык за годы подполья, — хитростью и интригой. По-другому он просто не умел. Сам он при этом оставался в тени, а на первый план выдвигал Корнилова.

Савинков не учел изменившейся ситуации. Революция превратила политику из кулуарного занятия в публичное. Корнилов всё больше превращался в самостоятельное действующее лицо. Лишь немногие посвященные различали за ним Савинкова. Большинство же тех, кто читал в газетах телеграммы Корнилова, видели только его. В качестве командующего армией Корнилов был одним из десятков

генералов того же ранга. Встав во главе фронта, он превратился в одного из пяти главнокомандующих. Предпринятое же им давление на Керенского сделало его фигурой, равной самому Керенскому.

НОВЫЙ ГЛАВКОВЕРХ

К середине июля 1917 года обстановка на основных фронтах по-прежнему оставалась напряженной. В Галиции немцы и австрийцы продолжали теснить русские войска, и хотя паника первых дней улеглась, конца отступлению было не видно. В этой ситуации Керенский назначил на 16 июля совещание в Ставке для выработки неотложных мер. Чрезвычайный характер этой встречи подчеркивался участием в ней отставных военачальников. Персональные приглашения получили М. В. Алексеев и бывший главнокомандующий Северным фронтом генерал Н. В. Рузский.

Брусилов от своего имени пригласил на совещание генералов В. И. Гурко и А. М. Драгомирова. Еще недавно они командовали соответственно Западным и Северным фронтами, но были смещены по настоянию Керенского. Вопрос об их участии спровоцировал неприятный инцидент. Узнав о приглашении Драгомирова и Гурко, Керенский заявил категорический протест. Брусилову пришлось спешно посылать телеграммы, отменяя свое приглашение. Генерала Гурко телеграмма не нашла, он прибыл в Ставку, но демонстративно не был допущен на заседания.

Еще одна скандальная история произошла непосредственно в день заседания. Поезд Керенского должен был прибыть в Могилев в половине третьего дня, но появился на станции на час раньше. В это время Брусилов слушал доклад своего начальника штаба генерала А. С. Лукомского. Брусилов решил не прерывать встречу и послал на вокзал своего генерала для поручений сообщить о том, что главнокомандующий извиняется и будет ждать премьер-министра в час, назначенный для начала заседания. По словам очевидцев, это вызвало страшное возмущение Керенского. Он почти кричал своим спутникам, что при царе генералы такого себе бы не позволили, что Брусилов еще недавно заискивал перед ним, а теперь позволяет себе игнорировать главу правительства.

Через полковника Барановского Керенский потребовал, чтобы Брусилов немедленно явился к нему в вагон. Брусилов вспоминал: "Когда я вошел в вагон министра, он мне лично не высказал своего неудовольствия и упреков не делал, но сухое, холодное отношение сразу же почувствовалось. Он потребовал доклада о положении на фронте, что я немедленно вкратце исполнил… Подробно говорить я не мог, ибо время приближалось к 4 часам, а заседание было назначено на 3 часа. Нас ждали, и я принужден был задать вопрос: не благоугодно ли ему будет отложить заседание или поторопиться ехать? На последнее он согласился, и мы поехали в генерал-

квартирмейстер-скую часть, где все чины совещания уже были собраны".[276]

Помимо Керенского и Брусилова на совещании присутствовали генералы Алексеев, Рузский, Лукомский, оба генерал-квартирмейстера Ставки — И. П. Романовский и Ю. Н. Плю-щевский-Плющик. Правительство представлял приехавший вместе с Керенским министр иностранных дел М. И. Терещенко. На совещание были приглашены главнокомандующие Северным фронтом генерал В. Н. Клембовский и Западным — генерал А. И. Деникин (последний приехал вместе со своим начальником штаба генералом С. Л. Марковым). Главнокомандующие Румынским фронтом генерал Д. Г. Щербачев и Юго-Западным — генерал Л. Г. Корнилов не присутствовали ввиду сложной обстановки на вверенных им участках. Отсутствие Корнилова в какой-то мере восполнял комиссар Юго-Западного фронта Савинков, единственный из комиссаров, принимавший участие в заседании. В зале присутствовали еще несколько бессловесных молодых людей из свиты Керенского и двое штабных офицеров, которым было поручено вести протокол.

Совещание, которое Алексеев назвал "консилиумом врачей у постели тяжелобольного", затянулось до полуночи. На правах председателя его открыл Брусилов. Его корсп кая речь была составлена в выражениях осторожных и неопределенных. Брусилов еще не успел закончить, как его бесцеремонно прервал Керенский. Он сказал, что совещание должно выработать конкретные шаги по восстановлению боеспособности армии, и просил высказываться именно в этой связи. Началось обсуждение. Слово было предоставлено генералу Деникину как младшему из присутствовавших. Свое выступление он начал словами: "С глубоким волнением и в сознании огромной нравственной ответственности, я приступаю к своему докладу; и прошу меня извинить: я говорил прямо и открыто при самодержавии царском, таким же будет мое слово теперь — при самодержавии революционном".[277]

Долгая речь Деникина изобиловала фактами и цифрами, он цитировал донесения командиров частей и резолюции солдатских митингов. Досталось от него и главковерху Брусилову, и премьеру Керенскому. Деникин говорил: "У нас нет армии. И необходимо немедленно, во что бы то ни стало, создать ее. Новые законы правительства, выводящие армию на надлежащий путь, еще не проникли в толщу ее, и трудно сказать поэтому, какое они произвели впечатление. Ясно, однако, что одни репрессии не в силах вывести армию из того тупика, в который она попала". С точки зрения Деникина, Временное правительство должно было

открыто признать свои ошибки. Власть в войсках должна была быть возвращена Верховному главнокомандующему. Армию необходимо оградить от политики, комиссары и комитеты подлежат упразднению. Деникин предлагал создать в резерве отборные части в качестве орудия для наведения дисциплины и предотвращения военных бунтов.

Выступление Деникина едва не вылилось в скандал. Брусилов писал: "Керенский начал резко оправдываться, и вышло не совещание, а прямо руготня. Деникин трагично махал руками, а Керенский истерично взвизгивал и хватался за голову".[278] В конечном счете Керенский встал и пожал Деникину руку:

— Благодарю вас, генерал, за ваше смелое искреннее слово!

Это отнюдь не означало, что Керенский согласился с программой Деникина. Скорее всего, это был очередной случай игры в "демократического премьера", которую так любил Керенский. Правительство и генералитет, как и прежде, по-разному представляли себе выход из кризиса.

Что касается Деникина, то он, по словам Алексеева, стая "героем дня".[279] Выступавшие вслед за ним генералы Клембовский и Рузский по сути лишь в более мягкой форме повторили то, что уже было сказано. В заседании был объявлен перерыв, после чего Савинков огласил телеграмму Корнилова. В ней говорилось о необходимости восстановления дисциплины в войсках и в качестве условия этого — запрещении митингов и деятельности политических агитаторов. Корнилов предлагал распространить постановление о смертной казни и военно-революционных судах на тыловые округа, с тем чтобы пресечь разложение в поступающих на фронт пополнениях. Но в отличие от Деникина Корнилов признавал целесообразность института военных комиссаров. Более того, он предлагал учредить должности комиссаров не только в армиях, но и в корпусах, предоставив им право утверждать приговоры военно-революционных судов. В числе предложений Корнилова было и проведение чистки командного состава с целью удаления тех, кто проявил нерешительность и неспособность руководить в новых условиях.

Закончилось совещание речью Керенского. Он попытался оправдаться от высказанных ему упреков и, в свою очередь, обвинил генералитет в непонимании требований революционного времени. Никаких решений на совещании принято не было, общего языка стороны так и не нашли.

В полночь поезд премьер-министра отбыл из Могилева в Петроград. Керенский пригласил в свой вагон Савинкова и Филоненко. Всю ночь он развивал перед ними планы

переустройства власти. Речь шла о формировании нового состава правительства с участием авторитетных для всей страны лиц. В этой связи Керенский предложил Савинкову пост управляющего военным министерством, то есть фактически военного министра, поскольку формально эту должность премьер решил оставить за собой. Савинков не колеблясь принял эту должность. Во время ночного разговора встал вопрос и о новом Верховном главнокомандующем.

Мысль сменить Брусилова появилась у Керенского еще раньше. Будучи вовлеченным в политику, Брусилов был вынужден колебаться между линией правительства и настроениями высшего генералитета. Это в равной мере раздражало и тех и других. Но у Керенского не было кандидатуры на место Брусилова. Из присутствовавших на совещании генералов (если не считать Брусилова и Алексеева) Керенский лучше других знал Деникина. Он много раз бывал у него на Западном фронте и в общем-то относился к Деникину с симпатией. Даже много лет спустя он писал, что Деникин был "одним из самых способных" и либерально мыслящих военачальников.[280] Но Керенский понимал, что попытки Деникина провести в жизнь изложенную им на совещании программу спровоцировали бы массовое недовольство в солдатской среде.

Когда Савинков предложил кандидатуру Корнилова, Керенский встретил ее без особого энтузиазма. Корнилова он знал плохо. Если не считать эпизода, имевшего место в детские годы Керенского, они с Корниловым почти не пересекались. Керенский и Корнилов контактировали весной в Петрограде; позднее, уже в качестве военного министра, Керенский бывал в 8-й армии, но всё это были очень короткие встречи. Не слишком благоприятное впечатление на Керенского произвела настойчивость Корнилова в деле введения смертной казни. Но так был настроен не один он, а и другие старшие генералы. С другой стороны, на фоне резкого выступления Деникина требования Корнилова казались даже умеренными. По словам Керенского, они "как будто показывали, что человек немножко шире смотрит на это".[281] Выбора у Керенского не было, и он поддался настояниям Савинкова. 19 июля Брусилов был откомандирован в распоряжение правительства, а новым Верховным главнокомандующим назначен Корнилов.

Далее, однако, начали происходить странные вещи. Не отказываясь от назначения, Корнилов обставил вступление в новую должность целым рядом условий. В телеграмме, отправленной в тот же день в адрес правительства, он требовал "ответственности перед собственной совестью и народом",

невмешательства в назначение высшего командного состава и принятие его предложений, изложенных на совещании в Ставке. Началось трехдневное "бердичевское сидение". К этому времени Брусилов из Могилева уже выехал, а Корнилов туда не прибыл. Новый Верховный главнокомандующий продолжал сидеть в Бердичеве, в штабе Юго-Западного фронта, и фактически шантажировал правительство.

Для уговоров Корнилова в Бердичев был командирован Филоненко. Корнилов и сам был готов к компромиссу, и потому Филоненко довольно быстро удалось найти с ним общий язык. Было решено, что "ответственность перед народом" предполагает ответственность перед Временным правительством. Правительство не будет вмешиваться в назначения на высшие командные должности, но оставляет за собой право контролировать их. Что касается требований, изложенных на июльском совещании в Ставке, то они не могут быть приняты скоропалительно. Правительство, по словам Филоненко, сочувствует Корнилову и обещает в скорейшем времени реализовать основные положения его программы. В результате Корнилов, наконец, согласился принять новый пост. Главнокомандующим Юго-Западным фронтом через некоторое время был назначен генерал Деникин.

Много позже, когда уже не было в живых большинства участников этих событий, восьмидесятилетний Керенский пытался подвести итоги своей деятельности на посту премьер-министра революционной России. Среди главных своих ошибок он указал то, что не сместил Корнилова сразу же после того, как тот начал выдвигать свои требования правительству.[282] Действительно, обстоятельства назначения Корнилова Верховным главнокомандующим фактически означали капитуляцию Керенского. Капитуляцию уже вторичную, так как первой можно считать уступку в вопросе о введении смертной казни. Керенский всё, или почти всё, понимал, но он побоялся сместить главковерха на другой же день после назначения. У Керенского не было других кандидатур, а у Корнилова были влиятельные сторонники.

Керенский недооценил Корнилова. За предыдущие месяцы он привык к тому, что рядом с ним нет человека, равного ему по масштабу. Тем более он не ожидал найти такового среди генералитета. До сих пор генералы и адмиралы послушно принимали любые распоряжения правительства и его главы. Но Корнилов был не просто генералом. Он стремительно превращался в политическую фигуру. Пост Верховного главнокомандующего ставил его вровень с премьером, а

учитывая, что Россия была воюющей страной, в чем-то даже и выше. Может быть, другой на его месте и смог бы оставаться в рамках "технического назначения", но Корнилов уже думал о большем.

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ

Символ имперского величия России — Зимний дворец — уже давно прибывал в упадке. Царская семья перестала жить в Зимнем задолго до революции. В отсутствие постоянных обитателей дворец постепенно утрачивал прежний блеск и роскошь. В 1915 году в части дворцовых помещений был открыт лазарет для раненых воинов. В золоченых залах появились длинные ряды кроватей, а штофные обои, казалось, навсегда пропитались больничными запахами.

В феврале 1917-го Зимний был последним прибежищем войск, оставшихся верными императору. На счастье, дело тогда обошлось без штурма и кровопролития и весь ущерб, нанесенный дворцу, ограничился несколькими выбитыми стеклами. За первые месяцы революции дворец еще больше растерял прежнее величие. Царские гербы на парадных воротах были сначала задрапированы красной материей, а потом и вовсе демонтированы. Один из современников вспоминал: "Внутри дворца было пустынно и запущено. В залах зияли пустые места по стенам (были сняты царские портреты); в иных местах портреты или картины были завешены брезентом. Тем же брезентом кое-где был устлан и пол, вероятно, для сбережения паркетов. Изредка в коридоре появлялась фигура часового-юнкера или дворцового служителя в домашнем платье".[283] Постепенно во дворец стали перебираться различные правительственные канцелярии. Так, в бывших гостиных императрицы Александры Федоровны расположилась ранее упоминавшаяся Чрезвычайная следственная комиссия по делам о бывших министрах.

Портрет Керенского работы И. И. Бродского.

Керенский в Зимнем дворце.

Заседание военного кабинета министра-председателя в бывшей библиотеке Николая II. Слева направо: В. Л. Барановский, Г. А. Якубович, Б. В. Савинков, А. Ф. Керенский, князь Г. Н. Туманов.

Генерал Лавр Георгиевич Корнилов.

Борис Викторович Савинков.

Генерал Л. Г. Корнилов среди министров Временного правительства. В центре — А. Ф. Керенский. 3 августа 1917 г.

А. Ф. Керенский выступает на фронте перед солдатами. Лето 1917 г.

Прибытие Керенского на Государственное совещание.

Встреча генерала Корнилова на Александровском (ныне Белорусском) вокзале в Москве.

М. С. Хитрово — главный фигурант "заговора Маргариты".

Две карикатуры на Керенского. Слева — "Святой Себастиан наших дней" (из журнала "Новый Сатирикон", 25 июля 1917 года). Справа — "Керенский напуган им же вызванной корниловщиной" (из журнала "Бич").

Керенский и генерал М. В. Алексеев на перроне вокзала в Могилеве. Сентябрь 1917 г.

Могилев. Губернаторский дом — резиденция Верховного главнокомандующего.

40 РУБ 40 КРЕН
ПОДДѢЛКА ПРЕСЛѢДУЕТСЯ ЗАКОНОМЪ
20 РУБ 20 КРЕН
ПОДДѢЛКА ПРЕСЛѢДУЕТСЯ ЗАКОНОМЪ
СОРОКЪ РУБЛЕЙ
ОБЯЗАТЕЛЕНЪ КЪ ОБРАЩЕНІЮ НАРАВНѢ СЪ КРЕДИТНЫМИ БИЛЕТАМИ
ДВАДЦАТЬ РУБЛЕЙ
ОБЯЗАТЕЛЕНЪ КЪ ОБРАЩЕНІЮ НАРАВНѢ СЪ КРЕДИТНЫМИ БИЛЕТАМИ

"Керенки".

Продовольственная карточка на хлеб или муку. Август 1917 г.

Очередь к продовольственному магазину. Москва. Сентябрь 1917 г.

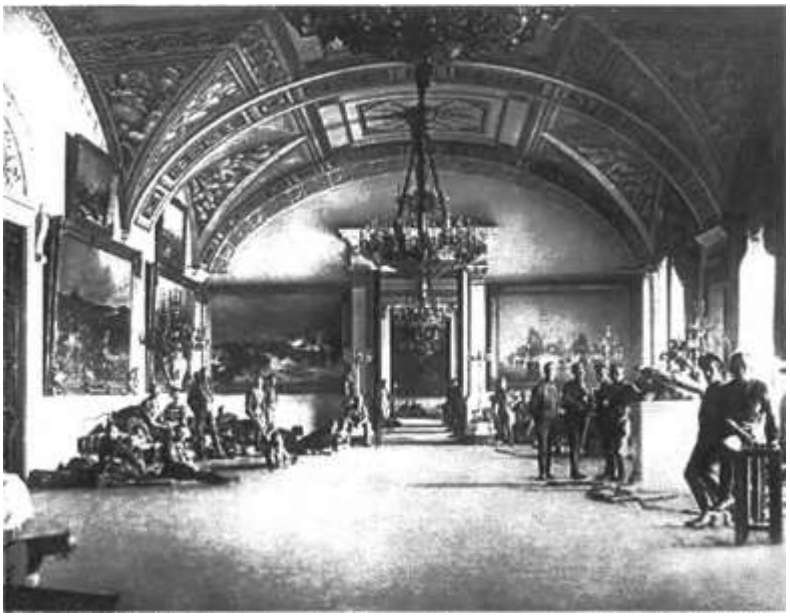
Красногвардейский патруль в Петрограде.

Керенский выступает на заседании "предпарламента". 24 октября 1917 г.

Женский батальон.

А. Ф. Керенский со своими адъютантами в Зимнем дворце. Одна из последних фотографий Керенского в Петрограде.

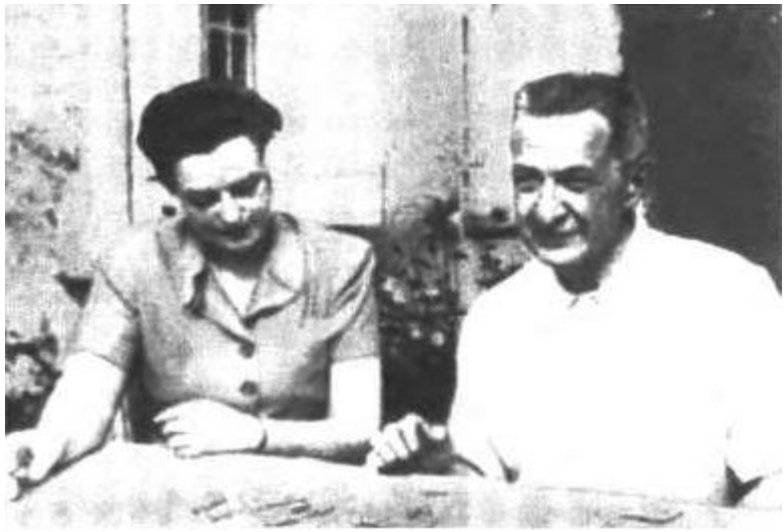
Бегство Керенского из Гатчины. Пропагандистская картина художника Г. М. Шегаля.



Юнкера в Зимнем дворце.

Кабинет Керенского в Зимнем дворце после бегства хозяина.

П. Н. Милюков и А. Ф. Керенский. Франция. 1935 г.



Керенский со второй женой Лидией (Нелль) Триттин. 1938 г.

Могила А. Ф. Керенского в Лондоне на кладбище Патни Вэйл.

Керенский в последние годы жизни.

Внезапно размеренная жизнь Зимнего дворца круто изменилась. Причиной этого стал переезд сюда Временного правительства. Дело в том, что Мариинский дворец, где правительство расположилось с начала марта, был плохо приспособлен для работы. Поэтому реально заседания кабинета чаще проходили на квартире князя Львова в здании Министерства внутренних дел. В июльские дни, как уже отмечалось, правительство заседало в здании штаба военного округа. Но там министры чувствовали себя временными гостями и при удобном случае перебрались по соседству — в пустующие помещения Зимнего дворца.

Первое заседание кабинета министров в Зимнем состоялось 8 июля 1917 года в Малахитовом зале (точнее — Малахитовой гостиной бывшей императрицы). Именно он чаще всего использовался в будущем для этих целей. В качестве правительственной резиденции у Зимнего было много преимуществ. В отличие от Мариинского дворца, находившегося на отшибе, Зимний, учитывая соседство со штабом округа, мог считаться сравнительно безопасным местом. К тому же в Зимнем было достаточно свободных площадей для размещения различного рода канцелярий. Очень скоро во дворце расположились управления делами правительства, машинописное бюро и другие службы. Это немедленно наложило отпечаток на облик дворца. "Все осталось нетронутым, но все затерто, закурено, зашаркано, оглушено пишущими машинками и закапано чернилами".[284] В залах второго этажа, окнами выходивших на Дворцовую площадь, был размещен караул. Грязные тюфяки на полу и пирамиды ружей тоже мало вязались с роскошными ампирными интерьерами.

Вслед за правительственными учреждениями в Зимний дворец переехал и сам премьер Керенский. Он занял бывшие покои Александра III на третьем этаже. В бывшем царском кабинете ему была устроена спальня. Обстановка здесь была самой простой. "Светлая комната, обитая розовым шелком, с мебелью в стиле модерн, по буржуазным понятиям уютная, с большим числом креслиц, диванчиков, столиков, в свое время заваленных фотографиями в семейных альбомах, безделушками. Теперь все это было убрано, и она имела вид хорошо обставленной гостиницы".[285] Личная канцелярия премьера располагалась в прежних комнатах Александра II. В императорской библиотеке Керенский принимал доклады и проводил совещания. Во фрейлинских комнатах на третьем этаже разместились адъютанты главы правительства и "бабушка" Брешко-Брешковская, которую Керенский продолжал повсюду таскать с собой.

Переезд Керенского в Зимний диктовался простой причиной — ему негде было жить. Со времен империи министры по традиции занимали казенные квартиры прямо в здании своего министерства, специальной же резиденции для министра-председателя предусмотрено не было. Когда-то один из премьеров — Столыпин — уже размещался в Зимнем дворце. Тогда это стало результатом неудачного покушения. Теперь соображения безопасности тоже принимались во внимание. К тому же Керенский работал по 12–14 часов в сутки, нередко захватывая и ночь. При таком положении дел наличие жилья по

месту работы было естественным.

Таким образом, с практической точки зрения выбор Зимнего сомнений не вызывал. Однако авторитету Керенского переезд нанес чувствительный удар. Его популярность и так падала, по мере того как гасли надежды на чудо. Сейчас же у недоброжелателей премьера появился новый повод для нападок. По стране поползли слухи, один нелепее другого. Говорили, что Керенский посватался к одной из царских дочерей, что он спит е кровати бывшей императрицы. Сам Керенский своим неосторожным поведением тоже давал пищу для сплетен. Как-то он пошутил, что его росчерк А. К. напоминает вензель "Александр IV". С тех пор в кругу врагов премьера никто не называл иначе как Александром IV.

Еще больше шуму наделала другая история. Дело происходило в июне 1917 года, когда Керенский только что был назначен военным министром. По этому случаю он задумал организовать в Павловске смотр местного гарнизона. Командующий округом генерал Половцев убедил его в том, что объезжать строй нужно непременно верхом. Керенскому привели огромного белого коня, на котором некогда ездил царь. В воспоминаниях Половцева эта картина описывается так: Керенский "взгромоздился в седло и, взяв в руки мундштучный повод с одной стороны и трензельный с другой, поехал по фронту, в то время как один конюх следовал пешком у головы лошади, по временам давая ей направление, а другой бежал сзади, вероятно с целью подобрать Керенского, если он свалится. Рожи казаков запасной сводно-гвардейской сотни не оставили во мне никаких сомнений относительно впечатления, произведенного объездом".[286]

На следующий день газеты поместили подробное описание церемонии, особенно смакуя то обстоятельство, что Керенский объезжал строй верхом на царском коне. Эта деталь запомнилась многим современникам. В поэме С. Есенина "Анна Снегина" она стала символом всей революционной эпохи:

> Свобода взметнулась неистово.
> И в розово-смрадном огне
> Тогда над страною калифствовал
> Керенский на белом коне.

В этом конкретном случае вины Керенского не было — Половцев сознательно спровоцировал его. Но слишком много было похожих эпизодов, для того чтобы все списывать на случайность. Уже став военным министром, Керенский начал

повсюду появляться исключительно в сопровождении двух адъютантов. Поручик Виннер и мичман Кованько должны были, соответственно, олицетворять армию и военно-морской флот.

Над Зимним дворцом, после того как там поселился Керенский, был поднят красный флаг, который опускался в дни, когда министр-председатель находился в отсутствии. Такой церемониал прежде был исключительно императорской прерогативой. В бытность министром юстиции и позже Керенский неоднократно бывал в Москве. Останавливался он при этом в "Метрополе" и никаких неудобств не испытывал. Приехав уже в качестве премьера на Государственное совещание, Керенский со свитой расположился в Большом Кремлевском дворце.

Передвигался Керенский исключительно в автомобилях из царского гаража, а для дальних поездок пользовался литерным императорским поездом. "Когда я вошел в вагон, — вспоминал Ф. А. Степун, — меня поразила его чистота, сановная комфортабельность широких диванов и кресел, сияние наполированных плоскостей и графическая четкость линий. Всё было совсем не похоже на хаос и грязь революционных учреждений. Я сразу же почувствовал себя в каком-то затонувшем гофмейстерском мире: было странно, что есть еще руки, которые не только голосуют за и против правительства, но и по старинке убирают для него вагоны".[287] Манеру путешествовать в царском вагоне можно было бы объяснить элементарным удобством: почему, собственно, глава государства должен ездить в теплушках? Но общественное мнение меньше всего нуждалось в объяснениях — каждая такая деталь обрастала множеством подробностей и в итоге наносила очередной удар по престижу премьера.

Приверженцы Керенского (таковые еще оставались, хотя число их быстро сокращалось) недоумевали: неужели он не понимает, что делает? Нам кажется, что объяснение такому поведению нужно искать в уже не раз отмеченном свойстве характера Керенского. В жизни он вел себя, как на сцене, и если уж приходилось играть короля, то для этого нужны были соответствующие декорации.

Но, конечно, окружающая обстановка меняла и самого Керенского. Июльские дни стали для него переломными. Раньше Керенского невозможно было застать в столице. Сейчас он практически не выезжал из Петрограда. Куда делся человек, переполненный энергией, не входивший, а врывавшийся, не знавший ни минуты покоя? Теперь он целые дни проводил, не выходя на улицу. Откуда-то у Керенского появилось свободное время, и он мог часами играть на царском бильярде или

беседовать с "бабушкой русской революции" о днях ее молодости.

Еще недавно Керенскому приходилось ежедневно бывать в Таврическом дворце. Теперь вожди Совета перед лицом большевистской угрозы вынуждены были умерить свои амбиции. Еще одной проблемой в недавние дни для Керенского был фронт. Сейчас он чувствовал, что на фронте его не ждут. В Ставке быстрыми темпами формировался новый центр власти. При таком положении дел новый политический кризис был неизбежен.

КЕРЕНСКИЙ И КОРНИЛОВ

Ко времени назначения генерала Корнилова Верховным главнокомандующим ситуация на фронте начала стабилизироваться. Германо-австрийские войска, испытывавшие острую нехватку резервов, остановили успешно развивавшееся наступление. Россия потеряла все свои завоевания в австрийской Галиции, но в создавшейся ситуации это можно было считать очень скромной платой. Временное затишье на фронтах позволило Корнилову более внимательно сосредоточиться на задуманной им программе оздоровления армии.

30 июля в Ставке состоялось совещание, на котором присутствовали министр путей сообщения П. П. Юренев, министр продовольствия А. В. Пешехонов и их помощники. Главное командование на совещании представляли Корнилов, его начальник штаба генерал А. С. Лукомский и некоторые другие старшие чины. В прозвучавших докладах была нарисована удручающая картина полного развала железнодорожного транспорта. Подводя итог обсуждению, Корнилов сказал, что России сейчас нужно иметь три армии — армию в окопах, армию в тылу, работающую на нужды фронта, и армию железнодорожную. Он заявил, что не касается вопросов о мерах оздоровления тыла, но, по его мнению, в тылу должна быть установлена такая же жесточайшая дисциплина, которую он стремится возродить на фронте.[288]

Эти положения легли в основу докладной записки Корнилова, представленной им Временному правительству. История ее появления выглядит следующим образом. Еще после июльского совещания с участием Керенского генерал-квартирмейстер Ставки Плющевский-Плющик по своей инициативе систематизировал и обобщил прозвучавшие на нем предложения. Сразу же по назначении Корнилова Верховным главнокомандующим Плющевский представил ему подготовленные материалы. Корнилов попросил оформить их в виде сводной записки. В итоговом варианте содержалось требование распространить законы военного времени на тыловые районы, ликвидировать большинство комитетов в армии. Предполагалось их сохранить лишь на уровне рот и батальонов, ограничив их ведение исключительно вопросами культурно-хозяйственными. Всё это было изложено в очень жесткой, почти ультимативной форме.

1 августа Плющевский подал записку Верховному главнокомандующему. Корнилов оставил текст почти

неизменным и в ночь на 3 августа взял ее с собой в Петроград. Накануне в разговоре по прямому проводу он сообщил Савинкову о своем намерении затронуть поставленные в записке вопросы в докладе правительству. Петроградских партнеров Корнилова это очень встревожило. Корнилов был нужен Савинкову для того, чтобы оказывать давление на Керенского, самостоятельные же его инициативы в эти планы не вписывались.

Рано утром на подъезде к столице, в Павловске, в поезд Корнилова сел Филоненко. Бывший комиссар 8-й армии теперь получил повышение и стал ближайшим помощником Савинкова в военном министерстве. Первым делом Филоненко ознакомился с текстом записки. Как он позже показал на следствии по "корниловскому делу", составлена записка была крайне неудачно, прежде всего потому, что порождала у читателя подозрение в намерении составителей вернуть страну к старым порядкам. Филоненко сказал об этом Корнилову и по его реакции понял, что тому это не понравилось. Довершил дело еще один неприятный эпизод. Уже в черте Петрограда поезд Корнилова столкнулся с вагонеткой, перевозившей шпалы. В результате этого на вокзал прибыли только незадолго до полудня, с опозданием почти на час.

Немедленно с вокзала Корнилов отправился на встречу с Керенским, а Филоненко, захватив с собой записку, поехал к Савинкову. Беседа Керенского с Корниловым началась в раздраженном тоне. Керенский сказал, что со времени назначения Корнилова главковерхом все его обращения к правительству звучат как настоящие ультиматумы. Корнилов ответил, что дело не в нем, а в обстановке, требующей немедленных и жестких мер. Далее, по словам Корнилова, Керенский поинтересовался, следует ли ему оставаться на посту главы государства. "Смысл моего ответа, — говорил Корнилов на следствии, — состоял в том, что, по моему мнению, влияние его в значительной степени понизилось, но тем не менее я полагаю, что он как признанный вождь демократических партий должен оставаться во главе Временного правительства и что другого положения я не представляю".[289]

Остановимся на этом более подробно. Удивляет уже сама тема разговора. С чего бы это Керенскому советоваться с Корниловым по поводу своей будущей судьбы? В интерпретации Керенского всё было по-другому. Он, наоборот, защищал свою позицию, и вопрос его звучал чисто риторически: "Ну, предположим, я уйду, что же из этого выйдет?"[290] В конечном счете не важно, как это обстояло на самом деле. Главное — как поняли друг друга собеседники. В понимании Керенского, он дал

знать, что никуда не уходит и уходить не собирается. Корнилов же воспринял эту мимолетную фразу как свидетельство того, что Керенский готов признать свою несостоятельность. Вся "корниловская история" густо замешана на таком, чисто человеческом, взаимном непонимании.

Поскольку заседание правительства было назначено лишь на четыре часа пополудни и свободного времени оставалось достаточно, Корнилов отправился в особняк военного министра на Мойку для разговора с Савинковым. Здесь уже давно находился Филоненко. Он успел познакомить Савинкова с запиской Корнилова и соответствующим образом его настроить. Савинков попросил Корнилова воздержаться до времени от оглашения записки, мотивируя это тем, что аналогичные меры уже готовятся в военном министерстве. Корнилов согласился и передал привезенный с собой текст Савинкову.

В итоге свой доклад правительству Корнилов ограничил чисто военными вопросами. Он охарактеризовал обстановку на фронтах, численность армий, состояние артиллерии, интендантского снабжения и т. п. Прогнозируя развитие событий в будущем, Корнилов сказал, что, по его мнению, следующий удар немцы нанесут в районе Риги. Присутствовавшие были напуганы и подавлены. Когда на улице раздался громкий звук лопнувшей автомобильной шины, все вздрогнули и инстинктивно обернулись на окна.[291]

С этим докладом связан эпизод, еще раз подтверждающий, что любая мелочь, случайно сказанное слово могут породить весьма серьезные события. Когда в выступлении Корнилова стали звучать конкретные цифры о количестве войск и вооружений на фронте, Савинков подал Керенскому записку: "Уверен ли министр-председатель, что сообщаемые генералом Корниловым государственные и союзные тайны не станут известны противнику в товарищеском порядке?"[292] Прочитав записку, Керенский наклонился к Корнилову и шепотом попросил его воздержаться от оглашения секретных сведений. И опять, как и раньше, каждый понял это по-своему. Керенский утверждал, что он просто не хотел затруднять внимание слушателей техническими деталями.[293] По его словам, он не придал никакого значения этому замечанию и не мог предполагать, чем это обернется в дальнейшем. Савинков же позднее объяснял свои опасения тем, что, по его сведениям, некоторые министры-социалисты находились в слишком тесном контакте с лицами, заподозренными в контактах с противником.

Для Корнилова это стало настоящим шоком. Выходило, что правительство, которому он подчинялся и готов был сохранять

верность, включает в себя прямых или косвенных агентов врага. Из разговора с Савинковым уже после заседания он понял, что тот имеет в виду министра земледелия эсера В. М. Чернова. Видимо, какие-то основания для подозрений у Савинкова были. Среди старых знакомых Чернова по эмиграции действительно был некий А. Е. Цивин, работавший на германскую разведку.[294] Но дело даже не в том, сколь много информации немцы получили благодаря этому источнику (скорее всего, очень немного). После того что произошло, Корнилов не мог доверять центральной власти. Можно сказать, что этот незначительный эпизод стал для него очередным шагом по пути к противостоянию правительству Керенского.

В ту же ночь Корнилов отбыл обратно в Могилев. Савинков, по-прежнему надеявшийся на успех начатой им игры, остался в Петрограде. Рассуждения о политической игре чаще всего подразумевают наличие неких низменных или, во всяком случае, корыстных целей. Савинков, безусловно, был человеком честолюбивым, но в данном случае его поведение объяснялось иным, нежели вульгарное стремление к власти.

Мы говорим об игре только потому, что методы, использовавшиеся Савинковым, очень напоминали классический набор интриг. Но он по-другому просто не умел, к интригам и многоходовым комбинациям его приучила долголетняя карьера подпольщика. Конечная неудача Савинкова стала еще одним подтверждением того, что негодные средства могут погубить самую благую цель.

В те дни Савинков почти ежедневно бывал в доме у супругов Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус (с которыми, кстати, был знаком и к которым захаживал и Керенский). Похоже, что ему нужно было выговориться, излить душу кому-то, кому он доверял. В дневниках Зинаиды Гиппиус зафиксированы подробные рассказы Савинкова, позволяющие выяснить суть задуманного им. Савинкова не меньше других волновали нараставшая в стране анархия и большевистская угроза. Выход из создавшегося положения он видел в соединении авторитета Керенского и Корнилова. Корнилов должен был обеспечить опору в войсках, стать залогом возрождения армии. Участие Керенского служило бы гарантией сохранения демократии и свободы. Свою задачу Савинков видел в том, чтобы обеспечить их сотрудничество. Комбинация "двух К" в этом случае превращалась в "ККС", и это, пожалуй, единственное, в чем проявилось честолюбие Савинкова.

Заставить двух столь разных людей протянуть друг другу руки было делом непростым. Савинков это понимал. "Корнилов — честный и прямой солдат… Он любит свободу, это я знаю

совершенно точно. Но Россия для него первое, свобода — второе. Как для Керенского свобода, революция — первое, Россия — второе". Савинков был готов и к тому, что Корнилов захочет пойти один. В этом случае он заранее заявлял, что останется с Керенским. "Я, конечно, не останусь с Корниловым. Я без Керенского в него не верю… Но я не верю, что и Керенский один спасет Россию и свободу; ничего он не спасет".[295] В этом было главное слабое место задуманного Савинковым плана. Прежде чем заставить Корнилова и Керенского доверять друг другу, он должен был сделать так, чтобы они доверяли ему самому.

Между тем Керенский все больше разочаровывался и в Корнилове, и в Савинкове. Это разочарование было совершенно неизбежным, так как Керенский (и мы уже об этом писали) абсолютно не умел выбирать сотрудников. От каждого из них он ждал, что тот будет "верным слугой" и не больше. Это срабатывало в отношении юных поклонников обоего пола. Когда же речь шла о людях с самостоятельными амбициями, все быстро заканчивалось испорченными отношениями.

Буквально на следующий день после отъезда Корнилова в "Известиях" Петроградского совета появились обширные отрывки из привезенной им записки. Савинков клялся в том, что из военного министерства такой утечки быть не могло. Оставалось предположить, что информация просочилась из канцелярии министра-председателя и, возможно, не без его ведома. Левая пресса мгновенно подняла шум по поводу попытки установления военной диктатуры. Имя Корнилова склоняли на все лады, прямо обвиняя его в "контрреволюции".

Семена раздора были посеяны. До этого Корнилов и не думал о возможном выступлении против правительства. Он должен был предполагать, что его программа может быть отвергнута Керенским, но единственным выходом в этом случае видел свою отставку. Сейчас у него появились и другие мысли. Мы думаем, что решающую роль в этом сыграл описанный выше инцидент, имевший место на заседании кабинета министров. Для Корнилова стало страшным открытием то, что даже в составе правительства могут быть вражеские агенты. В этом случае отставки было мало. Искренне верящий в то, что его миссия — спасти Россию, Корнилов был готов ради этого на всё.

Утром 7 августа он отдал распоряжение о выводе с Румынского фронта 3-го конного корпуса и Кавказской туземной дивизии. Последняя, больше известная как "Дикая дивизия", была сформирована из горцев Северного Кавказа, причем исключительно из добровольцев, так как коренное население этого региона было освобождено от воинской повинности.

Всадники-горцы пользовались репутацией свирепых и неустрашимых борцов, всецело преданных своим командирам.

Выведенные с Румынского фронта конные соединения предполагалось сосредоточить в районе Невель — Новосокольники — Великие Луки. Сама идея создания крупного кавалерийского резерва принадлежала еще Брусилову. Родилась она в дни июльского контрнаступления немцев, когда ряд полков и дивизий самовольно отошли в тыл, угрожая разложением всего фронта. Для подавления беспорядков нужна была конница, а ее не хватало, в то время как на южном фланге она была в избытке.

Тем не менее начальник штаба Ставки генерал А. С. Лукомский счел это распоряжение подозрительным. Со своими вопросами он пошел к Корнилову. Тот ответил, что хочет сосредоточить конницу в таком районе, откуда ее легко было бы в случае необходимости перевести либо на Северный, либо на Западный фронт. Лукомский заявил, что Западный фронт не вызывает опасений. Немецкое наступление ожидается в районе Риги, и потому было бы целесообразнее сосредоточить конницу в районе Пскова, то есть в тылу Северного фронта. Однако Корнилов остался при своем решении. Сомнения остались и у Лукомского.

Я, конечно, сейчас же отдам необходимые распоряжения, но у меня получается, Лавр Георгиевич, впечатление, что вы что-то недоговариваете. Выбранный вами район для сосредоточения конницы очень хорош на случай, если бы ее надо было бросить на Петроград или Москву; но, на мой взгляд, он менее удачен, если речь идет лишь об усилении Северного фронта. Если я не ошибаюсь и вы действительно что-то недоговариваете, то прошу — или отпустите меня на фронт, или полностью скажите мне ваши предположения. Начальник штаба может оставаться на своем месте лишь при полном доверии со стороны начальника.

Корнилов несколько секунд подумал и ответил:

— Вы правы. У меня есть некоторые соображения, относительно которых я с вами еще не говорил. Прошу вас тотчас же отдать распоряжение о перемещении конницы, и срочно вызовите сюда командира 3-го конного корпуса генерала Крымова. А мы с вами подробно переговорим после моего возвращения из Петрограда.[296]

В дальнейшем ситуация имела несколько вариантов развития. Перемещение конницы могло так и остаться техническим мероприятием, касающимся только дел на фронте. Однако при другом раскладе сил конный кулак мог стать серьезным аргументом в политическом противостоянии. Те, от кого зависело принятие решения, продолжали колебаться, но

достаточно было случайности, для того чтобы сложившееся равновесие рухнуло навсегда.

ДВЕ ЗАПИСКИ

Соглашение между Керенским и Корниловым было еще возможно, но отведенное на это время стремительно уходило. В Петрограде Филоненко по заданию Савинкова спешно перерабатывал записку Корнилова. В итоге она стала весьма существенно отличаться от первоначального варианта. В новом виде записка предполагала сохранение в армии солдатских комитетов, располагающих самыми широкими правами, вплоть до участия в назначении командного состава. В записке появились два новых раздела — о железнодорожном транспорте и о предприятиях, работающих на оборону. На них предполагалось распространить военные законы, со всеми вытекающими наказаниями за нарушение дисциплины. Вариант Фи-лоненко — Савинкова сохранял требование введения смертной казни в тылу, но в целом представлял собой вполне реальную почву для компромисса.

О готовящемся проекте Савинков несколько раз говорил с премьером. Керенский долго уклонялся от разговора, но когда Савинков стал настаивать, заявил, что ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах он записку не подпишет. Савинков ответил, что это вынуждает его подать в отставку, но тогда записку от своего имени правительству представит Корнилов. Это было 8 августа, а на следующий день Савинков по прямому проводу связался с Корниловым. Он попросил его немедленно приехать в Петроград, но Корнилов отказался, объясняя это усложнением обстановки на фронте. Савинкову пришлось долго уговаривать Корнилова, прежде чем тот согласился прибыть в столицу.

Нежелание Корнилова ехать в Петроград объяснялось не только оперативной ситуацией, действительно становившейся тревожной. Корнилов подозревал, что вызов в Петроград организован для того, чтобы вдали от армии сместить его с должности главнокомандующего. Доброжелатели напомнили ему историю с вагонеткой, с которой поезд главковерха столкнулся во время предыдущей поездки в столицу. Это было подано как попытка покушения, неудавшегося, а значит, вполне способного иметь продолжение. Со своей стороны, Керенский тоже не горел желанием встречаться с Корниловым. Вечером 9 августа в Могилев ушла телеграмма, в которой говорилось, что правительство не видит необходимости в присутствии в Петрограде Верховного главнокомандующего. Но телеграмма эта была получена в Ставке, когда поезд Корнилова уже отбыл в

столицу.

Корнилов прибыл в Петроград утром 10 августа. На этот раз его сопровождала усиленная охрана. С платформ были выгружены два легковых автомобиля и грузовик. Впереди на автомобиле ехали вооруженные текинцы, далее сам Корнилов, и замыкал кортеж грузовик, на котором были установлены готовые к бою пулеметы.

Сам факт того, что Корнилов взял с собой в столицу личный конвой, говорил о том, что он опасался за свою судьбу. Текинский конный полк был набран из туркмен Закаспийской области. Для Корнилова, никогда не забывавшего годы своей службы в Туркестане, текинцы были особенно близки. Он полагал, что всадники, многие из которых плохо понимали по-русски, уже этим застрахованы от влияния большевистской агитации. Сам он беседовал с ними по-туркменски, и текинцы действительно были безоговорочно преданы своему генералу, поскольку видели в нем почти земляка в этой чужой для них стране.

По приезде в Зимний дворец текинцы внесли пулеметы в вестибюль, и только после этого главковерх направился на встречу с премьером. Керенский принял Корнилова стоя. Он заявил, что не приглашал его в Петроград и незнаком с запиской, подготовленной Савинковым. Тем не менее, поскольку Корнилов уже приехал, было решено, что в шесть часов вечера состоится заседание правительства, на котором он доложит свои предложения о реорганизации армии.

Из Зимнего Корнилов отправился на Мойку для свидания с Савинковым. Здесь он впервые увидел переработанный вариант своей записки. Главковерх пригласил сопровождавшего его генерала Плющевского дать свой отзыв относительно новых рекомендаций. Напомним, что именно Плющевский был составителем первоначального варианта. Бегло ознакомившись с новым текстом, Плющевский заявил, что из записки исчезло самое главное — меры, способствующие повышению власти воинских начальников. Савинков больше молчал, а Филоненко начал взволнованно уговаривать Корнилова подписать новый вариант. В итоге Корнилов это сделал, но с видимой неохотой.

К шести вечера все присутствовавшие отправились в Зимний дворец. Однако здесь выяснилось, что заседание правительства отменено. Керенский согласился обсудить записку Корнилова в узком кругу. Помимо его самого, кабинет министров на этой встрече представляли ближайшие соратники премьера — министр иностранных дел М. И. Терещенко и министр финансов Н. В. Некрасов. Савинкова же по приказу Керенского просто не пустили в кабинет. Позднее Керенский оправдывал это тем, что

Савинков накануне заявил о своей отставке. Однако формально к тому времени Керенский ее еще не принял. Скорее пощечина самолюбию Савинкова была мелкой местью, свойственной Керенскому.

По просьбе Корнилова генерал Плющевский зачитал текст записки в варианте Савинкова — Филоненко. В ходе начавшегося обсуждения Керенский, против обыкновения, больше молчал. С критикой записки выступил прежде всего Некрасов. Как инженер-путеец, он крайне отрицательно расценил предлагавшиеся в записке меры по милитаризации железных дорог. По мнению Некрасова, это привело бы к окончательному развалу транспорта и серьезному социальному конфликту. Корнилов фактически с этим согласился. Ему сложно было что-то противопоставить аргументам Некрасова, поскольку он сам ознакомился с этим разделом записки за несколько часов до совещания.

На фоне той критики, которую вызвали мероприятия, предложенные в сфере промышленности и транспорта, меры, касавшиеся армии, были встречены министрами почти благожелательно. В итоге Корнилов согласился вернуться к первоначальному варианту записки. Оставив его Керенскому, он отбыл на вокзал. Однако здесь Корнилова дожидались Савинков и Филоненко. Они, особенно Филоненко, настаивали на том, чтобы Корнилов своим авторитетом поддержал второй, отвергнутый министрами вариант записки. Под их нажимом Корнилов сдался. У Филоненко предусмотрительно нашелся с собой конверт, и записка с вокзала была отправлена по адресу Керенского. Интересная деталь: Керенский потом утверждал, что конверта этого не получал. Между тем семь лет спустя второй вариант записки Корнилова был обнаружен в бумагах Временного правительства и опубликован в ленинградском журнале "Красная летопись". Имела ли место здесь действительно обычная путаница или же Керенский сознательно уклонился от вторичного обсуждения проекта, сказать сейчас трудно.

Керенский вел себя как избалованный ребенок. Он сознательно грубил Савинкову и Корнилову, словно провоцируя их на разрыв. Возможно, так оно и было. Не решаясь проявить инициативу, Керенский ждал, что кризис разрешится без его участия. Будь у него повод, он снова смог бы выступить с пламенной речью, обвинить тайных врагов в посягательстве на идеалы демократии. Но Корнилов не стал настаивать на немедленном осуществлении своей программы, а Савинков предпочел демонстративную отставку.

Утром 11 августа Савинков лично принес Керенскому официальное прошение об уходе с поста управляющего военным

министерством. Между ними состоялся тяжелый разговор. Савинков держался спокойно, Керенский же, напротив, устроил истерику.

— Вы — Ленин, только с другой стороны! Вы — террорист! Ну, что же, приходите, убивайте меня. Вы выходите из правительства, ну что же. Теперь вам открывается широкое поле независимой политической деятельности.

Савинков ответил, что он не собирается оставаться в политике, а предполагает записаться добровольцем в армию и уйти на фронт. Это еще больше возбудило Керенского. Он стал требовать у Савинкова ответа, где тот был вечером, когда Корнилов уехал из Зимнего дворца. Керенский упрекал Савинкова в неподчинении, потом неожиданно стал требовать ухода Филоненко, заявив, что он терпеть его не может.

У Керенского была привычка в минуты нервного возбуждения вертеть в руках какой-нибудь предмет. Сейчас он что-то чертил карандашом на прошении Савинкова. Это были буквы "К" и "С". Теребя и комкая бумагу, он заявил, что Савинков напрасно возлагает надежды на триумвират: есть "К", и оно останется, а другого "К" и "С" не будет.[297]

Известие об отставке Савинкова произвело неблагоприятное впечатление на тех, кто рассчитывал на ужесточение правительственного курса. Корнилов, получивший сведения об этом от Филоненко, еще из поезда отправил Керенскому телеграмму, в которой говорилось, что этот шаг крайне нежелателен. Не нашел поддержки Керенский и у других членов правительства. Надо сказать, что в ситуации с запиской Корнилова премьер повел себя как "самодержец от революции", фактически проигнорировав остальной состав кабинета министров. Большинство членов кабинета узнали о приезде Корнилова в Петроград случайно. Поспешив к Керенскому за разъяснениями, они получили ответ, что вечером состоится заседание правительства с участием главковерха. Но вызова во дворец всё не было, а на следующий день стало известно, что Корнилов уже покинул столицу.

Другие министры, прежде всего министры-кадеты, почувствовали себя обиженными. Утром 11 августа к Керенскому явился Ф. Ф. Кокошкин и потребовал немедленного созыва правительства для ознакомления с запиской Корнилова. В противном случае он угрожал, что четверо министров-кадетов подадут в отставку. Вечером кабинет собрался на заседание. Керенский огласил перед министрами первый вариант записки Корнилова и дал по этому поводу краткие объяснения. По поводу главной меры — введения смертной казни в тылу, Керенский

сказал, что он не возражает по существу, однако не считает нужным немедленной реализации этого положения. Он пообещал, что вернется к этому вопросу, но попросил не спешить, поскольку на следующий день в Москве должно было состояться Государственное совещание, на которое Керенский возлагал большие надежды.

Свою роль демарш министров-кадетов все же сыграл. У Керенского был навязчивый пункт — коалиционная власть. Несмотря на активное давление слева, он не решался пойти на разрыв с единственной крупной несоциалистической партией. Да и отбросить Савинкова в ряды своих врагов Керенский попросту боялся. В ночь на 12 августа премьер выехал в Москву. Уже после его отъезда Савинкову передали просьбу Керенского взять обратно прошение об отставке. Однако условием этого было выдвинуто увольнение Филоненко. Савинков категорически отказался, и вопрос был отложен до возвращения Керенского в Петроград.

В тот же день, 11 августа, Зинаида Гиппиус записала в своем дневнике: "Вот ведь зловредный корень всего: Керенский не верит Савинкову, Савинков не верит Керенскому, Керенский не верит Корнилову, но и Корнилов ему не верит".[298] Это было замечено точно. Второй визит в Петроград окончательно убедил Корнилова в том, что время разговоров прошло. Вернувшись, он с возмущением рассказывал Лукомскому о том, что поездка его была напрасна. По его словам, Керенский водит его за нос, не желая выполнять свои обещания.

Как видите — только затягивают время. По-видимому, господину Керенскому не хочется, чтобы я ехал на Московское государственное совещание, но я поеду и добьюсь, чтобы мои требования были наконец приняты.

Лукомскому не пришлось напоминать о разговоре, состоявшемся перед поездкой главковерха в Петроград, Корнилов сам вернулся к этой теме. Он сообщил, что по донесениям контрразведки в конце августа в столице ожидается новая попытка большевиков захватить власть.

Вы правы, конный корпус я передвигаю главным образом для того, чтобы к концу августа его подтянуть к Петрограду, и если выступление большевиков состоится, то расправлюсь с предателями родины, как следует.

Корнилов оговорился, что он не собирается выступать против Временного правительства и надеется в последнюю минуту договориться с Керенским. Но если это не удастся, он готов действовать самостоятельно.

Я лично ничего не ищу и не хочу. Я хочу только спасти

Россию и буду беспрекословно подчиняться Временному правительству, очищенному и укрепившемуся.

Корнилов еще не решался порвать с правительством. Отсюда и оправдание предполагаемой акции готовящимся выступлением большевиков. В этой ситуации главковерх представал бы не мятежником, но защитником правительства. В этом же контексте следует понимать и расчеты Корнилова на то, что он все-таки добьется понимания и взаимодействия с Керенским. Как Корнилов тяготил Керенского, так и Керенский раздражал Корнилова. Но и премьер, и главковерх оттягивали разрыв. Ни тот ни другой не были уверены в том, что в случае конфликта найдут поддержку, способную обеспечить победу. Надежда на выход из кризиса сохранялась, хотя с каждым днем становилась все более призрачной.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Идея организации совещания с участием не только социалистической, но и буржуазной (цензовой) общественности была выдвинута, как мы помним, Временным комитетом Думы во время переговоров о формировании нового правительства. Тогда Керенский с готовностью поддержал эту инициативу, рассчитывая найти у правых противовес деятелям из Совета. За прошедшие с того времени три недели ситуация изменилась. Правительство чувствовало себя значительно увереннее, но от ранее данного обещания решило не отказываться.

На заседании от 31 июля министры постановили "ввиду исключительности переживаемых событий и в целях единения государственной власти со всеми организованными силами страны" созвать в Москве совещание, на котором были бы представлены все главнейшие политические и общественные организации. Состав будущего совещания должен был стать предельно пестрым. На него были приглашены члены Государственной думы всех четырех созывов, представители земств и городских дум, научных организаций, кооперативов и профсоюзов. Своих делегатов на совещание должны были послать торгово-промышленные объединения, действующие армия и флот, ВЦИК Совета рабочих и солдатских депутатов и Исполком Совета крестьянских депутатов. Всего на совещании должно было присутствовать около двух с половиной тысяч человек.

Предполагалось, что Московское совещание не будет принимать каких-либо резолюций, а лишь выслушает мнения различных слоев общественности. Никакими властными полномочиями оно не обладало, и в этом смысле эффективность его была минимальной. Всё должно было вылиться в дорогостоящую и шумную церемонию. Не случайно совещание немедленно окрестили "коронацией" Керенского, памятуя, что и проходило оно в древней столице, где традиционно короновались русские цари.

Открытие совещания состоялось 12 августа в здании Большого театра. Неприятным сюрпризом для устроителей в этот день стала массовая забастовка рабочих крупнейших предприятий Москвы и транспортных служащих. С утра в городе не ходили трамваи, с улиц пропали извозчики, и делегатам, прибывшим по железной дороге, пришлось добираться до центра пешком. Здание театра было оцеплено тройным кольцом юнкеров. Это тоже было сигналом для внимательного наблюдателя — власть не нашла другой охраны, на которую

могла бы положиться.

Огромный театральный зал был забит до отказа. В царской ложе разместились иностранные дипломаты, бельэтаж и галерку занимала приглашенная публика. Даже на сцене за спиной президиума стояли ряды стульев, предназначенных для журналистов и почетных гостей. Делегаты совещания разместились в партере и первых двух ярусах лож. "Здесь были члены всех четырех Государственных дум: пушились усы и блестели из-под очков лисьи глазки Милюкова, сверкала лысина Пу-ришкевича, хмурились брови Гучкова, толстый, обрюзгший сидел старый барин — Родзянко. Были и представители Советов. Седенький маленький грузин Чхеидзе и рядом с ним высокая фигура Церетели".[299] Неизвестно, было ли так задумано с самого начала, но места слева от центрального прохода (если смотреть с председательского кресла) заняли представители Советов, справа — члены Государственной думы и делегаты от торгово-промышленных объединений.

В назначенный час на сцене появились Керенский и другие члены правительства. Премьер-министр занял председательское место. За его спиной навытяжку встали адъютанты, справа — молодой моряк в белоснежном кителе, слева — армейский офицер. В этой детали чувствуется присущая Керенскому тяга к внешним эффектам. Но на этот раз чувство меры ему изменило. В перерыве адъютантам Керенского была передана записка, в которой говорилось, что по уставу парные часовые возможны только у гроба главы кабинета. В результате всё последующее время они скромно просидели в уголке.

Вступительная речь министра-председателя растянулась на полтора часа. Знавшие Керенского обратили внимание на то, что он явно чувствовал какой-то дискомфорт. "Вместо обычной для него торопливости и некоторого захлебывания, он медленно выпускал фразу за фразой, отчего лицам, привыкшим его слушать, речь его кажется на этот раз искусственною и деланною".[300]

Речь Керенского было полна невнятных угроз, без указания конкретного адресата. Расшифровать это мог только тот, кто был посвящен в интриги новых обитателей Зимнего. Но намек на отсутствовавшего главковерха прозвучал достаточно ясно: "Всё будет поставлено на свое место, каждый будет знать свои права и обязанности, но будут знать свои обязанности не только командуемые, но командующие".[301] К этой теме оратор возвращался вновь и вновь: "И какие бы кто бы ультиматумы ни предъявлял, я сумею подчинить его воле верховной власти и мне, верховному главе ее". В этот раз местоимение "я" звучало у

Керенского особенно часто. Создавалось впечатление, что глава правительства потерял какую-либо опору и в одиночку противостоит натиску врагов.

Вслед за премьером выступали другие министры, но аудитория слушала их уже вполуха. Главное было сказано, а новые сенсации ожидались позже. На следующий день пленарного заседания не было, отдельные делегации порознь обсуждали заявления правительства. Внимание газетчиков и обывателей было в эти часы приковано к ожидавшемуся приезду Корнилова. Встреча Верховного главнокомандующего была обставлена с максимально возможным торжеством. На вокзальной платформе был выставлен почетный караул из юнкеров Александровского училища. Среди встречавших были заметные фигуры вроде бывшего председателя Государственной думы М. В. Родзянко. Стоит, однако, обратить внимание на то, что никого из членов правительства на вокзале не было.

Появление Корнилова в дверях вагона вызвало восторженные крики. Оркестр заиграл марш, дамы бросали под ноги генералу букеты цветов. Так еще совсем недавно встречали Керенского. Теперь у российского обывателя появилось новое воплощение надежд, новый герой. Прямо на перроне известный думский оратор, "кадетский златоуст" Ф. И. Родичев обратился к Корнилову с речью: "Вы теперь символ нашего единства. На вере в вас мы сходимся все, вся Москва. Мы верим, что во главе обновленной русской армии вы поведете Русь к торжеству над врагом и что клич — да здравствует генерал Корнилов — теперь клич надежды — сделается возгласом народного торжества. Спасите Россию, и благодарный народ увенчает вас".[302]

Какие-то офицеры подхватили Корнилова и на руках вынесли его на привокзальную площадь. Присутствовавшие здесь фотокорреспонденты поспешили запечатлеть эту сцену. Надо сказать, что выглядел в этот момент главковерх довольно нелепо: высоко вскинутые ноги и серьезное, даже сосредоточенное лицо. С вокзала Корнилов в сопровождении живописного эскорта текинцев в ярких малиновых халатах проехал к Иверской часовне. Здесь вновь повторились приветственные крики, речи и букеты. Впрочем, злые языки потихоньку шептали, что Корнилов ведет себя как прежние русские цари, тоже первым делом при посещении Москвы ехавшие к Иверской иконе.

Регламентом проведения Московского совещания заведовал министр почт и телеграфов А. М. Никитин. Сразу по приезде Корнилов направил к нему своего человека, с тем чтобы оговорить время выступления. Но Никитин ответил, что выступления членов правительства уже завершились и в

последний день работы совещания предполагается заслушивать исключительно представителей общественных организаций.

Никитин не удержался от ехидного замечания: "А от какой организации будет выступать генерал Корнилов?" Естественно, что эта колкость, немедленно сообщенная Корнилову, не улучшила его отношения к правительству.

Корнилов и Керенский демонстративно игнорировали друг друга. Керенский не поехал встречать Корнилова на вокзал, а предпочел в эти часы присутствовать на смотре войск московского гарнизона. В свою очередь, Корнилов тщательно уклонялся от встреч с премьером. На все телефонные звонки из канцелярии Керенского адъютанты Корнилова сообщали, что Верховный главнокомандующий подойти к аппарату не может.

Корнилов, а точнее, те люди из его окружения, кто отвечал за формирование "образа" главковерха, с успехом использовали приемы, ранее удававшиеся только Керенскому. Тому это должно было быть крайне неприятно. Раньше он чувствовал себя один на один с публикой. Теперь на сцене появился другой актер, играющий в такой же манере, и пока непонятно было, кто из них герой, а кто злодей. В каждой конкретной детали Корнилов противопоставлял себя Керенскому. Премьер приехал в Москву с огромной свитой и остановился в Большом Кремлевском дворце. Корнилов ночевал в том же вагоне, в котором приехал, а на публике появлялся в скромной походной форме. За Кремлевской стеной Керенский чувствовал себя как в тюрьме — им никто не интересовался, никто не выпрашивал аудиенции, не стоял под дверями. Зато к Корнилову выстроилась целая очередь. В его вагоне побывали генералы Алексеев и Каледин, приезжал банкир Путилов, надолго засиделся Милюков.

Как раз в то время, когда в вагоне Корнилова находился Милюков, главковерху доложили о том, что с поручением от Керенского приехал министр путей сообщения Юренев. Он сказал, что на следующий день Корнилову будет дано время для доклада, но от имени премьера попросил не касаться в выступлении политических вопросов. В 11 вечера Корнилову наконец лично позвонил Керенский. Он повторил, что правительство просит Верховного главнокомандующего ограничиться в своей речи проблемами, стоящими перед армией. Корнилов раздраженно ответил, что будет говорить то, что сочтет нужным. Взаимная неприязнь премьера и главковерха к этому времени уже определилась окончательно.

На следующий день заседание в Большом театре открылось с большим опозданием. В начале двенадцатого в ближайшей к сцене ложе бельэтажа слева появилась фигура Корнилова. Его

появление было встречено бурными овациями правого сектора партера. Левая сторона настороженно молчала. Буквально через минуту в ложе появился адъютант и что-то прошептал на ухо Корнилову, после чего тот поднялся и вышел. Вновь наступила долгая пауза. Позднее стало известно, что в это время Керенский опять уговаривал Корнилова не затрагивать в своем выступлении острых политических вопросов.

Наконец, уже ближе к полудню, в президиуме появились министры во главе с Керенским. Левая часть партера приветствовала появление премьера криками и продолжительными аплодисментами. На этот раз демонстративно молчала правая часть. Публика ожидала, что Корнилов выступит первым, но до него на трибуну выходили еще четверо ораторов. Только спустя два часа, когда сидевшие в зале уже начали уставать, Керенский предоставил слово Верховному главнокомандующему.

Когда Корнилов вышел на сцену, зал вновь взорвался аплодисментами. Делегаты поднялись с кресел, но большая группа солдат, занимавшая левый сектор, продолжала сидеть. Справа раздались возгласы: "Встать!", "Позор!". Один из делегатов совещания вспоминал: "Трудно передать охватившее нас негодование, доходившее почти до бешенства, при виде этих людей в солдатских гимнастерках, сидевших в нарочито небрежных позах, некоторые в фуражках и с папиросами в зубах. Ведь для нас Корнилов был только представителем армии, а для них — главнокомандующим, при появлении которого согласно воинской дисциплине они обязаны были встать. Их вызывающее поведение наглядно свидетельствовало о полном разложении армии, и видеть это было совершенно нестерпимо".[303]

Шум продолжал нарастать. Керенский звонил в председательский звонок, но его не было слышно. Наконец, воспользовавшись минутой сравнительной тишины, Керенский сказал: "Предлагаю собравшимся сохранять спокойствие и выслушать первого солдата с долженствующим ему почтением и уважением к правительству".

Понемногу публика успокоилась. Глуховатым, резким голосом, почти не отрываясь от бумаги, Корнилов произнес свою речь. Он приветствовал делегатов совещания от лица действующей армии и сразу определил тон выступления: "С глубокой скорбью я должен открыто заявить, что у меня нет уверенности, что русская армия без колебаний исполнит свой долг перед Родиной". Корнилов привел многочисленные примеры расправ солдат над офицерами, отказа их от выполнения приказов, бегства с боевых позиций. "Армия должна быть

восстановлена во что бы то ни стало, — продолжал он. — Для восстановления армии необходимо немедленное принятие мер, которые я доложил Временному правительству. Мой доклад представлен, и на этом докладе без всяких оговорок подписались управляющий военным министерством Савинков и комиссар при Верховном главнокомандующем Филоненко".

Далее Корнилов кратко изложил основные положения своей записки: восстановление дисциплины в армии, поднятие престижа офицерства и улучшение его материального положения, наведение порядка в тылу. "Я верю в светлое будущее нашей Родины, я верю, что боеспособность армии, ее былая слава будут восстановлены. Но я заявляю, что времени терять нельзя ни одной минуты. Нужны решимость и твердое непреклонное проведение намеченных мер".[304]

Собравшиеся в зале вновь проводили Корнилова аплодисментами. Однако его выступление вызвало у публики скорее разочарование. Разговоры о развале страны и армии стали к этому времени привычными и, как всё привычное, перестали вызывать страх и будоражить эмоции. От Корнилова ждали другого — критики правительства и лично Керенского. Но Корнилов, выполняя обещания, которые он дал премьеру, не сказал в адрес правительства ни одного резкого слова.

Казалось, сенсации не будет. Но неожиданно вопросы, поднятые Корниловым, продолжил в своем выступлении донской атаман генерал А. М. Каледин. Совсем недавно он командовал одной из армий Юго-Западного фронта, и проблемы армии были ему непосредственно близки. Каледин потребовал упразднить Советы и комитеты, дополнить декларацию прав солдата декларацией его обязанностей, восстановить дисциплину и власть начальствующих лиц. "В грозный час испытаний на фронте и внутреннего развала страну может спасти от окончательной гибели только действительно твердая власть, находящаяся в опытных, умелых руках лиц, не связанных узкопартийными программами, свободных от необходимости после каждого шага оглядываться на всевозможные комитеты и Советы".[305]

Речь Каледина вызвала в зале настоящую бурю. Правая сторона партера стоя аплодировала, слева раздавались возмущенные крики. Керенский, взяв слово в качестве председателя, заявил, что правительство созывало совещание вовсе не для того, чтобы кто-то обращался к нему с требованиями. С большим трудом ему удалось навести порядок и предоставить слово следующему оратору. В тот день выступало еще много людей. Самой запомнившейся сценой последующих часов стало рукопожатие, которым публично обменялись

представитель Союза торговцев и предпринимателей А. А. Бубликов и "ми-нистр-социалист" И. Г. Церетели.

Наконец, список заявленных ораторов был исчерпан. Время подходило к полуночи. На трибуну вновь поднялся Керенский, для того чтобы, как он сказал, "минут на десять" подвести итоги совещания. Но короткое резюме вылилось в длинную и крайне эмоциональную речь. Поблагодарив всех выступавших за высказанное мнение, Керенский заявил, что правительство не будет поддаваться давлению, откуда бы, справа или слева, оно ни исходило. Чем дольше он говорил, тем больше заводил самого себя. Присутствовавшие в зале представители американской миссии Красного Креста, не понимавшие ни слова по-русски, потом говорили, что на них Керенский произвел впечатление человека, находившегося под влиянием наркотиков, которые кончились раньше, чем он закончил речь.[306]

Керенский почти кричал в зал: "Пусть будет то, что будет. Пусть сердце станет каменным, пусть замрут все струны веры в человека, пусть засохнут все цветы и грезы о человеке, над которыми сегодня с этой кафедры говорили презрительно и их топтали. Так сам затопчу!.. Я брошу далеко ключи от сердца, любящего людей, и буду думать только о государстве". В этом месте с галерки раздался испуганный женский голос: "Не надо!" — что несколько испортило впечатление. Речь Керенского становилась все более бессвязной. Публика с нарастающим изумлением слушала оратора, а тот говорил, говорил и никак не мог остановиться. Наконец Керенский закончил и, обессилев, не сел, а упал в председательское кресло. На часах было половина второго ночи.

Государственное совещание было задумано Керенским, с тем чтобы обеспечить правительству поддержку страны. Результат его стал прямо противоположным. И правые, и левые критики правительства увидели в "московском позорище" доказательство слабости власти. Во многом причиной этого стало поведение самого Керенского, а особенно его заключительная речь. Патриарх российских марксистов Г. В. Плеханов, присутствовавший на совещании в качестве почетного гостя, говорил, что Керенский — "это девица, которая в первую брачную ночь так боится лишиться невинности, что истерически кричит: мама, не уходи, я боюсь с ним остаться!".[307]

Такое впечатление было не вполне верным. И правительство, и сам Керенский (а правительство давно уже персонифицировалось с ним лично) еще сохраняли определенный кредит доверия. Те, кто полагал, что Керенский — это отыгранная карта, выдавали желаемое за действительное. Это был

самообман, но самообман, в значительной мере ускоривший и без того нараставший кризис.

"ЗАГОВОР МАРГАРИТЫ"

23 августа 1917 года крупнейшие газеты России опубликовали сенсационное известие — раскрыт монархический заговор. Накануне по распоряжению Керенского были арестованы великий князь Михаил Александрович и его супруга графиня Брасова, дядя последнего царя великий князь Павел Александрович, его морганатическая жена графиня Палей и сын от этого брака Владимир Палей. В Гатчине был взят под арест двоюродный брат Николая II великий князь Дмитрий Павлович. По сообщениям газет, заговор был тщательно подготовлен, в его орбиту были вовлечены десятки известных лиц, заговорщики имели сеть отделений в провинции. В Петрограде, Москве, Киеве, Пятигорске были проведены многочисленные аресты. Вся Россия возбужденно обсуждала детали происшедшего. Однако не прошло и недели, как, к конфузу бдительных защитников революции, вся история с заговором лопнула как мыльный пузырь.

Надо сказать, что кошмарный призрак монархической реставрации с момента победы революции регулярно являлся победителям. Заговорщики-монархисты стали излюбленным пугалом в устах левой прессы. Дежурным обвинением в адрес правительства со стороны социалистов было нежелание бороться с монархической угрозой. Со своей стороны, правительство было вынуждено проглатывать эти упреки, поскольку реальных инструментов для такой борьбы не имело.

Революция уничтожила учреждения политического сыска, но через некоторое время новая власть обзавелась собственной жандармерией, стыдливо скрывавшейся под именем контрразведки. Формировалась она из случайных людей, нередко абсолютно некомпетентных в порученной им области. Одним из таких был глава контрразведки Петроградского военного округа Н. Д. Миронов, назначенный на этот пост в конце июля после отставки прежнего начальника, известного нам капитана Никитина. Миронов имел степень доктора философии и еще за полгода до описываемых событий читал лекции по санскриту в Петербургском университете. Своим назначением он был обязан давнему знакомству с Керенским. Если читатель не забыл, то это тот самый Миронов, который вместе с Керенским играл в подполье в дни первой революции.

Керенский с иронией называл Миронова "наш Фуше". Но Миронов не мог похвастаться способностями знаменитого француза, хотя усердия у него было хоть отбавляй. В результате возникло сразу несколько дел о монархическом заговоре, на

поверку оказавшихся чистой воды выдумкой. Первым стало дело генерала В. И. Гурко. Бывший главнокомандующий Западным фронтом был арестован 21 июля 1917 года на основании распоряжения, подписанного лично Керенским. Причиной ареста стало письмо, которое Гурко адресовал бывшему императору, где содержались резкие слова в адрес революции и ее вождей. Одна проблема — письмо было написано еще 2 марта, то есть до официального образования Временного правительства. Тем не менее Гурко был препровожден в Петропавловскую крепость и помещен в камеру по соседству с бывшими царскими министрами.

В двадцатых числах августа стало известно, что по решению Временного правительства ряд ранее арестованных монархистов должны быть высланы за границу. В их числе оказались генерал Гурко, Вырубова, знаменитый доктор Бадмаев, некогда вращавшийся в окружении Распутина, и некоторые другие. Генерал Гурко был отправлен через Архангельск и благополучно прибыл в Англию. Другим же повезло гораздо меньше. Их предполагалось переправить через Финляндию и Швецию. Уже дорога до Гельсингфорса превратилась в настоящий кошмар. На каждой станции вагон окружали толпы солдат, которые требовали выдать "царских приспешников". В Гельсингфорсе местный Совет распорядился вновь арестовать недавних узников Петропавловки. Два месяца они пробыли под стражей и только накануне большевистского переворота сумели вернуться в Петроград.

Между арестом и высылкой генерала Гурко произошло еще одно событие первостепенной важности. В ночь на 1 августа в обстановке строжайшей тайны Николай II, его семья и сопровождавшие их слуги и близкие лица были вывезены из Царского Села в Тобольск. В газеты сообщение об этом было передано только тогда, когда Романовы уже достигли цели своего путешествия. Всё это диктовалось опасениями, что монархисты могут по дороге предпринять попытку освободить бывшего царя.

В своих воспоминаниях Керенский объясняет решение о высылке царской семьи стремлением обеспечить ее безопасность. Но это больше похоже на попытку оправдаться задним числом. Главным же мотивом, судя по всему, был страх перед мифическими заговорщиками. Наличие такового страха подтверждают многие мелкие детали. Вплоть до последней минуты пункт конечного назначения оставался неизвестен не только высылаемым, но и сопровождавшей их охране. Отправку царской семьи на месте контролировал лично Керенский.

Николай II попросил разрешения повидаться перед отъездом

с братом Михаилом. Керенский с неохотой согласился, и то лишь при условии, что он будет присутствовать при встрече. Свидание продолжалось не более десяти минут. Братья успели обменяться несколькими ничего не значащими фразами, а Керенский уже торопил, говоря, что время не ждет. Перед уходом Михаил попросил разрешить ему увидеть племянников, но Керенский ответил категорическим отказом. По словам очевидцев, Керенский находился в состоянии крайнего возбуждения. Он кричал на дворцовых слуг, потом зачем-то отправился в казармы караульной команды, среди ночи поднял солдат на ноги и произнес перед ними зажигательную речь о защите завоеваний революции.

Керенский был готов поверить в монархический заговор и, когда получил соответствующую информацию, среагировал немедленно. Роль невольного провокатора в этом случае сыграл его старый знакомый Миронов. Немногие профессионалы, остававшиеся в контрразведке после ухода Никитина, относились к новому начальнику с немалой иронией. Миронову важно было доказать, что он тоже на что-то способен, поэтому он с жадностью ухватился за первую же непроверенную информацию. В поле зрения контрразведки попала группа из четырех молодых людей, во главе которой стоял некий вольноопределяющийся Скакун. Они организовали сбор пожертвований на восстановление монархии и с этой целью выпустили воззвание, которое тайно распространялось в кругах сторонников прежнего режима. Миронову сообщили, что уже собрано 3 миллиона рублей. Тайная монархическая организация якобы имела свои отделения по всей стране и была готова освободить царя из-под ареста.

Миронов не стал проверять достоверность полученных сведений, а немедленно сообщил их Керенскому. Дело происходило в дни Государственного совещания, и потому Керенский поручил расследование прокурору Московской палаты А. Ф. Стаалю. В помощь ему из Петрограда был командирован следователь Александров, тот самый, который вел дело о связях Ленина с германской разведкой. Миронова Керенский благоразумно от дела отстранил, и тот с чистой совестью мог позднее оправдываться, что ко всей этой позорной истории он прямого касательства не имел. Все было организовано в строгой тайне, о происшедшем не был поставлен в известность даже министр юстиции Зарудный, а Стааль через его голову докладывал о своих шагах непосредственно премьеру.

В числе прочего, нити заговора привели следствие в крохотный городок Елатьма, неподалеку от которого в своем имении жила вдова свитского генерала Л. В. Хитрово. Один из ее

знакомых увидел у нее воззвание с призывом жертвовать на восстановление монархии и немедленно донес об этом кому следовало. В имение Хитрово нагрянули с обыском представители уездного комиссара. Среди прочих бумаг они обнаружили письма, о которых немедленно сообщили в Москву. Дело в том, что дочь хозяйки имения Маргарита Хитрово была фрейлиной императрицы, причем из числа наиболее приближенных.

Маргариту Хитрово в царской семье называли просто Ритой. Было ей 22 года, но характер она имела не по летам решительный. Молодость и преданность царской семье толкнули ее на авантюрный поступок. Дочь придворного врача доктора Боткина Татьяна Мельник вспоминала, как через несколько дней после высылки царской семьи к ней пришла Маргарита Хитрово и объявила, что едет в Тобольск: "Я еду завтра, у меня уже билет есть, а чтобы не возбуждать подозрения, я еду как будто на поклонение мощам Иоанна Тобольского. Туда много ездят, отчего же я не могу поехать на богомолье? А вы мне дайте письмо, если хотите".[308]

Письма и пакеты, адресованные царской семье и ее домочадцам, новоявленная подпольщица спрятала под одеждой. В восторге от своей изобретательности она с дороги стала посылать родственникам открытки многозначительного содержания: "Я теперь похудела, так как переложила все в подушку". Или: "Население относится отлично, всё подготовляется с успехом" и т. д.[309]

Именно эти открытки и обнаружили при обыске в доме матери Риты. Вывод мог быть только один — налицо зашифрованные сообщения, а значит, заговор действительно существует. После этого в Тобольск была послана телеграмма за подписью Керенского: "Предписываю установить строгий надзор за всеми приезжающими на пароходе в Тобольск… Исключительное внимание обратите на приезд Маргариты Сергеевны Хитрово, молодой светской девушки, которую немедленно арестовать на пароходе, обыскать, отобрать все письма, паспорты и печатные произведения, все вещи, деньги, обратите внимание на подушки".[310]

Между тем ничего не подозревавшая путешественница 18 августа прибыла в Тобольск. Прямо с пристани она направилась в дом, где жили чины царской свиты. Здесь Маргарита встретила графиню Гендрикову. Свидание было радостным — тобольские узники впервые принимали гостя с воли. Но не прошло и часа, как на квартире графини Гендриковой появился комендант полковник Кобылинский и объявил, что вынужден арестовать

Хитрово. Привезенные ею письма были отобраны, а тех, у кого она успела побывать, допросили и обыскали.

Прокурор Тобольского окружного суда Корякин отправил Керенскому телеграмму: "Доношу, что 18 текущего августа в 8 часов утра, получив и лично расшифровав телеграмму, я установил наблюдение за всеми приезжающими и уезжающими из Тобольска лицами… По прибытии Хитрово я опросил ее. После опроса был произведен личный обыск у Хитрово, она была арестована, а затем передана 19 августа Тобольскому губернскому комиссару для доставки ее под надежной охраной в Москву, в распоряжение прокурора Московской Судебной палаты… Все лица, на которых имелись указания, опрошены и обысканы, но обыски и опросы положительных результатов не дали и лишь подтвердили, что Хитрово, до обожания преданная семье бывшего императора, приезжала в Тобольск узнать и, если возможно, увидеть издали бывшую царскую семью".

По инициативе прокурора Стааля было возбуждено "Дело по обвинению Маргариты Хитрово и других по статье 101 Уголовного уложения". В газетах было объявлено о блестящем успехе контрразведки. Однако не прошло и нескольких дней, как дело стало рассыпаться на глазах. Выяснилось, что Скакун и его сообщники были аферистами, преследовавшими исключительно корыстные цели. Им удалось собрать не 3 миллиона, а всего полторы тысячи рублей, которые они благополучно прокутили в ресторанах. Обвинение было переквалифицировано по статьям о мошенничестве. Что касается дела о "заговоре Маргариты", то оно лопнуло как мыльный пузырь, к большому смущению его инициаторов.

В середине сентября следствие было официально закрыто и Маргарита Хитрово отпущена на свободу. Незадолго до этого из-под домашнего ареста были освобождены великие князья. К этому времени и власть, и широкая общественность успели забыть о монархистах. За несколько прошедших недель положение в стране изменилось коренным образом. В новой ситуации Керенскому пришлось считаться уже не с опереточными "заговорщиками", а с вполне реальной и серьезной силой.

КОРНИЛОВ И САВИНКОВ

После окончания Государственного совещания Керенский на день задержался в Москве. В Петроград он вернулся утром 17 августа и почти сразу вызвал к себе Савинкова. Все предыдущие дни положение Савинкова оставалось двусмысленным. С одной стороны, премьер принял его отставку, с другой — решение об этом хранилось в секрете даже от других членов кабинета.

По словам Савинкова, Керенский во время этой встречи был необычно спокоен и даже вял. Он сказал, что Московское совещание убедило его в том, что у правительства нет надежной опоры. Керенский обвинил Савинкова в том, что благодаря его стараниям Корнилов обрел силу и теперь шантажирует власть. В этой ситуации Савинков не может уйти из правительства и обязан исправить последствия своих ошибок. В ответ Савинков сказал, что он готов продолжать работу, но требует полного доверия не только к себе, но и к своим помощникам. Речь шла о Филоненко, и Керенский это прекрасно понимал. Он заявил, что вынужден оставить Филоненко, но тоном дал понять, что делает это вопреки своему желанию.

В завершение разговора Савинков напомнил Керенскому, насколько оскорбительны для него были обстоятельства его отставки. Керенский отрешенно улыбнулся: "Да, я забыл. Я, кажется, все забыл. Я… больной человек. Нет, не то. Я умер, меня уже нет. На этом совещании я умер. Я уже никого не могу оскорбить, и никто меня не может оскорбить…"[311] Эти слова настолько поразили Савинкова, что вечером того же дня он дословно пересказал их Зинаиде Гиппиус. Савинкову показалось, что Керенский окончательно потерял волю. Это было ошибкой, просто очередной прилив нервной энергии сменился у Керенского столь же неизбежным спадом. Такие перепады вводили в заблуждение самых разных людей, обманули они и Савинкова.

В тот же день в четыре часа пополудни состоялось заседание правительства. На нем министр юстиции А. С. Зарудный доложил о страшной трагедии, случившейся в Казани. 15 августа здесь произошел пожар на пороховом заводе. Огонь перекинулся на расположенные по соседству военные склады. В результате было уничтожено до двенадцати тысяч пулеметов и около миллиона снарядов. Взрывом были уничтожены строения в радиусе нескольких километров, имелись и многочисленные человеческие жертвы. В ходе начавшегося следствия была выдвинута версия о том, что происшедшее стало результатом деятельности вражеских

диверсантов. На эту мысль наводила странная цепь совпадений: за несколько дней до того пожаром были уничтожены склады снарядов в Петрограде, днем позже сгорел петроградский завод "Вестингауз", тоже работавший на оборону, 18 августа пожар случился на Прохо-ровской мануфактуре в Москве.[312]

Савинкову как управляющему военным министерством было поручено разобраться в этом вопросе. Тогда же Савинков огласил новую телеграмму Корнилова, в которой содержалась настоятельная просьба ускорить проведение в жизнь мероприятий, изложенных им в ранее представленной записке. На этот раз никаких возражений со стороны Керенского не последовало. Он вообще больше молчал, что для него было нетипично. В эти дни Керенский чуть ли не впервые со времени революции приехал на квартиру Мережковских. Хозяев не было, и премьера встретил их старый друг (и, можно сказать, член семьи) Д. В. Философов. По его словам, Керенского трудно было узнать. "Впечатление морфиномана, который может понимать, оживляться только после впрыскивания. Нет даже уверенности, что слышал, запомнил наш разговор".[313] Керенскому, несомненно, было трудно. Рядом с ним не оказалось ни друзей, ни единомышленников. В такой ситуации он предоставил событиям возможность идти естественным путем.

Между тем положение на фронте вновь осложнилось. 19 августа 1917 года немцы начали наступление в районе Риги. В этот день в Петрограде была получена новая телеграмма из Ставки. В ней Корнилов сообщал о поступивших к нему сведениях о готовящемся немецком десанте на островах Моонзундского архипелага и побережье Финляндии. В этой связи он выдвигал план объединения сил Северного фронта, Балтийского флота, столичного гарнизона и частей, расквартированных в Финляндии, в Особую армию с подчинением ее непосредственно верховному командованию.

Ознакомившись с телеграммой, Керенский вновь вызвал Савинкова. Он предложил ему немедленно выехать в Ставку для переговоров с Корниловым. Премьер выражал согласие принять предложения Верховного главнокомандующего, но оговорил, что сам Петроград должен быть выделен из состава планируемой объединенной единицы. Керенский мотивировал это политическими причинами, но соглашался объявить столицу на военном положении. Для того чтобы иметь реальную возможность осуществить это, Керенский просил направить в Петроград конный корпус. Одновременно в качестве секретной задачи Савинкову было поручено постараться ликвидировать Союз офицеров и политический отдел при Ставке.

О своем намерении выехать в Могилев Савинков в тот же день в разговоре по прямому проводу предупредил Филонен-ко. Одновременно он оповестил об этом телеграммой Корнилова, но тот попросил его отсрочить поездку, поскольку он в это время был занят немецким прорывом под Ригой. Савинков перенес дату своего визита на 23 августа, приурочив ее к созываемому в Ставке совещанию представителей армейских комитетов, фронтовых и армейских комиссаров.

В назначенный день Савинков в сопровождении полковника Барановского приехал в Могилев и прямо с вокзала направился к Корнилову. Первая их встреча происходила наедине. Тем не менее нам известно, о чем шла речь, поскольку Савинков сразу после ее окончания дословно записал весь разговор. Обратим внимание на эту деталь. Савинков и Корнилов не доверяли друг другу. Они никогда не были в полном смысле этого слова единомышленниками, но до определенного времени цели их совпадали. Сейчас и тот и другой предчувствовали возможный разрыв и старались заранее обзавестись доказательствами на случай взаимных обвинений.

Разговор был недолгим и принципиальных разногласий не выявил. Против выделения столицы из состава Петроградского военного округа Корнилов не возражал, но детали было решено отложить до вечерней встречи. Главковерх и управляющий военным министерством обменялись мнениями о политическом положении. Корнилов был откровенен: "Я должен вам сказать, что Керенскому и Временному правительству я больше не верю. Во Временном правительстве состояли членами такие люди, как Чернов, и такие министры, как Авксентьев. Стать на путь твердой власти — единственный спасительный для страны — Временное правительство не в силах. За каждый шаг на этом пути приходится расплачиваться частью отечественной территории. Это — позор. Что касается Керенского, то он не только слаб и нерешителен, но и неискренен. Меня он незаслуженно оскорбил на Московском совещании…"

В ответ Савинков сказал, что в государственных делах не может быть места личным обидам. Он подчеркнул, что не собирается строить комбинаций за спиной Керенского, хотя согласен с тем, что тот слаб и подвержен колебаниям. По мнению Савинкова, любое правительство без Керенского было немыслимо. Корнилов согласился: "Вы, конечно, правы: без возглавления Керенским правительство немыслимо, но Керенский нерешителен. Он колеблется, он обещает, но не исполняет обещаний". Савинков заверил Корнилова, что сделает все, чтобы Керенский уже в ближайшее время подписал закон о

мерах по оздоровлению фронта и тыла. "Я вам верю, — сказал Корнилов, — но я не верю в твердость Керенского". На этом беседа и завершилась.[314]

Слова Корнилова и тон, каким они были произнесены, вызвали у Савинкова беспокойство. На вечернюю встречу он захватил с собой Филоненко. С Корниловым на этот раз был генерал Лукомский. Главной темой разговора стало выделение Петрограда в особую военно-административную единицу. Корнилов и Лукомский выражали сомнения в целесообразности этого, но Савинков сумел убедить их в том, что вопрос не столь принципиален. Керенскому важно, говорил он, чтобы его уступки не выглядели капитуляцией. Именно так это будет выглядеть, если Петроград будет впрямую подчинен верховному командованию. Правительство не возражает против того, чтобы в случае необходимости город был объявлен на военном положении.

По словам Лукомского, Савинков был убежден, что применение чрезвычайных мер станет делом ближайшего будущего. Он полагал, что объявление столицы на военном положении есть единственное средство предотвратить ожидаемое выступление большевиков, слухи о котором ходили в столице уже с начала августа. "Я надеюсь, Лавр Георгиевич, что назначенный вами начальник отряда сумеет решительно и беспощадно расправиться с большевиками и с Советом рабочих и солдатских депутатов, если последний поддержит большевиков".[315] В этой связи Савинков передал просьбу Керенского отправить в Петроград 3-й конный корпус, но попросил не ставить во главе его генерала Крымова.

Генерал А. М. Крымов пользовался репутацией ярого противника "революционной демократии", и одно его имя могло вызвать раздражение в левых кругах. Кроме того, Савинков попросил по возможности не включать в состав предполагаемой экспедиции Кавказскую туземную дивизию. О всадниках-горцах ходил распространенный анекдот: "Мы не знаем, что такое старый рэжим, новый рэжим, мы просто рэжем".

После того как общая договоренность была достигнута, в кабинет были приглашены генерал-квартирмейстер И. П. Романовский и приехавший с Савинковым полковник Барановский. В их присутствии на карте были определены границы будущего размежевания. Романовский возразил против выделения Петрограда, так как, по его мнению, Временное правительство не сумеет самостоятельно навести порядок в городе. Неожиданно его поддержал полковник Барановский, заявивший, что выделение петроградского железнодорожного

узла не позволит поддерживать необходимую связь с финляндской группой войск. В устах Барановского эти слова прозвучали очень неожиданно, и их запомнили все присутствовавшие. Это подтверждает сам факт того, что они были произнесены, хотя Барановский позднее всячески от них открещивался. Корнилов снова начал было колебаться, но Савинков прервал обсуждение, сказав, что вопрос уже решен.

На следующий день с утра в Могилеве открылось совещание представителей армейских комитетов, армейских и фронтовых комиссаров. Делегаты обсуждали проект положения о новом статусе комитетов и комиссаров. В основу его была положена записка Савинкова—Филоненко, подготовленная к 10 августа. Напомним, что содержание ее существенно ограничивало функции армейских комитетов, сводя их почти исключительно к хозяйственной и культурной деятельности. В свое время возражения Корнилова вызвано право комиссаров вмешиваться в назначение старших начальников. Накануне совещания Савинкову удалось уговорить Корнилова не спешить с публичными заявлениями по этому поводу. Но сейчас Корнилов и слышать ничего не хотел. Его короткая речь так и дышала неприязнью. Начал он с необходимости объединения всех сил перед вражеской угрозой, но внезапно сорвался. Указав на лежавший на столе президиума проект, Корнилов сказал, что "этого" он никогда не утвердит.

Главковерх покинул зал, едва ли не хлопнув дверью. Он спешил на новую встречу с Савинковым, в ближайшие часы покидавшим Могилев. Они вновь коротко обговорили обсуждавшиеся накануне вопросы. Прощаясь, Савинков спросил: "Каково ваше отношение к Временному правительству?" — Корнилов ответил: "Я прочел законопроект о военно-революционных судах в тылу. Передайте Александру Федоровичу, что я буду его всемерно поддерживать, ибо это нужно для блага отечества".[316] Расставались Савинков и Корнилов подчеркнуто благожелательно. Главковерх лично проводил Савинкова до поезда и дождался его отправления. Но на деле ни Савинков, ни Корнилов уже не верили друг другу.

Сразу после отъезда Савинкова Корнилов пригласил к себе своих ближайших помощников. Он передал им свой разговор с Савинковым и сказал, что теперь все намеченное согласовано с Временным правительством и потому никаких трений быть не должно. Но Лукомского это не убедило. По его мнению, все шло даже слишком хорошо. "Все, сказанное Савинковым, настолько согласуется с нашими предложениями, что получается впечатление, как будто Савинков или присутствовал при наших

разговорах или… очень хорошо о них осведомлен".[317] Лукомский добавил, что его беспокоит требование Савинкова не ставить во главе направляемых в Петроград войск генерала Крымова.

Корнилов возразил, что нельзя быть столь мнительным. Савинков, как умный человек, понимает обстановку и потому пришел к тем же выводам. Что касается Крымова, то он известен своей решительностью, и Савинков боится, что тот повесит "лишние 20–30 человек". Впоследствии Савинков будет только доволен, что командовать войсками поставлен именно Крымов. Лукомского это мало успокоило, и он попросил дословно запротоколировать все, сказанное Савинковым в присутствии Романовского. Протокол тут же был составлен и подписан. Вспомним, Савинков также дословно записал содержание своих разговоров с Корниловым. Больших доказательств взаимного недоверия не требовалось.

Большая игра, задуманная Савинковым, выходила из-под его контроля. Обе ключевые фигуры — Корнилов и Керенский — не желали играть по навязанным им правилам. Керенский понимал это яснее, но, чувствуя свою слабость, мог ответить только одним — всячески затягивая и откладывая окончательное решение. У Корнилова антипатия к Керенскому росла с каждым днем. Но он был оторван от столицы и каких-то серьезных информаторов в Зимнем дворце не имел. Поэтому он верил или должен был верить в то, что Керенский пойдет по намеченному пути до конца. Но в глубине души Корнилов уже думал о большем.

На следующий день после отъезда Савинкова у Корнилова состоялся разговор с Филоненко. Главковерх проявил максимум дружелюбия: он принял комиссара по первой его просьбе и немедленно согласился с тем, что его поведение на вчерашнем совещании было ошибкой. Затем, однако, Корнилов спросил Филоненко: не думает ли тот, что единственным выходом для России сейчас является военная диктатура? Филоненко ответил, что это привело бы к еще более худшей анархии. "Будем откровенны, — продолжил он, — диктатором сейчас можете быть только вы, Лавр Георгиевич. Но при всех ваших неоспоримых достоинствах у вас ограничены знания в вопросах невоенных. Как результат, вашим именем будет править безответственная камарилья. Это вызовет гражданскую войну, а плодами ее будут пользоваться только немцы".

"Что же делать?" — спросил Корнилов. У правительства не хватает энергии для того, чтобы спасти страну, а время не ждет. Филоненко отвечал, что диктатура не обязательно должна быть единоличной. Возможно создание некой директории или малого

военного кабинета с чрезвычайными полномочиями. В нынешней ситуации такая директория немыслима без Керенского. Но Корнилов упорствовал. Он еще как минимум дважды подводил Филоненко к идее единоличной диктатуры. "Предположите на минуту, что в диктатуре единственное спасение страны, которую вы ведь любите, что бы вы сделали тогда?" Филоненко ответил, что в этом случае он просто покинул бы страну.[318]

Странная это была беседа. Никогда Корнилов не допускал подобной откровенности, тем более с Филоненко, к которому он всегда относился с подозрением. Похоже, что он убеждал самого себя. Мы не можем сказать, что Корнилов уже тогда принял решение. К этому его энергично подталкивало окружение, но сам он скорее был готов действовать в духе договоренности с Савинковым. Это было проще, это позволяло уйти от тех вопросов, ответы на которые он попытался найти у Филоненко. Бесспорно, Корнилов был честолюбивым человеком, но его честолюбие никогда не принимало патологических форм. Стремление к власти ради обладания властью было для него нехарактерно. Власть для того, чтобы спасти страну, — это другое дело, на это Корнилов мог решиться. Но пока что только в будущем.

ЛЬВОВ

Савинков вернулся из Могилева в Петроград днем 25 августа. К этому времени он постарался отогнать тяжелые мысли. Главное дело было сделано — компромисс с Корниловым найден. Теперь оставалось одно: необходимые бумаги должен был подписать Керенский. Сразу по возвращении Савинков доложил о результатах своей поездки премьеру, а потом по требованию министра путей сообщений П. П. Юренева — и всему составу правительства.

В тот же день Савинков дважды обращался к Керенскому с просьбой подписать наконец привезенные из Ставки бумаги, но тот оба раза отказывался под какими-то надуманными предлогами. Та же ситуация повторилась и на следующий день. С Керенским явно что-то происходило. Он очнулся от транса предыдущих дней и опять прибег к своей любимой манере затягивать и откладывать неприятные ему решения. Серьезных оснований не верить Корнилову у Керенского, по его же собственному признанию, не было. Скорее здесь сработала его пресловутая интуиция: он нюхом чувствовал приближающиеся перемены, хотя вряд ли мог сам сформулировать, в чем они состоят.

Впрочем, некоторая информация, неизвестная Савинкову, у Керенского все же была. 22 августа, когда Савинков выехал в Могилев, в кабинете премьера побывал посетитель, которому было суждено сыграть роковую роль в бурных событиях последующих дней. Это был бывший обер-прокурор Святейшего синода В. Н. Львов. Мы уже много раз упоминали его имя на страницах этой книги, но сейчас настало время познакомиться с ним поближе.

Как и Керенский, Львов был депутатом Четвертой думы, как и тот, в марте 1917 года вошел в состав Временного правительства. В Думе Львов был известен как специалист по делам русской церкви. По этой причине и в кабинете, возглавляемом его однофамильцем князем Г. Е. Львовым, он занял должность главы духовного ведомства.

По свидетельству людей, близко знавших его, Львов был человеком искренним, но в то же время экспансивным и увлекающимся. Он "был одушевлен самыми лучшими намерениями и также поражал своей наивностью, да еще каким-то невероятно легкомысленным отношением к делу".[319] Львов был верным сторонником Керенского и всячески поддерживал его при любых разногласиях в правительстве. Тем не менее при

формировании второго коалиционного кабинета его фамилия выпала из списка министров. Скорее всего, Керенский просто пожертвовал им, чтобы социалисты не кричали о преобладании в составе кабинета цензовых элементов.

Для Львова отставка стала громом среди ясного неба. Потом ему припомнили, что в пылу гнева он называл Керенского своим смертельным врагом. Однако это были не более чем слова, гнев у Львова мог почти мгновенно смениться таким же удушающим обожанием. Не прошло и нескольких дней, как он снова повсюду начал кричать о своем восхищении Керенским, которого именовал не иначе как своим близким другом.

Как бывший депутат Думы, Львов принимал участие в работе Государственного совещания. Даже на него, человека не слишком прозорливого, увиденное произвело гнетущее впечатление. У другого это могло вызвать тревогу, страх за будущее. Львов, с его сверхэмоциональным восприятием окружающего, едва не заболел. Для него навязчивой мыслью стало примирение Керенского и Корнилова.

То, что произошло дальше, на первый взгляд кажется невероятным, совершенно фантастической чередой ошибок. Это очень точно заметил Ф. А. Степун: "Подробное изучение злосчастной путаницы, которую Львов внес в развитие и без того сложных взаимоотношений между Корниловым и Керенским, может привести в полное отчаяние не только социолога, верящего в законы исторического развития, но и всякого человека, не считающего, что мир — сумасшедший дом".[320] На деле события, развернувшиеся в последующие дни, были порождением того взаимного недоверия, которое заставляло Керенского, Корнилова, Савинкова и всех других, вовлеченных в эту историю, подозревать друг друга в смертных грехах.

В Москве Львов остановился в гостинице "Националь". Здесь он случайно встретил некоего Добрынского, с которым когда-то был шапочно знаком. Тот имел репутацию авантюриста и пустослова. Патологическая хвастливость была главной чертой Добрынского, а для того, чтобы создавать впечатление о себе как о человеке значащем, он постоянно должен был вращаться в "кругах". Под страшным секретом он рассказал Львову, что недавно был в Ставке, где присутствовал на тайном совещании, которое решило объявить генерала Корнилова диктатором. В Ставке, по его словам, все ненавидят Керенского. На него уже готовится покушение, и премьера специально пригласили в Могилев, для того чтобы арестовать, а то и убить.

Надо сказать, что Добрынский действительно накануне побывал в Ставке, но ездил он туда по частным делам и ни с кем

из высшего начальства не контактировал. Но Львов поверил собеседнику и страшно разволновался. Он действительно восхищался Керенским и теперь испугался за него. Львов решил немедленно ехать в Петроград, для того чтобы предупредить Керенского о грозящей опасности. По приезде в столицу он сразу же отправился в Зимний дворец и немедленно был принят Керенским. Уже это выглядит странно — премьер нередко отказывал во встрече и действующим министрам. По словам Керенского, он полагал, что Львов зашел "попросту поболтать". [321] Примем это объяснение — Керенский знал, что Львов его боготворит, и мог позволить себе получить удовольствие от сеанса восторженного поклонения.

Но разговор с самого начала далеко ушел от публичного признания в любви. Львов начал путано говорить о том, что Керенский теряет авторитет в стране, что против него настроены не только крайне левые, но и правые. Правительству, по его словам, нужно иметь более прочную опору и для этого необходимо ввести в состав кабинета политических деятелей, стоящих правее кадетов. При этом он постоянно говорил так, что создавалось впечатление, будто бы он действует от чьего-то имени.

Керенский попытался уточнить, кого Львов представляет, но тот ответил, что не может этого сказать. Тем не менее Керенский не прервал разговор, не выставил Львова вон. По его словам, он подумал, что Львов действует от имени "родзян-ковской группы", то есть умеренно правых политиков, оставшихся после революции не у дел.[322] Расстались Львов и Керенский почти дружески. Львов пообещал при следующей встрече рассказать о том, кто стоит за ним. Керенский дал обещание ответить на вопрос о перспективах расширения правительства за счет представителей правого политического крыла. Львов задом пятился к двери, повторяя, что у тех, кого он представляет, есть серьезные силы и влияние. Керенский, улыбаясь, провожал его к выходу. Похоже, он искренне получал удовольствие от этой бестолковой беседы.

Разумеется, никого кроме себя самого Львов не представлял. Возвратившись в Москву, он связался со своим старшим братом Н. Н. Львовым. Тот тоже в недавнем прошлом был депутатом Думы, но, в отличие от младшего брата, имел характер более трезвый и рациональный. Львов-старший входил в руководство Торгово-промышленного союза и обладал прочными связями в деловом и финансовом мире. При встрече братьев младший сообщил старшему, что он только что приехал из Петербурга, куда его вызывал Керенский. По его словам, Керенский пришел к убеждению, что для борьбы с большевизмом необходимо

привлечь к управлению общественных деятелей правого толка, и эту задачу премьер поручил ему.[323] В воображении Львова-младшего всё успело перепутаться. Инициированный им самим визит к Керенскому стал поездкой по приглашению последнего, те предложения, которые высказал он на этой встрече, теперь были вложены в уста премьера. Всё это важно понять, чтобы разобраться в причинах позднейшего конфликта Керенского и Корнилова.

Отметим еще одно обстоятельство: ложь всегда остается ложью, но поведение Добрынского и Львова принципиально различалось по своей природе. То, что у Добрынского было откровенной "хлестаковщиной", у Львова звучало настолько искренне, что вполне могло убедить собеседника. Львов-стар-ший показал на следствии по "корниловскому делу": "Считаю нужным прибавить, что брат мой Владимир благодаря глубоко пережитым душевным потрясениям, связанным с революцией 1917 года, отличался крайней неуравновешенностью характера и порывистостью принимаемых решений".[324] Менее деликатные современники прямо писали, что Львов серьезно повредился рассудком. В его мозгу фантазии и реальность настолько переплетались, что различить их не мог и он сам.

Из Москвы Львов выехал в Ставку и 24 августа уже был в Могилеве. Как раз в это время Корнилов провожал в столицу Савинкова. Генерал П. А. Половцев, ехавший тем же поездом, вспоминал, что видел Львова на перроне, но не придал этому значения.[325] Вечером того же дня Львов отправился к Корнилову. Имя бывшего министра сыграло роль пропуска, и Корнилов согласился принять его. Встреча, однако, длилась всего несколько минут. Ссылаясь на поздний час, Корнилов попросил Львова прийти наутро.

На следующий день в десять часов утра Львов был в кабинете Корнилова. Прежде всего Корнилов спросил, от чьего имени Львов ведет переговоры. Тот совершенно определенно ответил, что действует по инициативе Керенского. На вопрос о письменных полномочиях Львов отвечал, что в таком деликатном деле не может быть лишних бумаг, а лучшей гарантией его полномочий может служить его статус бывшего члена правительства. По его словам, он является "интимнейшим другом" Керенского и потому избран для этого поручения.

Всё сказанное звучало вполне убедительно, и Корнилов попросил гостя перейти к сути дела. Львов начал с того, что в крайне мрачных красках описал происходящее в стране. Единственным выходом из этой ситуации, по его мнению, могла быть только коренная реконструкция власти. Перейдя на

пафосный тон, он заявил, что его друг Керенский уполномочил его предложить Верховному главнокомандующему три возможных варианта дальнейшего развития событий: 1) Корнилов становится главой правительства, а Керенский возвращается к частной жизни; 2) Корнилов возглавляет правительство, а Керенский занимает один из министерских постов; 3) правительство делегирует Корнилову полномочия единоличного диктатора.[326]

В ответ Корнилов сказал, что положение на фронте критическое. По данным контрразведки, в Петрограде готовится выступление большевиков. Для предотвращения катастрофы необходима твердая власть. "Не думайте, — сказал он, — что я говорю для себя, но для спасения Родины. Я не вижу другого выхода, как передача в руки Верховного главнокомандующего всей военной и гражданской власти". Львов уточнил: "И гражданской?" Корнилов твердо ответил: "Да, и гражданской".

Главковерх заявил, что не может гарантировать жизнь и безопасность Керенского и Савинкова где-либо, кроме Ставки, и потому просит их как можно скорее приехать в Могилев. Он добавил, что предлагает Савинкову пост военного министра, а Керенскому — министра юстиции.

На станцию Львова провожал ординарец Корнилова — прапорщик Завойко. Один из самых приближенных к главковерху лиц, он был в курсе большинства его дел. В разговоре с ним Львов вспомнил о предмете своего обожания. Он спросил: "Корнилов гарантирует жизнь Керенскому?" — "Ах, как может Верховный главнокомандующий гарантировать жизнь Керенскому?" — "Однако же он это сказал?" — "Мало ли что он сказал! Разве Корнилов может поручиться за всякий шаг Керенского? Выйдет он из дома и убьют его". — "Кто убьет?" — "Да хоть тот же самый Савинков, почем я знаю кто…" — "Но ведь это же ужасно!" — "Ничего ужасного нет. Его смерть необходима как вытяжка возбужденному чувству офицерства". — "Так для чего же Корнилов зовет его в Ставку?" — "Корнилов хочет его спасти, да не может".[327]

Позднее Завойко всячески открещивался от этих кровожадных слов. Он говорил, что мог сказать такое только в шутку. "У меня есть отвратительная черта характера — в том случае, когда я вижу перед собой исключительного дурака, отлить ему в разговоре с самым серьезным видом какую-нибудь пулю, идущую вразрез со всем сказанным до того времени".[328] Но на Львова сказанное произвело сильнейшее впечатление. Он буквально впал в транс. Львов боялся за Керенского, боялся за себя, боялся неправильно передать сказанные ему слова. Из-за этого страха в его помутненном сознании родились какие-то

бредовые фантазии.

РАЗРЫВ

Пока Львов трясся в поезде, дела в Ставке шли своим чередом. О визите бывшего обер-прокурора Синода почти никто не вспоминал. Лишь Лукомский, узнав о беседе Корнилова с Львовым, выразил свои опасения по этому поводу. Корнилов ответил, что у Львова репутация порядочного человека. Лукомского это не убедило: "Что он высокопорядочный человек — в этом и у меня нет сомнений, но что у него репутация путаника — это тоже верно. Но, кроме того, мне вообще это поручение Керенского, передаваемое вам через Львова, не нравится. Я боюсь, не затевает ли Керенский какой-нибудь гадости. Все это очень странно. Почему Савинков ничего не знал или ничего не сказал? Почему дается поручение Львову, в то время как в Ставку едет Савинков? Дай Бог, чтобы я ошибался, но мне все это очень не нравится, я опасаюсь Керенского".[329]

В тот же день главковерх подписал приказ, в котором говорилось, что постановлением Временного правительства Петроградский военный округ, за исключением самой столицы, переходит в его непосредственное подчинение. В силу этого создавалась Отдельная Петроградская армия в составе войск Петроградского военного округа, Кронштадта, Нарвских позиций и Балтийского флота. Имени главнокомандующего армией в приказе названо не было, хотя секретным распоряжением на эту должность был назначен генерал Крымов. Корнилов помнил о просьбе Савинкова не прибегать к услугам Крымова, но рассчитывал в итоге добиться согласия на его кандидатуру.

Крымов в эти дни находился в Ставке, куда он прибыл еще 13 августа. Вечером 25 августа с ним случайно встретился Добрынский, знавший генерала и раньше. Крымов ему сказал: "Иду в распоряжение военного министра по просьбе Савинкова, 27-го выступают большевики, если будет восстание, отобью охоту его повторять…" Добрынский спросил: "А как будет с Советом рабочих и солдатских депутатов?" — "О них не знаю.

Впрочем, если кто из них словом или делом поддержит большевиков, то я исполню долг перед родиной…"[330] В тот же день Кры-мов составил приказ, в котором в качестве главнокомандующего Отдельной Петроградской армией объявлял Петроград, Кронштадт, Петроградскую и Эстляндскую губернии, а также Финляндию на военном положении. На этих территориях вводился комендантский час, запрещались забастовки, митинги и собрания, восстанавливалась предварительная цензура печатных изданий. Население было обязано немедленно сдать имеющееся у

него оружие. Виновные в злостных нарушениях, а также уличенные в грабежах и насилиях должны были расстреливаться на месте. Параграф десятый содержал прямую угрозу: "Предупреждаю всех, что на основании повеления Верховного главнокомандующего войска не будут стрелять в воздух".[331]

Петроград был поделен на три части по числу дивизий, предназначенных для того, чтобы занять город. К приказу были приложены копии плана Петрограда, на которых были отмечены казармы и фабрики с приблизительным указанием численности расквартированных там солдат и вооруженных рабочих. Приказ был составлен только в семи экземплярах (трех машинописных и четырех переписанных от руки).[332] Объяснялось это желанием сохранить в тайне детали операции до ее начала. Ни Крымов, ни Корнилов не скрывали сам факт продвижения армии к Петрограду, поскольку были убеждены, что действуют в полном согласии с Керенским.

Крымов выехал из Могилева около полудня 26 августа. В тот же день вечером в кабинете Корнилова собрались Фи-лоненко, Завойко и некоторые другие лица из ближайшего окружения главковерха. Назначение Корнилова главой правительства рассматривалось присутствующими как само собой разумеющееся, разговор шел о конкретных формах реорганизации верховной власти. Установление единоличной диктатуры было признано нежелательным, а потому было решено создать орган диктатуры коллективной — Совет народной обороны. Председателем его должен был стать Корнилов, а Керенский занять пост его заместителя. В совет планировалось также включить Алексеева, Колчака и известных политических деятелей от умеренных социалистов до представителей старой бюрократии. После совещания Корнилов остался работать над бумагами, а Завойко, Аладьин и полковник Голицын за вечерним чаем обсуждали технические детали ожидавшегося приезда Керенского. С этим обитатели губернаторского дома и разошлись спать, не подозревая о том, что маховик будущих трагических событий уже раскрутился вовсю.

В Петрограде утро 26 августа тоже не предвещало ничего необычного. В первой половине дня Савинков дважды обращался к Керенскому с просьбой подписать документы, привезенные им из Ставки. Керенский по привычке уходил от ответа, но наконец согласился заслушать доклад Савинкова о его поездке в Могилев на вечернем заседании правительства. К этому времени, подчиняясь распорядку премьера, кабинет перешел на ночной режим работы. Заседание было назначено на десять вечера, что было далеко не самым поздним временем. Но за оставшиеся часы

все планы изменились кардинальным образом.

Поезд, в котором ехал Львов, прибыл в столицу в два пополудни. С вокзала Львов позвонил во дворец, но Керенский назначил ему аудиенцию лишь вечером. Остававшееся до этого время Львов провел на квартире у Милюкова. Показательно, что сам Милюков ни словом не обмолвился о деталях этой встречи, хотя можно быть уверенным, что Львов не утерпел и передал хозяину какие-то подробности своего поручения. Так или иначе, но в шестом часу Львов перешагнул порог кабинета Керенского.

Керенский встретил его приветливо. Он спросил: "Вы опять по тому же делу?" Львов ответил: "Нет. Тут обстоятельства изменились". Он сбивчиво начал говорить о том, что Керенскому грозит опасность, что он приехал предупредить об этом. Видя, что собеседник на это не реагирует, Львов наконец собрался с духом: "Я должен передать вам формальное предложение". — "От кого?" — "От Корнилова". Суть рассказа Львова сводилась примерно к следующему: в ближайшие дни в Петрограде готовится выступление большевиков, предупредить это можно единственным способом — передать всю полноту власти в руки Корнилова. В новом правительстве Керенскому будет предоставлен пост министра юстиции, пока же ему необходимо ради собственного спасения срочно выехать в Ставку.

Сначала Керенский не поверил: "Бросьте шутить, Владимир Николаевич!" Но Львов взволнованно убеждал его в том, что единственный выход для него — это принять требования Корнилова. Керенский бегал взад и вперед по огромному кабинету. В голове у него уже рождался план. Он предложил Львову, если тот ручается, что действительно передаст поручение Корнилова, записать его требования. Львов сел за стол и тут же написал короткую записку:

"Генерал Корнилов предлагает:

Объявить г. Петроград на военном положении.

Передать всю власть, военную и гражданскую, в руки Верховного главнокомандующего.

3. Отставка всех министров, не исключая и министра-председателя, и передача временного управления министерств товарищам министров вплоть до образования кабинета Верховным главнокомандующим".[333]

Именно этот документ позднее везде фигурировал как "ультиматум Корнилова". Уточним некоторые детали: написан он все-таки был Львовым, хотя и от имени Корнилова. В записке говорилось о предложениях, а не безусловных требованиях. Первый пункт "ультиматума" был уже давно согласован с Керенским. Что же касается второго и третьего пунктов, то они

могли удивить Керенского, но никак не стать основаниями для паники. Но Керенский уже сделал для себя выбор: ему нужны были доказательства готовящегося переворота, причем в как можно большем количестве, для того чтобы компенсировать их слабую убедительность.

Львов закончил свою записку и, подавая ее Керенскому, сказал: "Это очень хорошо, что все кончится мирно. Там считали очень важным, чтобы власть от Временного правительства перешла легально. Ну, а вы, что же, поедете в Ставку?" Керенский держал в руках заветный листок. Теперь он мог уже не притворяться: "Конечно же нет, неужели вы думаете, что я могу быть министром юстиции у Корнилова?" Неожиданно Львов просиял: "Конечно, не ездите. Ведь для вас там ловушка готовится. Он вас там арестует. Уезжайте из Петрограда… А там вас ненавидят".[334] Как видно, Завойко излишне переусердствовал, пугая Львова. Зато у Керенского теперь появился новый мотив для того, чтобы действовать. Он договорился с Львовым о встрече в восемь вечера в особняке военного министра на Мойке. Там стоял аппарат Юза и можно было связаться с Корниловым по прямому проводу.

Керенский был на месте даже раньше назначенного часа. В качестве свидетеля он пригласил с собой товарища министра внутренних дел В. В. Вырубова. Тот опоздал, перепутав место встречи, задержался и Львов. Однако Керенский не стал никого дожидаться. Не исключено, что он поступил так преднамеренно, поскольку незадачливый посланец Корнилова мог бы стать помехой в задуманном плане. Напомним, что аппарат Юза — это усовершенствованный телеграфный аппарат, позволяющий передавать не только точки и тире, но и печатать текст буквами на длинной ленте. Идентифицировать собеседника, находящегося на другом конце провода, в этом случае крайне сложно. Этим-то обстоятельством и воспользовался Керенский.

Керенский заявил Корнилову, что рядом с ним у аппарата стоит Львов, и попросил подтвердить привезенные им сведения. Корнилов ответил, что он вновь готов повторить сказанное им Львову для передачи Керенскому: "События последних дней и вновь намечающиеся повелительно требуют вполне определенного решения в самый короткий срок". Из этих слов было совершенно неясно, о чем идет речь. Тогда Керенский вторично, на этот раз от имени Львова, попросил Корнилова подтвердить его предложение. На этот раз Корнилов был более конкретен: "Да, подтверждаю, что я просил вас передать Александру Федоровичу мою настойчивую просьбу приехать в Могилев". Керенский не унимался:

— Понимаю ваш ответ как подтверждение слов, переданных мне Владимиром Николаевичем. Сегодня это сделать и выехать нельзя. Надеюсь выехать завтра. Нужен ли Савинков?

Корнилов отвечал:

— Настоятельно прошу, чтобы Борис Викторович приехал вместе с вами. Сказанное мною Владимиру Николаевичу в одинаковой степени относится и к Борису Викторовичу. Очень прошу не откладывать вашего отъезда позже завтрашнего дня. Прошу верить, что только сознание ответственности момента заставляет меня так настойчиво просить вас.[335]

Даже при крайней степени предвзятости в этом разговоре невозможно увидеть доказательства какого-то преступного умысла со стороны Корнилова. Он просит, а не требует. Что касается Керенского, то его поведение явно пахнет провокацией. Он обманул Корнилова, выступив от имени Львова, да и к тому же всячески подбивал своего собеседника на необдуманные высказывания. Правда, делал он это без особого успеха. Из беседы было ясно только то, что Корнилов просит Керенского и Савинкова спешно приехать в Ставку. Делать на этом основании выводы о мятеже более чем рискованно.

Керенский с Вырубовым спускались из аппаратной в вестибюль, когда на лестнице их встретил запыхавшийся Львов. Первым делом он спросил: "Что же, Александр Федорович. Я верным другом оказался, не обманул вас?" В этих словах столько детского и непосредственного! Так и видишь, как Львов спрашивает Керенского, заглядывая ему в глаза снизу вверх. Он доверился старшему другу (неважно, что "старший друг" был на девять лет моложе Львова), но тот его безжалостно обманул.

В Зимнем дворце Керенский встретил оказавшегося здесь по своим делам помощника начальника Главного управления милиции С. А. Белавинского. Премьер оставил Львова ждать в приемной, а сам провел Белавинского в свой кабинет и спрятал в углу за шторой. Затем он вновь пригласил к себе Львова и попросил вновь прочесть вслух свою записку и подтвердить ее содержание. Измученный Львов сказал, что он четыре ночи не спал, но послушно сделал всё, что от него просили. Он даже подтвердил содержание телеграфного разговора с Корниловым, хотя сам при этом не присутствовал. Тогда торжествующий Керенский вывел из-за шторы Белавинского и объявил Львову, что тот арестован.[336] Львов был помещен под стражу здесь же во дворце. К нему приставили двух часовых, причем находились они не снаружи у дверей, а в самой комнате, ни на секунду не выпуская арестованного из виду.

Тут же Керенский продиктовал телеграмму в Ставку. В ней

говорилось, что Корнилов отрешается от должности Верховного главнокомандующего. Ему предписывалось немедленно прибыть в Петроград, а обязанности главковерха временно возлагались на генерала Лукомского. Телеграмма была без номера и подписана просто: "Керенский". Тем временем в Малахитовой гостиной стали собираться министры. Керенский явился на заседание с опозданием. Он был очень оживлен и явно доволен собой. Почти все, видевшие его в этот вечер, вспоминают, что премьер был в необыкновенно приподнятом настроении.

Керенский рассказал другим членам правительства о визите Львова, прочел "ультиматум" и телеграфную ленту разговора с Корниловым. Премьер потребовал себе исключительные полномочия для борьбы с мятежом и право формирования кабинета министров по своему усмотрению. После минутного молчания первым поднялся государственный контролер Ф. Ф. Кокошкин. Он сказал, что в такой ситуации не считает возможным оставаться в составе правительства и просит принять его заявление об отставке. Его единодушно поддержали все другие члены кабинета. Керенский заявил, что он принимает отставку правительства, но просит министров вплоть до назначения их преемников оставаться на своих местах. С этим согласились все, за исключением Кокошкина.

Заседание затянулось допоздна. Лишь около четырех часов ночи Керенский вернулся к себе. Находившийся в соседней комнате Львов вспоминал, что Керенский еще долго пел в своем кабинете арии из опер.[337] Человек, способный распевать среди ночи оперные арии, либо окончательно сошел с ума, либо пребывает в крайней степени радостного возбуждения. Керенский действительно ликовал, от прежней его апатии не осталось и следа. Мучившие его в предшествующее время вопросы разом разрешились сами собой. Теперь не нужно было поддаваться напору Савинкова, не нужно было идти на соглашение с Корниловым, рискуя своей репутацией "героя революции". Он снова стал Керенским мартовских дней, человеком, на которого затаив дыхание будет смотреть вся Россия. В том, что все будет именно так, Керенский не сомневался.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Разговор по телеграфу с Керенским и "Львовым" не вызвал у Корнилова никаких подозрений. Выходя из аппаратной, он столкнулся с руководителем дипломатической канцелярии Ставки князем Г. Н. Трубецким. Тот вспоминал, что главковерх выглядел успокоившимся и удовлетворенным. Трубецкой спросил: "Значит, правительство идет вам навстречу во всем?" Корнилов коротко ответил: "Да".[338] В 2 часа 30 минут ночи (в это время Керенский уже объявил его изменником) Корнилов отправил Савинкову телеграмму о том, что согласно ранее достигнутой договоренности 3-й Конный корпус заканчивает сосредоточение в районе Петрограда.

Около семи часов утра главковерха разбудил дежурный адъютант, сообщив, что на его имя поступила телеграмма от министра-председателя. Это была та самая телеграмма, в которой Керенский отрешал Корнилова от должности. Корнилов немедленно вызвал к себе Лукомского. Тот ответил, что уже знаком с текстом телеграммы и считает невозможным брать на себя обязанности Верховного главнокомандующего. Корнилов сказал: "Да, обстановка такова, что я должен оставаться на своем посту до конца. Я должен добиться, чтобы Временное правительство провело в жизнь мои требования. Пошлите сейчас же телеграмму Крымову, чтобы он ускорил сосредоточение своих войск к Петрограду".[339]

К девяти утра в кабинет Корнилова были приглашены Завойко, Аладьин и Филоненко. Познакомившись с текстом телеграммы, все единодушно заявили, что это провокация. Смущали отсутствие в послании номера, подпись Керенского без указания должности да и сам факт того, что по закону главнокомандующий мог быть смещен только общим постановлением правительства. Но, видимо, в глубине души каждый понимал, что телеграмма подлинная и дело, не успев начаться, с треском проваливается.

Особенно суетился Филоненко. Ему не хотелось попасть в число заговорщиков, и он стал говорить, что ему спешно нужно выехать в Петроград. В противном случае он угрожал даже застрелиться. На это ему резко ответил Аладьин: "Если вы понимаете, что произошло, то вы как честный человек должны обо всем телеграфировать Временному правительству и остаться при генерале Корнилове".[340] Филоненко заявил, что он останется, только если его арестуют. Тогда Корнилов сказал, что он запрещает Филоненко куда-либо ехать, а если тот ослушается,

то его задержат. Филоненко потом раздул из своего "ареста" целую историю. На деле же "арестованный" весь день просидел в кабинете главковерха, а вечером свободно выехал в Петроград, получив для своих нужд экстренный эшелон.

После обеда в столицу ушла телеграмма за подписью Лукомского. В ней вновь повторялось сказанное уже много раз: спасение России — в создании сильной власти, оздоровлении армии и наведении порядка в тылу. Лукомский писал, что все эти мероприятия были одобрены правительством. Подтверждением этому могут служить визиты Савинкова и Львова, приезжавших от имени Керенского. Лукомский заявлял, что "остановить начавшееся с вашего же одобрения дело невозможно, и это поведет лишь к гражданской войне, окончательному разложению армии и позорному сепаратному миру, следствием коего, конечно, не будет закрепление завоеваний революции".

"Ради спасения России, — обращался Лукомский к Керенскому, — вам необходимо идти с генералом Корниловым, а не смещать его. Смещение генерала Корнилова поведет за собой ужасы, которых Россия еще не переживала.

Я лично не могу принять на себя ответственность за армию, хотя бы на короткое время, и не считаю возможным принимать должность от генерала Корнилова, ибо за этим последует взрыв в армии, который погубит Россию".[341]

Телеграмма Лукомского была единственным ответом Ставки на вызов правительства. Поразительно, но Корнилов даже не попытался лично связаться с премьером, для того чтобы разрешить возникшее недоразумение. Можно понять, что в этом сыграла свою роль гордость — Керенский действительно уволил Корнилова, будто лакея. Но в Могилеве вообще была утеряна всякая информация о происходящем в столице. Своим бездействием Ставка отдавала инициативу противной стороне и рисковала поплатиться за это. Керенский же сознательно шел на обострение конфликта, с порога отвергая все попытки примирения.

В Петрограде воскресенье 27 августа 1917 года выдалось теплым и ясным. В воздухе уже дышало осенью (по европейскому календарю на дворе был сентябрь), но погода была солнечной и какой-то радостной. На улицах царила удивительная тишина. До этого в течение как минимум двух недель по городу ходили слухи о массовых беспорядках, предстоящих в день полугодового юбилея революции. Напуганные власти постарались свернуть все запланированные мероприятия. Даже торжественное заседание ВЦИКа Советов прошло накануне. Марсово поле, излюбленное место проведения демонстраций, было пустынно. На Невском

мальчишки-газетчики приставали к прохожим с надоевшими новостями о немецкой угрозе и голодных волнениях в провинции. Никто и не догадывался, чтб предстоит уже в ближайшие часы.

В полдень невыспавшиеся члены правительства вновь собрались в Зимнем дворце. Формально накануне министры подали в отставку, и потому встреча была объявлена частным совещанием. Керенский прочел собравшимся текст своего обращения к населению. В нем было много слов о защите завоеваний революции, свободы и республиканского строя, но причины отставки Корнилова сформулированы крайне расплывчато и неубедительно. В итоге министры отказались подписать этот документ, мотивируя свой поступок вчерашней отставкой. Часть присутствовавших предложила повременить с обнародованием обращения и попытаться еще раз связаться со Ставкой. Керенский не возражал, но отказался лично беседовать с Корниловым. Это было поручено Савинкову, а заседание прервано до вечера.

В переговорах с Корниловым Савинков повел себя не лучшим образом. Он начал обвинять Корнилова в обмане, причем используя очень жесткие выражения. Создается впечатление, что бывший террорист смалодушничал. Керенский считал Савинкова главным виновником "корниловского дела" и был готов отдать приказ о его аресте.[342] Обвиняя Корнилова, Савинков таким образом оправдывал себя.

Корнилов попросил полчаса для обдумывания ответа. По прошествии этого срока разговор возобновился. Главковерх повторил, что ни на секунду не думал поднимать мятеж и не мыслит правительства без участия Керенского и Савинкова. Именно такие инструкции и были даны Львову. "Я вновь повторяю, что мне интересы моей Родины, сохранение мощи армии дороже всего. Свою любовь к Родине я доказал много раз, рискуя собственной жизнью, и ни вам, ни остальным министрам правительства не приходится напоминать мне о долге перед Родиной". Корнилов заявил, что решение о его отставке навязано изменниками и предателями и подчиниться ему равнозначно бегству с поля битвы. "В полном сознании своей ответственности перед страной, перед историей и перед своей совестью я твердо заявляю, что в грозный час, переживаемый нашей Родиной, я со своего поста не уйду".[343]

Как ни странно, но этот жесткий ответ разрядил обстановку. Савинков в ответной реплике назвал происходящее "недоразумением" и пообещал доложить о разговоре правительству. Разговор закончился вполне спокойно, собеседники были любезны и вежливы. Хронометр в аппаратной

показывал 17 часов 50 минут.

Отказ Корнилова подчиниться предписанию об отставке существенно усложнял ситуацию. С другой стороны, готовность обеих сторон признать происшедшее недоразумением оставляла шансы для мирного улаживания конфликта. Однако поведение Керенского перечеркнуло возможность компромисса. Когда Савинков вернулся во дворец, первым, кого он встретил, был Н. В. Некрасов. Он резко выговорил Савинкову, что из-за его попыток договориться с Корниловым "правительство уже опоздало". Смысл этих слов Савинков не понял и направился к Керенскому. Здесь он узнал, что еще за два часа до этого обращение, объявлявшее Корнилова изменником, было передано в газеты и на радиостанции. Стала ясна и реплика Некрасова: именно он настоял на том, что ждать больше нельзя. По инициативе Керенского и Некрасова по всем железным дорогам была разослана телеграмма, предписывавшая любым путем задержать продвижение к Петрограду войск мятежников. Одновременно Керенский телеграфировал главнокомандующему Северным фронтом генералу В. Н. Клембов-скому, приказывая ему временно вступить в должность Верховного главнокомандующего. Перед Савинковым Керенский впрямую поставил вопрос: с ним он или нет. Оказавшись перед выбором, Савинков снова уступил и принял назначение военным генерал-губернатором Петрограда. В его обязанность входило организовать оборону города от корниловских войск, то есть собственноручно похоронить свой же замысел.

В эти часы в Зимнем шли бесконечные совещания. День сменялся ночью, но никто этого не замечал, участники совещаний если и спали, то урывками, пристроившись где-нибудь поблизости. Керенский понимал, что противостоять Корнилову он сможет, только оперевшись на человека, столь же влиятельного в офицерских кругах. Выбор его пал на генерала Алексеева, когда-то отправленного в отставку по инициативе самого Керенского. Алексеева начали искать, но выяснилось, что накануне он выехал к семье в Смоленск. По всему пути его следования были даны телеграммы, генерала нашли на половине дороги и экстренным поездом привезли в Петроград.

Алексеев приехал в столицу в час ночи 28 августа. На вокзале его встретил Вырубов и на автомобиле отвез в Зимний. От Вырубова Алексеев впервые узнал о происходящих событиях. Керенский предложил Алексееву принять на себя обязанности Верховного главнокомандующего. Ознакомившись с деталями случившегося, Алексеев высказал убеждение в том, что дело следует закончить соглашением, а Корнилова оставить на

прежнем посту.[344] Но Керенский был непреклонен, он заявил, что никаких соглашений с Корниловым быть не может.

В четыре часа утра 28 августа в Зимнем дворце состоялось совещание, на котором помимо Керенского и Алексеева присутствовали Вырубов, Савинков и министр иностранных дел Терещенко. По словам Савинкова, все, кроме самого премьера, были согласны в том, что "ультиматум" Львова есть не более как недоразумение.[345] В тот день многие предпринимали попытки переубедить Керенского, но всякий раз неудачно.

С предложением о посредничестве к Керенскому обращались Милюков, представители Совета Союза казачьих войск, послы Великобритании, Франции и Италии. Но Керенский во всех случаях отвечал категорическим отказом.

У Керенского был целый букет неприятных черт. Он был хвастлив, эгоистичен, способен солгать и походя растоптать недавнего соратника. Но в критические минуты он мог проявить достойное уважения упорство. В данном случае он сделал выбор, хотя далось это ему очень непросто.

Утром 28 августа в Петрограде стало известно о реакции на происходящее со стороны главнокомандующих фронтами. Генерал В. Н. Клембовский, которому Керенский приказал вступить в обязанности Верховного главнокомандующего, отказался от этого предложения. Он заявил, что не чувствует в себе "ни достаточно сил, ни достаточно умения для столь ответственной работы". Главнокомандующие Западными Румынским фронтами генералы П. С. Балуев и Д. Г. Щербачев выразили свое согласие с предложенной Корниловым программой оздоровления армии и заявили, что его отставка может привести к крайне опасным последствиям. Еще более определенно высказался главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал А. И. Деникин. В своей телеграмме он писал: "Я солдат — и не привык играть в прятки… Сегодня получил известие, что генерал Корнилов, предъявивший известные требования, могущие еще спасти страну и армию, смещается с поста главковерха. Видя в этом возвращение власти на путь планомерного разрушения армии и, следовательно, гибели страны, считаю долгом довести до сведения Временного правительства, что по этому пути я с ним (правительством. — В. Ф.) не пойду".[346] Позиция, занятая старшим генералитетом, значительно ухудшила положение Керенского. Но это был еще не последний удар.

На созванном в тот же день частном совещании бывших министров была высказана мысль о создании директории с обязательным участием генерала Алексеева. Кокошкин предложил передать Алексееву все полномочия главы

правительства. Керенского покинули даже самые верные его соратники. Министр иностранных дел М. И. Терещенко говорил, что "это дело надо ликвидировать так, чтобы обоих за штат отправить — и Керенского и Корнилова, обе стороны удовлетворить взаимным жертвоприношением".[347] За создание правительства под началом Алексеева высказался и Некрасов, еще совсем недавно во всем поддерживавший Керенского.

Настроение в столице приближалось к паническому. Газеты сообщали о том, что на ближних подступах к Петрограду уже идут бои правительственных войск с отрядами Корнилова. В такой ситуации дальновидные люди поспешили отречься от прежнего кумира. В. В. Вырубов вспоминал: "Во дворце, где в предшествующие недели еще накануне толпились днем и ночью сотни людей в ожидании разных свиданий, переговоров, приемов, на этот раз не было ни души. Шел зловещий слух о том, будто через несколько часов в город — и в первую очередь во дворец, войдет Дикая дивизия, первые эшелоны корнилов-ских войск… Зимний дворец был пуст. Керенский одинокий, оставленный, лежал на диване в кабинете. Отдаю ему справедливость: при всей своей обычной нервности, он сохранял присутствие духа и о своей личной участи не беспокоился".[348]

Другой очевидец этих часов, И. Г. Церетели, рисует поведение Керенского в менее приглядных тонах: "На него было жалко и противно смотреть. Это был совершенно потерянный человек. Он мне сказал: "Некрасова и Терещенко я уже не вижу два дня. Меня все покинули. Все". — И вдруг он отодвигает ящик письменного стола, вынимает револьвер и прикладывает к виску с какой-то жалкой, глупой и деланой улыбкой".[349] Несомненно, Церетели пристрастен в своем рассказе. Однако положение Керенского действительно было очень шатким. Любой самый незначительный толчок мог сбросить его с кресла премьера. Но проблема была в том, что в Ставке не знали, что происходит в Петрограде, равно как в столице были мало осведомлены о происходящем в Могилеве. В Зимнем полагали, что всё случившееся есть результат хорошо подготовленного заговора, и потому преувеличивали силы противника. В Могилеве же были ошеломлены поворотом событий и по этой причине недооценивали свои возможности. Время было упущено, и это определило результат.

МЯТЕЖ

Конфликт между главой правительства и Верховным главнокомандующим внешне мало изменил привычный ритм жизни Ставки. Генерал П. Н. Краснов, вызванный 28 августа в штаб главковерха, передает свои впечатления от увиденного так: "Могилев имел обычный вид. На станции, как и всегда, толпились офицеры, много было солдат ударных батальонов с голубыми щитами, нашитыми на левом рукаве рубахи с изображением белой краской черепа и мертвых костей. Не понравились они мне. Чем-то бутафорским веяло от этих неаккуратно сделанных нарукавных нашивок. Поразила меня еще и крайняя сдержанность, совсем необычная нашим, всегда так неумеренно болтливым, офицерам. Как будто боялись друг друга и друг за другом следили".[350] Подспудный страх, так удививший Краснова, был порождением растерянности, охватившей большинство обитателей Могилева.

Затронула она и самого Корнилова. В течение всего 27 августа он даже не пытался публично ответить на обвинения Керенского. Лишь с опозданием на сутки главковерх обнародовал обращение, в котором излагал свое видение происшедшего. Датировано оно было 27 августа, но реально в типографию поступило не ранее трех часов ночи следующего дня. В обращении говорилось: "Телеграмма министра-председателя во всей своей первой части является сплошной ложью: не я посылал члена Государственной думы Владимира Львова к Временному правительству, а он приезжал ко мне как посланец министра-председателя, тому свидетель член 1-й Государственной думы Аладьин. Таким образом, свершилась великая провокация, каковая ставит на карту судьбу Отечества".

Корнилов обвинял Временное правительство в том, что оно под давлением большевистского большинства Советов "действует в полном согласии с планами германского генерального штаба", разлагает армию и губит страну. Завершалось обращение словами: "Я, генерал Корнилов, сын крестьянина и казака, заявляю всем и каждому, что лично мне ничего не надо, кроме сохранения великой России, и клянусь довести народ путем победы над врагом до Учредительного собрания, на котором он сам решит свою судьбу и выберет уклад своей новой государственной жизни".[351]

Автором этого текста был Завойко, что помимо прямых свидетельств подтверждается присущей ему излишне патетической манерой. Обращение, адресованное народу, было

изложено совсем не народным языком. Именно такое впечатление сложилось у генерала Краснова да и у многих других современников. "В прекрасно, благородно, смело написанном приказе звучала фальшь".[352] Смущало и то, что после суточного молчания Ставка разразилась целым потоком воззваний. Они были искренни, брали за душу, но их было слишком много. В приказе за № 827 от 28 августа 1917 года подробно излагалась история конфликта между Верховным главнокомандующим и Временным правительством. Днем позже в приказе за № 900 отказ Корнилова уйти с должности главковерха мотивировался усилением немецкой угрозы на фронте и в тылу. В этой связи было упомянуто о взрыве оружейных складов в Казани, предполагаемых диверсиях на железных дорогах, готовящейся высадке немецкого десанта в Финляндии.

Следует обратить внимание на важное обстоятельство — Корнилов фактически нигде не противопоставляет себя правительству. Наоборот, он обращается к Керенскому и другим министрам: "Приезжайте ко мне в Ставку, где свобода ваша и безопасность обеспечены моим честным словом, и, совместно со мной, выработайте и образуйте такой состав правительства народной обороны, который, обеспечивая победу, вел бы народ русский к великому будущему, достойному могучего свободного народа".[353] Лишь однажды в воззвании к казакам, выпущенном в тот же день, 28 августа, проскользнуло другое: "Я не подчиняюсь распоряжениям Временного правительства и ради спасения Свободной России иду против него и против тех безответственных советников его, которые продают Родину".[354]

Воззвания, приказы, обращения — создавалось впечатление, что в сложившейся ситуации единственным оружием главковерха стали слова. Так, наверное, оно и было, учитывая, что с Корниловым остались те люди, кто кроме слов ничем другим владеть не умел. Создалась странная картина: Ставка была забита народом, немалая часть которого сочувствовала Корнилову, но при этом рядом с ним не оказалось никого. В городе вполне открыто действовали враги главковерха, сплотившиеся вокруг Могилевского совета, а вот друзей было не видно и не слышно. В этом сказалась прежняя конспирация: в планы преобразования верховной власти был посвящен ограниченный круг лиц, и теперь только они разделили с Корниловым его новое положение.

Мы уже писали о том, что Лукомский категорически отказался принять на себя обязанности Верховного главнокомандующего. Он не скрывал, что одобряет шаги Корнилова по наведению порядка в армии и тылу, но поддержать его в выступлении против правительства отказался. Он заявил,

что не хочет провоцировать гражданскую войну и считает недопустимым "создавать из Могилева форт Шаброль[355]".[356] Точно так же молчаливо устранились от происходящего Романовский и Плющевский-Плющик. Весь огромный аппарат Ставки продолжал привычно работать, но эта работа находилась вне всякой связи с конфликтом главковерха и правительства. В губернаторском доме Корнилов должен был чувствовать себя как на пустынном острове, довольствуясь компанией Завой-ко, Аладьина и полковника Голицына.

В "змеином гнезде заговорщиков", как окрестила Могилев левая пресса, не нашлось сил, на которые Корнилов мог бы с уверенностью опереться. Еще 21 августа по распоряжению главковерха Корниловский полк, находившийся в это время на доукомплектовании в Проскурове, был выведен из состава частей Юго-Западного фронта. Полку было предписано передислоцироваться на Северный фронт, в район Нарвы. Три дня спустя полк погрузился в эшелоны, но во время проезда через Могилев неожиданно получил приказ выгрузиться и расквартироваться в городе.

На следующий день, 28 августа, в четыре часа дня, на главной площади города был устроен парад немногочисленного могилевского гарнизона. Помимо Корниловского полка в параде участвовали Георгиевский батальон и два эскадрона текинцев из личной охраны главковерха. Обойдя строй, Корнилов потребовал, чтобы ему принесли стул. Забираясь на него, он оступился и чуть не упал. Рядом кто-то вздохнул: "Плохой знак!"[357] Корнилов обратился к войскам: "Я сын казака-крестьянина. На своих же руках я видел мозоли и возвращения к старому не желаю…" Он сказал, что пригласил в Могилев Керенского и лидеров всех политических партий, для того чтобы вместе сформировать правительство народной обороны. За безопасность приезжающих он ручается своим честным словом. "Но если Временное правительство не откликнется на мое предложение и будет так же вяло вести дело, мне придется взять власть в свои руки, хотя я заявляю, что власти не желаю и к ней не стремлюсь. И теперь я спрашиваю вас: будете ли вы готовы тогда?" Вопрос был встречен молчанием. Корнилов повторил: "Будете ли вы готовы?" В шеренгах раздались нестройные голоса: "Готовы". По словам очевидца, "впечатление получилось жидкое".[358]

Если уж старшие начальники устранились от происходящего, то среди младших офицеров и солдат колебания были еще большими. Даже в Корниловском полку четверо офицеров — прапорщики Горбацевич, Колоколов, Шморгунов и Яковенко — заявили о том, что остаются верными правительству.[359] В этом

нет ничего удивительного, слишком неожиданными оказались известия о конфликте премьера и главковерха, слишком трудно было понять, кто в этом споре прав, а кто виноват. Но эта растерянность подтверждает тот факт, что выступление Корнилова вовсе не было заранее подготовленным мятежом. Если бы дела обстояли так, мятежный вождь, во всяком случае, позаботился бы о надежной охране своей собственной резиденции.

Генерал Краснов вспоминал: когда по завершении своих дел он собрался вернуться на вокзал пешком, в штабе его не пустили. Ему предоставили автомобиль: дескать, мало ли что может случиться. Дело, напомним, происходило в Могилеве. Если штаб не контролировал ситуацию в городе, что уж говорить о стране.

Происходившее в эти августовские дни меньше всего вызывало ассоциации со временами Наполеона. Тот же Краснов с полным основанием указывал, что переворот в наполеоновском духе неизбежно предполагает некую театральность. "Собирали Ш-й корпус под Могилевом? Выстраивали его в конном строю для Корнилова? Приезжал Корнилов к нему? Звучали победные марши над полем, было сказано какое-либо сильное, увлекающее слово — Боже сохрани, не речь, а именно слово? Была обещана награда? Нет, нет и нет. Ничего этого не было. Эшелоны ползли по железнодорожным путям, часами стояли на станциях. Солдаты толпились в красных коробках вагонов, а потом на станции толпами стояли около какого-нибудь оратора — железнодорожного техника, постороннего солдата — кто его знает кого? Они не видели своих вождей с собой и даже не знали, где они". Вывод Краснова звучит почти обвинением: "Корнилов задумал такое великое дело, а сам остался в Могилеве, во дворце, окруженный туркменами и ударниками, как будто и сам не верящий в успех".[360]

Такого рода вопросы появлялись у многих. Позднее французский корреспондент Клод Ане прямо спросил Корнилова, как могло случиться, что, разорвав с Керенским, он сам не пошел на Петроград. Ведь если бы главковерх встал во главе наступающих войск, он занял бы Зимний дворец без единого выстрела. Корнилов ответил: "Если бы я был тем заговорщиком, каким рисовал меня Керенский, если бы я составил заговор для низвержения правительства, я, конечно, принял бы соответствующие меры. В назначенный час я был бы во главе своих войск и подобно вам не сомневаюсь, что вошел бы в Петроград почти без боя. Но в действительности я не составлял заговора и ничего не подготовил. Поэтому, получив непонятную телеграмму Керенского, я потерял двадцать четыре часа. Как вы

знаете, я полагал или что телеграф перепутал, или что в Петрограде восстание, или что большевики овладели телеграфом. Я ждал или подтверждения или опровержения. Таким образом я пропустил день и ночь: я позволил Керенскому и Некрасову опередить себя… Железнодорожники получили приказы: я не мог получить поезда, чтобы приехать в окрестности столицы. В Могилеве мне бы дали поезд, но в Витебске бы меня арестовали. Я мог бы взять автомобиль: но до Петрограда 600 верст по дурным дорогам. Как бы то ни было, в понедельник, несмотря на трудности, я еще мог бы начать действовать, наверстать потерянное время, исправить сделанные ошибки. Но я был болен, у меня был сильный приступ лихорадки и не было моей обычной энергии".[361]

Корнилов действительно был болен. Ко всему прочему, у него обострилась застарелая невралгия. Правая рука мучительно болела и перестала подчиняться настолько, что не могла держать даже карандаш. Но главное другое. У Корнилова было свойство, очень сильно ему мешавшее. Иногда, в решающие минуты, когда требовалось предельно сконцентрировать волю, на него нападали странная апатия и нерешительность. Нечто подобное произошло и сейчас. Создавалось впечатление, что ему нужно было предпринимать усилия, для того чтобы заставить себя действовать. Распоряжения Корнилова были не до конца последовательны и к единой цели не вели.

Вечером 28 августа Корнилов отправляет телеграмму главнокомандующему Петроградским военным округом генералу О. П. Васильковскому, приказывая ему перейти в подчинение генералу Крымову. Чуть позже была отправлена телеграмма в штаб Северного фронта с предписанием прервать связь между Петроградом и Псковом. Генералу Клембовскому было приказано немедленно прибыть в Ставку. Одновременно Корнилов потребовал от главнокомандующего Западным фронтом генерала П. С. Балуева и командующего Московским военным округом полковника А. И. Верховского подчиниться его приказам.[362]

Ни одно из этих распоряжений выполнено не было. Клембовский и Балуев просто не ответили. Полковник Верховский всего сутками ранее находился в Ставке. Он покинул Могилев утром 27 августа, уже зная о телеграмме Керенского. Ни одним словом Верховский не дал понять, что не согласен с Корниловым. Однако, вернувшись в Москву, он первым поднял крик о "мятеже". Активность Верховского не осталась незамеченной, и уже в ближайшие после этого недели он займет пост военного министра.

В тот же день, 28 августа, Могилев и ближайшие к нему

окрестности на расстоянии до 10 верст были объявлены находящимися на осадном положении. Комендантом города был назначен комендант Главной квартиры полковник С. Н. Квашнин-Самарин. Своим постановлением он запретил уличные митинги и собрания, распространение печатных изданий без предварительной цензуры, хранение огнестрельного оружия. В Могилеве был объявлен комендантский час. Каких-либо беспорядков в городе действительно удалось избежать. Но Ставка все больше и больше попадала в изоляцию от остального мира.

В ночь на 29 августа была прервана телеграфная связь Могилева со штабами фронтов. О местонахождении генерала Крымова ничего не было известно. Еще утром 28-го на его поиски был отправлен полковник Д. А. Лебедев, но известий от него не поступало. Новая попытка выйти на связь с Крымо-вым была предпринята 30 августа. В направлении Пскова вылетел аэроплан, пилоту которого было поручено разыскать отряд Крымова с воздуха. Летчик вез с собой копии приказов главковерха и личное письмо Корнилова.

Корнилов писал: "Приказом Временного правительства я, Лукомский, Деникин и несколько других генералов отрешены от должностей и преданы военно-революционному суду за мятеж. Но, вместе с тем, я получил приказание руководить операциями до приезда генерала Алексеева, назначенного начштаверхом. Алексеев приезжает завтра к ночи. Получился эпизод, единственный в мировой истории: главнокомандующий, обвиненный в измене и предательстве родины и преданный за эту суду, получил приказание продолжать командование армиями, так как назначить другого нельзя. С получением сего, доставьте мне возможно подробные сведения о расположении ваших полков, настроении ваших офицеров, казаков и всадников, о связи, имеющейся у вас с организациями, на которые мы рассчитывали, и на дальнейшие планы, на возможность крепкого нажима средствами, имеющимися в вашем распоряжении".[363]

Это письмо не дошло до адресата. Крымову пришлось принимать решение самостоятельно, и решение это оказалось очень тяжелым.

САМОУБИЙСТВО КРЫМОВА

Как мы уже писали, Крымов выехал из Ставки днем 26 августа, будучи назначен главнокомандующим Отдельной Петроградской армией. Впрочем, армии как таковой не было. Она формировалась прямо на ходу на базе все того же 3-го Конного корпуса. В его составе было три дивизии: Кавказская туземная ("Дикая"), 1-я Донская и Уссурийская. К ним предполагалось присоединить 5-ю Кавказскую казачью дивизию, стоявшую в Финляндии. Одновременно Кавказская туземная дивизия должна была быть развернута в корпус за счет присоединения двух кавалерийских полков и Осетинской пешей бригады. К середине августа "Дикая дивизия" находилась на станции Дно, бóльшая часть эшелонов 1-й Донской стояла в Пскове, Уссурийская дивизия располагалась в районе Великих Лук и Новосокольников. Растянутость соединений корпуса и, как следствие, плохая связь между ними были серьезной проблемой. Еще одной бедой было отсутствие общего руководства. Генерал Крымов был назначен командующим армией, во главе корпуса его сменил генерал Краснов, но ни того ни другого в расположении войск не было.

Поезд Крымова добрался до Луги, где находились передовые части Донской дивизии, только в ночь на 28 августа. Дважды его задерживали в пути, но станционное начальство не могло ответить, по чьему распоряжению это сделано. Вплоть до прибытия в Лугу Крымов ничего не знал о состоявшемся разрыве между Керенским и Корниловым. Ночью из Луги Крымов позвонил по телефону в Петроград. В штабе округа к трубке подошел полковник Барановский. Он почему-то не стал ничего рассказывать, а позвал к телефону кого-то другого, кто представился начальником штаба округа. Тот колеблющимся голосом крайне нерешительно сообщил, что по приказу военного министра Керенского корпус должен остановить свое продвижение на Петроград. Крымов ответил, что он получил приказ Верховного главнокомандующего и подчинится распоряжению военного министра, только если будет иметь его в письменном виде.

Этот разговор произвел на Крымова тревожное впечатление. Сопровождавшему его начальнику штаба генералу М. К. Дитерихсу он сказал, что Петроград, возможно, уже захвачен большевиками. Телефон в Луге находился в самом городе в пятнадцати минутах ходьбы от станции. Когда Крымов и Дитерихс вернулись к эшелонам, они увидели, что вдоль путей собираются группы вооруженных людей. На вопрос, кто они такие

и что здесь делают, им отвечали, что по приказу местного исполкома предписано задержать дальнейшее продвижение казачьих эшелонов. Здесь же Крымов узнал содержание телеграммы Керенского, объявлявшей Корнилова изменником.

В штабном вагоне Крымова дожидался офицер, который привез из Пскова копию распоряжения Корнилова. Донской дивизии предписывалось' двигаться на Гатчину, пунктом сосредоточения Туземной дивизии было назначено Царское Село, для Уссурийской дивизии — Красное Село. Позже, около четырех часов ночи, в штаб Крымова поступила телеграмма за подписью Керенского. В ней говорилось о том, что в Петрограде все спокойно, и содержался приказ немедленно остановить переброску корпуса к столице. Ввиду наличия противоречащих распоряжений Крымов предложил Дитерихсу выехать в Псков, в штаб Северного фронта, и там на месте разобраться в происходящем.

В девять утра Дитерихс был в Пскове и немедленно встретился с главнокомандующим фронтом генералом Клембовским. Однако и тот знал очень немного. Дитерихс связался по телефону с Могилевом. Ему удалось найти генерала Романовского, который ответил, что Корнилов по-прежнему остается на своем посту. Романовский сообщил, что в настоящее время идут переговоры с правительством, ответ из Петрограда еще не получен, но достижение компромисса очень вероятно. Он сказал, что Крымову следует дождаться подхода отстающих эшелонов, а за это время ему будут даны дополнительные распоряжения.

Днем 28 августа на станции Луга скопилось уже более десятка эшелонов с казаками 1 — й Донской дивизии. Дальнейшему их продвижению мешало то, что севернее города у станции Преображенская кто-то уже успел разобрать железнодорожные пути. Крымов послал на этот участок дороги казаков, которые, угрожая оружием, заставили местных путевых рабочих вновь уложить рельсы. Около четырех пополудни по приказу Крымова станция с телеграфом и телефоном была занята прибывшими войсками. Гарнизон Луги при этом никакого сопротивления не оказал.

Но это отнюдь не означало, что все проблемы решены. Крымов не мог с уверенностью положиться на казаков. Каждый час их пребывания в Луге и общения с местными и столичными агитаторами усиливал колебания в их среде. По этой причине в шесть часов вечера по приказу Крымова войска были выгружены из эшелонов и отведены к деревне Заозерье в 15 верстах от Луги по Псковской дороге.

Между тем передовые эшелоны Туземной дивизии 28 августа выдвинулись к Вырицам. Дальнейшее продвижение по железной дороге было невозможно ввиду повреждения путей. Шедшая в авангарде третья бригада (Чеченский и Ингушский полки) выгрузилась из вагонов и походным порядком двинулась на Царское Село. У станции Антропшино в десять часов вечера завязался бой. После первых выстрелов отряд, высланный из Царского Села, отступил. Но командир бригады князь А. В. Гагарин побоялся попасть в окружение и скомандовал о — ход.

После этого дивизия расположилась на станции Дно и в дальнейших событиях участия не принимала. В эти же дни Уссурийская дивизия добралась до Нарвы и Ямбурга, но здесь остановила свое продвижение. Везде имело место одно и то же — присланные из столицы агитаторы успешно сеяли сомнения в умах и без того колебавшихся казаков и горцев. Проходивший в эти дни в Петрограде Всероссийский мусульманский съезд направил навстречу "Дикой дивизии" специальную делегацию, члены которой владели чеченским, ингушским, кабардинским и татарским языками. В результате дотоле крепкая дивизия начала на глазах терять дисциплину.

Все это заставило Крымова усомниться в успехе. К тому же он потерял контакт с главковерхом и не знал, как себя вести в сложившейся ситуации. Под утро 29 августа Крымова все же нашел посланный из Ставки полковник Д. А. Лебедев. За сутки до этого он выехал из Могилева на автомобиле и после многих часов блуждания почти случайно наткнулся на штаб командующего Петроградской армией. Лебедев сообщил о том, что Корнилов не собирается подчиняться распоряжению о своей отставке. По словам Лебедева, в Петрограде тоже зреет недовольство правительством и в любое время можно ожидать падения Керенского.

Эта информация заставила Крымова принять решение о возобновлении движения. 29 августа он подписал приказ, в котором объяснял причины этого. В первом и втором пунктах приказа воспроизводились телеграммы Керенского и Корнилова, в третьем говорилось о том, что казаки отказываются признать отставку Верховного главнокомандующего. Особо нужно отметить последний пункт. В нем Крымов утверждал, что в Петрограде начались голодные бунты. Он заявлял, что ставит перед собой целью только восстановление порядка и пресечение анархии и не посягает на республиканский строй.[364] Конечно, все рассказы о погромах в столице были ложью. Крымов пошел на это, рискуя быть разоблаченным, только из осознания собственной слабости. Это был единственный способ заставить казаков двинуться с

места, хотя, как оказалось, способ ненадежный.

В ночь с 29 на 30 августа Донская дивизия по приказу Крымова выступила в направлении Луги. Однако, не дойдя до города четырех верст, войска повернули обратно. Оказалось, что два полка, 13-й и 15-й, отказались подчиниться распоряжению. Казаки, несмотря на ночь, митинговали. Прибывший на место Крымов заявил, что на первый раз он прощает нарушителей приказа, но в следующий раз будет поступать с ними по закону военного времени. Тем не менее генерал решил не рисковать и приказал отряду двигаться в обход Луги. Крымов старался держаться как обычно, но для него происходящее было крушением всех привычных представлений. До сих пор он считал, что неповиновение есть результат слабости командного состава. Теперь его 3-й конный корпус, сохранявший дисциплину в течение всех предыдущих месяцев, разваливался на глазах.

В Петрограде у Крымова был верный человек — полковник С. Н. Самарин. Когда-то он был начальником штаба у Крымова в бытность того командиром Уссурийской дивизии. Сейчас Самарин служил в военном министерстве. Посланец Крымова нашел Самарина, и тот сообщил, что постарается приехать в Лугу. Самарин (вероятно, через своего сослуживца Барановского) сумел переговорить с Керенским. Рано утром 30 августа он появился в штабе Крымова. Самарин предложил Крымову выехать вместе с ним в Петроград, дав гарантию от имени премьера, что его свободе и безопасности ничего не грозит. После совета с другими старшими начальниками Кры-мов решил принять это предложение.

В ночь на 30 августа Крымов и Дитерихс выехали из Луги и рано утром 31-го были в Петрограде. В столице Крымов сразу же направился к Алексееву. В этот день Алексеев уезжал в Ставку к Корнилову и специально задержался для того, чтобы выслушать Крымова. Позже Алексеев рассказывал: "Крайне неутешителен был доклад генерала Крымова: под влиянием идущих из Петрограда распоряжений и агитации (посылка делегаций) дивизии корпуса нравственно развалились и едва ли были пригодны к работе, даже в том случае, если бы в деятельности их встретилась надобность даже в интересах самого Временного правительства".[365] По свидетельству Алексеева, Крымов находился в крайне подавленном состоянии.

В полдень Крымов вошел в кабинет Керенского. Он попытался убедить премьера в том, что никогда не призывал к борьбе против правительства, что все его шаги были направлены исключительно на сохранение существующей власти. Керенский слушал сначала спокойно, но постепенно все более выходил из

себя. Наконец он не выдержал и вскочил: "Вы, генерал, очень умны. Я давно слышал, что вы умный. Этот приказ вами так скомбинирован, что не может служить вам оправданием. Все ваше движение было подготовлено заранее…"[366] Крымов пробовал оправдаться, но Керенский его не слушал. Он вызвал в кабинет прокурора И. С. Шабловского, который предписал Крымову явиться на следующий день для дачи официальных показаний. Керенский демонстративно повернулся к генералу спиной и перед уходом не подал ему руки.

Было около трех пополудни, когда Крымов покинул Зимний дворец. Опуда он направился на квартиру к своему знакомому ротмистру Журавскому в дом 19 по Захарьевской улице. Хозяин предложил гостю чаю. "Да, да, конечно", — ответил тот, но его отсутствующий вид внушал сомнения в том, что он что-то слышит и понимает. Журавский вышел в другую комнату и вдруг услышал, как за дверью раздался выстрел. Крымов смертельно ранил себя в область сердца. Срочно вызванная карета скорой помощи отвезла его в Николаевский госпиталь, но было поздно. Через несколько часов, не приходя в сознание, он скончался.

Крымов успел написать письмо Корнилову. Его адъютант, рискуя быть арестованным, сумел доставить письмо в Могилев. Но Корнилов послание уничтожил, и что в нем было, так и осталось неизвестным. Возможно, Крымов упрекал Корнилова в нерешительности и необдуманном поведении. Зная характер Крымова, можно предположить, что любые колебания были мучительны для него. Единственный среди участников августовского выступления, он покончил с собой, потому что не мог вынести даже мысли о том, что ему предстоит предстать перед судом. Самый убежденный из "переворотчиков", он и разочаровался последним. Смерть Крымова означала, что дело проиграно.

АРЕСТ КОРНИЛОВА

Панические настроения, характеризовавшие обстановку в Зимнем дворце в понедельник 28 августа, постепенно сменились новыми надеждами. Уже к вечеру вторника стало ясно, что угроза миновала. Победители жестоко мстили за свой недавний страх. По всей стране начались расправы над "корниловцами". В Бердичеве были арестованы главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал А. И. Деникин со своим начальником штаба генералом С. Л. Марковым, а также группа других генералов. Аресты прошли в Киеве, Одессе, Минске и других городах.

Керенский вновь почувствовал силу. Однако до той поры, пока Корнилов оставался в Могилеве, правительство не могло быть спокойным. При всех недостатках Керенского, он совершенно искренне стремился остановить надвигающуюся гражданскую войну. Для этого нужно было найти того, кто сумеет заставить Корнилова без сопротивления оставить свой пост. Собственно, сделать это мог один человек — генерал Алексеев. Ему Корнилов мог сдаться, не потеряв при этом лица. Но Керенский не доверял Алексееву и потому боялся назначения его главковерхом. Удобнее и безопаснее он был бы в роли начальника штаба. Было ясно, что Алексеев не потерпит над собой кого-то из скороспелых полководцев, вроде Черемисова или Верховского. Поэтому Керенский решил взять обязанности Верховного главнокомандующего на себя.

Однако Алексеева еще нужно было уговорить. По приказу Керенского утром 30 августа Вырубов отправился на Фурштадтскую, в квартиру графа Келлера, где тогда жил Алексеев. На переданное им предложение генерал ответил решительным отказом. Вырубов вернулся во дворец и сообщил об этом Керенскому. Тот отреагировал крайне взволнованно и потребовал, чтобы Вырубов вернулся обратно и во что бы то ни стало убедил Алексеева принять предлагаемую должность. Вырубов заявил, что один он не поедет. После некоторых колебаний Керенский отправился вместе с ним.

Алексеева визитеры встретили у входа — он возвращался с прогулки. Генерал молча пожал приехавшим руки и не произнес ни слова, пока они поднимались наверх. Только войдя в спальню, он сказал: "Уж если вы ко мне пришли, то выслушайте от меня всю правду…" Крайне резко он обвинил Керенского в попустительстве разложению армии и развалу фронта. По его словам, премьер-министр несет личную ответственность за катастрофическое положение страны. "Керенский, бледный как

полотно, молча слушал речь Алексеева, нервно опершись обеими руками о спинку кровати. Когда Алексеев кончил, Керенский сказал тихим голосом:

— А все-таки Россию спасать надо…

Наступило молчание, которое продолжалось минуты две. Затем Алексеев кратко произнес:

— Я в вашем распоряжении".[367]

Разговор продолжился уже в Зимнем. Алексеев поставил свои условия: он не желал иметь дело с Некрасовым, которого считал главным виновником происшедшего; вторым требованием было уничтожение поста комиссара при Верховном главнокомандующем; наконец, Алексеев потребовал, чтобы посты военного и морского министров были замещены профессионалами. Керенский согласился на всё (забегая вперед скажем, что обещание упразднить должность комиссара при Ставке выполнено не было).

Немедленно после этого Алексеев поехал в военное министерство и по телеграфу связался с Корниловым. Интересная деталь — Корнилов, не желая снова стать жертвой провокации, первым делом потребовал, чтобы его собеседник удостоверил свою личность знанием деталей, известных только ему. После истории с фальшивым "Львовым" все телеграфные разговоры теперь начинались с предварительной проверки.

Алексеев рассказал о своем предполагаемом назначении и особо подчеркнул, что в своих мероприятиях он предполагает следовать программе, предложенной Корниловым. В ответ Корнилов зачитал ему телеграмму, подготовленную к отправке от имени генерала Лукомского. В ней говорилось, что Верховный главнокомандующий готов оставить занимаемый им пост, но только при соблюдении ряда условий. Должно было быть официально объявлено, что в России создается сильная власть, свободная от влияния безответственных организаций. Генерал Деникин и другие арестованные вместе с ним лица должны быть немедленно освобождены. Правительство должно немедленно прекратить рассылку телеграмм и приказов, порочащих Верховного главнокомандующего и вносящих смуту в умы.

Корнилов попросил Алексеева, чтобы тот не задерживался и был в Ставке не позже 1 сентября. В противном случае он снимал с себя ответственность за дальнейшие события. Вечером около восьми состоялся второй разговор по телеграфу Алексеева и Корнилова. Алексеев проинформировал об изменениях в ситуации (в Ставке не знали почти ничего), Корнилов, в свою очередь, попросил помочь ему связаться с Крымовым.[368] Как мы уже писали, на следующий день Алексеев задержал свой отъезд

специально для того, чтобы встретиться с Крымовым.

Отъезд Алексеева из Петрограда сопровождался курьезным эпизодом, характеризующим тот недавний страх, от которого власть не успела еще окончательно избавиться. К перрону было подано три вагона — один для Алексеева, другой для сопровождавшего его Вырубова. Провожавший их Терещенко спросил у проводника, для кого предназначен третий вагон. Тот ответил, что для господина Филоненко. Терещенко пришел в ужас. "Вы понимаете, — сказал он взволнованно. — Это заговор. Филоненко со своими людьми едет в одном поезде с вами. Ясное дело, в дороге вы с Алексеевым будете схвачены и выданы кому следует. Надо немедленно вызвать охрану".[369] Вскоре, однако, недоразумение выяснилось, оказалось, что речь идет о путейском инженере, однофамильце бывшего комиссара. После некоторой задержки поезд тронулся в путь.

Состав шел медленно, часто останавливаясь. На одной из станций Вырубов получил телеграмму о самоубийстве Кры-мова. С ней он направился в вагон к Алексееву. "Михаил Васильевич, получены известия о Крымове…" — "Что? Он застрелился?" — "Застрелился после разговора с Керенским". — "Да, он утром сообщил, что застрелится", — тихо сказал Алексеев.[370] Во время остановки на станции Луга Алексеев произнес короткую речь перед всадниками и офицерами Туземной дивизии. Смысл ее был в том, что между правительством и Ставкой возникло недоразумение, которое он и едет разрешить. Присутствовавшие на этом импровизированном митинге проводили генерала громким "ура!".

В Могилев поезд Алексеева прибыл в три часа дня 1 сентября. На вокзале его встречали Лукомский и несколько других офицеров. Алексеев задержался для разговора со встречающими, а к Корнилову был командирован помощник Вырубова — Марковин. Он приходился Корнилову шурином, давно был знаком с ним и должен был подготовить его к визиту Алексеева. Как оказалось, Корнилов был очень раздражен против Алексеева. Он полагал, что тот если и не участвовал сам в "заговоре", то сочувствовал ему, и потому не имеет права выступать от имени правительства. "Пусть Алексеев пожалует сюда, — говорил Корнилов Марковину. — Я ему все выпою. А обо мне, пожалуйста, не беспокойся. Пустить себе пулю в лоб я всегда успею".[371]

Взаимная неприязнь двух генералов ни для кого не была новостью. Корнилов помнил, что Алексеев в апреле помешал назначению его главнокомандующим Северным фронтом. Сейчас Корнилов был глубоко убежден в том, что именно Алексеев своим авторитетом спас Временное правительство. Кто-то рассказал

ему, что Алексеев вместе с Савинковым разрабатывал план обороны Петрограда от "корниловских" войск. Несмотря на то что это было ложью, Корнилов ей поверил. Позднее он говорил Деникину, что никогда не забудет и не простит этого.[372]

Алексеев приехал в губернаторский дом в сопровождении Вырубова и, не задерживаясь, прошел в кабинет к Корнилову. Двери за ним плотно закрылись. Вырубов остался ждать в приемной. Здесь же находились адъютанты Корнилова и некоторые чины штаба. Время тянулось страшно медленно. Не выдержав ожидания, из жилых комнат в приемную пришли жена и дети Корнилова. Наконец через два часа из кабинета вышел Алексеев. Он был настолько взволнован, что не заметил никого из находившихся в помещении. Алексеев стал спускаться по лестнице, Вырубов поспешил за ним.

Алексеев отправился в аппаратную и попытался связаться с Керенским. Керенский пообещал Алексееву, что никаких карательных мер против Ставки предпринято не будет. Однако Керенский потребовал немедленного ареста вождей "заговора". По его словам, в Петрограде распространяются слухи о том, что правительство бездействует и даже сознательно щадит мятежников. Известия об арестах в Могилеве должны были положить конец подобным толкам.

Около одиннадцати вечера Алексеева вызвал к аппарату полковник Барановский. Он еще раз повторил требование Керенского относительно ареста Корнилова и других генералов. Алексеев ответил, что час назад генералы Корнилов, Лу-комский, Романовский, Плющик-Плющевский арестованы. На первых порах их поместили под домашний арест, но в тот же день были приняты меры по освобождению от постояльцев лучшей в городе гостиницы "Метрополь". Для того чтобы избежать возможных эксцессов, перемещение арестованных в "Метрополь" было решено организовать тайно. В ночь со 2 на 3 сентября лил холодный дождь. Около трех часов после полуночи два эскадрона кавалерии вытянулись цепью вдоль улицы от губернаторского дома до подъезда "Метрополя". Комендант Ставки по списку проверял прибывших и направлял их в отведенные для них комнаты. В начале четвертого на автомобиле подъехал Корнилов. Внешне он был абсолютно спокоен и даже шутил со своими адъютантами. Двери закрылись, и у входа в гостиницу встали часовые. "Корниловская история" пришла к своему концу.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

У КРАЯ ПРОПАСТИ

В тот год осень в Петрограде началась рано и как-то внезапно. В день, когда газеты сообщили об аресте Корнилова, еще светило солнце, а назавтра зарядил мелкий непрекращающийся дождь. Именно такой увидел российскую столицу американский журналист Джон Рид: "Сентябрь и октябрь — наихудшие месяцы русского года, особенно петроградского года. С тусклого, серого неба в течение все более короткого дня непрестанно льет пронизывающий дождь. Повсюду под ногами густая скользкая и вязкая грязь, размазанная тяжелыми сапогами и еще более жуткая, чем когда-либо, ввиду полного развала городской администрации. С Финского залива дует резкий, сырой ветер, и улицы затянуты мокрым туманом".[373]

Вечером в городе царил мрак. Даже на Невском, когда-то сиявшем огнями, редкие фонари горели вполнакала. В частные квартиры электричество подавалось только с шести вечера до полуночи. Одинокие прохожие спешили поскорее добежать до дома: воры и грабители орудовали в Петрограде совершенно безнаказанно. В городе появилось много пьяных, несмотря на то что еще с начала мировой войны в России действовал сухой закон. Временное правительство подтвердило запрет на "продажу для питьевого употребления крепких напитков и спиртосодержащих веществ". Тем не менее подпольные "шинки", где изготовлялся и тут же продавался самогон, можно было встретить повсюду, и в столицах, и в провинции.

Осенью из самых разных городов все чаще стали поступать известия о погромах винных складов. "Грабеж происходил по шаблону. Откуда-то появлялась небольшая группа людей, бросавших жадные взгляды на окна и двери. Некоторое время поколебавшись, самые решительные из них пробивались внутрь помещения и хватали первые бутылки. За ними немедленно следовали разгоряченные мужчины и женщины, которые набивались в склад и отчаянно боролись за каждую бутылку вина или ликера. Вызывали милиционеров, которые в ряде случаев действительно пытались остановить грабеж, но чаще они беспомощно наблюдали за происходящим или даже сами принимали участие в грабеже".[374]

Пьяные погромы стали настолько массовым явлением, что Керенский был вынужден в этой связи выпустить особое воззвание. "Представители безответственных групп и темных сил России путем спаивания хотят внести разруху в народ, привести его к анархии, вновь восстановить старый порядок… Доходят

тревожные слухи, что воинские части, руководимые такими лицами и группами, то здесь, то там разбивают винные и спиртовые склады. Бессознательные солдаты напиваются до невменяемого состояния, толпы буйствуют, творят насилие, совершают преступления. Если так пойдет дальше, молодая Россия скоро утонет в пьяном море, среди грабежей, пожаров и насилий… Я требую задержания виновных и предания их суду. Все склады, погреба и магазины со спиртными напитками приказываю отныне охранять вооруженной силой и впредь не допускать никаких уклонений от этого моего приказа. Свобода в опасности, наш долг ее защитить".[375] Но призывы мало помогали, и пьянство чем дальше, тем больше приобретало массовый характер.

Настроения обывателя были под стать пасмурной погоде. С фронта ежедневно приходили пугающие известия. "Великая и бескровная" вновь обернулась массовыми бессудными расправами. Отовсюду поступали сообщения об убийствах офицеров, обвиненных в сочувствии Корнилову. В непосредственной близости от столицы, в Выборге, были замучены и убиты комендант крепости генерал Степанов, генерал Ора-новский и два десятка старших офицеров.

То, что происходило на Балтийском флоте, заставляло вспомнить кошмары февральских дней. В разгар августовского кризиса Центробалт принял резолюцию, где определялась линия поведения в ситуации, когда Петроград будет занят корниловскими войсками. В этом случае предполагалось уничтожить город силами главного калибра кораблей флота. Однако офицеры броненосца "Петропавловск" лейтенант Тизенко, мичманы Кандыба, Кондратьев и Михайлов заявили о своем неподчинении этому приказу. За это распоряжением судового комитета они были арестованы и через три дня расстреляны. Правительство потребовало выдачи убийц, но матросы отказались это сделать.

Балтийские матросы — "краса и гордость революции" — бесконтрольно хозяйничали в Гельсингфорсе, Кронштадте, Ревеле. Между тем морские рубежи России были беззащитны перед врагом. В двадцатых числах августа немцы заняли Ригу, что открыло вражеской армии дорогу на Петроград. В самом конце сентября немцы высадили десант на Моонзундском архипелаге. Героизм команды линкора "Слава", фактически в одиночку выступившей против вражеской эскадры, не сумел переломить ситуацию. После захвата Моонзундских островов уже и немецкий флот не имел препятствий на пути к столице России. В Петрограде заговорили о том, что город вот-вот будет сдан. В

обстановке тайны начался вывоз в Москву музейных ценностей. Многие правительственные учреждения получили предписание готовиться к эвакуации.

В Петрограде остро не хватало продовольствия. Еще весной в городе была введена карточная система на хлеб и важнейшие продукты питания. К осени норма выдачи хлеба сократилась с полутора фунтов до четверти фунта на человека. Привычным явлением стали "хвосты" у продовольственных, табачных, мануфактурных лавок. Уже цитировавшийся журналист-американец вспоминал: "Возвращаясь домой с митинга, затянувшегося на всю ночь, я видел, как перед дверями магазина еще до рассвета начал образовываться "хвост", главным образом из женщин; многие из них держали на руках грудных детей…"[376] Нехватка товаров первой необходимости провоцировала самочинные обыски и погромы продовольственных лавок. Российский горожанин ускоренными темпами дичал и подсознательно был готов к худшему.

Цены росли как на дрожжах, а заработная плата даже не пыталась за ними угнаться. К осени 1917 года рубль обесценился до 7—10 копеек от довоенного уровня. Безудержная инфляция спровоцировала нехватку денежных знаков. Еще весной в оборот были пущены "думки" — купюры достоинством в 250 и тысячу рублей. За изображение Таврического дворца с его круглым куполом тысячерублевки в народе прозвали "синагогами", а купюры в 250 рублей получили прозвище "галки" из-за помещенного на них двуглавого орла без корон.

В сентябре появились бумажные деньги нового образца номиналом в 20 и 40 рублей. Их сразу стали называть "керенками" в честь главы Временного правительства. Они были непривычно маленькие — чуть больше этикетки от спичечного коробка. Печатались новые купюры упрощенным способом и выпускались целыми листами: нужное количество надо было вырезать ножницами.

Выполнены "керенки" были в одну краску и не имели никаких средств защиты. По этой причине подделывали их все кому не лень. "Вот как это делалось: когда пекли хлеб, растапливали печь особенно жарко и в тесто клали пакет "керенок", приготовленный таким образом, что каждая "керенка" находилась между двумя белыми листками бумаги той же толщины и размера. Когда хлеб был испечен, то и новые "керенки" были готовы, так как настоящие от жары линяли и отпечатывались с обеих сторон на белые листы".[377]

Еще одним проявлением нараставшей анархии стал разгул уголовной преступности. Грабители не стеснялись нападать на

прохожих среди бела дня. Бесчинства уголовников породили у обывателя страх, выливавшийся в крайнюю агрессивность. Один из современников вспоминал об этом: "Нередко я видел трясущуюся фигуру какого-нибудь воришки, с бледным лицом, в разорванной в клочья одежде, с кровью на разбитом лице, а вокруг — люди, со звериной злобой стремящиеся нанести еще удар. Пять, десять минут толпа неистовствует и топчется на месте. Затем, тяжело дыша и не глядя друг на друга, люди возвращаются на свои места, и трамвай, позванивая, продолжает свой путь. Если кто-нибудь решался оглянуться, то видел посреди улицы кровавую массу, которая уже ничем не напоминала человеческое существо".[378] Бессудные расправы над преступниками, первоначально воспринимавшиеся как самозащита, постепенно похоронили саму идею закона. В условиях формальной свободы и демократии общество начинало жить по звериным правилам.

Повторим: в ощущениях обывателя преобладал страх. Страх перед голодом, страх лишиться крыши над головой, страх перед преступниками и защитниками революции (различия между ними чаще всего были несущественными). Страх имел двоякие последствия. Для кого-то это были апатия и стремление спрятаться от окружающего мира. Именно апатия, порожденная страхом, стала причиной равнодушия к политическим переменам и массового уклонения от участия в выборах. Однако и резкий всплеск агрессивности тоже был порождением страха. Страх перед грядущим голодом вызвал самочинные обыски и продовольственные погромы, страх перед преступностью вызвал к жизни самосуды. Это была яркая особенность революции — любое массовое действие мгновенно обретало агрессивный характер.

Весна и начало лета 1917 года были "эпохой надежд". Осенью на смену надеждам пришли отчаяние и ощущение тоскливой безнадежности. "Эпоха надежд" имела свое персональное выражение, свой живой символ. По мере того как надежды таяли, стремительно падал и авторитет Керенского. В предыдущие месяцы даже сатирические журналы, вроде "Нового Сатирикона", язвительно обсмеивавшие всех министров, не трогали только Керенского. Осенью недавний кумир стал объектом самых грубых и язвительных насмешек. С каким-то злорадным удовольствием недавние восторженные почитатели Керенского передавали из уст в уста злобные стишки:

Правит с бритою рожею
Россией растерянной

Не помазанник Божий,
А присяжный поверенный.

Керенский оказался перед самым сложным испытанием в своей жизни. Конечно, и раньше ему приходилось непросто, но каждый раз он ощущал за собой миллионы тех, кто восторженно аплодировал ему. И вот теперь, когда он из персонажа второго плана превратился в главного героя пьесы под названием "русская революция", аудитория встретила его шиканьем и свистом.

ДИРЕКТОРИЯ

Противостояние с Корниловым стало рубежом в политической карьере Керенского. Среди обитателей рабочих окраин он и раньше не пользовался особой поддержкой. Здесь популярны были другие ораторы — как правило, крайне левые. Главный контингент поклонников Керенского составляли интеллигенция и мелкая буржуазия, но именно эта категория к лету стала открыто тосковать об утраченном порядке. Имя Корнилова как раз и ассоциировалось с возрождением порядка. Выступив против Корнилова, Керенский фактически пошел против своих традиционных сторонников.

Результатом стало катастрофическое падение авторитета премьера. Еще недавно на митингах с его участием считали за честь выступить и Собинов, и Бальмонт. Теперь тот же Бальмонт обращал к Керенскому клеймящие строки:

Кем ты был? Что ты стал? Погляди на себя,
Прочитай очевидную повесть.
Те, кем был ты любим, презирают тебя,
Усмотрев двоедушную совесть.

Ты не воля народа, не цвет, не зерно,
Ты вознесшийся колос бесплодный.
На картине времен ты всего лишь пятно,
Только присказка к сказке народной.

У этого стихотворения было характерное название — "Говорителю". Внезапно проснувшись, граждане свободной России увидели, что их кумир — обыкновенный, далеко не гениальный человек, способный произносить красивые слова, и ничего более.

Керенскому было тяжело как никогда. Даже внешний вид его изменился. Генерал А. И. Верховский вспоминал: "Когда я увидел Керенского, с которым не встречался со дня Московского совещания, то в первый момент не узнал его. В моей памяти был молодой, бодрый человек, пересыпавший свою речь шутками, со свежим и приятным лицом. Сейчас Керенский как-то весь опустился. Лицо опухло и огрубело. Глаза провалились и были тусклы".[379] Керенскому опять, как полтора месяца назад, приходилось единолично отстаивать само существование Временного правительства, но задача эта была неизмеримо сложнее, чем в июле.

Как мы помним, 27 августа министры коллективно подали в отставку, передав все полномочия Керенскому. На следующий день в газетах появилось сообщение о том, что в ближайшее время будет сформирована директория в составе Керенского, Некрасова, Терещенко и Савинкова, которая и возьмет на себя власть в переходный период. Однако этой затее не суждено было воплотиться. Масонские связи оказались слабее страха за собственное будущее. В результате Некрасов и Терещенко в самый решительный момент постарались дистанцироваться от премьера-неудачника. Керенский не забыл предательства. В начале сентября Некрасов был назначен на должность генерал-губернатора Финляндии, что фактически означало почетную ссылку. 30 августа без объяснения причин в отставку был отправлен Савинков. Из предполагаемых членов директории в правительстве удержался только Терещенко, но былой близости к Керенскому у него уже не было.

В последних числах августа всем стало ясно, что угроза военного переворота миновала. Не теряя времени, Керенский энергично приступил к формированию новой коалиции. Приверженность премьера этой идее диктовалась даже не столько искренним убеждением в необходимости общенационального единства, сколько вполне прагматическими соображениями. Керенский был чужим и для левых, и для правых. В "однородном социалистическом правительстве" ему, скорее всего, не нашлось бы места. Вся уникальность его положения определялась тем, что он был единственным связующим звеном между буржуазными элементами, с одной стороны, и социалистами из Совета — с другой. Иначе говоря, коалиция была необходимым условием сохранения Керенского во власти.

Партнерами справа в новой коалиции, как и прежде, могли быть только кадеты. После неудачного исхода корнилов-ского выступления они чувствовали себя очень неуютно, так как левая пресса открыто обвиняла их в поддержке мятежного главковерха. По этой причине кадеты легко согласились на коалицию. Тем не менее вхождение представителей партии в состав правительства было обставлено рядом условий. Кадеты требовали, чтобы должность военного министра была передана кому-то из авторитетных генералов. Вторым требованием было включение в состав правительства представителей торгово-промышленных кругов.

Керенский неожиданно легко согласился на оба условия. В качестве кандидатуры на пост военного министра первоначально предполагался генерал Алексеев. Однако в последний момент Керенский предпочел не провоцировать неизбежный в таком

случае конфликт с руководством Совета. В итоге 30 августа было объявлено о назначении военным министром гене-рал-майора А. И. Верховского.

Верховский был представителем совсем другого поколения, нежели большинство тогдашних генералов. Ему было всего 30 лет, и генеральские погоны он получил вместе с министерским назначением. Революцию Верховский встретил в должности начальника штаба Черноморской дивизии, сформированной для организации десанта на турецкое побережье. Несколько месяцев он прослужил бок о бок с Колчаком и во многом усвоил похожую линию поведения. Верховский активно сотрудничал с ЦВИКом и Севастопольским советом, сам выступал на митингах, не скупясь на революционную фразеологию.

Во время визита Керенского в Севастополь Верховский постарался произвести на него благоприятное впечатление. Результатом этого стало его назначение на должность главнокомандующего Московским военным округом. В день, когда вспыхнул конфликт между Петроградом и Ставкой, Верховский оказался в Могилеве, однако поспешил уехать при первых же признаках осложнения ситуации. Корнилов считал Верховского своим сторонником, но тот повел себя неожиданным образом. Верховский не только отказался поддержать Корнилова, но сформировал ударную группу в составе пяти полков для наступления на Могилев. Как известно, до этого дело не дошло, но Верховский окончательно закрепил за собой репутацию революционера.

Убежденным сторонником революции считался и новый морской министр контр-адмирал Д. Н. Вердеревский. Накануне революции он командовал дивизией подводных лодок, находившейся в Ревеле. Здесь в февральско-мартовские дни дело обошлось без кровавых расправ, в отличие от Гельсингфорса и Кронштадта. Это было в немалой мере личной заслугой Вердеревского, сумевшего сразу установить контакт с флотскими комитетами.

В начале июня Вердеревский был назначен командующим Балтийским флотом. Уже через месяц ему пришлось встать перед важным выбором. В июльские дни Вердеревский получил из Петрограда распоряжение послать к устью Невы четыре эсминца для демонстрации силы, а если потребуется — пустить в ход корабельную артиллерию против десанта из Кронштадта. Вердеревский категорически отказался выполнить этот приказ. За это 5 июля он был арестован и отдан под суд. Разбирательство тянулось почти месяц, но в итоге было признано, что поведение адмирала оправдывалось обстоятельствами дела. После этого

прямо из тюремной камеры Вердеревский попал в кресло морского министра.

Керенский подбирал кандидатуры Верховского и Вердеревского с явным расчетом на одобрение со стороны лидеров Совета. Так оно и вышло — назначение и того и другого сопротивления не встретило. Но неожиданно ВЦИК высказался против самой идеи коалиции. На заседании 31 августа было решено отказаться от любого участия в правительстве в случае вхождения в его состав представителей кадетской партии. Одновременно ВЦИК выдвинул инициативу созыва совещания, в котором приняли бы участие исключительно демократические (что следовало понимать — социалистические) силы.

Для Керенского это было страшным ударом. Он понимал, что если ему не удастся сформировать коалиционный кабинет, то и сам он ненадолго задержится в правительстве. В ответ он пустил в ход сильнодействующее средство. 1 сентября 1917 года Временное правительство (фактически несуществующее) выпустило манифест, провозглашавший Россию республикой. Если бы это имело место весной, реакцией был бы очередной всплеск демонстраций и праздничных шествий. Керенского бы носили на руках. Сейчас же манифест вызвал скорее раздражение, и объектом его стал именно Керенский. Правые были недовольны тем, что премьер единолично, не дожидаясь Учредительного собрания, взял на себя принятие принципиального решения. Для левых, которые уже давно по факту считали Россию республикой, этот шаг Керенского был только хитрым тактическим ходом.

Формирование коалиции застопорилось, и в перспективе выхода не было видно. Однородного "буржуазного" правительства страна бы после корниловских дней не приняла, а участие социалистов по-прежнему категорически отвергалось ВЦИКом. Это заставило Керенского вернуться к идее директории.

Поздно вечером 1 сентября в Зимнем дворце собралось заседание правительства. На совещании присутствовали Керенский, Авксентьев, Скобелев, Зарудный, Прокопович, Терещенко и Карташов. Из этого числа только Керенский и Терещенко сохраняли министерские портфели, остальные формально уже находились в отставке. На совещании не было вновь назначенных министров — Верховского и Вердеревского. Первый из них не успел прибыть из Москвы, второй из Гельсингфорса. В полночь во дворец приехали представители ВЦИКа во главе с Церетели. Привезенная ими информация была неутешительной — ВЦИК отказывался пересмотреть свою резолюцию о невозможности сотрудничества с кадетами.

Керенский выслушал гостей молча. У него уже было готовое

решение на этот случай. В третьем часу ночи заспанным журналистам, дежурившим во дворце в ожидании новостей, было сообщено, что выход из кризиса наконец найден. С согласия ВЦИКа вся полнота власти была передана вновь образованному "совету пяти". В него вошли Керенский, Терещенко, Вер-ховский, Вердеревский и московский адвокат А. М. Никитин, назначенный на пост министра внутренних дел.

С формальной точки зрения образование директории можно было считать победой Керенского. Он удержался у власти и подтвердил свою незаменимость. Но случайный характер "совета пяти" невозможно было скрыть. Директория могла существовать только как орган сугубо временный. Вопрос о создании полноценного правительства не был снят с повестки дня.

БОЛЬШЕВИКИ ПОДНИМАЮТ ГОЛОВУ

До начала августа 1917 года местом пребывания ВЦИКа, Петроградского совета и других родственных им организаций был Таврический дворец. С течением времени советские органы все больше и больше обрастали различными комиссиями и подкомиссиями, и скоро во дворце стало попросту тесно. К тому же за полгода "революционная демократия" сумела так загадить бывшую парламентскую резиденцию, что той требовался срочный ремонт. Нужно было искать новое помещение. Жертвой пал Смольный институт благородных девиц. В начале августа сюда перебрались прежние обитатели Таврического. Институток сначала отселили на задворки, а потом и вообще выгнали.

В короткий срок Смольный утратил свой чинный и ухоженный вид. В длинных коридорах, где на дверях еще красовались эмалированные таблички с номерами классов, с утра до вечера толпился народ. На стенах повсюду висели плакаты "Товарищи, для вашего же здоровья соблюдайте чистоту", но никто не обращал на них внимания. В воздухе плавали клубы табачного дыма, а пол покрывал толстый ковер из окурков и прочего мусора. Позже Ф. А. Степун писал: "Сборища Петроградского совета были не заседаниями, а столпотворениями. Здесь все находилось в движении, куда-то неслось, куда-то рвалось. Это была какая-то адская кузница. Вспоминая свои частые заезды в Смольный, я до сих пор чувствую жар у лица и помутнение взора от едкого смрада кругом".[380] В этой, в буквальном смысле удушливой, атмосфере зрела интрига, положившая конец короткой истории "эпохи надежд".

Неудачное выступление генерала Корнилова поставило в положение проигравших почти всех, кто имел к этому какое-то отношение. Сам Корнилов был арестован, его сторонники затаились, рискуя иначе быть обвиненными в "контрреволюции". Формальный победитель — Керенский — проиграл больше всех, поскольку в одночасье лишился былой поддержки. Единственной силой, оказавшейся в выигрыше, стали большевики.

После июльских событий казалось, что с большевиками покончено раз и навсегда. Однако прошло совсем немного времени, и большевики вновь подняли голову. В начале августа из "Крестов" были выпущены Каменев и Луначарский, чуть позже благодаря ходатайству Горького из тюрьмы под домашний арест была отпущена Коллонтай. Партийные организации в провинции вообще фактически не были затронуты репрессиями и продолжали действовать совершенно открыто.

"Мятеж" Корнилова стал для большевиков подарком судьбы. Еще 27 августа 1917 года сразу после обнародования телеграммы Керенского, объявлявшей Корнилова вне закона, большевистский ЦК обратился к рабочим и солдатам с призывом встать на защиту Петрограда. Умеренным социалистам из ВЦИКа пришлось приложить немало усилий, для того чтобы перехватить у большевиков инициативу. В ночь на 28 августа ВЦИК принял решение об образовании "Комитета народной борьбы с контрреволюцией", в который вошли по три представителя от эсеров, энесов, большевиков и меньшевиков, а также делегаты от профсоюзов и крестьянских организаций. Формально большевики в составе комитета составляли меньшинство, но показателен сам факт того, что партия, еще недавно обвиненная в организации государственного переворота, теперь воспринималась как необходимый партнер по коалиции.

К тому же комитет был просто вынужден повторять призывы большевиков. Поступи он иначе, его немедленно обвинили бы в тайном сочувствии контрреволюционерам. В истории русской революции большевики одними из первых открыли для себя несложную формулу — громкий крик вполне компенсирует отсутствие аргументов. Таким образом, большевики явочным порядком присвоили себе право выступать от имени всей "революционной демократии". Было и еще одно немаловажное обстоятельство. Под флагом борьбы с корниловщиной большевистское руководство в ускоренном порядке стало формировать вооруженные отряды Красной гвардии. После ареста мятежного главковерха эти отряды не были распущены, но, напротив, продолжали наращивать численность. К октябрю 1917 года в одном только Петрограде количество красногвардейцев превышало 20 тысяч человек. Можно сказать, что большевики не только полностью восстановили утраченные после июльского выступления позиции, но значительно упрочили их. Результаты этого проявились очень быстро.

Поздно вечером 31 августа 1917 года после десятидневного перерыва в заседаниях собрался пленум Петроградского совета. В зале присутствовало менее половины депутатов, но, несмотря на это, было решено начать работу. От имени большевиков Каменев предложил на обсуждение резолюцию о текущем моменте. В ней категорически осуждались любые формы соглашения с буржуазией и содержался призыв к организации власти из "представителей революционного пролетариата и крестьянства". Против резолюции резко выступили меньшевики и правые эсеры. Прения затянулись на всю ночь. Было уже пять часов утра, когда резолюция наконец была поставлена на голосование. Результат

его оказался ошеломляющим: за большевистскую резолюции проголосовало 279 депутатов, против — 115, при 51 воздержавшемся.

Конечно, и раньше бывали случаи, когда Совет принимал предложения большевиков. Однако до сих пор это касалось частных вопросов, сейчас же речь шла о программной резолюции. По сути дела, это означало коренное изменение всего политического курса — поворот от идеи общенациональной коалиции к сознательному разрыву со всеми несоциалистическими элементами. Для президиума, где преобладали меньшевики и эсеры, это было категорически неприемлемо. В ответ на принятую резолюцию президиум заявил о своей готовности подать в отставку.

У большевистских лидеров неожиданный успех тоже вызвал некоторую оторопь. Они еще не были готовы к полному разрыву с другими советскими партиями. К тому же в отсутствие Ленина (он, напомним, скрывался в Финляндии) у большевиков не было вождя, чьи распоряжения выполнялись бы беспрекословно. Впрочем, очень скоро такой человек появился.

4 сентября 1917 года из "Крестов" под денежный залог в 3 тысячи рублей был выпущен Троцкий. В предыдущие годы политическая карьера Троцкого отличалась немалыми метаниями. Было время, когда он резко полемизировал с Лениным, за что и заслужил от того самые нелестные характеристики. Но с момента возвращения в Россию весной 1917 года Троцкий выступал плечом к плечу с Лениным, хотя в рядах большевистской партии формально не состоял. Лишь в августе, когда сам Троцкий находился в тюрьме, группа "межрайонцев", к которой принадлежал и он, влилась в состав большевиков.

Троцкий был как будто создан для революции: он обладал ярко выраженной харизмой и умел вести за собой массы. Как оратор он не уступал Керенскому, а может быть, даже превосходил его. Один из современников, которому пришлось слушать и Троцкого, и Керенского, оставил любопытное сравнение ораторской манеры того и другого: "Выступление Керенского носило показной, мелодраматичный характер. Он так часто говорил "я", что создавалось впечатление, что он говорил лично о себе, а не о России. Он демонстрировал, с каким трудом ему дается каждое слово". Совсем по-другому, просто, без дешевых эффектов говорил Троцкий: "Его речь длилась три часа, и он ни разу не произнес местоимения "я"".

Керенский на трибуне вел себя как актер на сцене, его слушатели получали заряд эмоций, но не более того. Троцкий давал четкие указания к действию, понятные любому. Тот же

мемуарист писал: "Я хорошо помню, как закончились эти выступления. Троцкий выглядел усталым, но спокойно сошел с трибуны. Керенский спускался, едва ли не падая, всем своим видом показывая, насколько он обессилел. Мне было ненавистно все, о чем пытался сказать Троцкий, и я от всего сердца желал, чтобы прав оказался Керенский. Но правильную речь произнес, к сожалению, не Керенский".[381] Троцкому было суждено сыграть важнейшую роль в деле прихода большевиков к власти, но до этого стране предстояло пережить еще немало бурных событий.

Итак, руководство Петроградского совета заявило о своей готовности подать в отставку. На самом деле уходить никто не собирался — заявление об отставке было всего лишь способом надавить на оппонентов. В любом случае новое пленарное заседание, где этот вопрос должен был обсуждаться, грозило вылиться в ожесточенную борьбу между большевиками и умеренными социалистами.

Это заседание, которому суждено было стать историческим, открылось в большом зале Смольного вечером 9 сентября 1917 года. Обе стороны заранее готовились к бою и постарались мобилизовать максимальное число своих сторонников. В итоге собралось более тысячи человек — зал был набит, что называется, под завязку. Открывая заседание, председатель Петросовета Чхеидзе объявил об отставке президиума. Причиной этого он назвал принятие на предыдущем пленарном заседании резолюции, "отвергающей политику, которой все время держался президиум и большинство Совета". Выступивший от имени большевиков Каменев говорил в более примирительном тоне. Он сказал, что большевики вовсе не требуют отставки руководства Совета. Их вполне устроит, если в состав президиума на пропорциональных началах будут введены представители их партии.

Но эсеро-меньшевистское руководство Совета решило сыграть "ва-банк". На голосование был поставлен вопрос о доверии существующему президиуму. Расчет был на то, что большинство сидящих в зале выскажется в поддержку прежних лидеров и тем самым большевистская резолюция, ставшая причиной конфликта, будет автоматически отменена. При подготовке голосования выяснилось, что в списках президиума нет фамилии Керенского. Напомним, что в мартовские дни он не только был избран в состав Исполкома Совета, но даже фигурировал там как товарищ председателя. На практике Керенский если и посещал заседания Совета, то как министр, человек со стороны. Тем не менее решение о его избрании никто не отменял.

Большевики воспользовались этой деталью, для того чтобы

еще раз повторить свое предложение. Если президиум счел возможным изменить свой состав, исключив Керенского, то почему бы таким же образом не включить дополнительно представителей большевистской партии? В защиту Керенского выступил Церетели. Он заявил, что Керенского никто не исключал, просто в список вкралась ошибка. За это немедленно ухватился Троцкий. Он обратился к сидящим в зале: "Вы видите — сейчас между Даном и Чхеидзе сидит призрак Керенского. Помните, что, одобряя линию поведения президиума, вы будете одобрять линию Керенского".

Обратим внимание на этот момент. Еще совсем недавно ссылка на то, что тот или иной вопрос поддерживает Керенский, была решающим аргументом "за". Теперь близость к Керенскому воспринималась как фактор дискредитирующий. Более очевидного показателя катастрофического падения авторитета премьера придумать нельзя.

Голосование о доверии президиуму было обставлено сложной процедурой, дабы результаты его нельзя было подвергнуть сомнению. Все участники заседания вышли из зала в вестибюль. У дверей, ведущих в зал, было поставлено два стола — у одного отмечали тех, кто голосовал "за", у другого — "против". Каждый депутат должен был предъявить удостоверение, которое затем сличалось со списками членов Совета. В результате баллотировка затянулась до четырех часов утра. Итог был катастрофичен для прежнего руководства; за президиум подали свои голоса 414 депутатов, против — 519, воздержалось — 67.

Большевики одержали полную победу. Конечно, считать их господами положения было рано. Меньшевики и эсеры удерживали в своих руках ВЦИК. Однако, учитывая резкое полевение масс, можно было ждать, что и во ВЦИКе они долго не продержатся. Угроза большевистского переворота с каждым днем становилась все более очевидной.

ДОПРОС

В те дни, когда решалась судьба Петроградского совета, Керенского в столице не было. Он еще 5 сентября отбыл в Могилев и задержался там почти на неделю. Что могло заставить главу правительства покинуть Петроград в тот момент, когда еще не была сформирована новая власть и его личное присутствие требовалось каждую минуту? Недоброжелатели, которых становилось все больше, говорили, что Керенский заметает следы.

Скорее всего, это не так. Скрыть что-то в корниловской истории было невозможно, слишком много оставалось свидетелей, в том числе и главный — сам генерал Корнилов. Это может показаться странным, но за все время пребывания в Могилеве Керенский даже не попытался встретиться с Корниловым. Премьер провел все эти дни в вагоне личного поезда на железнодорожных путях близ вокзала и почти не выезжал в город. Керенский вызвал к себе Алексеева и потребовал от него немедленно провести чистку Ставки от контрреволюционных элементов. Нетрудно было понять, что речь идет о репрессиях против тех, кто сочувствовал Корнилову. Алексеев не счел возможным взять на себя такие обязанности и подал в отставку. Единственное, что он сумел сделать, — это настоять на назначении своим преемником начальника штаба Западного фронта генерала Н. Н. Духонина. По своей прежней работе Духонин хорошо знал особенности функционирования Ставки. К тому же он не скрывал своих симпатий к Корнилову, а значит, в случае необходимости мог вступиться за арестованных.

Корнилов и его соратники содержались под стражей в помещении гостиницы "Метрополь". Внутренние посты в здании занимали всадники-туркмены из состава Текинского полка, который прежде выполнял роль личного конвоя Корнилова. В Могилеве продолжал находиться и Корниловский полк. Каждый день около полудня командир полка капитан М. О. Нежендев нарочно проводил корниловцев мимо "Метрополя". Под окнами гостиницы командир командовал "смирно!", и полк проходил расстояние до угла здания, чеканя шаг как на параде.

Керенского страшно раздражали такие проявления симпатии к опальному главковерху. По его приказу арестованные были переведены в Старый Быхов — маленький городок верстах в сорока от Могилева ниже по течению Днепра. Переезд был назначен на 11 сентября, днем, но известие об этом вызвало большое скопление любопытствующей публики. По этой причине

всё было перенесено на ночное время. В три часа пополуночи к "Метрополю" были поданы автомобили, на которых арестованных перевезли к поезду, стоявшему (опять же из соображений конспирации) не у пассажирской, а у товарной платформы. Здесь арестованных разместили в комфортных вагонах 1-го и 2-го классов. Для того чтобы не будить пассажиров среди ночи, поезд на несколько часов задержался на промежуточной станции и прибыл в Быхов уже утром.

Быхов был крохотным городком, где русское, белорусское, польское и еврейское население перемешалось в невообразимую кашу. Среди деревянных домиков явно выделялось двухэтажное каменное здание, окруженное фруктовым садом. Когда-то, во времена Речи Посполитой, здесь был монастырь бенедиктинцев, а в последнее время располагалась женская гимназия. Этот-то дом с необычайно толстыми стенами и сводчатыми потолками стал тюрьмой для Корнилова и его сподвижников.

В Быхове арестованным было разрешено встречаться с родными. С особого разрешения коменданта тюрьмы допускались и посторонние. Показательно, что ни один из политиков, ранее заявлявших о своем сочувствии корниловскому движению, не счел нужным навестить опального главковерха. Почти не было среди визитеров и старших воинских чинов. Зато рядовые офицеры и даже гимназисты были готовы часами стоять у забора, для того чтобы хотя бы на расстоянии увидеть тех, кто в их понимании были героями и мучениками.

Распоряжением Керенского была назначена Чрезвычайная следственная комиссия для расследования дела о попытке государственного переворота. Во главе ее был поставлен главный военно-морской прокурор И. С. Шабловский. Как и многие другие сотрудники ведомства юстиции, он в недавнем прошлом был адвокатом и знакомым Керенского. Членами комиссии стали военные юристы полковники Н. П. Украинцев и Р. Р. Раупах, а также следователь по особо важным делам Н. А. Колоколов. Позже в состав комиссии были введены меньшевики М. И.Либер и В. Н. Крохмаль — в качестве представителей от ВЦИКа и И. Г. Харламов — представлявший Совет Союза казачьих войск.

Фактически комиссия была образована 31 августа 1917 года, но по настоянию Керенского на документе о ее создании была поставлена дата двумя днями ранее. Как свидетельствует Украинцев, будущие члены комиссии были вызваны в Зимний дворец поздно ночью. Здесь их встретили Керенский и министр юстиции Зарудный. Керенский коротко сообщил о решении начать следствие по "корниловскому делу" и познакомил приглашенных с текстом правительственного постановления на

эту тему. Далее разыгралась странная сцена. "Какое же число ставить?" — спросил Керенский. Время было около часа ночи, следовательно, надо было поставить 31-е. Между тем постановление должно было в тот же день появиться в утренних газетах, и было бы непонятно, когда же оно составлено. "Ну, значит, поставьте 30-е", — сказал Зарудный. "Нет, мне не хочется, чтобы этот акт носил дату 30-е по личным моим интимным причинам". Все с недоумением молчали. Керенский, щурясь и улыбаясь, смотрел вокруг себя. "Да ведь сегодня день Александра, вы не именинник ли?" — спросил Зарудный. "Да, и мне не хочется в этот день ставить свою подпись под таким актом, вы ведь меня понимаете. Давайте, я поставлю 29-е число".[382] Таким образом, история комиссии началась с подлога. Повторим, что решение о ее создании было принято лично Керенским и лишь потом, задним числом, включено в журнал заседаний Временного правительства от 30 августа 1917 года.

С первых же дней своей работы комиссия почувствовала сильное давление со стороны премьера. Керенский не особо скрывал, что он уже сформулировал обвинение. Предполагалось, что Корнилов и его соратники будут осуждены по статьям 108 ("Коллективный заговор") и 110 ("Государственная измена") Уголовного уложения, подразумевавшим наказание вплоть до смертной казни. Однако Чрезвычайная комиссия, рассмотрев обстоятельства дела, пришла к выводу, что признаков государственной измены в нем не содержится.

Комиссия выступила с инициативой переквалифицировать обвинение по статье 100 ("О бунте против верховной власти и о преступлениях против священной особы императора и членов императорского дома"). Эта статья предусматривала наказание от бессрочной каторги до смертной казни. Но дело было не в этом. Сотая статья передавала вынесение приговора гражданскому суду, в то время как 108-я входила в компетенцию военно-революционных судов. Керенский получил бы максимум удовлетворения, предав Корнилова суду, учрежденному по его же инициативе. Но Керенский вовсе не собирался казнить Корнилова. Он говорил об этом много раз, и нет оснований ему не верить. Для него лучшим выходом было бы дождаться смертного приговора, а потом отменить его своей властью.

Однако чем дальше работала комиссия Шабловского, тем больше у нее возникало вопросов к самому Керенскому. Уже были допрошены все главные участники корниловской истории, но премьер под разными предлогами уклонялся от встречи со следователями. Шабловскому пришлось употребить все свое влияние, чтобы добиться согласия Керенского. Долгожданная

беседа состоялась 8 октября 1917 года. Члены комиссии были приглашены в Зимний дворец, где их провели в бывшую царскую библиотеку. Громадная комната в три окна выходила на Неву. В простенках между окнами стояли дубовые кресла с высокими резными спинками. В одном из них и устроился Керенский.

Однако парадная мебель оказалась очень неудобной. В таком кресле можно было сидеть, только выпрямив спину и положив руки на подлокотники, что сразу превращало кресло в трон. Второй вариант — сгорбиться и положить руки на колени — придавал сидящему позу обвиняемого. Керенский нашел выход: он расположился поперек сиденья, оперевшись спиной об один из подлокотников. В результате ноги ему пришлось сплести в странный узел и упереться ими в другой подлокотник. По словам Украинцева, "картина была настолько неприличная, что вызвала потом резкое замечание даже милейшего Либера, такого скромного и непритязательного".

Шабловский начал задавать Керенскому вопросы, сверяясь с заранее приготовленной бумажкой. Керенский отвечал пространно, но совершенно не по существу. Члены комиссии все больше мрачнели — цель беседы так и оставалась недостигнутой. Первым не выдержал Раупах. Он поставил перед Керенским очередной вопрос и потребовал прямого ответа — "да" или "нет". Реакция Керенского была неожиданной. Он буквально взвился и стал отчитывать Раупаха. Керенский не говорил, а кричал, что в былые времена никто и не посмел бы допросить главу правительства. Его добрую волю надо ценить, а не подозревать его невесть в чем. После этого всем стало неловко. Шабловский объявил, что допрос закончен.

Керенский вел себя настолько вызывающе, что получил выговор даже от стенографистки, записывавшей встречу. Княжна Туманова в этом качестве работала еще в Государственной думе и на правах старой знакомой не слишком церемонилась с премьером: "Мне стыдно за вас, Александр Федорович, за ваше обращение с комиссией". Вряд ли это очень смутило Керенского. Его знаменитые истерики давно уже были частью его образа. Но вот что интересно: каждый раз, изучая обстоятельства того или иного шумного скандала, затеянного Керенским, ловишь себя на мысли, что вся сцена была им тщательно разыграна. Чаще всего Керенский использовал этот прием для того, чтобы уйти от прямого ответа на больной для него вопрос. Несколько минут крика, поза человека, оскорбленного в лучших чувствах, — и обескураженный собеседник забывал, что он хотел спросить.

В данном случае Керенскому явно не хотелось углубляться в подробности корниловской истории. Он понимал, что его

поведение может быть истолковано как прямая провокация. В начале 1918 года скрывавшийся от большевиков экс-премьер нашел время для того, чтобы отредактировать в благоприятном для себя духе свои показания перед комиссией Шабловского. Под названием "Дело Корнилова" они были выпущены отдельной книжкой в самый разгар Гражданской войны. Удивительно, но и позже Керенский чаще винил в своих неудачах Корнилова, а не Ленина. Причина этого просматривается довольно легко — приверженцев большевизма в кругах русской эмиграции практически не было, а вот сторонников Корнилова — более чем достаточно. Бегство от большевиков Керенскому бы простили, предательство же Корнилова не простили никогда.

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

Идея созыва совещания, на котором были бы представлены все демократические силы страны, была выдвинута ВЦИКом на заседании 31 августа 1917 года. За образец было взято еще не забытое Государственное совещание в Москве, но на этот раз в участии было отказано всем общественным и политическим организациям несоциалистического толка. Это было принципиальное отличие. Если Московское совещание собирали под лозунгом создания общенационального фронта, то новая конструкция могла лишь усугубить раскол в обществе. Безапелляционно записав все буржуазные элементы в разряд "корниловцев", лидеры ВЦИКа тем самым подталкивали Россию к гражданской войне.

Разработанные на скорую руку нормы представительства на совещании вызывали большие вопросы. Из общего количества мест 150 предполагалось отдать Советам рабочих и солдатских депутатов, столько же — крестьянским Советам, 150 мест — кооперативам, 100 — профсоюзам, 84 — полковым и армейским комитетам, 50 — земствам, а остальное (в лучшем случае по десять мест) — железнодорожному, учительскому союзам, союзу служащих, казачьим организациям и т. д.

Немедленно начались споры: городские думы и земства потребовали увеличения представительства, под их нажимом первым было выделено 300 мест, вторым — 200. С 300 до 460 человек была увеличена доля делегатов от Советов. В итоге число участников совещания выросло до полутора тысяч. Для такого количества людей трудно было подобрать помещение. После долгих поисков выбор пал на Александринский театр.

Открытие Демократического совещания было намечено на 14 сентября 1917 года. Прошел всего месяц со времени Государственного совещания в Москве, и могло показаться, что история повторяется снова в мельчайших подробностях. Вновь театральный зал, бархат кресел и золоченые ярусы. Вновь гигантская масса публики, шум и спертый воздух. Разве всё было беднее и грязнее. На сцене стоял длинный стол президиума, по бокам которого в виде украшения были установлены две кадки с пальмами. К столу был прикреплен плакат, где большими буквами было написано "Не курить!".

Заседание началось в полшестого вечера — почему-то все созданные революцией органы власти тяготели к ночным бдениям. Открыл заседание Чхеидзе. Его речь была пронизана пессимизмом. За полгода революции Россия скатилась к

пропасти. "Вместо скачка в царство свободы мы сделали скачок в царство анархии". Стране нужна ответственная власть, способная предотвратить новые контрреволюционные выступления. Чхеидзе еще был на трибуне, когда в зале появился Керенский. Еще недавно это было бы встречено овацией, сейчас по залу прошел только легкий шумок.

Впрочем, когда Керенский попросил слова, это, как и прежде, вызвало оживленные аплодисменты. Окрыленный поддержкой, Керенский начал свою речь. Он построил свое выступление по обычным канонам, но не учел, что публика в зале совсем не та, к которой он привык. Керенский пытался апеллировать к аудитории, подталкивая ее к нужной реакции. До сих пор это срабатывало безотказно, но на этот раз все пошло вкривь и вкось.

"Временное правительство поручило мне приветствовать настоящее собрание, — начал Керенский, — но я не могу говорить, прежде чем не почувствую, что здесь нет никого, кто мог бы мне лично бросить упреки и клевету, которые раздавались в последнее время". Керенский не успел кончить фразу, как из зала раздались громкие крики: "Есть! Есть!" Начался шум, и председательствующему Чхеидзе с трудом удалось навести порядок.

Керенский был явно растерян, но ему оставалось только делать вид, что он ничего не замечает. "Позвольте мне в кратких чертах изложить то, что называется корниловщиной, и то, что, я могу сказать по праву, было мной вскрыто и уничтожено". Немедленно из зала раздались крики: "Не вами, а демократией и Советами!" Керенский попытался взять примирительный тон: "Да, демократией, так как всё, что я делал, я делал ее именем". По словам Керенского, о готовящемся заговоре он знал за месяц. "Я знаю, чего они хотели, потому что, прежде чем искать Корнилова, они приходили ко мне и предлагали этот путь". "Кто приходил?! Кто предлагал?!" — закричали из зала. Керенский смешался, что происходило с ним крайне редко. Он почти скороговоркой повторил уже известный всем по газетам рассказ о визите Львова.

Казалось, оратор забыл, что он собирался говорить. Керенский уже было повернулся, чтобы уйти с трибуны, но после секундного колебания вновь обратился к залу. Теперь он говорил о растущей анархии, о немецкой угрозе, о попранной свободе. Из зала в ответ кричали: "А смертная казнь?!" Керенский не выдержал: "Я говорю вам, кричащим оттуда: подождите сначала, когда хотя бы один смертный приговор будет подписан мною, Верховным главнокомандующим, и я тогда позволю вам проклинать меня". Нельзя не увидеть искренности этих слов, но как оратор Керенский позволил себе недопустимый промах — он

начал оправдываться перед слушателями. Видимо, почувствовав это, он закончил выступление уже на другой ноте: "Когда я прихожу сюда, я забываю всю условность положения, то место, которое я занимаю, и говорю с вами как человек. Но человека не все здесь понимают, и тогда я скажу вам тоном власти. Кто осмелится покушаться на свободу республики, кто осмелится занести нож в спину русской армии, тот узнает власть Временного правительства, правящего доверием всей страны".[383] Керенский сошел с трибуны под аплодисменты публики, но это была не прежняя восторженная овация, а нечто весьма напоминающее обструкцию. Этот раунд он проиграл и вполне понимал, что произошло.

В последующие дни работа Демократического совещания приняла рутинный характер. Сменяя друг друга, выступали ораторы от разных политических групп, а переполненный в первый день зал был теперь заполнен в лучшем случае на четверть. Суханов вспоминал: "Внимание быстро притупилось; коридоры и буфет были переполнены. Пожалуй, делегаты удерживались в Александринке только ожиданием какой-ни-будь сенсации, скандала, а также надеждой, что в один прекрасный день будут прекращены осточертевшие прения и они понадобятся для "решающего" вотума".[384]

Скучавшие в ложе прессы журналисты оживлялись лишь тогда, когда на сцену поднимался кто-то из ораторов-большевиков. Среди тех делегатов Демократического совещания, кто указал свою партийную принадлежность, большевиков было всего 134 человека. Однако вели они себя как хозяева положения. Правда, так казалось только на первый взгляд. На самом деле внутри большевистского руководства тоже не было единства по вопросу о линии поведения в сложившейся обстановке.

Главной проблемой было отсутствие в Петрограде Ленина. Выдвинутые против него в июле обвинения так и не были сняты. Говорили, что Керенский специально отдал приказ караулу, охранявшему театр, арестовать Ленина и Зиновьева, если они решат появиться на совещании. Но Ленин по-прежнему оставался в Финляндии. Хотя расстояние между Гельсингфорсом и Петроградом можно было преодолеть на поезде за несколько часов, Ленин ощущал себя в изоляции и ежедневно забрасывал ЦК письмами.

В первые дни после завершения корниловской истории Ленин пребывал в уверенности, что вопрос о создании социалистического правительства, ответственного перед Советами, может быть решен в ближайшее время. С этой целью он был готов идти на соглашение с меньшевиками и эсерами. Но

образование директории и попытки Керенского сформировать новую коалицию заставили лидера большевиков вернуться к политике противостояния. В разгар работы Демократического совещания в большевистском ЦК были получены два письма от Ленина. Он призывал партию немедленно начать готовиться к вооруженному восстанию. Ленин требовал, не теряя времени, "организовать штаб повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные полки на самые важные пункты, окружить Александринку, занять Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правительство…".[385]

Призывы Ленина стали неожиданностью для его соратников. На заседании большевистского ЦК 15 сентября 1917 года было решено, что содержание ленинских писем не должно выйти за пределы высшего руководства партии. Каждый из участников этой встречи помнил неудачное июльское выступление. Было ясно, что второго разгрома партия не переживет. В итоге большевистская декларация, зачитанная 18 сентября на заседании Демократического совещания, была выдержана в сравнительно умеренном духе и ограничивалась призывом к передаче политической власти Советам, не подкрепленным какими-то конкретными шагами.

К этому времени стало очевидно, что совещание зашло в тупик. Надежды на то, что делегаты, собравшиеся в Александринском театре, выработают программу выхода из кризиса, быстро пошли прахом. Всё обсуждение в конечном итоге свелось к одной проблеме — допустимости создания новой коалиции. Решающее голосование состоялось 19 сентября. За возможность коалиции высказались 766 человек, против — 688, воздержались — 38. Учитывая количество голосовавших, перевес сторонников коалиции был не таким большим. Но и на этом дело не кончилось. На голосование были поставлены две предложенные ранее поправки. Первая заявляла о невозможности коалиции с теми элементами кадетской партии, которые проявили свою причастность к Корниловскому мятежу. Вторая поправка распространяла этот отказ на всю кадетскую партию. В итоге обе поправки были приняты подавляющим большинством.

Ситуация запуталась вконец. Делегаты одобрили коалицию с буржуазией, но отказали в праве участвовать в ней единственной буржуазной партии. Когда же на голосование была поставлена уже принятая резолюция с учетом поправок, те же делегаты, которые часом раньше проголосовали "за", теперь высказались против коалиции. Это вызвало растерянность у большинства участников Демократического совещания. Единственным выходом, устроившим всех, стала передача окончательного

решения в президиум, пополненный для этого случая представителями фракций.

У основной части делегатов Демократического совещания главным впечатлением от его работы осталось чувство напрасно потраченного времени. Российская "революционная демократия" даже в предельно критической ситуации так и не сумела преодолеть внутренний раскол и ставшие уже привычными колебания. Это играло на руку единственной политической силе — большевикам.

ТРЕТЬЯ КОАЛИЦИЯ

Провальный исход Демократического совещания сыграл на руку и Керенскому. Раскол, царивший в рядах левых, превращал его в незаменимую фигуру. Теперь он мог поступать по своему усмотрению, поскольку единого мнения совещание так и не выработало.

Утром 20 сентября 1917 годав Смольном, где согласно принятому накануне решению собрался расширенный президиум, появился посланец из Зимнего дворца. Он привез письмо от Керенского, где тот сообщал, что в сложившейся ситуации он намерен руководствоваться итогами первоначального голосования, одобрившего сам принцип коалиции. По этой причине он уже обратился к ряду видных представителей цензовой общественности с предложением о вхождении в состав правительства.

Позиция Керенского стала неприятной неожиданностью для собравшихся в Смольном. Дело в том, что буквально за час до этого вопрос о коалиции вновь был поставлен на баллотировку и провален 60 голосами против 50. Ввиду вновь открывшихся обстоятельств участники совещания приняли решение временно отложить принятие окончательной резолюции и пригласить премьер-министра для объяснений. Керенский прибыл в Смольный около пяти часов вечера. Не тратя времени, он подошел к трибуне и обратился к собравшимся с речью. На этот раз в ней не было эффектных ораторских приемов — Керенский был непривычно лаконичен и сух. Он привел страшные факты, свидетельствующие о назревающей катастрофе, и обвинил левые партии в нежелании прийти на помощь стране. Закончил он словами о том, что готов подчиниться любому решению Демократического совещания, но если делегаты санкционируют создание однородного социалистического правительства, он, Керенский, в его состав не войдет.

Едва закончив выступление, Керенский покинул здание Смольного. Он знал, что делает, — бóльшая часть президиума совсем не хотела его ухода. За семь месяцев революции он до такой степени стал олицетворением власти, что, казалось, без него всё немедленно рухнет. После отъезда Керенского спор о коалиции было решено на время прекратить.

В последние дни работы Демократического совещания сразу у нескольких фракций возникло предложение сформировать из состава присутствующих в зале делегатов постоянно действующий орган, который бы контролировал деятельность

правительства вплоть до созыва Учредительного собрания. Название для него сразу не подобрали и в просторечии чаще именовали "предпарламентом". Сейчас по предложению Церетели было решено оставить вопрос о допустимости коалиции на усмотрение "предпарламента". Это был не лучший выход из ситуации, но другого никто предложить не мог.

Между тем в Александринском театре делегаты Демократического совещания ждали, чем закончится заседание президиума. Наконец, за полчаса до полуночи, члены президиума заняли свои места на сцене. Церетели проинформировал собравшихся о том, что общий язык все же найден. Решение о создании "предпарламента" было принято абсолютным большинством голосов. Большевики еще пытались сорвать принятие резолюции, цепляясь к каждой фразе, но основная масса присутствующих попросту не имела сил не только говорить, но и слушать. Разошлись делегаты уже под утро, усталые и окончательно запутавшиеся.

Весь следующий день прошел в переговорах о составе "предпарламента". Каждая фракция стремилась делегировать во вновь создаваемый орган как можно больше своих представителей. В четвертом часу пополудни Демократическое совещание собралось на свое последнее заседание. Никаких принципиальных решений в этот раз принимать не предполагалось, но все равно не обошлось без конфликта. Большевистская делегация заявила, что совещание капитулировало перед буржуазией и потому вопрос о переходе власти в руки Советов встает еще более неотложно. На этой ноте Демократическое совещание закончило работу. Чхеидзе объявил заседание закрытым. Кто-то было затянул "Марсельезу", но песня оборвалась на второй строке. Зал быстро опустел, и лишь кучи мусора на заплеванном полу напоминали о том, что здесь только что заседал цвет российской "революционной демократии".

Сразу после этого члены президиума Демократического совещания отправились в Зимний дворец, где их уже ждали министры, а также некоторые особо приглашенные Керенским общественные деятели. Открывая встречу, Керенский сказал, что хотя решения Демократического совещания имеют большое моральное значение, но для Временного правительства они не являются обязательными. По словам Керенского, он по-прежнему убежден в том, что только широкая коалиция способна спасти страну от катастрофы.

Собственно, с этим никто и не спорил. Хотя идея коалиции формально так и не была одобрена Демократическим совещанием, на деле лидеры меньшевиков и эсеров давно

смирились с ней. Главные столкновения на этот раз вызвал вопрос о составе и полномочиях "предпарламента". Левые согласились пополнить его за счет цензовых элементов, но отстаивали право выражать недоверие правительству. Против этого категорически выступили присутствующие на заседании представители ЦК кадетской партии. Они требовали сохранения полной самостоятельности правительства. Кадеты же предложили и новое название будущего представительного органа — вместо Демократического совета, как предлагали левые, — Временный Совет Российской республики.

Дискуссия затянулась далеко за полночь и была продолжена на следующий день. Общее решение так и не было найдено. Представители левых продолжали настаивать на своем. Их можно понять — любая уступка немедленно дала бы большевикам повод обвинить лидеров умеренных социалистов в капитуляции перед буржуазией. Но на практике левые не противились действиям правительства. Такая позиция была далеко не лучшей и в любой момент могла вылиться в новый кризис.

Одновременно с этим Керенский продолжал переговоры с кандидатами на министерские посты. Окончательно новое правительство было сформировано к вечеру 25 сентября 1917 года. Керенский сохранил в нем должность министра-председателя. Остались в своих креслах военный министр генерал Верхов-ский, военно-морской — адмираи Вердеревский, министр внутренних дел Никитин и иностранных дел Терещенко. Что касается последнего, то его влияние существенно ослабло. Керенский не простил прежнему соратнику колебаний, проявленных в корниловские дни. Отправить Терещенко в отставку было нельзя, так как в ближайшее время в Париже предстояла конференция стран-союзниц и другой человек попросту не успел бы войти в курс дела. Однако с должностью заместителя министра-председателя Терещенко пришлось распрощаться.

Новым заместителем Керенского стал вновь назначенный министр торговли и промышленности А. И. Коновалов, уже занимавший этот пост в первом составе правительства. Напомним, что, как и Терещенко, Коновалов был масоном и в этом отношении был связан с Керенским с дореволюционной поры. Коновалов представлял в кабинете министров предпринимательские круги. От этой же группы в правительство был делегирован известный московский фабрикант С. Н. Третьяков, занявший должность председателя экономического совета в ранге министра.

Социалисты в третьей коалиции не были представлены

громкими именами. Новым министром юстиции стал московский адвокат П. Н. Малянтович, считавшийся меньшевиком. Должность министра труда занял другой меньшевик — К. А. Гвоздев. Министром продовольствия был назначен "нефракционный социалист" С. Н. Прокопович, в прежнем составе правительства возглавлявший Министерство торговли и промышленности. На пост министра земледелия, пустовавший до начала октября, позже был назначен эсер С. Л. Маслов.

Кадетская фракция в новом составе правительства была более заметной: государственный контролер С. А. Смирнов, министр исповеданий А. В. Карташов, министр государственного призрения Н. М. Кишкин. Последний играл в правительстве особую роль, несмотря на то что занимаемый им пост никак нельзя было отнести к числу первостепенных. Врач по образованию, Кишкин был давним знакомым Керенского. Когда-то Керенский даже лечился в принадлежавшем Кишки-ну санатории. Керенский очень ценил энергичный характер Кишки на и его огромные связи. Начиная с июля Керенский трижды предлагал Кишкину министерский пост и наконец заручился его согласием.

Для того чтобы завершить рассказ о новом составе Временного правительства, нужно вспомнить министра финансов М. В. Бернацкого и министра путей сообщения А. В. Ливеровского. Оба они переместились в министерские кресла с должностей товарищей министра и считались технократами, сознательно чуравшимися политики.

Третье коалиционное правительство (оно же — четвертое по счету со времени революции) изначально производило впечатление нежизнеспособного. В нем не было заметных фигур, вроде Милюкова или Церетели. Уже это свидетельствовало о том, что и правые, и левые в равной мере не верили в то, что кабинет в данном составе проработает длительное время. Казалось, это должно было быть на руку Керенскому. Он наконец достиг того, к чему стремился всегда, — в новом правительстве у него не было соперников из числа других министров. Но и сам Керенский к этому времени очень сильно изменился.

Он тоже устал и потерял интерес к происходящему. Те, кто общался с ним в эти дни, обратили внимание на странные перепады настроения министра-председателя. По утрам он пребывал в состоянии депрессии. Общаться с ним в это время было бесполезно — Керенский откровенно тяготился присутствием собеседника и всячески пытался поскорее закончить разговор. К вечеру этот упадок энергии неожиданно сменялся состоянием крайнего возбуждения. Вялое молчание

переходило в безудержную разговорчивость — Керенскому немедленно нужно было куда-то ехать, с кем-то встречаться. Но большинство начатых дел так и оставалось незаконченным и тонуло в очередном приступе утреннего упадка сил.

Поведение премьера возродило слухи о том, что он принимает какие-то сильнодействующие лекарства. Возможно, это было и так. Керенскому действительно было очень сложно — он впервые ощущал полное отсутствие поддержки. Тем не менее он судорожно цеплялся за ускользавшую власть. По мнению Милюкова, Керенским владела навязчивая идея любым способом дотянуть свое пребывание во главе правительства до открытия Учредительного собрания.

Все свои силы Керенский положил на то, чтобы уйти от любых новых конфликтов. В результате деятельность правительства оказалась полностью парализованной. Милюков вспоминал: "В своей вечной нерешительности, в постоянных колебаниях между воздействиями справа и слева Керенский постепенно дошел до состояния, в котором принять определенное решение стало для него истинным мучением. Он избегал инстинктивно этих мучительных минут, как мог".[386] Между тем время уходило, а вместе с ним из рук Временного правительства уходили и последние остатки реальной власти.

"ЧТО-ТО ГОТОВИТСЯ..."

Осенью 1917 года жители Петрограда передавали из уст в уста строки Козьмы Пруткова:

Есть бестолковица,
Сон уж не тот.
Что-то готовится,
Кто-то идет.

Они так подходили к царившей в городе атмосфере, что многие считали их свежей эпиграммой, написанной на злобу дня. "Очень уж точно они передавали то ощущение тревоги, которая с утра нависала над полупустыми улицами. Шли они к переполненным (даже на крышах невесть откуда ехал неведомо чем озабоченный народ) трамваям. Шли они к проносившимся грузовикам: на них в одну сторону мчались какие-то беспогонные солдаты, в другую (а то и вслед за теми) — господа юнкера. Шли к неулыбающимся лицам красногвардейских патрулей. К тем же юнкерам, вышедшим на Большую Спасскую улицу (значит — "павлоны") — в нарочито чеканном строю с пением бодрого "Вещего Олега"".[387] Люди вставали и ложились спать с лихорадочным, болезненным ощущением грядущих уже в скорое время неприятностей.

3 сентября 1917 года было опубликовано правительственное постановление о созыве Временного Совета Российской республики. Этот орган, который Суханов иронически называл "плодом любви несчастной между Церетели и Набоковым", был составлен на основе представительства главнейших фракций Демократического совещания и пополнен делегатами от организаций и политических групп буржуазного толка. Совет республики должен был функционировать до созыва Учредительного собрания. Так как это намечалось на 20 ноября, то реально "предпарламенту" на все про все отводилось меньше шести недель.

Долго пришлось искать помещение, где разместились бы все 500 с лишним депутатов. В конечном счете выбор пал на все тот же Мариинский дворец, где весной заседало Временное правительство. Правда, из зала пришлось вынести кресла красного бархата и заполнить помещение рядами разномастных стульев — за этот счет была увеличена вместимость. Императорский герб, висевший над председательской трибуной,

был задрапирован красным полотном. Плотный занавес скрыл и знаменитую картину Репина, изображавшую юбилейное заседание Государственного совета в присутствии Николая II.

Заседания "предпарламента" открылись в пять часов вечера 7 октября 1917 года. В тот день с утра лил беспросветный дождь и под стать этому было настроение собравшихся. Интересная деталь — за время революции все привыкли, что ни одно собрание не начинается в точно назначенный срок. Поэтому ко времени открытия работы Совета республики зал был полупустым — депутаты не спешили к положенному часу, полагая, что все равно вовремя не начнут.

Первым на трибуну взошел Керенский. Против ожидания, его речь была короткой и бессодержательной. Премьер помнил свое неудачное выступление на Демократическом совещании и сейчас проявлял осторожность. После этого "бабушка" Бреш-ко-Брешковская, как старейшая из присутствующих, объявила выборы председателя. Большинством голосов таковым был избран бывший министр внутренних дел эсер Н. Д. Авксентьев. Он тоже произнес речь, читая ее по бумажке. Закончил он обращением к союзникам: "С нами всегда великие союзные народы, с нами спаяны они кровью, с нами слиты они в счастье и несчастье, в стремлении к скорейшему почетному миру, и мы им шлем свой горячий братский привет". При этих словах бóльшая часть депутатов встала и разразилась аплодисментами. Сидеть продолжали только большевики и примкнувшая к ним небольшая фракция меньшевиков-интернационалистов.

Большевики появились в зале с запозданием. Перед этим в течение нескольких часов большевистская фракция проводила закрытые совещания в Смольном. Об этом было широко известно, но никто не знал, какое решение было выработано на этой встрече. Впрочем, тайной это оставалось недолго. Вслед за Авксентьевым слово для внеочередного заявления попросил Троцкий. В своей речи он обвинил Временное правительство в проведении контрреволюционной политики. Троцкий заявил, что большевики не хотят иметь ничего общего с "правительством народной измены" и бесправным "предпарламентом". Закончил он словами: "Мы обращаемся к народу: да здравствует немедленный, честный, демократический мир! Вся власть Советам, вся земля народу! Да здравствует Учредительное собрание!"

В зале поднялся шум, раздались крики: "Мерзавцы!", "Идите в свои опломбированные немецкие вагоны!" Под этот аккомпанемент большевистская фракция покинула заседание.

Уход большевиков показал, что сторонники Ленина не намерены больше придерживаться общих правил игры. В немалой

мере этому способствовало тайное возвращение в Петроград самого большевистского вождя. Мы не знаем точно, когда Ленин вернулся в столицу. Вероятнее всего, это произошло поздним вечером 9 октября. Приказ об аресте Ленина никто не отменял, и ему пришлось принять меры для того, чтобы остаться неузнанным. Гладко бритый, в парике, скрывавшем лысину, он, по словам видевших его в эти дни, был скорее похож на финского крестьянина, чем на лидера рвущейся к власти партии.

Сутки спустя после приезда Ленина в Петроград, 10 октября, состоялось заседание большевистского ЦК — первое с его участием после июльских дней. Проходило оно на Карповке в доме 32, на квартире не раз упоминавшегося Н. Н. Суханова. Сам Суханов числился меньшевиком-интернационалистом, но жена его, Галина Флаксерман, была большевичкой с немалым стажем. Именно она и предложила свою квартиру для предполагавшегося заседания. Суханов и раньше часто ночевал в Смольном или редакции "Новой жизни". Вероятность того, что он появится в этот вечер дома, была невелика, да и жена накануне посоветовала ему не спешить с возвращением.

Заседание ЦК затянулось до трех ночи. Ленин настаивал на необходимости немедленно начать практическую подготовку восстания. "Большинство теперь за нами, — говорил он. — Политически дело совершенно созрело для перехода власти". Иной точки зрения придерживались Зиновьев и Каменев. Зиновьеву также приходилось скрываться, и он в целях конспирации наголо сбрил свою запоминающуюся шевелюру и отрастил бороду. В новом обличье он удивительно напоминал знаменитого депутата-черносотенца Пуришкевича.

Зиновьев и Каменев полагали, что Ленин переоценивает готовность рабочих и солдат поддержать переход власти в руки Советов. Временное правительство, по их мнению, еще пользовалось поддержкой на фронте и в случае необходимости могло вызвать в Петроград верные войска. В такой ситуации выступление большевиков неминуемо будет подавлено.

Очевидно, что позиция Зиновьева и Каменева была вызвана памятью об июльских днях. Подобной позиции придерживались и некоторые другие большевистские руководители, особенно в Москве и провинции. Но на заседании 10 октября большинство присутствующих поддержало Ленина. В подготовленной по итогам дискуссии резолюции говорилось, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело. Таким образом, принципиальное решение было принято. Однако это не означало, что все споры и колебания ушли в прошлое. К тому же техническая подготовка восстания тоже требовала немало

времени и сил.

Центром такой подготовки стал Петроградский совет. Мы уже писали о том, что в начале сентября руководство им перешло в руки большевиков. В том же месяце на пост председателя Совета был избран Троцкий. 12 октября на заседании Исполкома Петросовета было принято решение об образовании Военно-революционного комитета (ВРК). Формально его задачей было организовать оборону столицы на случай наступления немцев. Фактически же ВРК стал штабом готовящегося восстания.

Нельзя сказать, что подготовка большевистского выступления проходила слаженно и организованно. Сама обстановка прогрессировавшей анархии делала невозможным существование каких-либо далекоидущих планов. Соотношение сил сторонников и противников Ленина оставалось неясным вплоть до самого последнего момента. Вечером 15 октября в помещении Лесновско-Удельнинской районной управы на окраине Петрограда собралось расширенное заседание большевистского ЦК. Место встречи было выбрано потому, что председателем управы был большевик М. И. Калинин. В маленькой комнате собралось 25 человек — члены ЦК и представители заводов и гарнизонных частей. В помещении было холодно — печку не топили из соображений конспирации, а за ближайшим забором исходила лаем почувствовавшая чужих соседская собака.

Заседание началось с выступления Ленина, который продолжал горячо отстаивать необходимость вооруженного восстания. Его убежденность заразила многих. Однако Зиновьев и Каменев вновь высказали свои сомнения. Зиновьев утверждал, что, несмотря на принятую 10 октября резолюцию, реальная подготовка восстания не сдвинулась с места. Рабочие и солдаты проявляют осторожность и не готовы поддержать большевистскую партию.

На усмотрение собравшихся было вынесено две резолюции — предложение Ленина, отдававшее ЦК полномочия определить конкретный срок выступления, и Зиновьева, объявлявшее недопустимым какие-то конкретные шаги до созыва съезда Советов. Здесь надо сказать, что решение о созыве II Всероссийского съезда Советов было принято ВЦИКом еще в начале сентября. Открытие съезда намечалось на 20 октября 1917 года, и по многим признакам можно было судить о том, что большевики будут иметь на нем преобладающее влияние.

Обе резолюции были поставлены на голосование. За предложение Ленина высказалось 19 человек, против голосовали двое, четверо воздержались. За резолюцию Зиновьева было подано шесть голосов, 15 проголосовали против, трое

воздержались. В итоге курс на вооруженное восстание получил новое подтверждение. Тем не менее тот факт, что треть собравшихся высказалась против выступления, свидетельствовал о том, что в рядах самой большевистской партии единодушия по этому вопросу не было. Впрочем, ситуация в эти дни менялась так быстро, что всё могло в одночасье повернуться на 180 градусов.

УПУЩЕННЫЕ ШАНСЫ

Было бы неверно полагать, что Временное правительство не знало о готовящемся восстании. Уже 14 октября "Газета-Копейка" поместила сообщение о том, что по городу ходят слухи о предстоящем выступлении большевиков, приуроченном к съезду Советов. Днем раньше этот вопрос поднял в своем выступлении с трибуны Временного Совета республики Керенский. В ответ на упреки в бездействии он сказал, что "Временное правительство в курсе всех предположений и полагает, что никаких оснований для паники не должно быть. Всякая попытка противопоставить воле большинства и Временного правительства насилие меньшинства встретит достаточное противодействие".

Еще совсем недавно Керенский любил повторять о своей готовности умереть за свободу. Публика привыкла воспринимать это исключительно как ораторский прием. Сейчас же в словах Керенского прозвучала искренняя тоска: "Я человек обреченный, мне уже безразлично, и смею сказать: это совершенно невероятная провокация, которая сейчас творится в городе большевиками… Нет сейчас более опасного врага революции, демократии и всех завоеваний свободы, чем те, которые под видом демократических лозунгов, под видом углубления революции… развращают и, кажется, развратили уже массы до того, что они перестали отличать борьбу с властью от погромов…"[388]

Кажется, Керенский действительно понял, что для него все кончено. По какому бы сценарию ни развивались в дальнейшем события — будь то приход к власти большевиков или реванш сторонников Корнилова — места Керенскому бы не нашлось. От былой его энергии не осталось ничего. Керенский тяготился Петроградом именно потому, что присутствие в столице требовало от него каких-то конкретных шагов, а у него не осталось на это ни сил, ни возможностей.

Поведение премьера фактически парализовало работу всего правительства. Керенский приложил немало усилий для того, чтобы завязать всю власть на себя. Теперь эта модель проявила свои отрицательные стороны — глава кабинета пребывал в бездействии, а остальные министры не решались взять инициативу на себя. С большим трудом Коновалову удалось добиться того, чтобы правительство выслушало начальника штаба Петроградского военного округа генерала Я. Г. Баг-ратуни. Его выступление на заседании 14 октября произвело на присутствующих самое гнетущее впечатление. Петроградский

гарнизон ненадежен и скорее сочувствует большевикам, никаких мер по пресечению готовящегося восстания не предпринимается, в настоящий момент правительство не способно защитить себя.

Услышанное должно было заставить Керенского немедленно включиться в работу, но он в тот же вечер покинул столицу и отбыл в Ставку. Вернулся Керенский только 17 октября и тут же объявил о своем намерении в ближайшие дни выехать на Волгу — в Саратов и Самару — для "ознакомления с настроением народа". Взбешенный Коновалов потребовал отложить эти планы, и Керенский согласился, хотя с видимой неохотой.

В тот же вечер, 17 октября, состоялось заседание Временного правительства, на котором впервые специально был поставлен вопрос о предполагаемом выступлении большевиков. Министры были единодушны в том, что угроза вооруженного мятежа является реальной. Однако правительство явно недооценивало степень организованности противника. Предполагалось, что восстание, как и в июле, будет носить характер стихийного движения, главными участниками которого станут солдаты. В этой связи некоторыми из присутствующих предлагалось даже искусственно спровоцировать выступление, с тем чтобы подавить его в зародыше.

Министр юстиции Малянтович говорил: "Я боюсь перехитрить. Когда будет голод, будет поздно. Поэтому проверить свои силы, принять меры, вызвать выступление и его подавить!" Его поддержал министр иностранных дел Терещенко: "Надо идти на верную победу, и можно даже вызвать их (прямые действия со стороны большевиков. — В. Ф.)". Сторонникам активных мер возражал военный министр генерал Вер-ховский. Он заявил, что в распоряжении правительства нет сил для превентивных действий. Поведение большевиков — результат усиления их влияния в Советах. Бороться с большевизмом можно, только решившись разогнать Советы, а этого Временное правительство сделать не сможет. Верховский откровенно признался, что он не верит в успех, и попросил принять его прошение об отставке.

Накалявшуюся обстановку попытался разрядить Керенский. Он предложил не преувеличивать масштабы угрозы. "Наш разговор — это следствие гипноза Петроградом". За пределами же столицы сочувствующих большевикам гораздо меньше. "Я, — говорил Керенский, — спасаюсь в Ставку, чтобы отдохнуть от Петрограда". Что касается мер по предотвращению большевистского выступления, то Керенский предложил назначить человека, желательно штатского и пользующегося доверием в политических кругах, и делегировать ему широкие полномочия для предотвращения мятежа. Керенский предложил

кандидатуру инженера П. А. Пальчинского, уже выполнявшего в корниловские дни функции гражданского генерал-губернатора Петрограда. Совещание закончилось далеко за полночь, но никаких конкретных решений на нем принято не было. Временное правительство еще рассчитывало тянуть время, не зная, что этого времени почти не осталось.

На следующий день, 18 октября, власти наконец получили документальное подтверждение того, что большевики готовят вооруженный мятеж. В газете "Новая жизнь" появилась короткая заметка под заголовком "Ю. Каменев о выступлении".[389] Это была запись интервью с Каменевым, в котором он от своего имени и от имени Зиновьева заявлял о несогласии с курсом на восстание. Никаких тайн Каменев не раскрыл — мы уже знаем, что Временное правительство и раньше было в курсе того, что задумали большевики. Но до этой поры большевистское руководство отметало все обвинения в свой адрес и успешно принимало позу оскорбленной невинности. Теперь власть получила прямые доказательства подготовки государственного переворота. При определенном умении это можно было бы использовать как очень сильное оружие. Общественное мнение в ту пору было очень подвержено колебаниям — вспомним, какую роль в июльские дни сыграла публикация показаний прапорщика Ермоленко. Однако Временное правительство упустило этот шанс.

В оправдание можно сказать, что правительство в это время было занято совсем другим. Неожиданной проблемой, с которой пришлось разбираться не откладывая, стало поведение военного министра генерала Верховского. Бóльшую часть времени с момента своего назначения Верховский провел на фронте. Знакомство с ситуацией в действующей армии ввергло его в крайний пессимизм. Верховский убедил себя, что единственным выходом из кризиса может стать только заключение сепаратного мира с Германией.

О такой возможности задумывался не один он, но до него никто не решался сказать об этом вслух. Впрочем, и сам Верховский не сразу решился выступить публично. Поначалу он попытался заручиться поддержкой какой-то из влиятельных политических групп. Интересно, что Верховский, пришедший в правительство как представитель "революционной демократии", в первую очередь обратился не к социалистам, а к кадетам. В кадетском руководстве существовала небольшая, но влиятельная группа, полагавшая, что приход немцев лучше, чем торжество большевиков. Видимо, на ее поддержку и рассчитывал Верховский.

Днем 19 октября в квартире Набокова на Морской улице состоялась встреча военного министра с наиболее влиятельными кадетскими лидерами, включая Милюкова. Верховский выступил с длинной речью, в которой доказывал, что русская армия не способна воевать и Россия немедленно должна начать переговоры о заключении мира. Остается удивляться наивности молодого генерала. Его слушатели пропустили мимо ушей все, что он говорил. Их отношение к Верховскому определилось еще до начала встречи. По словам Набокова, "всё его (Верховского. — В. Ф.) недавнее прошлое было настолько в политическом отношении сомнительно, что не исключалось предположение, что он просто играет на руку большевикам".[390] Разочарованный Верховский еще раз уточнил, может ли он рассчитывать на поддержку. Получив отрицательный ответ, он немедленно откланялся.

Существуют косвенные свидетельства того, что Верховский пытался найти сочувствие у руководства партий эсеров и меньшевиков, но столь же неудачно. Всё это заставило его пойти ва-банк. 20 октября в Мариинском дворце состоялось соединенное заседание комиссий по обороне и иностранным делам Совета республики. На встречу были приглашены и представители правительства — министр иностранных дел Терещенко и военный министр Верховский. Доклад Верховско-го вызвал у слушателей самые мрачные чувства. Военный министр приводил цифры, одна страшнее другой. По его словам, численность армии к настоящему времени превысила десять миллионов человек, но большая часть ее небоеспособна. Анархия и дезертирство нарастают с каждым днем. Верховский предложил резко сократить численность вооруженных сил за счет демобилизации старших возрастов. Одновременно предполагалось возродить строгие дисциплинарные меры, в том числе создать отдельную группировку, численностью до 150 тысяч человек, для борьбы с дезертирами и погромщиками в тылу.

Верховский указал на влияние большевистской пропаганды, всё активнее проникающей на фронт. "Единственная возможность бороться с этими разлагающими и тлетворными влияниями — это вырвать у них почву из-под ног, другими словами, самим немедленно возбудить вопрос о заключении мира… Несомненно, что весть о скором мире не замедлит внести в армию оздоровляющие начала, что даст возможность, опираясь на наиболее целые части, силой подавить анархию на фронте и в тылу. А так как самое заключение мира потребует значительного времени на переговоры, то к этому времени можно рассчитывать на воссоздание боевой мощи армии, что в свою очередь

благоприятно отразится на самих условиях мира".

Обсуждение доклада Верховского потонуло в словах. Каждый из выступавших пытался обвинить в создавшейся ситуации Временное правительство, большевиков — кого угодно. Но открыто поддержать военного министра так никто и не посмел. В заключение было решено сохранить обсуждавшиеся вопросы в тайне и не давать в газеты традиционного пресс-релиза. Но тайна оставалась таковой очень недолго. Уже на следующий день в газете "Общее дело" было опубликовано содержание доклада Верховского. Это вызвало шумный скандал. Газета была закрыта по личному распоряжению Керенского. Самому же Верховскому было предложено уйти в отпуск "по состоянию здоровья". 22 октября Верховский сдал свои полномочия товарищу министра генералу Маниковско-му и в тот же день покинул столицу.

После октябрьского переворота Верховский некоторое время сотрудничал с эсерами в их противостоянии большевикам, но довольно скоро отошел от политики. В 1919 году он вступил в ряды Красной армии, воевал на Восточном фронте, позже занимал различные штабные должности. В 1931 году Верховский был арестован и за антисоветскую деятельность приговорен к расстрелу, замененному десятью годами лагерей. В 1934 году он был досрочно освобожден, но через четыре года арестован вновь. 19 августа 1938 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Верховского к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в тот же день.

В октябре 1917 года "бунт" генерала Верховского в значительной мере спутал все планы правительства. Время было упущено, и для того, чтобы наверстать его, требовались невероятные силы. Этих-то сил, а главное — воли в деле достижения поставленной цели не было ни у правительства, ни у его главы.

КОНФЛИКТ РАЗРАСТАЕТСЯ

Погода в эти дни стояла отвратительная. Даже старожилы Петрограда не помнили такой холодной осени. Дождь лил почти бесконечно, временами сменяясь мокрым снегом. Солнце почти не проглядывало из-за облаков, и казалось, что свинцовые сумерки воцарились навечно.

Хмурым октябрьским утром американский журналист Джон Рид рискнул выйти из дома. Долг репортера толкал его на поиск новостей. "На улице дул с запада сырой, холодный ветер. Холодная грязь просачивалась сквозь подметки. Две роты юнкеров, мерно печатая шаг, прошли вверх по Морской. Их ряды стройно колыхались на ходу; они пели старую солдатскую песню царских времен… На первом же перекрестке я заметил, что милиционеры были посажены на коней и вооружены револьверами в блестящих новеньких кобурах".[391]

Рид спешил в Смольный, фактически ставший к этому времени штабом большевиков. Бывший Институт благородных девиц теперь скорее напоминал базарную площадь или вокзал. "Было грязно, заплевано, пахло махоркой, сапогами, мокрыми шинелями. Всюду сновали вооруженные группы солдат, матросов и рабочих", — описывал Смольный современник.[392] Второй этаж, где располагался ВЦИК, стоял пустынным и безлюдным. Зато на первом этаже, где разместилась большевистская фракция Петроградского совета, и на третьем, где находился Военно-революционный комитет, круглые сутки гудела толпа.

Напомним, что Военно-революционный комитет, или ВРК, был создан по решению Исполкома Петроградского совета еще 12 октября 1917 года. Однако первое организационное заседание ВРК состоялось только 20 октября. На нем было принято решение послать своих представителей во все гарнизонные части, с тем чтобы вывести их из подчинения штаба Петроградского военного округа. На следующий день делегация ВРК прибыла к главнокомандующему округом полковнику Г. П. Полковникову и потребовала, чтобы ей было предоставлено право контролировать все действия штаба. Нетрудно понять, что Полковников ответил отказом. Большевистское руководство среагировало на это в привычной для него манере — перевернув все с ног на голову, оно обвинило штаб в "разжигании контрреволюции". Большевики призвали солдат Петроградского гарнизона не подчиняться приказам штаба, если его решения не будут одобрены ВРК.

Новое обострение конфликта было связано с намеченным на 22 октября днем Петроградского совета. Это было воскресенье, и,

пользуясь выходным, руководство Совета планировало провести в городе целую серию концертов-митингов и уличных шествий. Однако Совет Союза казачьих войск объявил о проведении в тот же день крестного хода в честь Казанской Божией Матери по случаю освобождения Москвы от поляков в 1612 году. Учитывая возбужденные настроения рабочих и солдат столичного гарнизона, можно было предположить, что их столкновение с казаками закончится серьезными жертвами. Одна из сторон, Петроградский совет или правительство, должна была пойти на уступки. И правительство в очередной раз капитулировало. Вечером 21 октября товарищ министра-председателя А. И. Коновалов вызвал к себе представителя Совета Союза казачьих войск и попросил его отложить проведение крестного хода.

В результате день Петроградского совета стал триумфом большевиков. На многотысячном митинге в здании Народного дома на Кронверкском проспекте с пространной речью выступил Троцкий. Он заявил, что только советская власть способна помочь рабочим и солдатам. Правда, помощь эта, в устах оратора, выглядела довольно странно: "У тебя, буржуй, две шубы — отдай одну солдату, которому холодно в окопах. У тебя есть теплые сапоги? Посиди дома. Твои сапоги нужны рабочему…"

Слушателю, рискнувшему вдуматься в сказанное, должна была рисоваться фантасмагорическая картина: окопы, битком набитые солдатами в собольих и бобровых шубах. Но аудитория не слышала слов, она воспринимала чувства, эмоции. Закончил Троцкий призывом: "Так будем же стоять за рабоче-крестьянское дело до последней капли крови! Кто за?" Немедленно в воздух взлетел лес рук. Троцкий продолжал: "Это ваше голосование пусть будет вашей клятвой — всеми силами, любыми жертвами поддержать Совет, взявший на себя великое бремя довести до конца победу революции и дать землю, хлеб и мир!"

Зал захлебывался от восторга. Суханов, бывший свидетелем этой сцены, вспоминал: "Вокруг меня было настроение, близкое к экстазу. Казалось, толпа запоет сейчас без всякого сговора и указания какой-нибудь религиозный гимн…"[393] Обратим внимание на эти слова — еще несколькими месяцами раньше аудитория так же встречала Керенского. Точно такой же прием — заставить толпу дать клятву верности революции — впервые использовал именно Керенский на похоронах погибших в июльские дни казаков. Это было всего четыре месяца назад, но появись Керенский в зале сейчас, его бы растерзали. Революция выдвигала новых вождей, а прежним кумирам оставалось только вспоминать прошлое.

Керенский уже почти неделю как вернулся в столицу. Однако

все это время он безвылазно находился в Зимнем и участия в происходящем не принимал. Вместо него во главе правительства фактически стоял Коновалов. Вечером 22 октября Коновалову доложили о телефонограмме, разосланной от имени ВРК в полки и батальоны Петроградского гарнизона. В ней говорилось о разрыве со штабом округа и содержался призыв не выполнять его предписаний. С этой телеграммой Коновалов пришел к Керенскому.

По настоянию Коновалова Керенский вызвал к себе Полковникова и потребовал ареста членов ВРК. Одновременно премьер выразил недовольство чрезмерной осторожностью командующего округом. Это было особенно несправедливо, если вспомнить, что сам Керенский в предыдущие дни пребывал в полном бездействии. Керенский вызвал к себе главнокомандующего Северным фронтом генерала В. А. Черемисова и в ночь с 22 на 23 октября имел с ним долгую беседу. Вечером того же дня начальник штаба округа генерал Багратуни связался по прямому проводу с комиссаром Временного правительства на Северном фронте В. С. Войтинским с целью выяснения возможности отправки в Петроград надежного отряда для защиты правительства.

Войтинский ответил, что организация отряда под лозунгом защиты правительства невозможна ввиду того, что на фронте министры и сам Керенский крайне непопулярны. Необходимо, чтобы вызов войск исходил от ВЦИКа Советов. Из Петрограда последовал успокоительный ответ в том смысле, что правительство действует в тесном единении со ВЦИКом. Однако конкретных распоряжений относительно присылки войск с фронта штаб в этот вечер так и не сделал.

За предыдущий день комиссары ВРК сумели взять под контроль значительную часть расквартированных в городе полков. Большим успехом стал переход на сторону ВРК гарнизона Петропавловской крепости. С точки зрения стратегической это было событием огромного значения. Петропавловская крепость держала под контролем Зимний дворец, к тому же здесь располагался крупнейший в городе арсенал. Несколькими днями раньше большевики уже пытались заручиться поддержкой, но столкнулись с неудачей. Сейчас в ход были пущены главные силы — в крепость поехал сам Троцкий. Сопровождавший его большевик М. М. Лашевич вспоминал, что ждал от этой поездки чего угодно, включая ареста. Но Троцкий превзошел самого себя, и митинг солдат крепостного гарнизона единодушно поддержал большевиков.

Только после этого штаб Петроградского военного округа

осознал масштабы угрозы. Полковников решил пойти на компромисс и пригласил к себе делегацию из Смольного. На встрече было объявлено, что штаб готов принять постоянных наблюдателей из Петроградского совета. Взамен Полковников потребовал, чтобы комиссары ВРК назначались на свои должности его приказом и утверждались представителем ВЦИКа при штабе.

Предъявленные Полковниковым условия обсуждались на открытом заседании ВРК. Под давлением руководства ВЦИКа была принята резолюция, где говорилось, что ВРК не планирует захват власти. Обратим на это внимание: если для большевиков все уже было решено, то основная масса солдат и рабочих все еще продолжала колебаться. В любой момент стрелка могла качнуться в сторону, позволив избежать рокового исхода событий. Конечно, сейчас ситуация была куда сложнее, чем в июле. Однако если тогда в последний момент дело повернулось в пользу правительства, то почему бы этому не повториться вновь?

Видимо, в Зимнем дворце очень рассчитывали на такой исход. В час дня 23 октября 1917 года трое министров — Терещенко, Коновалов и Третьяков — прибыли на завтрак к британскому послу сэру Джорджу Бьюкенену. Все трое были абсолютно спокойны. Когда хозяин сказал, что он уже и не ожидал их увидеть, те ответили, что слухи о большевистском восстании сильно преувеличены. Сам Керенский незадолго до того говорил все тому же Бьюкенену: "Я желаю только того, чтобы они (большевики) вышли на улицу, и тогда я их раздавлю".[394]

Вдумаемся в это — до ареста Временного правительства осталось меньше двух суток, а министры пребывают в полном спокойствии относительно готовящегося восстания. Власть полностью уверена в своих силах. В то же время инициаторы восстания — большевики — в любой момент готовы сыграть отбой и на этот случай не устают повторять, что ничего противозаконного не замышляют. До последней минуты всё остается в подвешенном виде, исход событий зависит от случайности.

Больше того — часть представителей власти в ту пору даже желала победы большевикам. Во время завтрака у Бьюкенена из уст Терещенко прозвучали страшные слова: "Если Керенский не согласится безоговорочно связать свою судьбу с теми из своих коллег, которые защищают твердую последовательную политику, то чем скорее он уйдет, тем будет лучше. Правительство является таковым только по имени, и положение не может быть много хуже, чем в настоящее время; даже если оно уступит дорогу большевикам, то последние не будут в состоянии продержаться

долго и рано или поздно вызовут контрреволюцию".

Более яркого доказательства того, как далеко зашел кризис, трудно придумать. Сотоварищи Керенского по кабинету считали его более серьезной проблемой, чем большевиков. В конце концов, большевики не сумеют долго удержаться, считали они, но большевики сделают свое дело, свалив Керенского. Поражает близорукость тех, кто рассуждал таким образом. Но не меньшее удивление вызывает то, как быстро испарились авторитет и популярность Керенского. Еще недавно тот же Терещенко гордился своей близостью к премьеру, а теперь был готов наслать на его голову проклятия в лице большевиков. "Так проходит мирская слава…" Вместе с Керенским уходила в прошлое "эпоха надежд". Русская революция вступала в новую, кровавую фазу.

НАЧАЛОСЬ!

Поздно вечером 23 октября в Зимнем дворце состоялось совещание правительства, на которое были приглашены полковник Полковников и его начальник штаба генерал Багратуни. Председательствовал на совещании Керенский. Он выглядел на удивление энергичным и, похоже, даже пребывал в хорошем настроении. Куда делась его апатия недавних дней! Керенский был бодр и сразу взял быка за рога. Он распорядился, чтобы Полковников немедленно произвел аресты членов Военно-революционного комитета. От этого опешили даже те из министров, кто еще недавно призывал Керенского к решительным действиям. Министр юстиции Малянтович стал убеждать премьера повременить со столь радикальной мерой. По словам Малянтовича, он был готов немедленно приказать начать расследование по этому вопросу, но хотел бы, чтобы делу был придан предусмотренный законом ход.

В итоге Керенский дал себя уговорить, но все же настоял на закрытии большевистских газет "Рабочий путь" и "Солдат". Для того чтобы избежать обвинений в наступлении на демократию, одновременно было приказано закрыть правые газеты "Живое слово" и "Новая Русь". Было уже далеко за полночь, когда уставшие министры разошлись по домам, а Керенский отправился в штаб округа. Здесь вовсю кипела работа. В военные училища и школы прапорщиков, расположенные в Петрограде и его ближайших окрестностях, были посланы телеграммы с предписанием немедленно выступить на защиту Временного правительства. Коменданту Мариин-ского дворца подпоручику Доманзянцу было предписано выставить караул на Центральной телефонной станции.

Около шести часов утра отряд юнкеров занял типографию, где печатался "Рабочий путь". Весь текущий тираж был конфискован, печатные матрицы разбиты, а само помещение опечатано. Пользы от всего этого было немного. Уже в 11 часов дня отряд солдат, подчинявшийся Военно-революционному комитету, занял типографию (юнкера не оставили там даже караул), где немедленно началась подготовка к выпуску очередного номера. Большевики расценили попытку властей закрыть "Рабочий путь" как очередной повод для того, чтобы обвинить правительство в посягательствах на завоевания революции. Утром 24 октября Петроградский совет обнародовал воззвание, в котором говорилось, что "враги народа ночью перешли в наступление и замышляют предательский удар".

Однако вот важная деталь — в опубликованном одновременно постановлении Военно-революционного комитета всячески опровергались слухи о готовящемся захвате власти. Дело близилось к развязке, но вожди заговора по-прежнему были не уверены в успехе и заранее снимали с себя возможные обвинения.

В десять часов утра 24 октября в Зимнем дворце открылось совещание членов Временного правительства. В кресле председателя сидел Коновалов — Керенский к этому времени еще не вернулся из штаба округа. Главным вопросом повестки дня было снабжение Петрограда продовольствием и углем, но работа шла вяло. Все ждали появления министра-председателя со свежими новостями, однако тот прямо из штаба отправился в Мариинский дворец, где на свое очередное заседание собрался Временный Совет республики. Началось оно с доклада министра внутренних дел Никитина. Свое выступление он посвятил угрозе голода, как результату нарастающей анархии. Никитин рассказал о том, что баржи с хлебом, предназначенным для столицы, все чаще становятся объектом разбойных нападений: на Волге, Каме, Ладожском озере бесчинствуют настоящие пиратские шайки.

В разгар выступления Никитина в зале появился Керенский. "Бледный, возбужденный, с воспаленными от бессонницы глазами" — таким запомнил его Суханов.[395] В этот день Керенский произнес лучшую свою речь. В ней не было эффектных ораторских приемов и тех элементов мелодрамы, которые он так любил. Напротив — Керенский говорил сумбурно, часто сбиваясь, явно экспромтом, без каких-то домашних заготовок. Но искренность сказанного компенсировала всё. Последний отчаянный призыв — именно так можно было определить главное содержание его речи.

Революция переживает трудное время, говорил Керенский. До Учредительного собрания, которое окончательно выявит волю народа, осталось совсем немного. Но именно сейчас враги свободы и демократии толкают страну к катастрофе. Большевики готовят переворот, и это уже неоспоримо. В доказательство Керенский привел цитаты из статей Ленина, опубликованных в газете "Рабочий путь".

По мере того как оратор приводил все новые и новые факты, в зале нарастал шум. Керенский почти кричал: "Да слушайте! В настоящее время, когда государство от сознательного или бессознательного предательства уже находится на краю гибели, Временное правительство, и я в том числе, предпочитаем быть убитыми и уничтоженными, но жизнь, честь и независимость государства мы не предадим…" При этих словах зал в едином порыве встал и разразился аплодисментами. Сидеть осталась

только небольшая группа меньшевиков-интернацио-налистов во главе с Мартовым и Сухановым.

Керенский начал новую фразу: "Временное правительство упрекают…" "В бестолковости!" — фальцетом выкрикнул возбужденный Мартов, но на него зашикали со всех сторон. "Временное правительство упрекают в слабости и чрезвычайном терпении, — продолжал Керенский. — Но, во всяком случае, никто не имеет права сказать, что за все то время, пока я стою во главе его, да и до этого, оно прибегало к каким бы то ни было мерам воздействия раньше, чем это грозило непосредственной опасностью и гибелью государства…"

В этот момент сзади к Керенскому подошел Коновалов и передал какой-то листок бумаги. Керенский быстро пробежал его глазами и снова обратился к залу: "Мне сейчас представлена копия документа, который рассылается по полкам: "Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов грозит опасность. Предписываю привести полк в полную боевую готовность и ждать дальнейших распоряжений. Всякое промедление и неисполнение приказа будет считаться изменой революции. За председателя Подвойский. Секретарь Антонов"". Керенский заявил, что полученный документ еще раз подтверждает намерения большевиков.

Свое выступление Керенский закончил словами: "Пусть население Петрограда знает, что оно встретит власть решительную… Я прошу от имени страны, я требую, чтобы сегодня в этом заседании Временное правительство получило от вас ответ. Может ли оно исполнить свой долг с уверенностью в поддержке этого высокого собрания?" Под аплодисменты зала Керенский покинул трибуну. Заседание закрылось до вечера. Фракции удалились на обсуждение поставленных вопросов, а премьер отбыл обратно в штаб округа.

Здесь его застал только что вернувшийся из Могилева комиссар Временного правительства при Ставке В. Б. Станкевич. Первым делом Керенский задал вопрос: "Ну, как вам нравится Петроград?" В ответ на недоумение собеседника Керенский делано удивился: "Как, разве вы не знаете, что у нас вооруженное восстание?"[396] Сказано это было таким легкомысленным тоном, что Станкевич счел это за шутку и рассмеялся. Вообще Станкевичу показалось, что Керенский хотя и был несколько озабочен, но в целом пребывал в приподнятом настроении. Он еще не отошел от овации, устроенной ему в Ма-риинском дворце, и был полностью уверен в успехе.

Между тем реальная картина выглядела не столь оптимистично. Только сейчас, во второй половине дня 24

октября, штаб округа начал принимать конкретные меры по упреждению действия восставших. Около трех часов пополудни штаб отдал распоряжение о разводке мостов через Неву. В связи с этим государственные учреждения по телефону были проинформированы о досрочном прекращении работы. Однако изолировать центр города от рабочих окраин не удалось. Воинские отряды, находившиеся в подчинении Военно-революционного комитета, помешали разводке Охтинского, Литейного и Троицкого мостов. Лишь на Николаевском мосту посланному туда отряду юнкеров удалось выбить красногвардейский караул и развести пролеты. К вечеру Выборгская, Петроградская сторона и Васильевский остров полностью оказались под контролем антиправительственных сил. Большим успехом восставших стало установление контроля за Центральным телеграфом.

По сути дела, верные правительству войска контролировали только Зимний дворец, здание штаба Петроградского военного округа и Мариинский дворец с прилегающей территорией. На большее попросту не хватило бы сил, так как в распоряжении законной власти находилось меньше двух тысяч человек — преимущественно юнкеров. Вооружены они были по большей части только стрелковым оружием.

На Александровской (Дворцовой) площади спешно сооружалась баррикада из дров, заготовленных на зиму для отопления дворца. Выходящие на площадь подъезды были защищены пулеметами. Начавшаяся суета не укрылась от глаз служащих многочисленных учреждений, расположенных в Зимнем дворце. Свою лепту в начавшуюся панику внес Керенский. Заехав на четверть часа по дороге из Совета республики в Зимний, он распорядился эвакуировать из дворца всех женщин.

Тем временем в Мариинском дворце продолжались совещания фракций. Обсуждение затянулось, и пленарное заседание открылось только в семь часов вечера. На голосование были поставлены две резолюции: одна, предложенная фракцией кадетов и группой кооператоров, выражала доверие правительству и решительно осуждала большевиков. Вторая, подготовленная фракциями эсеров и меньшевиков, тоже отрицательно оценивала тактику большевиков, но тем не менее обвиняла во всем Временное правительство, которое своей политикой довело страну до кризиса. Эту резолюцию и поддержало большинство собравшихся. За нее было подано 123 голоса при 102 против и 26 воздержавшихся.

Было уже 11 часов вечера, когда делегация Временного

Совета республики в составе эсеров Авксентьева и Гоца, а также лидера правых меньшевиков Дана прибыла в Зимний дворец, для того чтобы сообщить правительству результаты голосования. В этот час в Малахитовом зале шло заседание кабинета. Посланцев "предпарламента" провели в Серебряную гостиную, куда к ним вышел Керенский. Прочтя резолюцию, Керенский взвился. Он заявил, что немедленно слагает с себя полномочия и передает власть Авксентьеву как председателю Совета республики. Тот поспешил откреститься от этой почетной обязанности. Дан (в отсутствие уехавшего на отдых Чхеидзе он выполнял обязанности председателя ВЦИКа) заявил Керенскому, что его страхи преувеличены. По его, Дана, сведениям, большевики согласны свернуть подготовку восстания и уже назавтра намерены распустить свои вооруженные отряды. Доктринер, как и многие его товарищи по партии, Дан искренне верил в силу резолюций. Между тем большевики вовсе не собирались прекращать начатое.

В девять часов вечера отрядом красногвардейцев было занято здание Петроградского телеграфного агентства, расположенное в непосредственной близости от Зимнего дворца. К двум часам ночи в руки Военно-революционного комитета перешли Балтийский, Варшавский, Финляндский, Николаевский вокзалы. В четыре часа утра крейсер "Аврора", уже почти год стоявший на капитальном ремонте у стенки Франко-русского завода, по приказу ВРК подошел к Николаевскому мосту. Под дулами корабельных орудий юнкера, охранявшие мост, вынуждены были отойти, и разведенные пролеты вновь соединили. Под утро отряды Красной гвардии заняли Государственный банк и Центральную телефонную станцию. К рассвету уже почти весь город находился в руках большевиков.

БЕГСТВО КЕРЕНСКОГО

Правительство заседало до глубокой ночи. Когда министры разошлись, а Керенский вернулся в свой кабинет, он встретил дожидавшихся его Полковникова и Багратуни. Они пришли с предложением составить из защитников Зимнего ударный отряд и, пользуясь ночным временем, захватить Смольный. Этот план свидетельствовал о том, что штаб округа не имел никакого представления о происходящем в городе. Если бы отряд для захвата Смольного был действительно сформирован, ему не удалось бы далеко уйти от Дворцовой площади. Но до этого дело не дошло. Керенскому доложили, что его срочно требует комиссар округа Е. Ф. Роговский. Он сообщил, что, по его сведениям, Зимний дворец уже окружен, а по Неве к Дворцовой набережной движется большой отряд кораблей Балтийского флота. Ни то ни другое не соответствовало истине, но Керенский счел необходимым на месте ознакомиться с обстановкой.

В сопровождении Коновалова и неотлучных адъютантов Керенский отправился в штаб. Здесь царила суета, но при этом никто ничего толком не знал. Керенскому пришлось лично сесть за телефон и созваниваться с теми воинскими частями и организациями, которые могли оказать поддержку правительству. Особый расчет был на казаков. Накануне вечером депутации от нескольких казачьих полков посетили Зимний, для того чтобы разведать обстановку. Переговоры были долгие и трудные. Казаки припомнили Керенскому и отмену крестного хода, и нерешительные меры по искоренению большевизма. Наконец премьер получил заверения в том, что казаки исполнят свой долг и выступят на защиту законной власти.

Однако, когда дело дошло до выполнения обещаний, казаки предпочли проявить осторожность. Керенский вспоминал: "Ночные часы тянулись мучительно медленно. Ожидавшееся со всех сторон подкрепление не подходило. Бесконечные телефонные переговоры с казачьими частями ни к чему не приводили. Под разными предлогами казаки отказывались выходить из казарм, постоянно заверяя, что всё образуется через пятнадцать—двадцать минут, уже начинают "седлать коней"".[397]

Подсчет реально имевшихся в распоряжении правительства сил нарисовал безрадостную картину. Зимний охраняли юнкера 2-й Петергофской, 2-й Ораниенбаумской школ прапорщиков, школы прапорщиков Северного фронта, неполная рота Стрелкового полка увечных воинов плюс около сотни казаков. Днем 24 октября из Левашова был вызван расквартированный там

1-й Петроградский женский ударный батальон. Однако командир батальона, узнав, что речь идет не о параде, как предполагалось ранее, потребовал отправки ударниц назад. В Зимнем дворце была оставлена только одна полурота, которая должна была на следующий день конвоировать доставку во дворец бензина со складов Нобеля. В распоряжении защитников Зимнего находилось также пять бронемашин и два орудия из Михайловского артиллерийского училища с командой заряжающих.

Уже тогда Керенского упрекали в том, что он не решился призвать на помощь полулегальные офицерские организации, которых в Петрограде было великое множество. Позже это стало одним из главных обвинений, выдвигавшихся в его адрес правой частью эмиграции. Действительно, еще 24 октября товарищ военного министра князь Туманов обращался к Полковникову с предложением начать формирование офицерских отрядов, но получил отказ со ссылкой на категорическое распоряжение премьер-министра.[398] Керенский до последнего опасался затаившихся сторонников Корнилова — может быть, даже сильнее, чем большевиков. В мемуарах он вполне серьезно пишет о некоем заговоре, якобы существовавшем в недрах штаба округа, имевшем целью арест его, Керенского.

В защиту Керенского можно сказать только одно — опыт корниловского выступления свидетельствует о том, что в большинстве своем стихийно возникшие офицерские организации были очень ненадежной опорой и не шли дальше разговоров. В воспоминаниях поручика А. П. Синегуба — одного из участников обороны Зимнего — содержится характерный эпизод. Скрываясь от большевиков, Синегуб под утро 26 октября попал в офицерское собрание Павловского полка. Здесь ему открылась удивительная картина: "Первое, что бросилось в глаза и поразило меня, был большой стол, накрытый белой скатертью. На нем стояли цветы, бутылки от вина, груды каких-то свертков, а на ближайшем к двери крае — раскрытая длинная коробка с шоколадными конфетами, перемешанными с белыми и розовыми помадками… То же, что заставило меня споткнуться, было спящее тело офицера. И такими телами, издающими храп с подсвистами, была наполнена вся комната".[399] Офицерство в массе своей предпочитало безучастно наблюдать за агонией Временного правительства, не делая никаких попыток прийти к нему на помощь.

Однако пора вернуться к основной канве нашего рассказа. Близилось утро 25 октября 1917 года — дня, которому было суждено навсегда быть вписанным в российскую историю.

Керенский и Коновалов решили вернуться в Зимний дворец, для того чтобы хотя бы час отдохнуть. Оказавшись в своем кабинете, Керенский попытался собрать важнейшие бумаги, чтобы потом переправить их в надежное место, но усталость взяла свое, и он решил отложить это на потом. Не раздеваясь, он рухнул на диван, закрыл глаза, но возбуждение не давало заснуть. Так, между сном и явью, в состоянии, близком к обмороку, Керенский пролежал около часа. В дверь постучали — в комнату вошел адъютант и доложил, что мятежники заняли Центральную телефонную станцию и отрезали дворец от остального города.

Один из юнкеров, стоявший на часах у кабинета Керенского, навсегда запомнил последние минуты пребывания премьера во дворце: "Через открытую дверь я видел, как царский лакей в синей ливрее с красным воротником и золотыми галунами накрывал большой круглый стол для утреннего завтрака Керенского. Тусклый рассвет осеннего утра обрисовывал белую скатерть с царскими вензелями и отражался на фарфоровой и серебряной посуде с черными двуглавыми орлами. Начался последний день свободной, демократической России".[400] Наскоро позавтракав, Керенский отправился в штаб. В кабинет он уже не заходил. Спустя менее суток победители войдут в кабинет и увидят скомканный плед на диване, рядом на столе — недопитый стакан чаю в серебряном подстаканнике и раскрытый томик Чехова. Хозяин кабинета уходил, чтобы вернуться через час, от силы два. Однако история решила так, что вернуться ему не пришлось уже никогда.

В штабе округа Керенский с Коноваловым (таким же невыспавшимся и помятым) столкнулись с привычной неразберихой. Разве что людей стало меньше — все, кто мог, разбегались, чтобы не связывать свою судьбу с обреченным правительством. Генерал Багратуни сообщил Керенскому неприятное известие — ночью четыре броневика ушли с Дворцовой площади в неизвестном направлении. Единственный оставшийся броневик покинут командой и неисправен. Самым большим разочарованием для Керенского стало то, что до сих пор не было получено никаких известий из штаба Северного фронта. Накануне Керенский срочно вызвал оттуда вооруженный отряд для водворения порядка в столице. Сейчас, по расчетам, этот отряд должен был находиться в Гатчине или в крайнем случае в Луге, но никакой информации о нем не поступало.

В такой ситуации Керенский принял решение самому отправиться навстречу отряду. Он рассчитывал, что в случае необходимости его авторитет и умение говорить с толпой помогут пресечь колебания фронтовиков. Обязанности главы

правительства в свое отсутствие Керенский возложил на Коновалова.

Около десяти часов утра министр юстиции Малянтович прибыл по вызову премьера в штаб округа. Здесь ему бросилось в глаза полное отсутствие охраны — приди и арестовывай, кого угодно, и никто тебе не помешает. Обойдя едва ли не все комнаты, Малянтович наконец нашел Керенского в кабинете генерала Багратуни. Здесь же были Коновалов, Кишкин, адъютанты Керенского, еще какие-то незнакомые люди. "Керенский был в широком сером драповом пальто английского покроя и в серой шапке, которую он всегда носил, — что-то среднее между фуражкой и спортивной шапочкой. Лицо человека, не спавшего много ночей, бледное, страшно измученное и постаревшее. Смотрел прямо перед собой, ни на кого не глядя, с прищуренными веками, помутневшими глазами, затаившими страдание и сдержанную тревогу".[401]

— В чем дело? — вполголоса спросил Малянтович у Коновалова.

— Плохо! — так же шепотом ответил тот.

— Куда он едет?

— Навстречу войскам, которые идут в Петроград в помощь Временному правительству. В Лугу. На автомобиле. Чтобы перехватить их до вступления в Петроград и выяснить им положение, прежде чем они придут сюда — к большевикам.

— Навстречу войскам, идущим сюда на помощь Временному правительству? А в Петрограде, значит, нет войск, готовых защитить Временное правительство?

— Ничего не знаю. — Коновалов развел руками и повторил: — Плохо!

Однако и уехать Керенскому оказалось непросто. У дверей штаба округа стояло полтора десятка автомобилей, но когда дошло до дела, выяснилось, что все они по разным причинам неисправны. Среди всех чинов управления автомобильной частью штаба округа в эти утренние часы на месте оказался только адъютант начальника прапорщик Б. И. Книрша. Генерал Багратуни вызвал его к себе в кабинет и потребовал немедленно добыть два автомобиля.

Книрша и приданный ему в помощь адъютант генерал-квартирмейстера прапорщик Соболев решили попросить машину в итальянском посольстве, располагавшемся поблизости — на Морской. Однако посол сказал, что машин в его распоряжении нет. Тогда Книрша позвонил из посольства своему знакомому — присяжному поверенному Эристову, жившему на той же улице. По дороге у американского посольства Книрша увидел стоящие

автомобили. Соболев остался около них и стал расспрашивать шофера, а Книрша поднялся к Эристову.

Эристов сказал, что его машина маломощная, но он даст автомобиль, если таковой есть у него на службе. Книрша и Эристов выехали из дома, но по дороге остановились у американского посольства. Они спросили Соболева, и их провели в приемную, где находились секретарь посольства Уайтхауз и некий поручик в русской форме, оказавшийся его шурином бароном Рамзай. Книрша заявил, что от имени Керенского он просит на время посольскую машину. Американцы согласились дать автомобиль только при условии, что просьбу подтвердит сам Керенский.

Все вместе они подъехали к зданию штаба, после чего американцы поднялись наверх, а Книрша остался ждать в автомобиле. Через полчаса к Книрше вышел один из адъютантов Керенского и приказал следовать за машиной, которая сейчас выедет из ворот. Наконец на площади появился личный автомобиль премьер-министра — роскошный "пирс-эрроу", который в последний момент удалось обнаружить в гараже штаба. В нем сидели Керенский, помощник начальника штаба округа поручик Козьмин и два адъютанта премьера. Машина поехала вперед, а за ней двинулся "рено" американского посольства, пассажирами которого были Книрша и адъютант Козьмина прапорщик Брезе. К ветровому стеклу "рено" был прикреплен американский флажок. По дороге он отвязался, и Книрша спрятал его в карман.

Выехали на Мариинскую площадь, потом по Вознесенскому и Забалканскому проспекту за пределы города. Ехали очень быстро и уже в половине первого были в Гатчине, где автомобили заправились бензином, после чего Керенский отправился дальше в Лугу. Здесь нам необходимо взять паузу. О том, что произошло с Керенским дальше, мы еще успеем рассказать, а пока нам следует вернуться в Петроград, где доживало свои последние часы Временное правительство.

КОНЕЦ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Самой удивительной во всей это истории была та будничная обстановка, в которой произошло свержение Временного правительства. Никакой патетики, никаких героических речей и безумных подвигов. Даже день недели был самый будничный — среда. Один из современников так рисует жизнь Петрограда 25 октября 1917 года: "На улицах все обыкновенно: привычная глазу толпа на Невском; те же спешащие на службу чиновники и "барышни", та же деловая или фланирующая публика; по-всегдашнему ходят переполненные трамвайные вагоны, торгуют магазины, переругиваются между собой извозчики, давят прохожих ломовики, где-то перезванивают колокола, и нигде не обнаруживается пока никакого скопления войск или вообще вооруженных отрядов, нигде в свежем морозном воздухе еще не пахнет порохом".[402]

Только в непосредственной близости к Зимнему можно было почувствовать, что назревает что-то необычное. По Дворцовой площади без какой-то видимой логики передвигались небольшие группы юнкеров. Другие юнкера, свободные от службы, располагались тут же и наслаждались отдыхом. По их поведению никак нельзя было сказать, что близится последний и решительный бой. "Они сидят у ворот и дверей дворца, галдят, хохочут, бегают по тротуару наперегонки".[403] Караулы охраняли только подступы к площади со стороны Адмиралтейства и Миллионной улицы, но и то не слишком строго, так что пройти мог любой желающий.

К полудню в Зимний дворец съехались министры. Налицо были все, за исключением министра продовольствия Прокоповича. Как оказалось позже, он был арестован красногвардейским патрулем и доставлен в Смольный. Через несколько часов Прокоповича освободили, но к этому времени Зимний дворец был уже взят в блокаду. В Малахитовом зале, с окнами на серую Неву, открылось заседание кабинета. Председательствовал Коновалов, который коротко сообщил об отъезде Керенского на фронт.

Говоря о силах, находящихся в распоряжении правительства, Коновалов особо обратил внимание на то, что командующий округом Полковников впал в панику и фактически самоустранился от происходящего. Кто-то из министров (кажется, Малянтович) предложил немедленно выбрать уполномоченного по наведению порядка в городе и передать ему право распоряжаться всеми военными и гражданскими учреждениями.

На этот пост была предложена кандидатура Кишкина, за которого подали голоса все присутствующие. В товарищи к нему были назначены П. А. Пальчинский и П. М. Рутенберг. Как мы помним, назначение Пальчинского еще тремя неделями ранее предлагал Керенский. Его новый коллега, Рутенберг, тоже был фигурой по-своему замечательной. Эсер с давним стажем, он в свое время прославился как организатор убийства Георгия Гапона. Сейчас Рутенберг занимал должность помощника командующего округом по гражданской части.

Кишкин немедленно после своего назначения отбыл в штаб округа. Покинул заседание и Коновалов, которого вызвали для переговоров с очередной депутацией от казаков. Пользуясь этим, министры устроили перерыв. Подали чай и бутерброды с сыром и колбасой. Неспешные разговоры, тишина, не нарушаемая ни громким голосом, ни телефонными звонками, создавали обстановку спокойствия и умиротворения. К слову, о телефонах — мы уже писали о том, что после занятия большевиками Центральной телефонной станции все телефоны Зимнего были отключены. Оказалось, что не все. Во дворце обнаружилась резервная линия, которую нельзя было засечь с телефонной станции. Поэтому вплоть до последних минут Временное правительство сохраняло связь с внешним миром.

Впрочем, как минимум до трех часов дня Зимний дворец никак нельзя было считать отрезанным от мира. Во дворце в эти часы побывали многие — кто-то по делу, а кто-то просто из любопытства. Среди последних был уже не раз упоминавшийся американский журналист Джон Рид. Вот каким он увидел Зимний в этот день: "По обеим сторонам на паркетном полу были разосланы грубые и грязные тюфяки и одеяла, на которых кое-где валялись солдаты. Повсюду груды окурков, куски хлеба. Разбросанная одежда и пустые бутылки из-под дорогих французских вин… Душная атмосфера табачного дыма и грязного человеческого тела спирала дыхание".[404] Оговоримся — американцы не прошли дальше караульных помещений. В комнатах, занимаемых правительством, обстановка была куда пристойнее.

Между тем в Малахитовом зале понемногу стали вновь собираться министры. Здесь они узнали о разгоне Совета республики. Подробности этого выглядели следующим образом. Предполагалось, что очередное заседание "предпарламента" откроется в 12 часов. К этому времени в наличии было около половины депутатов, но начало работы все время откладывалось. Вместо этого сначала совещались фракции, потом собрался "совет старейшин". В это время стало известно, что к Мариинскому

дворцу подошли солдаты Литовского и Кегсгольмского полков и матросы гвардейского экипажа. Они заняли вестибюль и расположились в два ряда вдоль лестницы на второй этаж. Угроза была очевидна. Собравшиеся в зале заседаний депутаты наскоро приняли резолюцию с протестом против насилия и поспешили разойтись. На выходе какие-то комиссары тщательно проверяли депутатские удостоверения. Пронесся слух, что отдан приказ об аресте депутатов-кадетов, но солдаты искали только членов Временного правительства. На какое-то время был задержан меньшевик Дюбуа, в документах которого указывалось, что он товарищ министра труда. Впрочем, и его после недолгого разбирательства отпустили.

Разгон Совета республики усугубил и без того мрачные настроения министров. Новую, короткую, надежду дало прибытие в Зимний подкрепления. Это был сводный батальон школы прапорщиков инженерных войск. Появление нового отряда позволило предпринять попытку активизировать действия защитников правительства. Оказавшийся в эти часы в Зимнем комиссар при Ставке В. Б. Станкевич во главе роты юнкеров отправился освобождать Мариинский дворец. Однако на полпути стало известно о том, что площадь перед дворцом занята превосходящими силами противника. Тогда Станкевич изменил план и повел юнкеров к Центральной телефонной станции. Но и эта затея ни к чему не привела. При появлении большевистского броневика юнкера предпочли отступить.

Даже в эти страшные часы министр путей сообщения В. Ливеровский находил время вести отрывочные записи происходящего. Дневник Ливеровского, к счастью, сохранился и позволяет восстановить многие детали последних часов Зимнего дворца. Первые выстрелы на Дворцовой площади прозвучали, по сведениям Ливеровского, в половине четвертого пополудни. Из окон, выходящих на Адмиралтейство, было видно, как матросы, солдаты и красногвардейцы куда-то побежали. Юнкера, охранявшие Дворцовый мост, остались на месте. Постепенно всё успокоилось. Кто стрелял и почему, так и осталось неясно.

Между тем заседание правительства никак не могло возобновиться. Некоторое оживление вызвало появление гостя — Д. Набокова, бывшего управляющего делами правительства. По старой памяти он нередко бывал в Зимнем и сейчас прошел во дворец без особых проблем. Красногвардейцам в оцеплении он показал пропуск, подписанный Керенским, и был беспрепятственно пропущен. Набоков застал в Малахитовом зале такую картину: "Министры группировались кучками, одни ходили взад-вперед по зале, другие стояли у окна… Другие говорили

(помнится, Терещенко, бывший в повышенно-нервном, возбужденном состоянии), что стоит только "продержаться 48 часов" — и подоспеют идущие к Петербургу верные правительству войска".[405] Набокова встретили радостно, но когда стало ясно, что никаких утешительных известий он не принес, интерес к нему сразу упал. Он почувствовал себя лишним и поспешил покинуть дворец. Как можно понять, Набоков стал последним визитером со стороны. После его ухода связь Зимнего с внешним миром поддерживалась только по телефону.

В отсутствие Коновалова министры приняли решение выпустить обращение к стране. Наскоро был составлен текст, и находившийся во дворце журналист Климов отправился с ним на автомобиле в ближайшую типографию. Однако по дороге Климов был арестован, и обращение так и не увидело свет. Больше повезло министру внутренних дел Никитину — он сумел передать по телефону в свое министерство распоряжение губернским комиссарам с требованием не признавать власть узурпаторов. Большевиков в министерстве в это время еще не было, и распоряжение ушло на места.

В шесть часов вечера заседание правительства все же продолжило работу. На повестку был поставлен вопрос о том, что же делать дальше. Было предложено два варианта — разойтись по домам или оставаться во дворце. Постановили оставаться и объявить свое заседание непрерывным вплоть до завершения кризиса. Это решение было продиктовано не столько расчетом на подход войск с фронта (надежда на них с каждым часом становилась все более эфемерной), сколько ответственностью перед теми, кто доверил правительству свои жизни.

Настроение защитников Зимнего дворца тем временем заметно упало. В те самые минуты, когда правительство принимало решение оставаться во дворце до конца, юнкера-константин-тиновцы покинули отведенные им позиции и ушли обратно в училище, уводя с собой четыре из шести орудий. За ними ушла часть юнкеров Ораниенбаумской школы прапорщиков.

На улице стемнело. В половине седьмого вечера министры поднялись на третий этаж в столовую Керенского. Здесь был подан обед: суп, рыба, артишоки.[406] Едва пробило семь, как появился Терещенко и попросил всех спуститься на второй этаж в кабинет Коновалова. Он сообщил, что в штаб округа поступил ультиматум, в котором от имени Военно-революционного комитета выдвигалось требование немедленной капитуляции. В противном случае "Аврора" должна была открыть огонь по дворцу из орудий главного калибра.

— Что грозит дворцу, если "Аврора" откроет огонь? —

спросил Малянтович адмирала Вердеревского.

— Он будет обращен в кучу развалин, — ответил Вердеревский, как всегда, спокойно. — У нее башни выше мостов. Может уничтожить дворец, не повредив ни одного здания. Зимний дворец расположен для этого очень удобно. Прицел хороший.

После короткого обсуждения министры решили на ультиматум не отвечать. Тем не менее было решено перебраться в более безопасное помещение. В качестве такового был выбран кабинет генерала Б. А. Левицкого (он исполнял должность генерала для поручений при Керенском), выходивший окнами во внутренний двор. Малянтович вспоминал: "Мы загасили верхний свет. Только на письменном столе у окна светила электрическая настольная лампа, загороженная газетным листом от окна. В комнате был полусвет. Тишина. Короткие, негромкие фразы коротких бесед".[407] Пришел Паль-чинский и сообщил, что большевики захватили штаб округа. Боя при этом не было — здание никем не охранялось, чины штаба разошлись еще несколькими часами ранее, оставив открытыми все двери.

Время от времени кто-то из министров выходил в соседнюю комнату, где стоял телефон, для того чтобы связаться с друзьями и знакомыми и узнать от них обстановку в городе. Министру земледелия Маслову удалось дозвониться до городской думы. Там в это время шло непрерывное заседание. Как это стало уже обычным для органов, представляющих "революционную демократию", в зале звучало много слов, но ни одного конкретного решения принято не было. Звонок Маслова, как могло показаться, изменил ситуацию. Депутаты решили идти в Зимний дворец, чтобы поддержать Временное правительство, а если не получится — умереть вместе с ним.

Но прежде было решено связаться с рядом общественных организаций, вроде Исполкома Совета крестьянских депутатов, и осведомиться — не желают ли и они умереть в компании думы и министров? Пока созванивались, пока ждали ответа — первый запал как-то погас. Тем не менее решили все же идти ко дворцу умирать. Об этом намерении по телефону было сообщено в Зимний. Чтобы оттуда думскую депутацию случайно не обстреляли, установили сигнал — три раза махнуть зажженным фонарем.

Было около восьми вечера, когда шествие двинулось по Невскому. Впереди шел министр Прокопович, так и не сумевший попасть во дворец, с фонарем в руке. За ним по четыре в ряд — члены ВЦИКа, гласные городской думы, представители партий. Процессия прошла не больше двухсот шагов и у Казанского

собора была остановлена большевистским караулом. Попробовали добиться разрешения пройти, пошумели — и вернулись обратно в городскую думу. "Умереть не умерла, только время провела", — зло шутили уставшие от бесцельного хождения депутаты.

Между тем обстановка в Зимнем продолжала накаляться. Около девяти часов вечера казачья сотня, занимавшая помещения первого этажа, приняла решение покинуть дворец. Свой уход казаки объяснили тем, что другие полки правительство не поддержали. "Когда мы сюда шли, нам сказок наговорили, что здесь чуть не весь город с образами, да все военные училища и артиллерия, а на деле-то оказалось — жиды да бабы, да и правительство тоже наполовину из жидов. А русский-то народ там с Лениным остался".[408]

После ухода казаков оборона первого этажа была возложена на увечных воинов и женщин-ударниц. Юнкера занимали баррикады на площади и охраняли главные входы во дворец. Тем временем на Дворцовой площади стали накапливаться солдаты и красногвардейцы. С наступлением темноты с обеих сторон все чаще стали звучать выстрелы. Огромные окна на фасаде дворца, сиявшие электрическим светом, представляли собой идеальную мишень. К тому же над дворцовыми подъездами горели яркие фонари, и юнкера на баррикадах смотрелись как актеры на хорошо освещенной сцене.

В 9.30 вечера толпа, собравшаяся на Дворцовой площади, внезапно хлынула по направлению к баррикадам. Орудия, установленные перед главным входом во дворец, дали два холостых залпа, которых оказалось достаточно для того, чтобы нападавшие отступили. Кто-то из юнкеров догадался выстрелами погасить фонари, и на какое-то время все успокоилось.

Осажденное правительство продолжало ждать чуда. Время тянулось мучительно медленно, и постепенно министрами стало овладевать состояние безнадежного отчаяния. Внезапно со стороны Невы раздался ревущий звук, не похожий ни на что другое.

— Это что? — спросил кто-то.

— Это с "Авроры", — ответил адмирал Вердеревский. Лицо его было по-прежнему спокойным.

Через какое-то время Пальчинский принес стакан от снаряда, разорвавшегося в одной из комнат дворца. Повертев стакан в руках, он сказал, что из него вышел бы превосходный сувенир — что-то вроде пепельницы. "Пепельница на стол нашим преемникам", — мрачно пошутил кто-то из министров.

В двенадцатом часу вечера за дверями комнаты, где заседали

министры, раздались крики и выстрелы. Срочно вызванный дворцовый комендант сообщил, что большевики изменили тактику. Теперь они проникают во дворец небольшими отрядами со стороны набережной и Миллионной улицы. К настоящему времени ими занята та часть второго этажа, где располагается госпиталь для раненых. Отдельные группы осаждавших находятся в непосредственной близости от места пребывания правительства.

Министры не могли видеть того, что творилось в других помещениях дворца. Но в нашем распоряжении есть свидетельства тех, кто до последнего оборонял Зимний. Вот как позже вспоминал об этом один из юнкеров-петергофцев: "Слышатся взрывы ручных гранат, винтовочные выстрелы, крики. В желтоватом тумане пыли от падающей со стен штукатурки мутно белеют шары ламп и люстр. Теперь никто не знает, где нападающие и где защитники. Хаос невообразимый. В одной зале защитники разоружают нападающих, в другой — нападающие обезоруживают защитников".[409] В такой обстановке продолжать оборону было бессмысленно.

Было полвторого ночи, когда в комнату, где сидели усталые министры, вбежал юнкер. Вытянулся, взял под козырек:

— Как прикажет Временное правительство?! Защищаться до последнего человека? Мы готовы, если прикажет Временное правительство.

— Нет, не надо крови! Надо сдаваться! — не сговариваясь, закричали все присутствующие.

Юнкер вышел. "Ну, вот, все, наконец, завершилось" — эта мысль была у каждого. Кто-то взялся за пальто.

— Оставьте пальто. Сядем за стол, — сказал Кишкин.

Сели. Несколько минут стояла тишина, но потом у дверей поднялся шум. Дверь распахнулась, и в комнату ввалилась людская масса, мгновенно заполнившая все углы. Какой-то человек в распахнутом пальто и фетровой шляпе громко спросил: "Где здесь члены Временного правительства?" — "Временное правительство здесь. Что вам угодно?" — ответил Коновалов. "Объявляю вам, что вы арестованы. Я председатель Военно-революционного комитета Антонов".

Далее последовало долгое заполнение протоколов. В третьем часу арестованные члены правительства пешком под конвоем отправились в Петропавловскую крепость. По дороге они едва не стали жертвой толпы, но все же благополучно добрались до места назначения. В 3 часа 40 минут ворота крепости захлопнулись за бывшими министрами. Восьмимесячная эпопея Временного правительства завершилась.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

В толпе, запрудившей лестницы и залы Зимнего дворца, оказался все тот же Джон Рид. Вездесущий американец успел увидеть, как караул уводит арестованных членов Временного правительства. В суматохе он беспрепятственно прошел во дворец, где его глазам открылось такое зрелище: "Картины, статуи, занавеси и ковры огромных парадных апартаментов стояли нетронутыми. В деловых помещениях, наоборот, все письменные столы и бюро были перерыты, по полу валялись разбросанные бумаги. Жилые комнаты тоже были обысканы, с кроватей были сорваны покрывала, гардеробы открыты настежь… В одной комнате, где помещалось много мебели, мы застали двух солдат, срывавших с кресел тисненую испанскую кожу. Они сказали нам, что хотят сшить из нее сапоги".

Блуждая по коридорам дворца, Джон Рид наткнулся на комнату, где еще недавно заседали министры: "Длинный стол, покрытый зеленым сукном, оставался в том же положении, что и перед самым арестом правительства. Перед каждым пустым стулом на этом столе находились чернильница, бумага и перо. Листы бумаги были исписаны отрывками планов действий, черновыми набросками воззваний и манифестов. Почти всё это было зачеркнуто, как будто сами авторы постепенно убеждались во всей безнадежности своих планов. На свободном месте видны были бессмысленные геометрические чертежи".[410]

Пока досужливый американец рассматривал бумаги, оставшиеся от арестованных министров, сами министры уже обживали камеры Трубецкого бастиона. В Петропавловской крепости их встретили ее прежние обитатели — министры и сановники царского правительства, находившиеся здесь еще с весны. Надо отдать им должное — они сочувственно отнеслись к появлению новых товарищей по несчастью. Только Щегловитов как-то не удержался от колкости в адрес Терещенко: "Говорят, вы заплатили два миллиона для того, чтобы попасть сюда? Сказали бы мне об этом раньше, и я вам устроил бы это совершенно бесплатно".

Вскоре число обитателей крепости еще увеличилось. Среди нового пополнения оказались председатель "предпарламента" Н. Д. Авксентьев, неугомонный журналист В. Л. Бурцев, лидер крайних правых В. Д. Пуришкевич. В конце ноября в Петропавловскую крепость была помещена большая группа из числа руководства кадетской партии, объявленной большевиками "партией врагов народа".

Условия содержания заключенных, заметно ухудшившиеся еще в период Временного правительства, при большевиках стали сосем невыносимыми. Министры-эсеры, не раз сидевшие в тюрьмах при царе, говорили, что разница между большевистской и царской тюрьмой такая же, как между постоялым двором и первоклассным отелем. Арестантов держали на голодном пайке. "В семь утра был подъем, и мы получали кипяток, немного сахара и четверть фунта хлеба на день. В полдень мы обедали горячей водой, в которой плавало несколько Капустин и крошечный кусочек мяса. В четыре часа давали чай, то есть просто горячую воду, и в семь вечера ужин — еще немного горячей воды".[411]

Мы процитировали строки из воспоминаний Питирима Сорокина — в ту пору молодого ученого, а в недавнем прошлом — секретаря Керенского. Он попал в крепость в начале января 1918 года, когда арестованные в Зимнем министры находились под стражей уже третий месяц. Сорокина, только что пришедшего с воли, поразил вид других заключенных: "Кокошкин и Шингарев выглядели по-настоящему больными. Терещенко, большой comme il faut, всегда чисто выбритый и изысканно одетый, превратился в бородатого мужчину в потрепанных брюках и свитере. Пуришкевич выглядел как дворник, чьи обязанности он, впрочем, и в самом деле исполнял в тюрьме".[412]

Поначалу режим содержания внушал заключенным опасения. Среди охранников тюрьмы многие были настроены крайне агрессивно. Страхи обитателей крепости были ненапрасны. В середине января 1918 года двое упомянутых кадетских лидеров (и одновременно — бывших министров), Ф. Ф. Кокошкин и А. И. Шингарев, по состоянию здоровья были переведены из крепости в Мариинскую больницу. В одну из ночей к ним ворвались неизвестные люди и жестоко расправились с узниками.

Эта история попала в газеты и наделала много шума. После этого условия содержания заключенных Петропавловской крепости изменились к лучшему. Были разрешены групповые прогулки, к арестованным беспрепятственно пускали посетителей с воли. Дошло до того, что заключенные создали даже свой хор.

Контингент обитателей тюрьмы постоянно менялся. Кто-то выходил на волю, кто-то пополнял ряды заключенных. Уже через несколько дней после ареста на свободу были выпущены министры-социалисты — Никитин, Малянтович, Гвоздев и Ливеровский. Их пребывание в крепости оказалось совсем коротким, но и этого было достаточно. Малянтовича арест полностью сломал. Один из современников вспоминал: "Я не узнал Малянтовича, когда увидел его. Он был всегда очень деятельным, живым, а тут я встретил человека как-то особенно

настороженного. Он потерял себя не внешне, а внутренне. Он уверял — бесполезно бороться с большевиками, с ними не справиться. Это было его основной точкой зрения".[413]

В дальнейшем Малянтович отошел от политической деятельности. При большевиках он работал в различных государственных учреждениях и даже успел сыграть самого себя в фильме С. Эйзенштейна "Октябрь". Однако прошлое не отпускало его. Несколько раз его арестовывали, а в январе 1940 года Малянтович был расстрелян. Так же сложились судьбы Никитина и Гвоздева. Больше повезло Ливеровскому. Он тоже не избежал ареста и почти год провел в сталинской тюрьме, но в итоге был освобожден. В годы Отечественной войны Ливе-ровский принимал участие в проектировании знаменитой Дороги жизни. За эти и другие заслуги он был награжден орденом Ленина и умер в преклонном возрасте.

"Министрам-капиталистам" пришлось просидеть в Петропавловской крепости значительно дольше. Они были освобождены только в начале мая 1918 года в связи с первой амнистией, объявленной новой властью. При первой же возможности они постарались перебраться за границу. В политической жизни никто из них больше участия не принимал. Принадлежность к Временному правительству, которое проклинали и правые, и левые, стала для них клеймом на всю жизнь.

Но все это будет позже, а пока едва начинался новый день — 26 октября 1917 года. Внешне в Петрограде мало что изменилось. Так же продолжали ходить трамваи, так же по Невскому спешили на работу многочисленные служащие. Никто ничего толком не знал. События предыдущего дня не вышли за пределы центра столицы и завершились слишком поздно. К тому времени, когда Временное правительство было арестовано, все основные газеты уже были сданы в типографию. В результате в вышедших номерах никакой информации о происходящем в городе не оказалось.

Петроград заполонили слухи. Рассказывали о том, что победители устроили кровавую расправу над побежденными. Говорили о десятках изнасилованных женщин-ударниц, о сотнях растерзанных юнкеров. В то, что большевики сумеют удержаться у власти, никто не верил. Если уж в июле, когда во власти анархии был весь город, Керенскому удалось навести порядок, то подавно удастся и сейчас. В эти первые дни антибольшевистские силы в Петрограде не только не прятались, а, казалось, преднамеренно афишировали свою деятельность.

На лидирующую роль в антибольшевистской борьбе претендовали два центра. Во-первых — городская дума. После

неудачной попытки "умереть" дума заседала непрерывно. По коридорам сновали какие-то люди, в боковых комнатах шло заседание фракций, в большом зале в каждом углу проходили импровизированные митинги. Здесь Авксентьев по телефону пытается собрать депутатов разогнанного "предпарламента", в двух шагах от него городской голова Г. И. Шрейдер рассуждает о необходимости созыва "Всероссийского земского собора".

Повсюду царила обстановка хаоса и какой-то нервической истерики. Набоков вспоминал: "Что касается ежедневных думских заседаний, то они носили характер сплошного митинга. Не было никакой повестки, никакого плана занятий. Все проходило в виде срочных, спешных, внеочередных заявлений. Чаще всего их делал сам городской голова. Вслед затем начинались бурные прения". [414] Большевистская фракция прекратила посещать заседания думы сразу после переворота. Некоторое время два-три представителя от большевиков еще заглядывали в здание на Невском в качестве наблюдателей, но вскоре прекратились и такие посещения.

Вторым претендентом на роль главного штаба антибольшевистской борьбы был Комитет спасения Родины и революции. Решение о его создании было принято на последнем заседании Временного Совета республики 25 октября, но окончательно состав и функции комитета оформились только на следующий день. Комитет был составлен по принципу представительства общественных организаций и политических партий. Хотя это специально не оговаривалось, Комитет объединял прежде всего представителей так называемой "революционной демократии". Кадетов в его составе было только трое — Набоков, Оболенский и графиня Панина, и то в центральное бюро их не включили. Председателем Комитета спасения стал Авксентьев, а его заместителями еще ряд известных деятелей из числа правых эсеров и меньшевиков.

Комитет спасения заседал в здании бывшего Училища правоведения на Фонтанке, где в дни революции расположился Исполком Совета крестьянских депутатов. Здесь тоже "занимались резолюциями — по обыкновению, споря о каждой фразе, о каждом отдельном слове, точно от этих фраз и слов зависело "спасение Родины и революции"".[415]

Россия задыхалась от слов. Это понимали все, кроме политиков, от которых зависело принятие решений. Осенью 1917 года все центральные газеты обошло стихотворение поэта-сатирика Д'Актиля (А. А. Френкеля) "Мы и они". Оно несколько длинновато, но мы все же позволим себе воспроизвести его, поскольку оно предельно ярко рисует ситуацию первых дней

после большевистского переворота.

Уж тридцать суток ровным счетом
Бой длится и еще не стих.
Они нас чешут пулеметом,
Мы — резолюциями их.

Закат пылает в небе алом,
Морозный воздух недвижим.
Они грозят нам самопалом,
Мы — резолюциями им.

Смелы, находчивы и ловки,
Мы на своих местах чуть свет.
Они пускают в ход винтовки,
Мы — резолюции в ответ.

В минуту битв бесцельны споры,
Уж бой, так бой — и никаких!
Они громят нас из "Авроры",
А мы из резолюций их.

Над нами клочья дыма вьются
Как от погашенных шутих…
Они — в штыки на нас несутся,
Мы — в резолюции на них.

Смелей же по живому следу,
Слова текут, как кровь течет.
Еще напор — и нам победу
Бог красноречия пошлет!

Для того чтобы правильно понять происходившее в Петрограде в конце октября 1917 года, следует обратить внимание на важную деталь — Комитет спасения призывал к борьбе против большевиков, но не за Керенского и Временное правительство. Это отмечал в своих воспоминаниях В. Б. Станкевич: "Странным образом, борясь с большевиками, все боялись быть смешанными с правительством. При формулировке политической цели антибольшевистской акции в Комитете спасения Родины и революции я поднял вопрос о необходимости заявления, что борьба идет за восстановление правительства, низвергнутого большевиками. Но ни один голос не поддержал меня. Все указывали, что при непопулярности правительства в

стране лучше о нем совершенно не упоминать".[416]

При таком положении дел шансы на победу у антибольшевистских сил были очень невелики. Против кого бороться — было ясно. За что бороться — оставалось непонятным даже для самих инициаторов движения. Одно было очевидно — не за возвращение Керенского. Свергнутый премьер еще что-то делал, еще пытался вернуться на белом коне в столицу, но всё это выглядело затянувшейся агонией.

В ШТАБЕ СЕВЕРНОГО ФРОНТА

Мы оставили Керенского в Гатчине, куда автомобильный кортеж премьера прибыл в половине первого дня 25 октября 1917 года. Керенский рассчитывал встретить здесь войска, по его сведениям, посланные с Северного фронта. Однако в Гатчине было тихо, и о войсках, идущих на помощь Временному правительству, никто не слышал.

В Гатчине было решено сделать остановку, для того чтобы пообедать и заправить автомобили бензином. Керенский прошел к коменданту города полковнику Свистунову, занимавшему помещения в первом этаже Гатчинского дворца. Но что-то в поведении коменданта показалось Керенскому подозрительным. Не желая искушать судьбу, он отказался от обеда. Правда, из-за спешки пришлось пожертвовать одним из двух автомобилей. Бензин из него слили в "пирс-эрроу" премьера, и Керенский продолжил путь.

Был уже поздний вечер, когда Керенский добрался до Пскова, где находился штаб Северного фронта. О том, что происходило в Петрограде, Керенский к этому времени еще ничего не знал. Но, видимо, он что-то подозревал, так как предпочел на время сохранить свое появление в тайне. В Пскове он направился не в штаб, а на служебную квартиру своего шурина генерала Барановского. После корниловской истории, в которой Барановский, по его мнению, проявил нерешительность, Керенский снял его с должности генерала для поручений. Барановский получил назначение на пост генерал-квартирмейстера Северного фронта. Здесь, в непосредственной близости от столицы, он должен был стать "глазами и ушами" своего высокопоставленного родственника.

По телефону в квартиру Барановского были вызваны главнокомандующий Северным фронтом генерал В. А. Черемисов и комиссар фронта В. С. Войтинский. В беседе с ними выяснилась странная картина. После ночного общения по телеграфу с Керенским генерал Черемисов действительно отдал приказ о формировании отряда, который должен был быть направлен в Петроград на помощь правительству. Предполагалось, что ядром его будут части 3-го конного корпуса, расквартированного в районе станции Остров.

Это был тот самый корпус, который Керенский в августе объявил авангардом войск Корнилова. Когда-то им командовал генерал Крымов, но, будучи поставлен во главе Отдельной Петроградской армии, Крымов сдал командование генералу П. Н.

Краснову. Теперь те, кого Керенский еще недавно заклеймил как "корниловцев", стали последней надеждой премьер-министра свободной России.

Получив соответствующий приказ, Краснов распорядился начать погрузку в эшелоны. Однако когда поздно вечером он прибыл на станцию, оказалось, что погрузка завершена, но вагоны по-прежнему стоят на путях. Комендант станции сослался на начальника военных сообщений, когда же того удалось разыскать по телефону, выяснилось, что приказ задержать отправление отдал сам Черемисов.

Тем временем в Пскове на квартире Барановского происходила тяжелая сцена. Черемисов сначала пытался уверить, что распоряжение остановить отправку эшелонов с казаками он получил от самого Керенского, а потом вообще прекратил разговор и заявил, что его ждут на заседании фронтового комитета. Генерал Черемисов вовсе не сочувствовал большевикам. По словам Войтинского, для него "солдатская масса была "сволочью", и он заискивал перед ней лишь потому, что видел в ней силу. Вообще это был военный чиновник, совершенно поглощенный заботой о том, как использовать новую обстановку в личных целях, запутавшийся в честолюбивых махинациях, изолгавшийся, опустившийся, дошедший до полного забвения долга".[417] Черемисов уже знал о судьбе Временного правительства и не собирался связываться с обреченным, по его мнению, делом.

Уход Черемисова поверг Керенского в отчаяние. Что теперь делать — было непонятно. Но в самый последний момент судьба предоставила премьеру шанс — адъютант Барановского доложил о том, что Керенского хочет видеть генерал Краснов.

Краснов, так и не разобравшись, как ему следует поступать, в сопровождении своего начальника штаба полковника С. П. Попова выехал из Острова в Псков. Он попытался найти Черемисова, но оказалось, что тот заседает с членами фронтового комитета. С большим трудом Краснову удалось добиться разговора с главнокомандующим. Черемисов выглядел мрачным и усталым. Когда Краснов сказал, что он присягал Временному правительству, Черемисов прервал его:

— Временного правительства больше нет.

— Как нет?!

— Я вам приказываю выгрузить эшелоны… Все равно вы ничего не сможете сделать.

— Дайте мне письменное приказание, — сказал Краснов.

Черемисов встал и направился к двери. У выхода он обернулся и сказал:

— Я вам искренне советую оставаться в Острове и ничего не делать. Поверьте, так будет лучше.

Краснов оказался в сложной ситуации. С одной стороны, Черемисов распорядился остановить переброску войск, с другой — он так и не захотел дать письменного приказания. Колебания Краснова пресек полковник Попов. Он сказал, что раз дело политическое, то надо пойти посоветоваться с комиссаром. Они направились на квартиру к Войтинскому, но не застали его. Ждать пришлось до четырех ночи. Войтинский был крайне рад, увидев посетителей. Под страшным секретом он сообщил Краснову, что Керенский находится в Пскове. Надо идти к нему, причем идти немедленно.

В эмиграции генерал Краснов получил известность как талантливый литератор. Это можно почувствовать в его описании той октябрьской ночи: "Месяц лукавым таинственным светом заливал улицы старого Пскова. Романтическим средневековьем веяло от крутых стен и узких проулков. Мы шли с Поповым пешком, чтобы не привлекать внимания автомобилем. Шли, как заговорщики… Да по существу мы и были заговорщиками — двумя мушкетерами средневекового романа".[418] С трудом ориентируясь на освещенные окна, Краснов и его спутник нашли квартиру Барановского. Постучали, представились, и их провели на второй этаж, где в гостиной уже ждал Керенский.

Краснов впервые увидел главу Временного правительства вблизи: "Лицо со следами тяжелых бессонных ночей. Бледное, нездоровое, с больною кожей и опухшими красными глазами. Бритые усы и бритая борода, как у актера. Голова слишком большая по туловищу. Френч, галифе, сапоги с гетрами — все это делало его похожим на штатского, вырядившегося на воскресную прогулку верхом".[419]

— Генерал, где ваш корпус? Он идет сюда? Он здесь, уже близко? Я надеялся встретить его под Лугой.

В ответ Краснов доложил, что в его распоряжении нет не только корпуса, но и полной дивизии. Однако Керенского это не слишком обескуражило. Он заявил, что имеет сведения о подходе свежих сил, готовых выступить в защиту Временного правительства. Барановский уточнил эту информацию, приводя конкретные названия и номера частей. Всё это несколько успокоило Краснова, хотя подспудные сомнения у него продолжали оставаться.

Было решено немедленно отправляться в Остров, с тем чтобы как можно скорее выступить в направлении столицы. К месту назначения прибыли, когда уже начинало светать. Весть о том, что в городе находится Керенский, распространилась мгновенно.

У штаба корпуса появились какие-то дамы с цветами, но гораздо больше было солдат и матросов (в городе стоял Морской артиллерийский дивизион), настроенных откровенно враждебно.

Краснов попросил Керенского выступить перед собравшейся толпой, надеясь этим успокоить ее. Позже он вспоминал: "Я никогда не слыхал Керенского и только слышал восторженные отзывы о его речах и о силе его ораторского таланта. Может быть, поэтому я слишком много ожидал от него. Может быть, он сильно устал и не приготовился, но его речь, произнесенная перед людьми, которых он хотел вести на Петроград, была во всех отношениях слаба. Это были истерические выкрики отдельных, часто не имеющих связи между собой, фраз. Все те же избитые слова, избитые лозунги".

Керенский не успел закончить, как из толпы послышалось: "Неправда, большевики этого не хотят! Мало кровушки нашей солдатской попили!" Оратор уже вернулся в дом, а выкрики толпы перед входом в штаб становились все более агрессивными:

— Схватить его и предоставить Ленину — вот и все!

— А казаки?

— Казаки ничего не сделают.

Краснов приказал вызвать со станции конный взвод для конвоирования автомобиля, а на самой станции выставить "почетный караул". Вид бравых казаков, прошедших перед ним церемониальным маршем, вернул Керенскому хорошее настроение. Но дальше начались новые неприятности. Поезд не двигался с места, между тем на путях появлялись все новые и новые группы вооруженных солдат. После разговора на высоких тонах с начальником станции выяснилось, что куда-то исчез машинист. Тогда его место занял начальник личного конвоя Краснова есаул Коршунов, когда-то служивший помощником машиниста. Наконец эшелон тронулся.

Псков прошли без остановки и только успели увидеть из окон громадную толпу вооруженных солдат, собравшихся на перроне. На одном из полустанков в эшелон подсели казачьи офицеры, возвращавшиеся из Петрограда. Один из них — сотник Карташов, доложил то, что ему было известно о судьбе правительства. Обратившись к нему, Керенский протянул офицеру руку. Тот вытянулся по стойке смирно, но руки в ответ не подал.

— Поручик, я подаю вам руку, — сказал Керенский.

— Виноват, господин Верховный главнокомандующий, я не могу подать вам руки. Я — корниловец.

Керенский покраснел, пожал плечами и вышел из купе.

В ночь на 27 октября эшелон прибыл в Гатчину. Здесь отряд остановился почти на сутки, чтобы дождаться подхода других

частей и попытаться выяснить намерения противника. Что касается наличных сил, то в этом отношении картина складывалась не слишком впечатляющая. Под командованием Краснова находилось три сотни 9-то Донского полка, две сотни 10-го Донского полка, одна сотня 13-го Донского полка, а также неполная сотня казаков-енисейцев. В совокупности это составляло меньше пятисот человек. В распоряжении отряда было также восемь пулеметов и 16 конных орудий. Идти с этими силами на Петроград, гарнизон которого составлял 200 тысяч человек, было безумием.

Однако гражданская война диктовала свои правила. Добиравшиеся из Петрограда офицеры (а они прибывали в Гатчину буквально каждый час) сообщали, что в столичном гарнизоне царят колебания. Достаточно любой мелочи, чтобы чаша весов качнулась не в сторону большевиков. Краснов надеялся, что остатки авторитета Керенского помогут ускорить этот процесс. К тому же Керенский был не один. Уже в Гатчине с ним на связь вышли представители Комитета спасения, обещая при приближении отряда Краснова к Петрограду организовать в городе восстание. Все это вселяло надежду, но до полной уверенности в успехе было далеко.

ПОХОД НА ПЕТРОГРАД

В два часа ночи 28 октября 1917 года отряд Краснова выступил в поход на Царское Село. Царскосельский гарнизон насчитывал более шестнадцати тысяч человек, то есть многократно превосходил по численности силы наступающих. Расчет Краснова был только на то, что защитники Царского Села не станут рисковать жизнями в борьбе за не слишком понятные им цели. Эта надежда в целом оправдалась.

На полпути к Царскому Селу отряд Краснова столкнулся с ротой стрелков, укрепившейся в спешно вырытых окопах. Вместо того чтобы атаковать противника, Краснов послал к стрелкам парламентеров в лице членов дивизионного комитета. После долгих переговоров, или, правильнее сказать, уговоров, стрелки сложили оружие. Все было бы хорошо, но такой способ действия требовал слишком много времени. В результате когда отряд подошел к окраинам Царского Села, уже взошло солнце. Здесь всё повторилось сначала. Батальон пехоты, числом не менее восьмисот человек, сначала встретил казаков Краснова винтовочными выстрелами, а потом сдался без боя. Около полутора сотен защитников Царского Села не пожелали сдаваться и с оружием в руках отступили под защиту окраинных домов. Однако достаточно было двух пушечных выстрелов, чтобы они в панике разбежались.

День уже кончался, когда казаки вступили в Царское Село. После первых успехов наступление на Петроград вовсе не выглядело такой авантюрой, как вначале. Но по-прежнему оставалось множество вопросов, требующих срочного решения. Во-первых, слишком медленные темпы продвижения. Конечно, уговоры были лучше, чем пролитая кровь, но каждый такой случай растягивался на много часов. Во-вторых, от такой манеры наступления казаки уставали больше, чем от настоящего боя. Все чаще стали раздаваться разговоры о том, что нельзя дальше идти без поддержки пехоты.

Надо сказать, что положение казаков в дни революции было вообще очень сложным. Общественное мнение, подогреваемое пропагандой левых партий, заклеймило их как "прихвостней царского режима". По этой причине казаки крайне осторожно относились к попыткам вовлечь их в любые политические комбинации и соглашались только в том случае, когда им предстояло действовать не одним. Сейчас у казаков отряда Краснова опять проснулся страх быть обманутыми, оказаться в ситуации, когда их руками вершится неправое дело.

Казалось бы, в отряде не было недостатка в агитаторах, которые могли всё убедительно разъяснить. В Гатчине и Царском Селе перебывали все или почти все заметные политические фигуры. Сюда приезжали Чернов и Гоц, почти безвыездно в отряде Краснова находились Станкевич и Савинков. Наконец, не следовало забывать и о главной фигуре — Керенском. Но речи приелись, а слова потеряли цену. К тому же для Краснова стало очевидно, что присутствие Керенского скорее не помогает, а мешает.

Офицеры отряда не скрывали своей ненависти к "главно-уговаривающему". Еще в первый день пребывания Керенского в Гатчине был арестован некто Печенкин, офицер местного гарнизона, известный как "монархист, заядлый враг революции и кандидат в дом умалишенных",[420] задумавший покушение на экс-премьера. Позже Савинков прямым текстом предлагал Краснову арестовать Керенского, поскольку его имя отталкивает от антибольшевистского движения потенциальных сторонников. Как было не удивляться — недавний герой превратился в объект всеобщей ненависти. Однако еще страшнее было другое — то, что сам он это никак не хотел сознавать.

Керенский постоянно торопил Краснова, не считаясь с реальными возможностями. Тем не менее Краснов счел необходимым дать отряду сутки на отдых. В этот день, воскресенье 29 октября, в Петрограде произошли события, которые в другой ситуации могли бы сильно повлиять на исход дела. К этому времени Комитету спасения Родины и революции удалось наладить связь с большинством юнкерских училищ столицы. Было решено, что в нужный момент — когда отряд Керенского—Краснова подойдет непосредственно к городу, юнкера ударят в тыл большевикам. Подготовка этого плана велась в строгой тайне — только центральное бюро комитета было в курсе того, что замышляется, да и то детали были известны лишь самому узкому кругу лиц. Непосредственное руководство подготовкой восстания было возложено на уже известного нам полковника Полковникова.

Для того чтобы проинформировать о готовящемся восстании Краснова и Керенского, к ним был командирован Станкевич. Он на автомобиле добрался до Царского Села и благополучно вернулся назад. Вечером 28 октября Станкевич доложил о результатах своей поездки на заседании бюро Комитета спасения. После его доклада было решено отложить выступление до понедельника. Но восстание началось в воскресенье, за день до намеченной даты, когда отряд Краснова еще стоял на отдыхе в 25 верстах от столицы.

Причины переноса сроков восстания до сих пор до конца не понятны. По словам Станкевича, на этом настоял Полковников, у которого были сведения о том, что большевики готовятся в воскресенье разоружить юнкерские училища. Возможно, причиной этого стал арест одного из членов бюро, у которого нашли подробный план действий на случай выступления.

В четыре часа утра 29 октября юнкера заняли Инженерный замок, где и расположился штаб Полковникова. Одновременно был захвачен Михайловский манеж с находившимися здесь броневиками. После этого небольшой отряд из 75 юнкеров в сопровождении одного броневика был отправлен для захвата Центральной телефонной станции. Под видом смены караула юнкера проникли внутрь здания и разоружили находившихся на станции солдат. Сразу же после этого были отключены телефоны Смольного и других центральных советских учреждений. Но это стало последним успехом восставших.

Большевики сориентировались очень быстро. Уже к десяти часам все юнкерские училища были окружены красногвардейцами и солдатами. Бóльшая их часть была занята без боя. Только Владимирское училище выдержало настоящую осаду и было занято лишь к двум часам дня. Дольше всего держались юнкера, занимавшие телефонную станцию. Они отстреливались до последнего и только к вечеру сдались превосходящим силам противника.

В Петрограде начались страшные расправы. Случаи садистских издевательств над живыми и мертвыми принимали такие извращенные формы, что это невозможно изложить на бумаге.[421] Точное число погибших в этот день подсчитать невозможно, но несомненно, что счет шел на сотни, если не на тысячи. Можно лишь гадать, как развивались бы события, если бы выступление юнкеров совпало, как и предполагалось, с движением отряда Краснова на Петроград. Но к тому времени, когда отряд был готов выступить в поход, восстание в столице было уже подавлено.

За день пребывания в Царском Селе отряд Краснова сумел пополнить свои силы. К нему присоединились неполная сотня лейб-гвардии Сводного казачьего полка, конная батарея из двух полевых орудий, которую привел из Павловска полковник граф Ребиндер (тот самый, который успел прославиться в июльские дни), и несколько десятков юнкеров из Гатчины и Петрограда. Самым серьезным приобретением был бронепоезд, угнанный накануне несколькими офицерами Гатчинской авиационной школы с Балтийского вокзала в Петрограде. В конечном счете в распоряжении Краснова оказалось 630 конных казаков, менее

сотни пехотинцев (преимущественно офицеров и юнкеров), 18 орудий, броневик "Непобедимый" и бронепоезд.

Наступило 30 октября, день, которому суждено было стать решающим в истории последней попытки свергнутого премьера вернуть себе власть. С утра было довольно холодно, шел дождь, но ближе к полудню небо очистилось от облаков, и стало как-то почти по-летнему солнечно. С рассветом отряд Краснова выступил в направлении Пулковских высот, где, по сведениям разведки, укрепились большевики. Не доходя до расстояния винтовочного выстрела, казаки спешились и продолжали двигаться рассыпным строем. Сам Краснов расположился на северной окраине деревни Редкое Кузьмино, откуда была возможность наблюдать весь театр военных действий.

Наступление на центральном участке довольно скоро застопорилось — артиллерия противника заставила казаков зарыться в землю. Пушки отряда Краснова отвечали редким огнем, экономя снаряды. Гораздо лучше обстановка сложилась на левом фланге. Здесь наступающих мог поддержать своим огнем бронепоезд, и потому Краснов направил туда неполную сотню лейб-гвардии Сводного казачьего полка. Противник располагал на этом участке фронта многократно превосходящими силами. Но при первых же залпах бронепоезда солдаты разбежались, а находившийся с ними офицер сдался в плен.

Эта нежданная победа крайне воодушевила молодого хорунжего, командовавшего сотней. Он попросил у Краснова разрешения атаковать находившуюся впереди деревню. "Еще рано, — ответил тот. — Вы атакуете вместе со всеми". Однако азарт оказался сильнее привычки подчиняться приказу, и сотня поскакала в атаку. До последней минуты казалось, что враг вот-вот побежит, не выдержав вида казачьей лавы. Но казаки наткнулись на болотистую канаву. Лошади стали вязнуть, и атака захлебнулась. Опомнившиеся большевики пустили в ход пулемет. Первым был убит бесшабашный хорунжий. Его товарищи поспешили отступить.

К вечеру бой стих. Потери большевиков были велики, но в бинокль Краснову было хорошо видно, что к противнику прибывают все новые подкрепления. Это заставило Краснова отдать приказ с наступлением темноты отходить к Гатчине. Оборонять Царское Село с его огромным парком и беспорядочно разбросанными домами возможности не было, а в Гатчине отряд мог на какое-то время оставаться в безопасности.

В Гатчине Краснова уже ожидал Керенский. Он показался Краснову растерянным и даже немного напуганным.

— Что же делать, генерал?

— Если подойдет пехота, будем драться и возьмем Петроград. Если никто не придет — ничего не выйдет. Придется уходить.

Краснов отдал распоряжение поставить на въезде в город заставы с артиллерией, а сам лег отдохнуть. Но не успел он закрыть глаза, как его разбудил командир артиллерийского дивизиона. Он сообщил, что казаки отказываются идти на заставы и говорят, что больше не будут стрелять в своих. Чуть позже с тем же самым сообщением пришел командир 9-го Донского полка. В итоге спать в эту ночь Краснову не пришлось. Он направился к артиллеристам, чтобы самому поговорить с ними. По дороге Краснов увидел толпящихся во дворе казаков. Среди них ходили люди в черных матросских бушлатах. Краснову сказали, что это парламентеры, которые привезли с собой ультиматум, выдвинутый союзом железнодорожников.

Всероссийский исполнительный комитет профессионального союза железнодорожников (или как его называли в духе тогдашней моды на сокращения — ВИКЖЕЛЬ) внезапно оказался в положении самой влиятельной политической силы страны. Руководство ВИКЖЕЛя, угрожая всеобщей железнодорожной забастовкой, потребовало от противоборствующих сил сложить оружие. Это было очень серьезно, так как железнодорожная забастовка могла парализовать страну.

Для обсуждения условий, выдвинутых ВИКЖЕЛем, Керенский днем 31 октября собрал совещание с участием Краснова, его начальника штаба и находившихся в Гатчине Савинкова и Станкевича. Мнения присутствующих разделились, но решающей оказалась позиция Краснова. Он заявил, что в настоящий момент необходимо перемирие. Оно позволит выиграть время, а если подойдет обещанная помощь, можно будет возобновить поход на столицу. Поздно вечером того же дня к большевикам были отправлены парламентеры.

В Гатчине воцарилась обстановка тревожного ожидания. Шли какие-то совещания, писались прокламации и приказы, но все мысли были только о том, насколько успешной будет миссия переговорщиков. Утром 1 ноября парламентеры вернулись обратно. Вместе с ними прибыли большевистские представители во главе с членом нового петроградского правительства П. Е. Дыбенко. "Громадного роста красавец мужчина с вьющимися черными кудрями, черными усами и черной бородкой, с большими томными глазами, белолицый, румяный, заразительно веселый, сверкающий белыми зубами, с готовой шуткой на смеющемся рте, физически силач, позирующий на благородство, он очаровал в несколько минут не только казаков. но и офицеров".[422]

Дыбенко предложил, ни много ни мало, обменять Керенского на Ленина — "ухо на ухо". Казаки поверили и пошли с этим к Краснову, но тот резонно отвечал: пускай Дыбенко доставит сюда Ленина, и тогда можно будет говорить. Разговор этот вызвал у Краснова беспокойство, и он пошел к Керенскому. То, что происходило дальше, в трактовках Краснова и Керенского существенно разнится. Краснов утверждает, что он предупредил Керенского и, задержав казаков, позволил тому скрыться. Керенский же до конца пребывал в убеждении, что Краснов собирался выдать его большевикам.

Керенский был в отчаянии и всерьез собирался покончить с собой. Позже один из его адъютантов мичман Кованько рассказал своей знакомой подробности этих минут. Керенский позвал адъютантов и сказал, что он принял решение застрелиться, чтобы не попасть в руки большевиков. Но у него больная рука, и он боится, что не убьет себя, а только покалечит. Поэтому он просит их бросить жребий, кто из них его застрелит. Жребий пал на Кованько. "А надо сказать, что этот Кованько был очень артистичным малым: и сострить мог, и скаламбурить к месту. Тут он и говорит Керенскому: "Что же это мы в самом деле раскисли?!" Схватил шоферскую меховую куртку (тогда ведь были открытые машины), напялил синие очки на Александра Федоровича, фуражку".[423]

Сам Керенский описал конец этой сцены так: "Мы стали прощаться, и тут вдруг отворилась дверь и на пороге появились два человека — один гражданский, которого я хорошо знал,[424] и матрос, которого я прежде не видел. "Нельзя терять ни минуты, — сказали они. — Не пройдет и получаса, как к вам ворвется озверевшая толпа. Снимайте френч — быстрее"".[425] Керенского переодели в матроса. Вид у него получился довольно нелепый — руки торчали из слишком коротких рукавов, рыжевато-коричневые штиблеты с крагами (обувь переодевать было уже некогда) совсем не подходили к форменной одежде. Бескозырка оказалась Керенскому на несколько размеров мала и прикрывала только макушку. Лицо премьера скрыли огромные шоферские очки.

Сопровождаемый приставленным к нему матросом, Керенский вышел во двор, запруженный людьми. У ворот его должен был ждать автомобиль, но его на месте не оказалось. Керенский почувствовал, что все пропало. На него уже начали обращать внимание. Но тут один из находившихся во дворе офицеров неожиданно упал на землю и забился в конвульсиях. Внимание толпы было отвлечено, и в это время кто-то шепнул Керенскому на ухо, что машина ждет его у Китайских ворот.

Керенский с сопровождающим двинулись по длинной аллее. По дороге, на их счастье, им попалась телега. Сунув обомлевшему вознице 100 рублей, спутник Керенского приказал ехать к Китайским воротам. Здесь действительно стоял долгожданный автомобиль. Заревел мотор, и автомобиль поехал в сторону Луги. Эти минуты врезались Керенскому в память навсегда. Он даже запомнил, что офицер-водитель по дороге насвистывал мотивчик из Вертинского. Всё кончилось. Впереди были несколько месяцев подполья и долгие годы вдали от России.

ПОДПОЛЬЕ

Первым прибежищем Керенского после бегства из Гатчины стал маленький домик на окраине деревни Ляпунов Двор, спрятавшейся в лесу под Лугой. Хозяева дома — чета Болотовых — приходились родственниками одному из спасителей Керенского — "матросу Ване". Они понимали, чем рискуют, предоставляя кров экс-премьеру, но ни разу не дали понять, что их обременяет присутствие гостя.

Болотовы жили уединенно, чужих не принимали, и через какое-то время страх перед неизбежным арестом стал оставлять Керенского. Он постарался изменить внешность, отрастил бороду и усы. "Бороденка была жиденькая, — вспоминал он на склоне лет, — она кустилась лишь на щеках, оставляя открытым подбородок и всю нижнюю часть лица. И все же в очках, со взъерошенными патлами по прошествии 40 дней я вполне сходил за студента-нигилиста 60-х годов прошлого века".[426]

Время от времени в лесном домике появлялись посланцы из внешнего мира. Они привозили с собой газеты, из которых Керенский узнавал о происходящем в стране. Больше всего ему испортило настроение попавшее в бульварную прессу сообщение о том, что он якобы бежал из Гатчины в женском платье. Даже много позднее, будучи глубоким стариком, он не уставал возмущаться по этому поводу. Выдумка кого-то из журналистов стала устойчивой легендой, которую с охотой повторяли и большевики, и их политические противники.

В советское время история с женским платьем использовалась неоднократно и в самом разном контексте. Когда-то в книгах по истории революции в обязательном порядке помещалась репродукция картины Г. М. Шегаля, изображавшая, как перепуганный Керенский в одной из комнат Гатчинского дворца торопливо переодевается в одежду сестры милосердия. В более позднем фильме, "Посланники вечности", Керенский в женском платье бежит уже не из Гатчины, а из Зимнего.

При всей нелепости подобной маскировки (мужчина в женском платье скорее будет привлекать внимание) в то, что Керенский бежал, именно переодевшись женщиной, поверили почти все. Нетрудно увидеть за этим стремление расквитаться с былым кумиром за месяцы безоглядного обожания. Женское платье в случае с Керенским — это то же самое, что и маска скомороха, брошенная на тело убитому Лжедмитрию. Шут, скоморох, ряженый — эта устойчивая характеристика Керенского надолго закрепилась в массовом сознании.

Из газетных сообщений Керенский мог составить картину того, что происходит в России. В обеих столицах попытки организовать сопротивление большевикам были быстро подавлены. Зато вовсю пылал очаг антибольшевистской борьбы на Дону, где атаман Каледин заявил, что не признает власть узурпаторов. Сюда съезжалось офицерство, горевшее желанием с оружием в руках выступить против большевиков. На Дон прибыли генерал Алексеев и другие старшие воинские начальники. Сюда из быховской тюрьмы бежал и непримиримый враг Керенского — генерал Корнилов.

Дон стал прибежищем всех врагов большевизма. Неудивительно, что здесь ждали и Керенского. Многие мемуаристы позже писали, что они чуть ли не лично встречались с Керенским в Новочеркасске. Сразу скажем — это неправда. Источником этих слухов послужила статья, опубликованная в 1919 году в журнале "Донская волна" полковником Я. М. Лисовым, служившим в политическом отделе у атамана Краснова. В ней говорилось о том, что 12 ноября 1917 года один из прибывших в Новочеркасск офицеров обратил внимание на некоего бритого матроса, ехавшего с ним в одном вагоне. Лицо его показалось офицеру знакомым, но сразу он не мог вспомнить почему. Лишь потом он понял, что это Керенский, но тот к этому времени уже сошел с поезда.

На следующий день другой офицер сообщил в штаб Добровольческой армии, что он видел Керенского, выходящего из гостиницы "Центральная" и направляющегося к атаманскому дворцу. Офицер выяснил, что подозрительный господин живет в номере 19, где зарегистрированы прибывшие из Петрограда постояльцы со странными фамилиями Керибас и Ка-лантьер. За гостиницей тут же была установлена слежка, но в номер никто так и не вернулся.

В качестве главного аргумента в пользу присутствия Керенского на Дону автор статьи приводил рассказ председателя донского правительства М. П. Богаевского, к этому времени уже покойного. По словам Богаевского, как-то в середине ноября, рано утром, ему доложили, что его хочет видеть некий господин, отказавшийся назвать свою фамилию. Адъютант Богаевского описал внешность просителя — бритый, смуглый, одет в черную кожаную тужурку. Богаевский отказался принять безымянного визитера, пока тот не назовет себя. Через несколько минут адъютант вернулся и сообщил, что в приемной ожидает… Керенский. Богаевский тут же вышел в приемную, но там уже никого не было.[427]

Еще раз повторим: в те дни, когда Керенский якобы гулял по

Новочеркасску, он продолжал отсиживаться в лесном доме супругов Болотовых. Легенда о пребывании Керенского на Дону была рождена страстным желанием видеть его там — для того чтобы повесить на первом же фонаре. В ноябре—декабре 1917 года калединский Дон стал прибежищем тех, кто с гордостью называл себя "корниловцами". Для них Керенский был враг, даже в большей степени, чем большевики. Если бы Керенский униженно приполз просить помощи к тем, кого еще недавно предал, это было бы воспринято ими как торжество справедливости.

Той политической силой, которая помогала Керенскому скрываться, были эсеры, точнее, группа крайне правых членов эсеровского ЦК во главе с А. Р. Гоцем. Для них Керенский тоже был "отыгранной картой", но такой, которую необходимо сохранить для обеспечения "преемственности" власти. Соратники по партии вовсе не думали о возвращении экс-премьера на прежний пост. Более того, под предлогом сохранения конспирации опекуны Керенского всячески препятствовали тому, чтобы он чем-то напоминал о себе.

Лишь один раз Керенскому удалось переправить в Петроград письмо, текст которого был опубликован газетой "Дело народа". В нем Керенский взывал к своим прежним почитателям: "Восемь месяцев, по воле революции, я охранял свободу народа и будущее счастье трудящихся масс. Я привел вас к дверям Учредительного собрания. Только теперь, когда царствуют насилие и ужас ленинского произвола — его с Троцким диктатура — только теперь и слепым стало ясно, что в то время, когда я был у власти, была действительная свобода и действительно правила демократия…"[428] Но прошло слишком мало времени, для того чтобы анархия периода "керенщины" (этот термин уже вошел в обиход) воспринималась как царство свободы по сравнению с ужасами большевистского режима. Слова Керенского остались не услышаны, а его добровольные помощники сделали всё, чтобы первое письмо так и осталось единственным.

В лесном доме Болотовых Керенский прожил больше месяца. В начале декабря он перебрался в имение Заплотье, расположенное в окрестностях Новгорода. Оно принадлежало богатому лесопромышленнику Беленькому, сын которого служил прапорщиком в лужском гарнизоне. Здесь Керенский пробыл неделю, после чего некоторое время скрывался в клинике для душевнобольных доктора Фризена, а оттуда переехал в имение Лядно, хозяином которого был старый революционер-народник Каменский.

В первых числах января 1918 года Керенский тайно вернулся

в Петроград. Столица встретила его неласково. "На улицах было грязно, панели сплошь усеяны шелухой подсолнухов. Трамваи ходили редко, вагоны были переполнены до отказа. Электричество большей частью бездействовало. По вечерам на улицах — жутко, особенно на окраинах, насилия и грабежи стали обычным явлением. Повсюду в общественных залах шли митинги. Вместо полицейских на постах стояли ка-кие-то люди с красными нарукавниками, они равнодушно относились и к душераздирающим крикам, и даже к выстрелам. Короче говоря, был хаос, во время которого большевики расстреливали старый режим".[429]

5 января 1918 года должно было открыться Учредительное собрание. Керенский задумал попасть в Таврический дворец с пригласительным билетом кого-нибудь из депутатов, а там при стечении всего народа раскрыть свое инкогнито. В этом было столько театрального, что против высказался даже давний друг Керенского В. М. Зензинов, прибывший на конспиративную квартиру для переговоров от имени эсеровского руководства. Зензинов мотивировал свой отказ заботой о безопасности Керенского, но можно предположить, что дело было в другом. В это время в эсеровском ЦК возобладала группа Чернова, которого прочили в председатели Учредительного собрания. Отношения же Керенского и Чернова были испорчены с того времени, когда последний занимал пост министра земледелия во Временном правительстве.

Роспуск большевиками Учредительного собрания положил конец надеждам на мирные методы борьбы с захватчиками власти. В Петрограде короткая история "учредилки" закончилась расстрелом мирной демонстрации. В городе вновь начались аресты. В этой обстановке опекуны Керенского из эсеровского ЦК предложили ему выехать куда-нибудь за пределы столицы. У Керенского были знакомые в Гельсингфорсе. К этому времени Финляндия формально стала независимым от России государством, и для выезда туда требовалось разрешение от советских властей. Как ни странно, получить его удалось без особых проблем, и Керенский с подложными документами на имя шведского врача выехал из Петрограда.

По совету друзей в Гельсингфорсе было решено не останавливаться. В Финляндии назревала гражданская война, и в столице вот-вот могли начаться вооруженные столкновения. Керенский отправился в Або (Турку), на северное побережье Ботнического залива. Здесь на животноводческой ферме одного из своих знакомых он прожил два месяца. Решение об отъезде он принял, когда его хозяин по большому секрету сообщил ему, что

в Финляндии в ближайшее время высадятся немецкие войска. Хотя Керенскому были гарантированы безопасность и подобающий почет, он не захотел зависеть от милости врагов, с которыми Россия еще находилась в состоянии войны.

Керенский решил вновь вернуться в Петроград, хотя все его отговаривали от столь рискованного шага. Позже он вспоминал обстоятельства своего последнего появления в городе, с которым у него было столько связано. "Платформа Финляндского вокзала в Петрограде была в сугробах — снег давно уже никто не убирал. Выходя из вагона, с тяжелым чемоданом в руке, я поскользнулся и упал лицом прямо в снег. Ко мне подбежали солдат и матрос и помогли подняться на ноги. Со смехом и шутками они подали мне упавшую шапку и чемодан. — Иди парень, и гляди в оба — крикнули они, пожав на прощание руку".[430]

Трамваи не ходили, извозчиков тоже не было. Керенский отправился пешком, неся в руке тяжелый чемодан. Он прошел Литейный. Повернул на Бассейную и наконец вышел на 9-ю Рождественскую, где жила его теща. По счастью, прислуги в доме не было, и Керенский сумел передохнуть. Но оставаться по адресу, который, несомненно, был известен большевикам, казалось слишком опасно. В итоге Керенский поселился на дальней окраине Васильевского острова, в квартире, хозяйка которой сочувствовала эсерам. Вынужденное безделье Керенский коротал за письменным столом. Именно тогда он отредактировал свои показания по делу Корнилова, которые в том же году были изданы в Москве отдельной книгой.

Керенский прожил в Петрограде три месяца, никем не узнанный и почти успевший привыкнуть к спокойной жизни. Но обстановка в стране меньше всего способствовала спокойствию. Лето 1918 года ознаменовалось целым рядом антибольшевистских мятежей. Самым крупным из них было восстание Чехословацкого корпуса. Подняв оружие против большевиков, чехи взяли под контроль огромную территорию от Поволжья до Сибири. Под их защитой в Самаре возникло одно из первых антибольшевистских правительств — Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), в составе которого преобладали эсеры. Керенский счел это удобной возможностью вернуться к политической деятельности.

Еще в марте советское правительство переехало из Петрограда в Москву. Вслед за ним туда же перебралось руководство всех политических партий и движений. Петроград быстро превращался в глухую провинцию, в то время как в Москве вовсю кипела жизнь. В сопровождении своего старого товарища по эсеровской партии В. Фабриканта, который и прежде

опекал его в Петрограде, Керенский выехал в Москву. Не обошлось без приключений — заподозрив в соседе по купе шпиона, Керенский и Фабрикант выпрыгнули из вагона, не доезжая станции, бросив захваченный с собой багаж. Пешком они добрались до центра города, где в районе Арбата, у Смоленского рынка, располагалась конспиративная квартира, адрес которой они получили в Петрограде.

Новая власть в ту пору еще не обзавелась разветвленной системой слежки за инакомыслящими. Керенский жил в Москве, не слишком скрываясь. К нему регулярно заходили в гости "бабушка" Брешко-Брешковская, другие старые его приятели. Сразу по приезде Керенский заявил, что хочет немедленно отправиться на Волгу. Но руководство эсеровской партии всячески препятствовало этому, резонно полагая, что появление Керенского не поможет, а скорее навредит антибольшевистским силам. Вообще присутствие Керенского становилось все более и более неудобным для эсеров. Проще всего было сплавить его куда-нибудь подальше — желательно за границу.

В то время в Москве почти открыто действовали десятки антибольшевистских организаций. Одной из них был "Союз возрождения России", образованный в апреле 1918 года. Он объединил представителей широкой части политического спектра — от левых кадетов до эсеров и меньшевиков. Керенский вступил в контакт с "Союзом возрождения" и принял от него поручение отправиться за границу, чтобы, пользуясь своей известностью и авторитетом, заручиться поддержкой прежних союзников России.

Единственным способом выехать из России был путь через Мурманск, где стояли английские и французские военные корабли. Друзья Керенского достали ему документы бывшего сербского военнопленного капитана Милутина Марковича. Однако в последний момент возникло непредвиденное препятствие. Керенскому нужна была британская виза, а английский консул Уодроп заявил, что для этого нужно согласие министерства иностранных дел. В последний момент всё едва не сорвалось. Положение спас старый знакомый Керенского Р. Брюс-Локкарт. Он поставил в паспорт "Марковича" свою личную печать. Это, конечно, была не виза, но все же какой-то штамп.

Поезд до Мурманска шел несколько дней. Дорога была долгой и мучительной. Наконец — Мурманск, паспортный контроль и кают-компания на французском крейсере "Адмирал Об". На его борту Керенский пробыл три дня. Здесь он отоспался после многих бессонных ночей и, главное, сбрил надоевшую бороду. Когда все формальности были улажены, Керенский перешел на английский тральщик, который и доставил бывшего

главу Временного правительства к берегам Великобритании. В Россию Керенскому не суждено было больше вернуться. Начиналась жизнь на чужбине, затянувшаяся больше чем на полвека.

Прежде чем закончить эту главу, необходимо сказать несколько слов о судьбе семьи Керенского. В бытность Керенского премьером, его жена Ольга Львовна чаще видела его на фотографиях, чем воочию. Положение "соломенной вдовы" усугубляли рассказы многочисленных доброжелателей о реальных и выдуманных романах ее столь популярного мужа. Тем не менее Ольга Львовна продолжала оставаться стойкой сторонницей Временного правительства. В тот самый день, 25 октября 1917 года, когда правительство было арестовано, она тоже едва не оказалась в большевистской тюрьме. Вечером она вышла на прогулку в компании одного из знакомых. По дороге она начала срывать большевистские плакаты, расклеенные на заборах и столбах. Поначалу никто на это особого внимания не обращал, но на углу Невского Ольгу Керенскую и ее спутника окружила толпа солдат.

— Ты что тут делаешь?

— Срываю плакаты большевиков. Им не нравится Временное правительство, а мне не нравятся ни они, ни их плакаты.

Этого хватило для того, чтобы отвести обоих задержанных в комендантское управление. Комендант не обрадовался им, особенно узнав фамилию Ольги. Он был бы не прочь отпустить ее домой, но это не позволяли сделать разъяренные солдаты. В конце концов комендант позвонил в городскую думу, а оттуда за задержанными прислали автомобиль.

Ольга Львовна с детьми оставалась в Петрограде на протяжении всего времени гражданской войны. Квартиру на Тверской пришлось оставить — она находилась на первом этаже и в низко расположенное окно мог забраться любой погромщик или грабитель. Кроме того, адрес Керенского фигурировал в справочной книге Петрограда, и в квартиру как-то уже наведывались солдаты с обыском, рассчитывая найти тут свергнутого премьера. Сыновей Олега и Глеба удалось пристроить в загородную школу, где они находились постоянно на казенном обеспечении. Сама же Ольга Львовна перебралась на Дегтярную улицу, в квартиру, ранее принадлежавшую ее брату.

Первым делом перед ней встал вопрос о заработке. Некоторое время она жила тем, что набивала табаком папиросы, которые потом вразнос на улице продавал один из ее случайных знакомых. Однако драгоценный табак был конфискован во время очередного обыска, и Ольга Керенская опять оказалась без денег

и работы. На счастье, другой знакомый сумел пристроить ее в петроградское отделение Центросоюза. Сначала она получила место заведующей какого-то несуществующего отдела, но вскоре перешла на должность машинистки. Этим ремеслом она овладела в совершенстве и позднее в эмиграции именно так зарабатывала деньги.

Ольге Керенской пришлось перенести все ужасы петроградской разрухи: голод, когда по карточкам выдавалась восьмушка мокрого хлеба; холод и тяжелый труд. Особенно страшной выдалась зима 1919/20 года. "Моего жалования, — вспоминала позже Ольга Львовна, — хватало только на несколько фунтов хлеба или другого какого-либо продукта. Советские деньги ничего не стоили, меновая торговля шла вовсю, и из квартиры исчезали одни вещи за другими. Были проедены все портьеры. Швейная машина, шуба Александра Федоровича, продались одна за другой серебряные ложки и другие серебряные вещи — одним словом, всё, что имело спрос и могло понадобиться в деревне, откуда спекулянты привозили продукты в обмен на вещи и только на вещи".[431]

В эту зиму из Ташкента пришло известие о смерти младшего брата Керенского — Федора. Последний раз братья виделись весной 1917 года, когда Федор приезжал в Петроград. Ольга Львовна вспоминала, что он уже тогда был настроен мрачно и "на все мои полные энтузиазма речи только качал головой и иногда и очень даже часто повторял: "Не нравится мне всё это. Всё это очень хорошо пока что для Саши — все эти его речи, выступления, но расхлебывать всё это, отвечать за всё это придется в Ташкенте мне"".[432] Подробности гибели Федора Керенского до сих пор неизвестны. Можно предположить, что он стал жертвой массовых репрессий в ответ на неудачную попытку антибольшевистского восстания в Ташкенте в январе 1919 года.

Что касается Ольги Керенской, то ей наконец повезло. Через одного из друзей ей удалось добыть документы, превратившие ее в подданную Эстонии. После заключения в 1920 году Юрьевского мира между Эстонией и Россией был организован процесс репатриации эстонских подданных на родину. В этом потоке сумела выехать и Ольга Керенская, и не одна, а захватив обоих сыновей. Увы, те годы, когда Ольга и Александр прожили вдали друг от друга, сделали свое дело. Семья распалась навсегда. Ольга Керенская с детьми поселилась в Англии и дожила здесь до глубокой старости, на пять лет пережив мужа.

ЭМИГРАЦИЯ

Английский тральщик, доставивший Керенского в Великобританию, отдал якорь в порту Тюрсо на Оркнейских островах. Впервые в жизни Керенский оказался за границей. Несмотря на возраст (все-таки 36 лет) и карьеру, он до тех пор ни разу не выезжал за пределы России. Не зная языков (гимназический французский в счет не шел), он должен был не просто суметь сориентироваться в чужой для него обстановке, но и обратить свое пребывание здесь на пользу России.

20 июня 1918 года поезд, в котором ехал Керенский, прибыл на вокзал Кингс-кросс. Экс-премьера встречал только доктор Я. О. Гавронский — политический представитель Временного правительства в Лондоне. В позднейших мемуарах Керенский объяснял это нежеланием преждевременно афишировать свое пребывание в английской столице. На деле всё было сложнее. Официальный поверенный в делах России К. Д. Набоков, исполнявший обязанности главы дипломатической миссии вместо умершего незадолго до этого посла, попросту дистанцировался от Керенского и не отреагировал на посланную им с дороги телеграмму.

Действительно, положение Керенского было весьма двусмысленным. С одной стороны, он был главой режима, который Великобритания официально признала, с другой — человеком, которого в равной мере ненавидели и новые хозяева России, и их противники. Официальные контакты с Керенским были чреваты обострением отношений и с красными, и с белыми, что в Лондоне очень хорошо понимали. По этой причине встречи Керенского с членами британского правительства были обставлены такой секретностью, что на ум приходили набиравшие популярность как раз в это время шпионские романы.

На третий или четвертый день пребывания Керенского в Лондоне к нему пришел молодой человек, оказавшийся секретарем английского премьера Д. Ллойд Джорджа. Он передал Керенскому приглашение посетить знаменитый дом на Даунинг-стрит, 10. Позже Керенский вспоминал об этой встрече: "Я оказался лицом к лицу с невысоким коренастым человеком благородной наружности; моложавое, свежее лицо под копной белоснежно седых волос особенно оживлял взгляд маленьких, проницательных, сверкающих глаз".[433] Разговор продолжался более часа, и хотя собеседникам приходилось общаться через переводчика (эту роль выполнял Гавронский), у Керенского

осталось впечатление, что ему удалось убедить английского премьера. Керенский призывал англичан более активно помогать антибольшевистским силам в России и для начала признать де-факто сложившиеся в Сибири и в Поволжье эсеровские правительства.

Как истинный политик, прямых обещаний Ллойд Джордж не дал, но, вернувшись домой, Керенский обнаружил, что в его отсутствие ему звонили от имени военного министра лорда Мильнера с просьбой посетить его на следующий день. Этот визит принес Керенскому сплошное разочарование. Мильнер представлял те круги британского истеблишмента, которые и прежде относились к России с большим недоверием. Он откровенно не верил в то, что Керенский представляет кого-то, кроме самого себя, и всем своим поведением постарался дать понять это.

Дальнейшее пребывание Керенского в Лондоне становилось бессмысленным. К тому же не Лондон, а Париж был в это время центром европейской политики. Здесь заседал "Совет пяти", представлявший великие державы, объединившиеся в антигерманскую коалицию. Всё это заставляло Керенского спешить в столицу Франции. Его поездка в Париж нигде не афишировалась, но в гостиничном номере его уже ждали представители французской полиции. Они сообщили, что в распоряжение Керенского будут предоставлены автомобиль и дополнительная полицейская машина с охраной. На вопрос о причинах такой заботы было сказано, что всё это делается только в интересах безопасности русского гостя.

Поначалу Керенскому это даже польстило. Услужливые французские жандармы возили его по городу и показали все достопримечательности Парижа. Однако время шло, а приглашения на встречу с Клемансо, на что так надеялся Керенский, всё не было. Керенскому передавали, что "старик", как за глаза называли французского премьера, очень занят. Наконец, 10 июля Клемансо его принял. Глава французского кабинета встретил Керенского подчеркнуто радушно. Но в ответ на упоминание о том, что союзнические представители в Москве обещали антибольшевистскому подполью помощь, Клемансо разыграл искреннее удивление. В Париже еще не решили, на кого ставить в запутанной русской игре.

Если Керенский надеялся на то, что Клемансо и Ллойд Джордж примут его как равного себе, то в таком состоянии ему пришлось пребывать недолго. Вторая встреча Керенского и Клемансо пришлась на следующий день после национального праздника Франции — 14 июля. В этот день в Париже прошел

торжественный парад с участием воинских контин-гентов всех держав-союзниц. Единственной страной, не получившей приглашение участвовать в нем, была Россия. Когда Керенский высказал недоумение по этому поводу, в ответ он услышал, что отныне Россия воспринимается как нейтральное государство, заключившее мир с врагами Франции. "Друзья наших врагов — наши враги", — жестко закончил Клемансо. Встреча оказалась безнадежно скомканной, а новых приглашений Керенский больше не получал.

Только теперь, после месяца пребывания за границей, Керенский осознал, что он вовсе не глава государства, прибывший с визитом в другую страну, а обыкновенный беженец, никому не нужный и предоставленный самому себе. Все его попытки создать что-то вроде "правительства в изгнании" наткнулись на неприятие его же единомышленников. В сентябре 1918 года на совещании в Уфе, в котором участвовали представители большинства антибольшевистских групп, была создана Всероссийская директория. Она мыслилась как единый центр борьбы и объединила эсеров и умеренных либералов. Председателем директории был избран давний знакомый Керенского — бывший председатель "предпарламента" Н. Д. Авксентьев.

Керенского это очень вдохновило. Узнав, что русский посол в Лондоне К. Д. Набоков получил из России шифры для сношения с директорией, он потребовал, чтобы такая же возможность была предоставлена и ему. Набоков отправил соответствующий запрос, но получил ответ за подписью Авксентьева, гласивший, что Керенский находится за границей как частное лицо. Имя Керенского было настолько дискредитировано в России, что связываться с ним значило загубить любое дело. Но сам Керенский не желал этого понимать.

Последующие полтора года Керенский прожил в Великобритании — большей частью в провинции, где цены были ниже, но регулярно наведываясь в Лондон. С каждым днем он все больше чувствовал себя забытым и оттесненным на обочину большой политики. При этом он внимательно следил по газетам за происходящим в России. Попытки белых генералов уничтожить большевизм вооруженным путем вызывали у Керенского резкое неприятие. В Колчаке, Деникине, Врангеле он видел прежде всего продолжателей дела Корнилова. Неудачи белых означали для Керенского доказательство того, что в августовские дни 1917 года он поступил правильно.

Белое движение было в понимании Керенского "большевизмом наизнанку". Политика белых режимов играет на

руку только хозяевам Кремля, поскольку доказывает правоту большевистской пропаганды. "Если бы не было Врангеля, Москва должна была его выдумать".[434] Непримиримое отношение к белой эмиграции Керенский сохранил на всю жизнь. Со своей стороны она платила ему тем же. В понимании тех, кто боролся под знаменами белых вождей, Керенский был виновен в развале России не меньше, а может быть, даже больше, чем Ленин и Троцкий.

В начале 1920 года Керенский переехал в Париж, постепенно превращавшийся в "столицу" русских изгнанников. Средства его к этому времени настолько истощились, что он не мог даже снять комнату и ночевал в редакции газеты "За Россию", сотрудником которой числился. Газета закрылась через несколько месяцев, и Керенский переехал в Прагу, где оказавшиеся в эмиграции эсеры начали выпуск "Воли России". Керенский очень активно участвовал в ее издании, опубликовав за два года несколько десятков статей. Часть из них была позже помещена в сборнике "Издалёка", увидевшем свет в Берлине в 1922 году.

К этому времени Керенский сумел найти деньги на собственную газету, получившую название "Дни". Первый номер ее вышел в том же Берлине 29 октября 1922 года. Через три года редакция "Дней" переехала в Париж, где издание продолжало выходить вплоть до начала тридцатых годов (в 1928 году поменяв формат на еженедельный журнал). Среди эмигрантских изданий "Дни" оказались на положении одного из долгожителей, чему способствовала умелая политика редакции. На страницах газеты публиковались не только политические статьи, но и стихи, проза, эссе о музыке и балете. Редакции удалось привлечь к сотрудничеству многих талантливых литераторов из числа эмигрантской молодежи. Редактором по разделу прозы в "Днях" был Марк Алданов, поэзию курировал Владислав Ходасевич. В газете Керенского активно сотрудничали его старые друзья З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковский, а также К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин, И. С. Шмелев и многие другие.

Политическое же лицо "Дней" определял почти исключительно сам Керенский. В каждом свежем номере на первой странице он помещал очередной отклик на события в России и в мире. Писательница Нина Берберова вспоминала: "Керенский диктовал свои передовые громким голосом на всю редакцию. Они иногда у него выходили стихами".[435] Отношение Керенского к происходящему в России зачастую расходилось с мнением основной части эмиграции.

В начале 1920-х годов, когда Ленин провозгласил переход к новой экономической политике, в эмигрантской среде наметился

раскол. Представители правых политических течений и бóльшая часть военной эмиграции считали необходимым придерживаться прежнего курса на вооруженное свержение большевизма. Другая часть, представленная прежде всего умеренными либералами кадетского толка, полагала, что большевизм неизбежно переродится и самостоятельно эволюционирует в сторону рыночной экономики и большей демократии в политической сфере. Выражением этих взглядов стал знаменитый сборник "Смена вех", появившийся в 1921 году в Праге.

Керенский не разделял взгляды ни "сменовеховцев", ни тех, кто по-прежнему лелеял надежду на "весенний поход" в Россию. Он полагал, что большевизм не имеет ничего общего с социализмом, так же как с рыночным капитализмом европейского образца. Большевизм, по Керенскому, это "первобытный капитализм", несущий с собой самые тяжелые, самые худшие формы эксплуатации рабочего класса. Приход большевиков к власти был порождением разрухи и слабости России. Керенский выводит формулу: "Степень развития большевизма в данной стране прямо пропорциональна степени ее военного истощения и обратно пропорциональна уровню сил ее индустриального развития и организованности ее пролетариата".[436]

Европейская демократия пребывает в иллюзии относительно природы большевизма. Закрытость и изоляция Советской России способствуют распространению легенд о пролетарской утопии, о царстве свободы и справедливости. К тому же хозяевам Кремля играет на руку поведение русских монархистов за границей, которые призывают к реставрации до-февральских порядков. Единственный способ преодоления большевизма — не реставрация, а объединение всех демократических сил Европы, с одной стороны, и русской эмиграции — с другой.

В декабре 1920 года Керенский вместе с Авксентьевым и некоторыми другими представителями эсеровской эмиграции опубликовал обращение с призывом немедленно созвать съезд членов Учредительного собрания. Главный лозунг этого мероприятия должен был звучать так: "От красной и белой реакции — к заветам мартовской революции, от самовластия — к власти всенародной".[437] С 8 по 21 января 1921 года в Париже проходило совещание, на котором было представлено 32 депутата Учредительного собрания (из 59, находившихся за границей). Затея закончилась шумным провалом, после того как Чернов и его сторонники заявили о своем отказе участвовать в совещании.

Это стало поводом для очередной волны оскорблений в адрес Керенского на страницах правой прессы. С ненавистью врагов Керенскому в это время приходилось сталкиваться буквально

ежедневно. В воспоминаниях эмигрантского писателя Р. Б. Гуля приведен случай, когда некая дама, увидев на улице Керенского, громко сказала своей маленькой дочери: "Смотри, Таня, вот человек, который погубил Россию". По словам Зензинова, бывшего свидетелем этой сцены, на Керенского это подействовало ужасно, и он несколько дней был сам не свой.[438] В другой раз по окончании одной из лекций Керенского какая-то слушательница подбежала к сцене с букетом цветов, но вместо того, чтобы вручить их оратору, ударила его букетом по лицу.

Керенского всё это очень обижало. На публике он демонстративно делал вид, что ему нет дела до того, как к нему относятся. Но, по мнению хорошо знавшей его Нины Берберовой, подчеркнутая самоуверенность (граничившая с самодовольством) Керенского была панцирем, который он отрастил, для того чтобы общаться с окружающими. Жизнь продолжалась, и нужно было быть готовым ко всему.

СЕРЕДИНА ЖИЗНИ

Время шло, надежды на то, что большевистский режим исчезнет сам собой, становились все более призрачными. На дворе были 1930-е годы, возраст Керенского перевалил за пятьдесят, а это то время, когда мужчина начинает подводить какие-то итоги жизни. Для Керенского это было особенно актуально, так как он постепенно начинал понимать, что всё самое яркое в его жизни осталось в прошлом.

Начиная с 1928 года в течение почти десяти лет Керенский публикует на страницах журнала "Современные записки" отрывки из своих воспоминаний. Это именно отрывки, а не целостные, законченные мемуары. Уже этим Керенский давал понять, что жизнь еще продолжается, что время окончательно подводить черту еще не пришло. Тем не менее из опубликованного складывалась вполне определенная картина.

Эмигрантские мемуары — жанр, представленный тысячами названий. Мемуары писали все: царские министры, белые генералы и рядовые обыватели, которым судьбою было суждено присутствовать при крушении великой империи. Они в разной мере талантливы и информативны, но все, за немногими исключениями, — тенденциозны. Мемуары служили оружием в политической борьбе, не прекратившейся и в изгнании. Главный их смысл заключался в стремлении очернить врагов и объяснить, что самому автору мемуаров не удалось решить все поставленные задачи только в результате несчастливого стечения обстоятельств.

Воспоминания Керенского — один из самых ярких примеров такого подхода. Его основной тезис исходит из противопоставления Февральской революции, которая принесла России свободу и демократию, и Октябрьской, ставшей началом конца. Главные виновники того, что страна скатилась к большевистской диктатуре, — "большевики справа", Корнилов и корниловцы. Надо сказать, что большой сенсацией воспоминания Керенского не стали. Их не обсуждали так, как обсуждали "Очерки русской смуты" Деникина. Объясняется это тем, что Керенский не рассказал в мемуарах ничего нового. Всё, о чем он писал, было известно по газетам и свидетельствам других современников.

Керенский и в 50 лет сохранял хорошую форму, но возраст все-таки давал о себе знать. Нина Берберова, часто общавшаяся с ним в это время, вспоминала: "Бобрик на голове и за сорок лет, как я его знала, не поредел, только стал серым, а потом —

серебряным. Бобрик и голос остались с ним до конца. Щеки повисли, спина согнулась, почерк из скверного стал вовсе не разборчивым".[439] Зрение Керенского, и прежде слабое, еще больше испортилось. Теперь лорнет был обязательной частью его каждодневной экипировки. Поэтесса Ирина Одоев-цева записала свои впечатления от первой встречи с Керенским: "Лорнетка кажется особенно хрупкой, игрушечной, в его увесистом кулаке. Он подносит ее к глазам, и от этого его массивное, широкое лицо принимает какое-то странное, жалкое выражение — не то стариковское, не то старушечье".[440] На улице Керенский лорнет, естественно, не доставал и по этой причине не узнавал знакомых и на ходу налетал на людей и предметы. Рассказывали, что как-то, переходя улицу, он едва не столкнулся с ехавшим автомобилем и, приподняв шляпу, вежливо извинился: "Пардон, мадам!"

У Керенского и раньше было немало странных привычек, с возрастом же эта особенность только прогрессировала. Он стал невероятно болтлив, при этом в разговоре постоянно повышал голос, так что к концу прямо кричал на собеседника. Он полюбил рассуждать о смерти и говорил, что намеренно часто летает самолетом, так как надеется рано или поздно попасть в авиакатастрофу. Еще одной странностью Керенского была непонятная нелюбовь к кинематографу. Он гордился тем, что ни разу в жизни не был в кино, и считал это проявлением траура по утраченной Родине.

Всё это было классическими признаками надвигающейся старости. Однако именно в эту невеселую пору Керенскому было суждено встретить женщину, изменившую его жизнь. Он и раньше не страдал от невнимания слабого пола, но всё это были в разной степени случайные связи. Совсем другое дело — та любовь, которая пришла к нему на шестом десятке лет.

Тереза Лидия (Нелль) Триттин была дочерью владельца мебельной фабрики из австралийского Брисбена. В ранней молодости ей в руки попался "Дневник Марии Башкирцевой", и встреча с этой книгой перевернула всю ее жизнь. Нелль начала бредить Россией и после Первой мировой войны уехала в Европу, надеясь найти там русского жениха. Сначала ей не повезло — ее русский муж певец Надеждин предпочитал жить за счет жены да и к тому же изменял ей направо и налево. Нелль развелась с ним и вскоре после этого встретила Керенского.

По свидетельству Нины Берберовой, Нелль являла собой тип не столько европейской, сколько русской красоты. "У нее были плечи и грудь, как у Анны Карениной, и маленькие кисти рук, как у Анны, и глаза ее всегда блестели, и какие-то непослушные

пряди выбивались из прически около ушей".[441] Керенский влюбился, как влюблялся только в юности. Поначалу на пути его стремления соединиться с Нелль встала непростая проблема. Формально он оставался в браке с Ольгой Барановской, которая упорно отказывалась дать ему развод. Но всё в конечном счете удалось решить, и Керенский официально женился на Нелль.

Молодая жена была на два года младше второго из сыновей Керенского и на 28 лет — его самого. По этой причине Керенскому пришлось на себе испытать весь груз комплексов стареющего мужчины. Он начал скрывать свой возраст (хотя эту информацию можно было узнать в любом справочнике), приобрел привычку подчеркивать в разговоре со знакомыми и незнакомыми свое здоровье и выносливость. Особенно он любил рассказывать, что каждый день проходит пешком 10–15 километров.

Новый брак Керенского совпал с новой волной его политической активности. Советский Союз при Сталине постепенно превращался в важнейший фактор европейской и мировой политики. Это вызвало к жизни резко возросшую потребность в экспертах-"советологах", которые поначалу рекрутировались прежде всего из среды русской эмиграции. У Керенского были неоспоримые преимущества перед конкурентами в этой области — имя и статус бывшего главы государства. Статьи, написанные бывшим русским премьером, начинают публиковать не только эмигрантская пресса, но и самые солидные издания в Европе и США.

Его начинают активно приглашать с лекциями, благо к этому времени он достиг значительных успехов в иностранных языках. После стольких лет эмиграции Керенский изъяснялся по-английски и по-французски почти свободно. Впрочем, в нем легко было узнать иностранца, и дело было даже не в акценте. Как многие люди, выучившие чужой язык уже во взрослом возрасте, Керенский усвоил характерную манеру речи, проявлявшуюся в стремлении избегать сложных грамматических конструкций, говорить прежде всего так, чтобы быть понятым. Этот индивидуальный стиль сохранился у него до конца жизни.

В роли же оракула, трактующего непонятную западному читателю советскую действительность, Керенский оказался не хуже и не лучше других. Нужно сказать, что он избежал идеализированного взгляда на сталинизм, чем грешили многие эмигранты. В понимании тех, кто придерживался такой позиции, Сталин восстанавливал утраченное величие России, а значит, заслуживал поддержки. Керенский же не уставал повторять, что сталинский режим представляет собой тоталитарную диктатуру фашистского типа.

Впрочем, Керенский не избежал обычной для эмигрантов проблемы. Глядя на Россию издалека, получая информацию о ней между строк советских газет и от немногочисленных перебежчиков-"невозвращенцев", эмигрантские аналитики нередко додумывали то, чего на самом деле не существовало. Именно таким мифом стал заговор "красных маршалов", родившийся в воображении Керенского. Он действительно был убежден, что Тухачевский, а также примкнувшие к нему Бухарин и Рыков готовили переворот, имевший целью устранение Сталина и установление в стране более демократических порядков. Керенский не только верил в это, но и активно писал на эту тему, забывая, что эмигрантскую прессу регулярно читают в Москве. Ему, к счастью, не пришлось узнать, что часть из написанного им была использована следователями НКВД. Так, в числе доказательств обвинения, предъявленного П. Д. Дыбенко, было высказывание Керенского о том, что вождь балтийских матросов уже в 1917 году был немецким агентом.[442] У Керенского не было оснований добрым словом вспоминать того, кто заставил его бежать из Гатчины, но не до такой степени, чтобы обрекать его на смерть ложным обвинением.

Керенскому часто приходилось ошибаться, как ошибается любой эксперт от политики. В 1938 году он приветствовал Мюнхенское соглашение о разделе Чехословакии, поскольку полагал, что это предотвратило новую мировую войну. Симпатии Керенского были всегда на стороне демократии. Еще находясь на вершине своей политической карьеры, он любил говорить, что ему не нужна Россия без демократии. В ответ его оппоненты справа заявляли, что демократия без России — вариант еще худший. Соединить "Россию" и "демократию" Керенскому не всегда удавалось и в эмиграции.

Еще в самом начале своей эмигрантской эпопеи Керенский попытался выехать в Соединенные Штаты, но не получил разрешения от американских властей. Позже ему пришлось бывать в Америке неоднократно, только в 1939 году он приезжал туда дважды. Вторичный его приезд пришелся на осень, когда мир был возбужден результатами переговоров Гитлера, Муссолини, Чемберлена и Деладье. В Америке отношение к Мюнхену было существенно более негативным, чем в Европе. Среди либеральной части американской общественности господствовала мысль о неизбежности войны с Германией в союзе с СССР.

Керенский попытался разрушить эти настроения: "Я говорю вам с удвоенной силой то, что говорил вам шесть месяцев тому назад: неустанно боритесь с тоталитарной идеологией

гитлеризма и фашизма, разлагающими демократию, но не увлекайтесь иллюзиями — не принимайте диктатуру Сталина за Россию. Организуйте международное общественное мнение для давления на Кремль, во имя установления в СССР свободной демократии".[443] Рецепта достижения этой цели Керенский не дал и не мог дать. Вообще создается впечатление, что Керенский, как и двадцатью годами ранее, пребывал в наивном убеждении, что достаточно самого чарующего слова "демократия", как всё встанет на свои места — национальный вопрос решится за счет создания свободной федерации народов, угроза войны навсегда уйдет в прошлое, а Россия займет полагающееся ей место в ряду цивилизованных государств.

Но события развивались совсем не так, как этого хотелось Керенскому. 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу началась Вторая мировая война. В мае следующего года немцы начали наступление на Париж. До последней минуты во французской столице ждали чуда, как в 1914 году на Марне, когда враг был остановлен на последнем рубеже. Тогда Россия, оттянув силы немцев, спасла Францию. На этот раз всё вышло по-другому. Кто-то из русских эмигрантов сочинил по этому поводу язвительные стихи:

Мы долго молча отступали.
Дошли до Марны. "Чуда" ждали,
Но бомбы сыпались с небес:
России нет — и нет чудес.

Не стоит скрывать правду — немало эмигрантов, прочувствовавших на себе французское высокомерие, восприняли приход немцев со скрытым злорадством. Но Керенскому от победителей не приходилось ждать ничего хорошего. За три дня до вступления немцев в Париж Керенский вместе с Нелль спешно покинул город.

По дороге они на несколько часов остановились в Лонгше-не у Нины Берберовой. Чета Керенских, не имевшая собственного загородного дома, и раньше часто бывала здесь. Комната для гостей, куда по утрам в открытое окно залетали ласточки, была в любое время закреплена за ними. "Иногда в теплые ночи, — вспоминала об этом Берберова, — к ним в открытую дверь забредала наша собака и, свернувшись калачом, ложилась у кровати на коврике, а кот, тихонько сказав что-то, прыгал через нее и устраивался у них в ногах. Но А. Ф. животных не жаловал, и кот, чувствуя это, норовил устроиться подле Неллиных колен".[444]

Сейчас всё было по-другому. Нелль плакала, постоянно повторяя, что немцы посадят Алекса в тюрьму "как Шушнига".[445] Переночевав в Лонгшене, Керенские на автомобиле отправились в сторону границы. Через Испанию они перебрались в Соединенные Штаты, которые и стали для Керенского последней страной изгнания.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

В Соединенных Штатах Керенский сразу включился в привычную деятельность. Он активно печатался в русской и американской прессе. Главной темой его публикаций была европейская война. Керенский крайне негативно отнесся к заключению советско-германского пакта 1939 года. Для него это стало очередным доказательством того, что сталинизм и фашизм представляют собой явления одного порядка. В отличие от многих представителей русской эмиграции, в том числе от своего давнего оппонента Милюкова, Керенский считал, что собирание русских земель не может служить оправданием сотрудничества с Гитлером. Не цель оправдывает средства, а средства определяют и оправдывают цель. Этого тезиса Керенский придерживался до конца своей жизни.

Несмотря на свое крайне отрицательное отношение к Сталину, Керенский почти не колебался в выборе позиции, после того как стало известно о нападении Германии на СССР. 28 июня 1941 года он записал в дневнике: "После долгих и тяжких раздумий я пришел к заключению: мы должны страстно желать сейчас только одного — чтобы Красная Армия сохранила свою боеспособность до этой осени. И если получится — это будет чудом!.. Теперь, как в войну 1914 года, судьбы мира зависят от того, выдержит или не выдержит замученный, голодный и раздетый русский народ под страшным натиском гитлеровских панцирных дивизий нужное для спасения демократии время…"[446] 3 июля Керенский отправил телеграмму Сталину с просьбой дать указание советскому послу в Вашингтоне принять его. Ответа он так и не получил.

Страшные неудачи Красной армии и приближение немцев к Москве не оставили Керенского равнодушным. В декабре 1941 года он писал: "Со времен монгольского ига никогда над существованием русского народа не висела такая страшная угроза, и никогда еще со Смутного времени Российское государство не находилось в такой внутренней слабости". Керенский обращался ко всем, кто мог его слышать, к эмигрантам и соотечественникам в России, с призывом забыть прежние разногласия: "Во имя успешной защиты ее, во имя сохранения наследия наших предков, мы все — и властвующие, и от власти страдающие — должны поставить крест над вчерашним днем и соединить свои силы в борьбе, ибо, как бы ни кончилась мировая война, Россия будет другой".[447]

Это писал человек, которому перевалило за шестьдесят, а не

тридцатишестилетний глава Временного правительства. Теперь он понимал не только силу слов, но и ответственность за сказанное. Живя в Соединенных Штатах, Керенский видел, что отношение к России на Западе далеко не однозначно. Как только стало ясно, что Германия напрягает свои последние силы, что исход войны предрешен, в американской печати стали появляться многочисленные статьи, предупреждающие об опасности возрождения русского империализма. Их авторы впрямую говорили, что победившие демократии на следующий день после капитуляции Германии должны будут повернуть оружие против недавнего союзника — Советов. Керенский считал это страшной ошибкой, способной только укрепить сталинский режим: "Весь народ опять пойдет за тем же Кремлем, если под предлогом борьбы с мировой опасностью русского, только покрасневшего, империализма начнут опять загонять Россию в вечно памятные брест-литовские и версальские границы".[448] С удивительной прозорливостью Керенский предсказал раскол мира на две половины, в которых будут доминировать США и СССР.

Жизнь Керенского в Америке была непростой. Газетных гонораров часто не хватало. К тому же Нелль начала тяжело болеть. В апреле 1945 года с ней случился тяжелый приступ, сопровождавшийся потерей сознания. Врачи констатировали опухоль мозга и честно предупредили Керенского, что делать что-то уже поздно. Керенский попытался скрыть от жены страшный диагноз, но она сама догадывалась о том, что происходит. Нелль захотела вернуться на родину, где она не была уже больше двадцати лет.

Семейство Керенских отправилось в Австралию. Нелль героически выдержала долгое морское путешествие. Но по прибытии в Брисбен ее состояние вновь ухудшилось. Умирала она долго и мучительно. Всё это время Керенский неотлучно находился при ней. 10 апреля 1946 года Нелль скончалась на руках мужа. Для Керенского это был страшный удар. Несколько месяцев он не мог говорить о чем-то другом. К тому же покинуть Австралию оказалось не так просто. Билеты на судно, уходящее в Америку, достать было невозможно — весь морской транспорт был занят доставкой демобилизованных солдат из Европы.

Только осенью 1946 года Керенскому удалось вернуться в Нью-Йорк. Ему долго пришлось привыкать жить без Нелль. Он как-то сразу постарел — перестал хвастаться спортивными подвигами, скрывать свой возраст. Керенский попытался найти успокоение в новом витке политической деятельности. Дело в том, что после окончания Второй мировой войны состав русской эмиграции претерпел серьезные изменения. Старая эмиграция,

рожденная революцией и гражданской войной, вынуждена была потесниться под натиском эмиграции новой. Основу ее составляли так называемые "ди-пи" (аббревиатура от английских слов, означающих "перемещенные лица"), то есть бывшие советские граждане, по разным причинам оказавшиеся за границей и не пожелавшие вернуться на родину. Были среди них и военнопленные, освобожденные западными союзниками, и те, кто был угнан на работу в Германию, но главный контингент составляли "власовцы", те, кто сотрудничал с немцами в годы войны.

У некоторых из вождей старой эмиграции возникла надежда на то, что приток новой крови оживит угасание Русского Зарубежья. Что касается Керенского, то у него были свои резоны искать сотрудничества с новой эмигрантской волной. Что ни говори, но в среде старой эмиграции он всё это время находился на положении отверженного. Появление новых людей давало надежду на то, что эта ситуация будет исправлена.

13 марта 1949 года в Нью-Йорке состоялось первое собрание Лиги борьбы за народную свободу. Инициатором ее создания стала группа старых эмигрантов, включавшая Керенского, Чернова, Зензинова, а также ряд представителей "второй волны". При распределении портфелей Керенский получил пост редактора официального бюллетеня Лиги — журнала "Грядущая Россия". Создание Лиги было попыткой объединить эмиграцию под лозунгом противостояния сталинскому тоталитаризму, но из этой затеи ничего толком не вышло. "Старые" и "новые" эмигранты оказались неспособны к сотрудничеству. В глазах молодых "старики" были ожившими динозаврами, давно утратившими представления о реальности. "Старики", ожидавшие сыновнего почтения, были разочарованы и обвиняли молодежь в беспринципности. Керенскому пришлось особенно тяжело. Эмигранты "второй волны" были воспитаны в советских школах и, сознавали они это или нет, усвоили немало стереотипов из официальных учебников. Они могли улыбаться и высказывать внешнее почтение бывшему главе Временного правительства, но тот всегда продолжал оставаться для них человеком, бежавшим из России в женском платье.

Возвращение в политику оказалось недолгим. Осенью того же 1949 года Керенский посетил Париж, с которым у него было связано столько воспоминаний. На вокзале его встречала Нина Берберова, больше никто не пришел. Керенский поселился в маленьком отеле в парижском пригороде Пасси. До войны Пасси был практически русским районом. Здесь любили рассказывать о каком-то французе, который повесился от тоски по родине,

ежедневно слыша вокруг себя только русскую речь. Теперь русских в Пасси практически не осталось. Керенский ходил по улицам, и никто его не узнавал. Только в маленьком кафе на перекрестке улицы Альбони и бульвара Десселер старик официант вспомнил его и назвал "господин президент". Париж стал для Керенского чужим, как давно уже чужими стали почти забытые Петербург, Ташкент, Симбирск.

Старость политика, внезапно ставшего никому не нужным, часто оказывается ужасной. Человек привык всю жизнь находиться в центре внимания и вдруг ощущает себя в пустоте. Керенскому в этом отношении всегда везло. Уже в 36 его попытались списать со счетов, но он находил себе новые занятия и существование его вновь обретало смысл. Так произошло и сейчас. В 1955 году к Керенскому обратились представители бывшего американского президента Герберта Гувера. Еще в 1919 году по инициативе Гувера была основана библиотека (позже институт) по вопросам войны, революции и мира. Немалую часть ее собрания составили документы, касавшиеся русской революции. Дело в том, что в начале 1920 года Гувер курировал программу АРА, осуществлявшую гуманитарную помощь жертвам голода в Советской России. Представители АРА правдами и неправдами вывезли из России множество ценнейших материалов, которым грозило уничтожение. Позже к ним прибавились архивные коллекции, подаренные русскими эмигрантами, осевшими в США. До сих пор архив Гу-веровского института считается крупнейшим зарубежным архивным хранилищем по новейшей истории России.

Керенскому было предложено на основе этого собрания составить публикацию документов, характеризующих деятельность Временного правительства в 1917 году. Он взялся за дело с огромным энтузиазмом. Его помощником в этой работе был молодой американский исследователь Р. Браудер — ученик историка М. Карповича, старого друга Керенского. Итогом их деятельности стала публикация в 1961–1962 годах трех увесистых томов под общим заголовком "The Russian Provisional Government". Для Керенского их выход стал своеобразным подарком — к моменту появления первого тома ему исполнилось восемьдесят.

Сразу после завершения этой работы Керенский сел за написание мемуаров. Книга под названием "Russia and History Turning Point" ("Россия на историческом повороте") вышла в свет в 1966 году. По содержанию она в значительной мере повторяет те фрагменты воспоминаний, которые публиковались в русской эмигрантской прессе еще в 1920—1930-х годах, но дополнена

главами, рассказывающими о детстве автора и событиях, предшествовавших революции. Как мемуарист, Керенский далек от лучших образцов жанра. Его воспоминания постоянно прерываются поверхностными экскурсами в историю, но в целом дают представление и о личности самого Керенского, и о его эпохе.

Работу над воспоминаниями Керенский совмещал с чтением лекций в Стэнфордскомуниверситете и проводил время между Калифорнией и Нью-Йорком. В Стэнфорде он жил в маленькой квартире из двух комнат, предоставленной ему университетом, в Нью-Йорке — в роскошном особняке на 91-й улице в восточной части Манхэттена между Лексингтон и Парк-авеню. Трехэтажный дом за № 109 принадлежал другу Керенского — конгрессмену Симпсону. Тот бесплатно выделил Керенскому две комнаты на втором этаже, при этом он мог свободно пользоваться и другими помещениями. "Особняк был барский. Особенно хорош был просторный кабинет — по стенам в шкафах книги, камин, удобные кресла, стильная мебель. Керенский принимал здесь гостей. Иногда устраивал "парти". Прислуживали в особняке японцы — муж и жена".[449]

Те, кто общался с Керенским в это время, вспоминают, что его никак нельзя было назвать преклонным старцем. Конечно, проблемы со здоровьем у него были, да и сложно избежать их в 80 лет. В довершение к давней близорукости у него появилась катаракта. Операция оказалась неудачной, и Керенский полностью ослеп на правый глаз. Но это не мешало ему оставаться не по возрасту энергичным. В эти годы он часто встречался с визитерами из СССР. Писатель Генрих Боровик, неоднократно излагавший историю своей встречи с Керенским, — самый известный пример, но далеко не единственный.

Та легкость, с которой Керенский шел на такие контакты, свидетельствовала о том, что он отнюдь не замыкался в ненависти к Советскому Союзу, как это делали многие эмигранты первой и второй волны. Но удивительнее другое — каким образом на встречу с Керенским решались его посетители? Поведение советских граждан за границей было регламентировано тысячью правил, и одним из главных был запрет на любые встречи с представителями эмиграции. Нарушение его было чревато множеством неприятностей, самой безобидной из которых был переход навсегда в категорию "невыездных".

Советские спецслужбы следили за всеми мало-мальски значительными фигурами в эмиграции. Не избежал такой опеки и Керенский, но отношение к нему было особым. Керенского не

считали опасным, о чем косвенно свидетельствует псевдоним, под которым он фигурировал в оперативных разработках, — "Клоун". От "Клоуна" не надо было опасаться неожиданностей, но при случае его можно было использовать в своих целях.

Как раз такой случай и представился в середине 1960-х годов. В 1965 году на советские экраны вышел документальный фильм "Перед судом истории". Главным его героем был старый знакомый Керенского — В. В. Шульгин. Судьба его после революции сложилась непросто. Шульгин прошел всю гражданскую войну, позже оказался в эмиграции в Югославии. Ко времени Второй мировой войны он давно уже отошел от политической деятельности, но после прихода Красной армии был арестован и отправлен в советскую тюрьму. На волне реабилитации в середине 1950-х годов Шульгин был освобожден, но покинуть Советский Союз ему не разрешили. Он жил в провинциальном Владимире, мечтая только об одном — уехать за границу, где жили его близкие.

Шульгину было обещано, что ему позволят уехать во Францию, но условием этого стало участие в готовящемся фильме. Это действительно получилось эффектно — в Таврическом дворце Шульгин рассказывал о событиях, успевших стать далекой историей, в которых он сам принимал участие. Седой длиннобородый старик и сам воспринимался как пришелец из прошлого.

Есть основание думать, что и в отношении Керенского строились похожие планы. Визитеры из Москвы должны были подготовить бывшего главу Временного правительства к поездке на родину. Ведь если бы Керенский, да еще перед кинокамерами, признал достижения советской власти, это стало бы шедевром пропаганды. Но когда в январе 1964 года с таким предложением к Керенскому обратился некий "журналист" из СССР, последовал категорический отказ. Нет смысла, пояснил Керенский, возвращаться туда, где погребено столько несбывшихся надежд, где всё вызывает горечь и боль.

"Я никогда, — добавил он, — не видел фотографий мавзолея, и мне, человеку верующему, представляется невозможным стоять у саркофага, в котором покоится непогребенное тело человека, которого я знал лично". К тому же Керенский предположил, что поездка в Россию вызовет негативную реакцию у его американских друзей, которые могут подумать, что он отрекается от своих прежних взглядов. Да и физически, по его словам, он вряд ли способен был совершить такую поездку.

Собеседник Керенского не стал настаивать. По некоторым сведениям, еще одна попытка пригласить Керенского посетить

СССР (а может быть, и остаться здесь на постоянное жительство) была предпринята в 1968 году, но результат ее был таким же неудачным. Хрущевская оттепель, когда возможны были эксперименты с приглашением Керенского в СССР, завершилась. Новые правители Советского Союза предпочли забыть неудачливого хозяина Зимнего дворца. Визиты московских гостей на квартиру Керенского прекратились, что только обрадовало его.

Керенский был одним из немногих видных участников революции, кому удалось встретить ее полувековой юбилей. Осенью 1967 года он был приглашен в Канаду, для того чтобы дать на радио интервью в связи с годовщиной большевистского переворота. Но накануне этого с Керенским случился инсульт. Пережил его Керенский на удивление легко, но теперь о литературной деятельности и публичных лекциях пришлось забыть.

В эти годы в жизни Керенского появляется еще одна женщина. Рядом с ним женщин было много всегда, но только три оставили неизгладимый след в его судьбе. Ольга, подарившая ему сыновей; Нелль, с которой были связаны самые счастливые годы его жизни; и Эллен, посланная ему Провидением на склоне лет.

Елена (Эллен) Иванова принадлежала к семье русских эмигрантов, осевших после революции в Маньчжурии. После того как к власти в Китае пришли коммунисты, бóльшая часть русских беженцев предпочла перебраться в Америку — Северную или Южную. Эллен получила степень доктора политологии в Колумбийском университете. Специальность эта скорее мужская, но и характер у Эллен был решительный, мужской. Не случайно ее любимой игрой были шахматы, и свое мастерство она неоднократно доказывала, играя с самим Бобби Фишером.

Эллен сильно отличалась от того типа женщин, который в былые времена так привлекал Керенского. Польский журналист А. Минковский так описывал ее: "Она не из тех женщин, при виде которых у мужчин замирает дыхание, надо попристальнее приглядеться, чтобы заметить, какие громадные у нее глаза — темные, неспокойные, губы пухлые, словно созданные для поцелуев, а тонко очерченные мочки ушей едва выступают из-под копны черных и прямых волос, аскетически собранных в узел, никакой помады, туши, духов. Свитер, джинсы. Вертикальная морщинка между бровями. Ослепительные, слегка неровные, зубы".[450]

Эллен слышала о Керенском еще в детстве, но для нее он был персонажем учебника, кем-то, кто по определению умер давным-давно. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что Керенский жив! Эллен бросилась разыскивать Керенского и

нашла его в лондонском доме престарелых, куда он был помещен по протекции старшего сына Олега. Керенского здесь всё раздражало, и Эллен не составило труда уговорить его вернуться в Нью-Йорк.

Но жизнь в большом городе требовала денег, и Эллен придумала, как их достать. В декабре 1968 года она договорилась о продаже архива Керенского Центру гуманитарных исследований Техасского университета в городе Остинс. Архив был продан за 100 тысяч долларов, которые по договору должны были выплачиваться в течение пяти лет по 20 тысяч долларов ежегодно.[451] Этих денег хватило для того, чтобы снять квартиру в Ист-Сайде с видом на Гудзон и нанять Керенскому постоянную сиделку.

Отношения Эллен и Керенского вызвали много сплетен. Никто не мог понять, что может быть общего у сорокалетней женщины и почти девяностолетнего старца. Эллен заботилась о Керенском совершенно бескорыстно, хотя бы потому, что у бывшего российского премьера почти ничего и не было. Были ежегодные транши из Техасского университета, организованные той же Эллен, была надежда на гонорары от переиздания мемуаров. Керенский не раз предлагал Эллен написать завещание, чтобы эти потенциальные доходы после его смерти достались ей, но она так же упорно отказывалась.

Вероятно, поведение Эллен было продиктовано странной смесью дочерних и материнских чувств, но об этом можно только гадать. Что касается Керенского, то он действительно любил Эллен, но не так, как любит мужчина в расцвете лет, а капризной любовью эгоистичного старика. Он ревновал ее ко всему, надоедал телефонными звонками, обижался на то, что у нее есть свой круг друзей, и особенно — на то, что она упорно не желала переезжать к нему и сохраняла собственную квартирку в Гринвич-Виллидж.

Эллен сумела пробудить в Керенском сильные чувства тогда, когда он уже сам не верил в это. Можно сказать, что она подарила ему несколько лет жизни, не вторую, а уже, наверное, третью молодость. У него вновь появилось желание работать, благо голова у него оставалась чистой до конца, а памятью он мог потягаться с молодыми.

В апреле 1970 года Керенский был приглашен на Би-би-си для выступления на радио. Он, которому на будущий год должно было исполниться 90 лет, без особых проблем перенес трансатлантический перелет. Вернувшись в Нью-Йорк, он попытался вспомнить те времена, когда ежедневно проходил по 15 километров. Регулярные прогулки стали для Керенского

обязательной частью ежедневного ритуала. Возвращаясь с одной из таких прогулок, он оступился на лестнице и упал. Итогом был перелом тазовых костей.

В госпитале Керенский провел семь мучительных недель. Внезапно он почувствовал, что устал от жизни. Он просил Эллен принести ему яд, а когда та отказалась сделать это, перестал принимать лекарства. Врачи боролись за него до последнего, но трудно сделать что-то, когда сам пациент больше не хочет жить. Умер Керенский 11 июня 1970 года в 5 часов 45 минут утра. 14 июня состоялась гражданская панихида. На ней присутствовало около 350 человек — представители разных волн эмиграции. По желанию сыновей Керенского гроб с его телом был переправлен в Лондон, где захоронен на кладбище Патни Вэйл (Putney Vale).

Керенский меньше года не дожил до девяностого дня рождения. Не каждому дано прожить такую долгую жизнь. Но вот что бросается в глаза — почти две трети этой жизни были жизнью… после смерти. Нина Берберова назвала Керенского "человеком, убитым 1917 годом". С формальной точки зрения это не совсем так. В эмиграции Керенский не просто влачил существование, живя исключительно прошлым. Он в полной мере отдавался сегодняшнему дню — любил, интриговал, ссорился и мирился. Но всё это было жизнью рядового обывателя, одного из тысяч русских беженцев. Такой человек если и будет упомянут на страницах истории, то в лучшем случае мелким шрифтом в примечаниях. Тот же Керенский, которому было суждено попасть в учебники, действительно умер в 36 лет. Он перестал быть человеком, а стал символом: для ко-го-то — символом развала и унижения России, для других — олицетворением короткого мига свободы, предшествовавшего страшным временам.

Летом 1917 года, когда популярность Керенского достигала высшей точки, одним из его секретарей был молодой и мало кому известный поэт Леонид Каннегисер. Год спустя его имя прогремит на всю Россию — Каннегисер совершит покушение на чекиста Моисея Урицкого, будет схвачен и расстрелян. Словно предчувствуя это, в одном из своих стихотворений он писал:

И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о мать,
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать,

Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне
Я вспомню — Россия. Свобода.

Керенский на белом коне.[452]

Керенский не отделим от "эпохи надежд", и конец этой эпохи стал концом и самого Керенского. В его личности, в его стремительном взлете и падении нашло отражение сумасшедшее время, когда слова значили больше, чем дела, когда пьянящее чувство свободы толкало людей на страшные поступки, когда шкурничество маскировалось под идеализм, а идеализм служил оправданием убийства и предательства. Судьба дала возможность Керенскому выступить на самой главной сцене, перед самой большой аудиторией. Ему в полной мере досталось и восторженного поклонения, и яростной ненависти. И лишь те немногие, кто сохранил память об "эпохе надежд", не предали поруганию ее главного героя.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Мемуары и публицистика А. Ф. Керенского

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. М., 1993.[453]

Керенский А. Ф. Русская революция. 1917. М., 2005.

Керенский А. Ф. Прелюдия к большевизму. М., 2005.

Керенский А. Ф. Трагедия династии Романовых. М., 2005.

Керенский А. Ф. Потерянная Россия. М., 2007.

Керенский А. Ф. Дневник политика. М., 2007.

Документы

"…Будущий артист императорских театров". Письма Александра Керенского родителям // Источник. 1993. № 3.

Дело генерала Л1. Г. Корнилова. Т. 1–2. М., 2003.

Дневники и воспоминания современников

Брюс Локкарт Р. Г. История изнутри. Мемуары британского агента. М. 1991.

Войтинский В. 1917-й. Год побед и поражений. М., 1999. Гиппиус З. Петербургские дневники. 1914–1919. Нью-Йорк; М., 1990*. Демьянов А. Моя служба при Временном правительстве // Архив русской революции. Т. 4. Берлин, 1922.

Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 1. М., 1990*. Карабчевский Н. Что глаза мои видели. Т. 2. Революция и Россия. Берлин, 1921.

Краснов П. Н. На внутреннем фронте // Архив русской революции. Т. 5. Берлин, 1923.[454]

Малянтович П. И. В Зимнем дворце 24–25 октября 1917 г. // Былое. 1918. № 6.

Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1990. Т. 1–2*. Набоков В. Д. Временное правительство // Архив русской революции. Берлин, 1922. Т. 1*.

Никитин А. М. Зимний // Неделя. 1966. № 46.

Никитин Б. В. Роковые годы. М., 2007*.

Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991.

Половцев П. А. Дни затмения. М., 1999.

Последние часы Временного правительства (дневник министра Ли-веровского) // Исторический архив. 1960. № 6.

Раскольников Ф. Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году. М., 1990*. Синегуб А. Защита Зимнего дворца 25 октября 1917 г.// Архив русской революции. Т. 4. Берлин, 1923*.

Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. СПб., 1995.

Суханов Н. Н. Записки о революции. Т. 1–3. М., 1990–1992*.

Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. М., 1990*.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Басманов М. П., Герасименко Г. А., Гусев К. В. Александр Федорович Керенский. Саратов, 1991.

Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. М., 1997.

Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997.

Голиков Д. Г. Феномен Керенского // Отечественная история. 1992. № 5.

Данилов Е. Исчезнувшая семья. Керенские в Туркестане // Звезда Востока. 1991. № 9.

Иоффе Г. З. Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов. М., 1995.

Канин В. Г. Керенский. Не может быть демократии без свобод и социальной справедливости. М., 2006.

Киселев А. А. Керенский и Мурман // Север. 1993. № 1.

Колоницкий Б. А. Ф. Керенский и Мережковские в 1917 году // Литературное обозрение. 1991. № 3.

Колоницкий Б, И. Загадка Керенского // Звезда. 1994. № 6.

Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть. К изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб., 2001.

Мельгунов С. П. Как большевики захватили власть. М., 2005*.

Милюков П. Я. История второй русской революции. М., 2001*.

Сверчков Д. Керенский. Л., 1927.

Старцев В. И. Крах керенщины. Л., 1982.

Старцев В. И. Керенский: шарж и личность // Диалог. 1990. № 16.

Стронгин В. Л. Керенский. Загадка истории. М., 2004.

Ушаков А. И., Федюк В. П. Корнилов. М., 2006 (серия "ЖЗЛ").

Четвертков Н. В. Несколько штрихов к портрету А. Ф. Керенского // Отечественная история. 2001. № 6.

Шимонек Е. Керенские и Симбирск // Отечественные архивы.

1994. № 2.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. Ф. КЕРЕНСКОГО

1881, 22 апреля — в семье директора Симбирской гимназии Ф. М. Керенского родился сын Александр.

1889 — семья Керенских переезжает в Ташкент, где осенью того же года Александр поступает в приготовительный класс мужской гимназии.

1899 — Александр Керенский заканчивает гимназию с золотой медалью и поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета.

1900 — Керенский переводится на юридический факультет. В том же году на студенческой сходке он произносит свою первую политическую речь.

1904 — Керенский закончил университет с дипломом 1-й степени и зачислен помощником присяжного поверенного округа Санкт-Пе-тербургской судебной палаты.

Июнь — Керенский женится на О. Л. Барановской.

1905, апрель — у Александра и Ольги Керенских рождается сын Олег.

23 декабря — Керенский арестован и посажен в тюрьму "Кресты".

1906, 5 апреля — Керенский выпущен на свободу без объяснения причин ареста.

21 сентября — дело по обвинению Керенского прекращено за отсутствием улик.

Октябрь — Керенский впервые выступает защитником на политическом процессе.

1907 — у Александра и Ольги Керенских рождается сын Глеб.

1912, май—июнь — в составе независимой адвокатской комиссии Керенский выезжает для расследования обстоятельств Ленского расстрела.

Октябрь — Керенский избран депутатом IV Государственной думы от Саратовской губернии.

1914, июнь — в Петербургском окружном суде слушается "дело 25 адвока тов". Керенский приговорен к восьми месяцам тюремного заключения.

Керенский избирается председателем фракции трудовиков Государственной думы.

1915, февраль — Керенский выступает защитником на процессе больше виков—депутатов Думы. 1917, 15 февраля — Керенский произносит в Государственной думе речь, в которой

призывает к "физическому устранению" наиболее одиозных деятелей царского режима.

27 февраля — образован Временный комитет Государственной думы, в состав которого вошел и Керенский.

2 марта — образовано Временное правительство. Керенский входит в его состав в качестве министра юстиции.

3 марта — Керенский участвует в совещании, на котором уговаривает великого князя Михаила Александровича отказаться принять корону.

20 апреля — на совещании, посвященном солдатским волнениям в Петрограде, Керенский категорически высказывается против применения вооруженной силы для восстановления порядка.

5 мая — в газетах объявлено о формировании коалиционного правительства, в составе которого Керенский занял пост военного и морского министра.

22 мая — приказом Керенского Верховным главнокомандующим назначен генерал А. А. Брусилов.

16 июня — находясь в Тарнополе, в штабе Юго-Западного фронта, Керенский подписывает приказ о начале всеобщего наступления.

19 июня — в Петрограде правительственными войсками освобождена дача Дурново, ранее захваченная анархистами.

30 июня — Керенский подписывает в Киеве документ, фактически признающий широкую автономию Украины.

3–4 июля — в Петрограде происходят массовые волнения, сопровождавшиеся попыткой вооруженного захвата власти.

6 июля — Керенский возвращается с фронта в Петроград, приведя с собой верные правительству войска.

7 июля — Керенский назначен на должность министра-председателя.

12 июля — Керенский подписывает постановление о введении смертной казни на фронте.

15 июля — в Петрограде проходят похороны погибших во время июльских событий казаков. С речью на похоронах выступает Керенский.

16 июля — в Могилеве проходит совещание генералитета с участием Керенского.

18 *июля* — приказом Керенского на пост Верховного главнокомандующего назначен генерал Л. Г. Корнилов.

21 июля — Керенский объявляет о том, что слагает с себя обязанности главы правительства в связи с затянувшимися спорами о формировании нового кабинета.

25 июля — сформировано новое коалиционное правительство

во главе с Керенским.

12—14 августа — Государственное совещание в Москве.

27 августа — Керенский объявляет Корнилова изменником.

2 сентября — власть переходит в руки "совета пяти" в составе Керенского, Терещенко, Никитина, генерала Верховского и адмирала Вердеревского.

14—22 сентября — Демократическое совещание.

25 сентября — сформировано третье коалиционное правительство во главе с Керенским.

17 октября — на заседании Временного правительства впервые обсуждается вопрос о готовящемся большевистском восстании.

25 октября, 11 часов утра — Керенский уезжает из Петрограда навстречу верным правительству войскам. В ту же ночь в Зимнем дворце арестовано Временное правительство.

1 ноября — Керенский, переодевшись матросом, бежит из Гатчины.

1918, шюнь — на борту английского тральщика Керенский отбывает из Мурманска в Великобританию.

1920 — Керенский перебирается из Лондона сначала в Берлин, а затем в Париж.

1940 — Керенский покидает Францию и переезжает в США.

1965 — в США выходят воспоминания Керенского.

1970, 11 шюня — смерть Керенского.

notes

Примечания

1

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993. С. 4.

2

Воейков В. Н. С царем и без царя. М., 1995. С. 260.

3

Яковлев И. Д. Воспоминания. Чебоксары, 1983. С. 229.

4

Цит. по: Логинов В. Т. Владимир Ленин. Выбор пути. М., 2005. С. 44.

5

Шимонек Е. Керенские и Симбирск // Отечественные архивы. 1994. № 2. С. 102.

Данилов Е. Керенские в Туркестане // Союз. 1991. № 46. С. 18.

Яковлев И. Д. Воспоминания. С. 229.

8

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 5.

9

Там же.

10

Москвич Г. Иллюстрированный практический путеводитель по Волге. Одесса, 1903. С. 251.

11

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 5. 12

Там же. С. 6.

13

Гуль Р. Я унес Россию. Т. 2. Россия во Франции. М., 2001. С. 67.

14

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 6.

Минковский А. Премьер и Елена // Родина. 1989. № 2. С. 71.

16

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 4.

В-вий В. А. Ф. Керенский. Пг., 1917. С. 4.

18

Цит. по: Логинов В. Т. Владимир Ленин. Выбор пути. С. 82.

19

В советские годы город назывался Шевченко, сейчас это казахский Актау.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 9.

21

Данилов Е. Исчезнувшая семья. Керенские в Туркестане // Звезда Востока. 1991. № 9. С. 82.

Там же. С. 83.

23

Там же.

24

Утро России. (Москва). 1917. 13 июля.

25

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 13.

Там же. С. 11.

27

Ильин М. В семнадцатом году // 30 дней. 1927. № 11. С. 32.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 12.

29

Данилов Е. Исчезнувшая семья. Керенские в Туркестане. С. 83.

30

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 12.

31

Утро России. (Москва). 1917. 13 июля.

32

«…Будуший артист императорских театров». Письма Александра Керенского родителям // Источник. 1993. № 3. С. 12.

Там же. С. 7.

34

Данилов Е. Исчезнувшая семья. Керенские в Туркестане. С. 84.

Там же. С. 18.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 15.

Там же. С. 21.

38

Там же.

Там же. С. 23.

Там же. С. 21.

41

Там же. С. 13.

42

«…Будущий артист императорских театров». Письма Александра Керенского родителям. С. 12.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 19.

Цит. по: Голиков Д. Г. Феномен Керенского // Отечественная история. 1992. № 5. С. 61.

Нета — старшая сестра Керенского Анна.

46

«…Будущий артист императорских театров». Письма Александра Керенского родителям. С. 11.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 15.

Там же.

49

«…Будущий артист императорских театров». Письма Александра Керенского родителям. С. 18.

Там же. С. 19.

51

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 30.

Там же. С. 33.

53

Александр Федорович Керенский. По материалам Департамента полиции. Пг., 1917. С. 5.

54

«…Будущий артист императорских театров». Письма Александра Керенского родителям. С. 21.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 39.

В своих воспоминаниях Керенский пишет, что это произошло 21 декабря, но мы отдаем предпочтение дате, фигурирующей в жандармских донесениях.

57

Александр Федорович Керенский. По материалам Департамента полиции. С.6.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 45.

59

Инфантьев П. «Кресты». Из личных воспоминаний. М., 1907. С. 15.

Зензинов В. Пережитое. Нью-Йорк, 1953. С. 203.

61

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 46.

62

Александр Федорович Керенский. По материалам Департамента полиции. С.6.

Зензинов В. Пережитое. С. 205.

Здесь мы сталкиваемся с несовпадением дат. В своих воспоминаниях Керенский пишет, что 27 апреля 1906 года он наблюдал из окна своей камеры, как депутаты вновь избранной Государственной думы добирались по Неве на прием в Зимний дворец. Однако, согласно жандармским документам, он к этому времени уже три недели как был на свободе.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 53.

Карабчевский Н. Что глаза мои видели. Т. 2. Революция и Россия. Берлин, 1921. С. 17.

Там же.

Правда о ленских событиях. М., 1913. С. 87.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 59.

Александр Федорович Керенский. По материалам Департамента полиции. С. 8.

71

Демьянов А. Моя служба при Временном правительстве // Архив русской революции. Т. 4. Берлин, 1922. С. 71.

Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906–1917. М., 2001. С. 183.

73

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 62.

Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. М., 1997. С. 243.

75

Набоков В. Д. Временное правительство // Архив русской революции. Т. 1. Берлин, 1922. С. 50.

Северные записки. 1913. № 10. С. 185.

Цит. по: Дело Менделя Бейлиса. СПб., 1999. С. 24.

Заславский Д. Дело адвокатов // Северные записки. 1914. Июнь. С. 184.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 88.

Спиридович А. И. Великая война и Февральская революция. Минск. 2004. С. 4.

81

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 92.

82

После революции, когда открылись жандармские архивы, выяснилось, что место проведения конференции выдал член Московского комитета большевиков Романов, одновременно являвшийся тайным сотрудником полиции под кличкой «Пелагея».

83

Гуль Р. Я унес Россию. Т. 2. Россия во Франции. С. 65.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 65.

Чубинский М. П. Год революции (1917). Из дневника // Февральская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1997. С. 233.

Ходнев Д. Февральская революция и запасной батальон Лейб-гвар-дии Финляндского полка // Февральская революция: от новых источников к новому осмыслению. С. 256.

Кшесинская М. Воспоминания. Смоленск, 1998. С. 259.

Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. М. 1990. С. 430.

89

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993. С. 132.

90

Переписка Николая и Александры Романовых. Т. 5. 1916–1917 гг. М.; Л., 1927. С. 215.

91

Суханов Н. Н. Записки о революции. Т. 1. М., 1990. С. 67.

Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. С. 434.

Февральская революция в Петрограде (из воспоминаний князя В. А. Оболенского) // Советские архивы. 1991. № 1. С. 59.

Цвейг С. Собр. соч. Т. 3. М. 1963. С. 6.

95

Керенская О. Л. Мертвые молчат. Победителей не судят // Звезда. 1998. № 2. С. 103.

Керенский А. Ф. Русская революция. 1917. М., 2005. С. 10.

Там же. С. 19.

Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. С. 443.

Там же. С. 445.

Там же. С. 449.

101

Керенский А. Ф. Русская революция. 1917. С. 28.

Там же. С. 24.

103

Там же. С. 38.

104

Милюков П. Н. Воспоминания. Т. 2. М., 1990. С. 256. По словам Милюкова, эта сцена произошла днем 28 февраля. Мы в данном случае отдаем предпочтение Керенскому, в рассказе которого присутствуют все мелодраматические детали вроде появления Родзянко с последним боем часов.

105

Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. С. 477.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993. С. 141.

107

Керенский А. Ф. Русская революция. 1917. С. 39–40.

Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. С. 451.

109

Сухомлинов В. И. Воспоминания. М.; Л., 1926. С. 221.

110

Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. С. 465.

111

Курлов П. Г. Гибель императорской России. М., 1991. С. 248.

112

Жевахов Н. Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода. Т. 1. М., 1993. С. 305.

113

Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. С. 451.

Минувшее. Т. 20. М.; СПб., 1996. С. 609.

115

Февральская революция в Петрограде (из воспоминаний князя В. А. Оболенского). С. 59.

Керенский А. Ф. Русская революция. 1917. С. 34.

117

Набоков В. Д. Временное правительство // Архив русской революции. Т. 1. Берлин, 1922. С. 15.

118

Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. С. 478.

119

Там же. С. 489.

120

Суханов Н. Н. Записки о революции. Т. 1. С. 147.

121

Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. С. 492.

Там же. С. 496.

123

Керенский А. Ф. Русская революция. 1917. С. 61.

Суханов Н. Н. Записки о революции. Т. 1. С. 165.

В-вий В. А. Ф. Керенский. Пг., 1917. С. 28.

Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1990. Т. 2. С. 268.

Данилов Ю. На пути к крушению. М., 2000. С. 281.

128

Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. С. 518.

129

Там же. С. 536.

Родзянко М. В. Государственная дума и Февральская 1917 г. революция // Архив русской революции. Т. 6. Берлин, 1922. С. 62.

131

Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. С. 539.

132

Аркадий Аверченко /Антология сатиры и юмора. М., 2004. С. 686.

133

Завадский С. В. На великом изломе // Архив русской революции. Т. 11. Берлин, 1923. С. 15.

134

Карабчевский Н. Что глаза мои видели. Т. 2. Революция и Россия. Берлин, 1921. С. 117.

135

Демьянов А. Моя служба при Временном правительстве // Архив русской революции. Т. 4. Берлин, 1922. С. 71.

Завадский С. В. На великом изломе. С. 24.

137

Карабчевский Н. Что глаза мои видели. Т. 2. С. 118.

138

Собрание узаконений и распоряжений правительства. 1917. № 3. 30 марта. С. 242–247.

139

Вестник Временного правительства. 1917. 15 июля.

Карабчевский Н. Что глаза мои видели. Т. 2. С. 115.

141

Керенский А. Ф. Временное правительство и царская семья // БьюкенД. Мемуары дипломата. М., 1922. С. 310.

Мельник Т. Воспоминания о царской семье. М., 1993. С. 179.

143

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 230.

Мельник Т. Воспоминания о царской семье. С. 179.

145

Дневники императора Николая II. М., 1991. С. 628.

146

Карабчевский Н. Что глаза мои видели. Т. 2. С. 125.

147

Завадский С. В. На великом изломе // Архив русской революции. Т. 11. Берлин, 1923. С. 18.

Там же. С. 30.

149

Сухомлинов В. И. Воспоминания. С. 292.

150

Фрейлина Ее Величества Анна Вырубова. М., 1993. С. 305.

151

Там же. С. 310.

Сухомлинов В. И. Воспоминания. С. 320.

153

Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М., 1991. С. 277.

Набоков В. Д. Временное правительство. С. 29.

155

Милюков П. Н. Воспоминания. Т. 2. С. 289.

Набоков В. Д. Временное правительство. С. 51.

157

Там же. С. 40.

Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. С. 489.

159

Набоков В. Д. Временное правительство. С. 46.

160

А. И. Гучков рассказывает… Воспоминания председателя Государственной думы и военного министра Временного правительства. М., 1993. С. 65.

161

Там же. С. 68.

Половцев П. А. Дни затмения. М., 1999. С. 51.

Куторга И. Ораторы и массы: риторика и стиль политического поведения в 1917 г. // Независимая газета. 2001. 30 марта.

Милюков П. Н. История второй русской революции. М., 2001. С. 75.

165

Набоков В. Д. Временное правительство. С. 58.

166

Паршивая овца; человек, вызывающий неприязнь (фр.).

167

Набоков В. Д. Временное правительство. С. 35.

Алексеева И. Мириэль Бьюкенен. Свидетельница великих потрясений. СПб., 1998. С. 175.

169

Петербургский комитет сохранил прежнее название даже после того, как сам город в 1914 году был переименован в Петроград.

Набоков В. Д. Временное правительство. С. 76.

171

Милюков П. Н. История второй русской революции. С. 81.

Набоков В. Д. Временное правительство. С. 60.

173

Войтинский В. 1917-й. Год побед и поражений. М., 1999. С. 82.

Данилов Ю. Перед крушением. М., 2000. С. 264.

Арестант пятой камеры. М., 1990. С. 301.

176

А. И. Гучков рассказывает… Воспоминания председателя Государственной думы и военного министра Временного правительства. С. 76.

177

Допрос Колчака // Арестант пятой камеры. М., 1990. С. 301.

Врангель П. Н. Записки. Кн. 1. М., 1990. С. 28.

Войтинский В. 1917-й. С. 87.

Цит. по: Милюков П. Н. Воспоминания. Т. 1. М., 1990. С. 315.

181

Буржуазия и помещики в 1917 году. Частные совещания членов Государственной думы. М.; Л., 1932. С. 4.

182

Голос (Ярославль). 1917. 11 мая.

183

Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть. К изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб., 2001. С. 316.

Врангель П. Н. Записки. Кн. 1. М., 1991. С. 27.

185

Брюс Локкарт Р. Г. История изнутри. Мемуары британского агента. М., 1991. С. 163.

Чайлд Дорр Р. Человек-загадка или политический фокусник? // Учительская газета. 1994. 23 апреля. С. 23.

187

Завадский С. В. На великом изломе // Архив русской революции. Т. 11. Берлин, 1923. С. 33.

Гуль Р. Я унес Россию. Т. 2. Россия во Франции. С. 71.

Кроль Л. А. За три года. Владивосток, 1921. С. 20.

Летопись (Петроград). 1917. № 5. С. 153.

191

Шидловский С. И. Воспоминания // Февральская революция в описании белогвардейцев. М., 1926. С. 312.

В-вий В. А. Ф. Керенский. Пг., 1917. С. 3.

193

Зощенко М. Керенский // Рассказы и повести. Л., 1960. С. 412.

Успенский Л. Записки старого петербуржца. Л., 1970. С. 257.

195

Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. СПб., 1995. С. 376.

Гуль Р. Я унес Россию. Т. 2. Россия во Франции. М., 2001. С. 76.

197

Набоков В. Д. Временное правительство // Архив русской революции. Т. 1. Берлин, 1922. С. 16.

198

Карабчевский Н. Что глаза мои видели. Т. 2. Революция и Россия. Берлин, 1921. С. 132.

199

«Судьбы скрещенья». Встреча с сыном Керенского // Неделя. 1989. № 30. С. 11.

200

Там же.

201

Карабчевский Н. Что глаза мои видели. Т. 2. С. 130.

Успенский Л. Записки старого петербуржца. С. 266.

203

Врангель Н. Е. Воспоминания. От крепостного права до большевиков // Бароны Врангели. Воспоминания. М., 2006. С. 232.

Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 1. Крушение власти и армии. М., 1990. С. 301.

205

Там же. С. 315.

Гурко В. Война и революция в России. М., 2007. С. 359.

207

Цит. по: Милюков П. Н. История второй русской революции. М., 2001. С. 106.

Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. С. 364.

209

Русское слово (Москва). 1917. 20 мая.

Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак во время революции на Черноморском флоте // Февральская революция в воспоминаниях белогвардейцев. М.; Л., 1926. С. 247.

211

Там же. С. 246.

212

Речь (Петроград). 1917. 17 мая.

Арестант пятой камеры. М., 1990. С. 314.

214

Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак во время революции. С. 249.

215

Арестант пятой камеры. С. 313.

Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. С. 375.

217

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993. С. 190.

Данилов Ю. Н. На пути к крушению. М., 2000. С. 50.

219

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 194–195.

Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 1. С. 402.

221

Русское слово (Москва). 1917. 19 мая.

Разложение армии в 1917 году. М.; Л., 1925. С. 29.

223

Лукомский А. С. Из воспоминаний // Архив русской революции. Т. 2. Берлин, 1922. С. 40.

Жилин А. П. Последнее наступление (июнь 1917 года). М., 1983. С. 30.

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 32. С. 302.

Жилин А. П. Последнее наступление. С. 57.

227

Там же. С. 62.

Гиацинтов Э. Н. Трагедия русской армии в 1917 году // Русское прошлое. Вып. 1. СПб., 1991. С. 88–89.

Половцев П. А. Дни затмения. М., 1999. С. 77.

Войтинский В. 1917-й. Год побед и поражений. М., 1999. С. 148.

231

Суханов Н. Н. Записки о революции. Т. 2. М., 1991. С. 301.

Никитин Б. В. Роковые годы. М., 2007. С. 122.

Кшесинская М. Воспоминания. Смоленск, 1998. С. 272.

Русское слово (Москва). 1917. 7 мая.

235

Петтибридж Р. Русская революция глазами современников. М., 2006. С. 187.

236

ГА РФ. Ф. 446. Оп. 1. Д. 14. Л. 60.

Савченко В. А. Симон Петлюра. Харьков, 2004. С. 78.

Милюков Я. Я. История второй русской революции. М., 2001. С. 187.

239

Керенский А. Ф. Русская революция 1917 года. С. 219.

Войтинский В. 1917-й. Год побед и поражений. С. 162.

241

Врангель Н. Е. От крепостного права до большевиков. С. 233.

242

Позже, в 1922 году, будучи секретарем советской миссии в Риге, Семашко попросил политического убежища у латвийского правительства и стал невозвращенцем.

243

Очерки по истории Октябрьской революции. Т. 2. М.; Л., 1927. С. 283.

Раскольников Ф. Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году. М., 1990. С. 124.

245

Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. С. 388.

Раскольников Ф. Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году. С. 132.

247

Суханов Н. Н. Записки о революции. Т. 2. М., 1991. С. 330.

Раскольников Ф. Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году. С. 134.

249

Михайловский Г. Н. Записки. Из истории российского внешнеполитического ведомства. 1914–1920 гг. Кн. 1. М., 1993. С. 425.

Никитин Б. В. Роковые годы. С. 170.

251

Цит. по: Очерки по истории Октябрьской революции. Т. 2. С. 333.

Никитин Б. И. Роковые годы. С. 136.

253

Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. С. 391.

Раскольников Ф. Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году. С. 146.

255

Суханов Н. Н. Записки о революции. Т. 2. С. 349.

Раскольников Ф. Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году. С. 155.

257

Половцев П. А. Дни затмения. С. 152.

Там же. С. 143.

259

Троцкий Л. Моя жизнь. Т. 2. М., 1990. С. 34.

Милюков П. Н. История второй русской революции. С. 229.

261

Керенский А. Ф. Русская революция. 1917. С. 234.

Жилин А. П. Последнее наступление. С. 72.

Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. СПб., 1995. С. 418.

Там же. С. 365.

265

Там же.

Милюков П. Н. История второй русской революции. М., 2001. С. 247.

267

Брюс Локкарт Р. Г. История изнутри. С. 166.

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 300.

Врангель П. Н. Записки. Кн. 1. М., 1991. С. 35.

Там же. С. 553.

Русское прошлое. Т. 1. СПб., 1991. С. 110.

Там же. С. 111.

Милюков П. Н. История второй русской революции. М., 2001. С. 244–245.

274

Там же. С. 247–248. Милюков ошибочно датирует эту телеграмму 7 июля.

Шкловский В. Сентиментальное путешествие. М., 1990. С. 77.

Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 1983. С. 241.

277

Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 1. С. 428.

Брусилов А. А. Мои воспоминания. С. 241.

Алексеева-Борель В. Сорок лет в рядах русской императорской армии. Генерал М. В. Алексеев. СПб., 2000. С. 536.

280

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 201.

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. М., 2003. С. 131.

Новиков Г. Н. Об архиве А. Ф. Керенского в Техасе // Новая и новейшая история. 1993. № 1. С. 212.

283

Дорошенко Д. И. Война и революция на Украине. С. 75.

Рейснер Л. Избранные произведения. М., 1958. С. 489.

Верховский А. И. На трудном перевале. М., 1959. С. 355.

Половцев П. А. Дни затмения. М., 1999. С. 102.

Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. С. 421.

Там же. Т. 2. С. 188.

289

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 188.

Там же. С. 140.

291

Там же. С. 89.

Там же. С. 301.

293

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993. С. 207.

Катков Г. М. Дело Корнилова. М., 2002. С. 71.

295

Гиппиус З. Петербургские дневники. 1914–1919. Нью-Йорк; М., 1990. С. 143.

Лукомский А. С. Из воспоминаний. С. 105.

Гиппиус З. Петербургские дневники. С. 149.

Там же. С. 148.

299

Верховский А. И. На трудном перевале. С. 304.

Шидловский С. И. Воспоминания // Февральская революция в воспоминаниях белогвардейцев. М.; Л., 1926. С. 311.

301

Государственное совещание. Стенографический отчет. М.; Л., 1930. С. 15.

Мартынов Е. И. Корнилов (попытка военного переворота). М., 1927. С. 67.

Временное правительство у власти (из воспоминаний князя В. А. Оболенского) // Советские архивы. 1991. № 2. С. 68.

Государственное совещание. С. 66.

Там же. С. 75.

Шидловский С. В. Воспоминания // Февральская революция в воспоминаниях белогвардейцев. М., 1926. С. 312.

Гуль Р. Я унес Россию. Т. 2. Россия во Франции. М., 2001. С. 96.

Мельник Т. Воспоминания о царской семье. М., 1993. С. 67.

309

БохановА. Н. Николай II. М., 1997 (серия «ЖЗЛ»), С. 422.

Мельгунов С. П. Судьба императора Николая II после отречения. Нью-Йорк, 1991. С. 209.

311

Гиппиус З. Петербургские дневники. С. 154.

312

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 1. С. 480.

313

Гиппиус З. Петербургские дневники. С. 163.

Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корни-ловского мятежа. М., 1959. С. 421–422.

315

Лукомский А. С. Из воспоминаний // Архив русской революции. Т. 5. Берлин, 1922. С. 113.

316

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 561.

317

Лукомский А. С. Из воспоминаний. С. 114.

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 352.

319

Набоков В. Временное правительство // Архив русской революции. Т. 1. Берлин, 1922. С. 43.

Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. С. 433.

321

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 151.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 238.

323

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 233.

Там же. С. 224.

325

Половцев П. А. Дни затмения. С. 192.

Там же. С. 100.

327

Милюков П. Н. История второй русской революции. С. 358.

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 104.

329

Лукомский А. С. Из воспоминаний. С. 115.

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 233.

331

Революционное движение в России в августе 1917 г. С. 434.

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 65.

333

Революционное движение в России в августе 1917 г. С. 442.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 241.

335

Революционное движение в России в августе 1917 г. С. 443.

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 363.

Милюков П. Н. История второй русской революции. С. 371.

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 327.

339

Лукомский А. С. Из воспоминаний. С. 117.

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 232.

341

Революционное движение в России в августе 1917 г. С. 448.

Вырубов В. В. Воспоминания о корниловском деле // Минувшее. Т. 12. М.; СПб., 1993. С. 14.

343

Революционное движение в России в августе 1917 г. С. 451.

Алексеева-Борель В. Сорок лет в рядах русской императорской армии. Генерал М. В. Алексеев. С. 576.

345

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 306.

346

Революционное движение в России в августе 1917 г. С. 454.

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 161.

Вырубов В. В. Воспоминания о корниловском деле. С. 16.

349

Гуль Р. Я унес Россию. Т. 2. Россия во Франции. М., 2001. С. 94.

Краснов П. Н. На внутреннем фронте. С. 113.

351

Лукомский А. С. Из воспоминаний. С. 120.

Краснов П. Н. На внутреннем фронте. С. 114.

353

Дело генерала Л. Г Корнилова. Т. 2. С. 493.

Там же. С. 494.

355

Это ироническое выражение связано с эпизодом, имевшим место в Париже 12 августа 1899 года, когда некий Жюль Герен с товарищами, обвиненные в государственной измене, заперлись в доме на улине Шаброль и больше месяца отбивались от полиции.

Там же. С. 231.

Иоффе Г. З. Белое дело. Генерал Корнилов. М., 1989. С. 130.

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 421.

359

Там же. С. 361.

Краснов П. Н. На внутреннем фронте. С. 115.

361

Цит. по: Милюков П. Н. История второй русской революции. С. 410.

362

Революционное движение в России в августе 1917 г. С. 456–457.

363

Там же. С. 469.

364

Революционное движение в России в августе 1917 г. С. 461.

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Т. 2. С. 26.

Там же. С. 69.

Вырубов В. В. Воспоминания о корниловском деле. С. 17.

Алексеева-Борель В. Сорок лет в рядах русской императорской армии. С. 580.

369

Вырубов В. В. Воспоминания о корниловском деле. С. 19.

Там же. С. 20.

371

Там же.

Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 2. С. 56.

Рид Д. 10 дней, которые потрясли мир. М., 1958. С. 33.

Реден Н. Сквозь ад русской революции. Воспоминания гардемарина. 1914–1919. М., 2006. С. 68.

Вестник Временного правительства. 1917. 15 мая.

Рид Д. 10 дней, которые потрясли мир. С. 34.

Грузинская Н. П. Записки контрреволюционерки // Октябрьская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1998. С. 362.

Реден Н. Сквозь ад русской революции. С. 124.

Верховский А. И. На трудном перевале. М., 1959. С. 355.

Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. М., 1995. С. 444.

381

Болеславский Р. Путь улана. Воспоминания польского офицера. 1916–1918. М., 2006. С. 157.

382

Из воспоминаний члена Чрезвычайной комиссии помощника военного прокурора Петроградского военно-окружного суда Н. П. Украинцева о создании и деятельности комиссии // Дело генерала Л. Г. Корнилова. Август 1917— июль 1918 г. М., 2003. Т. 1. С. 348.

383

Милюков П. И. История второй русской революции. М., 2001. С. 468.

Суханов Н. Н. Записки о революции. Т. 3. М., 1992. С. 185.

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 242.

Милюков П. Н. История второй русской революции. С. 497.

Успенский Л. Записки старого петербуржца. Л., 1970. С. 305.

Суханов Н. Н. Записки о революции. Т. 3. С. 244.

389

Настоящие имя и фамилия Каменева — Леонид Борисович Розен-фельд. В данном случае «Ю» — нерасшифровываемая часть псевдонима, так же как Н. Ленин — у Владимира Ульянова.

Набоков В. Д. Временное правительство // Архив русской революции. Т. 1. Берлин, 1922. С. 82.

391

Рид Д. 10 дней, которые потрясли мир. С. 68.

Суханов Н. Н. Записки о революции. Т. 3. С. 299.

Там же. С. 293.

Бьюкенен Д. Мемуары дипломата. М., б. г. С. 278–279.

395

Суханов Н. Н. Записки о революции. Т. 3. С. 308.

Станкевич В. Б. Воспоминания. 1914–1919 гг. М., 1994. С. 138.

Керенский А. Ф. Русская революция. 1917. М., 2005. С. 333.

Коренев С. А. Чрезвычайная комиссия по делам о бывших министрах // Архив русской революции. Т. 7. Берлин, 1922. С. 28.

399

Синегуб А. Защита Зимнего дворца (25 октября — 7 ноября 1917 г.) // Архив русской революции. Т. 4. Берлин, 1922. С. 194.

400

Гайлеш К. де. Защита Зимнего дворца // Сопротивление большевизму. 1917–1918 гг. М., 2001. С. 12.

401

Малянтович П. Н. В Зимнем дворце 25–26 октября 1917 г. // Былое. 1918. № 6. С. 115.

Коренев С. А. Чрезвычайная комиссия по делам о бывших министрах. С. 29.

403

Там же.

Рид Д. 10 дней, которые потрясли мир. С. 84.

Набоков В. Д. Временное правительство // Архив русской революции. Т. 1. Берлин, 1922. С. 87.

Последние часы Временного правительства (дневник министра Ли-веровского) // Исторический архив. 1960. № 6. С. 45.

Малянтович П. М. В Зимнем дворце 25 октября 1917 г. С. 125.

Синегуб А. Защита Зимнего дворца. С. 165.

409

Гайлеш К. де. Защита Зимнего дворца. С. 15.

Рид Д. 10 дней, которые потрясли мир. С. 100.

411

Сорокин П. Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992. С. 105.

412

Там же.

Демьянов А. Записки о подпольном Временном правительстве // Архив русской революции. Т. 7. Берлин, 1922. С. 42.

Набоков В. Д. Временное правительство. С. 88.

Там же. С. 89.

Станкевич В. Б. Воспоминания. С. 146.

Войтинский В. 1917. Год побед и поражений. М., 1999. С. 244.

Краснов П. Н. На внутреннем фронте // Архив русской революции. Т. 1. Берлин, 1922. С. 149.

419

Там же. С. 150.

Зубов В. П. Страдные годы России: воспоминания о революции. 1917–1925. Мюнхен, 1968. С. 21.

421

См., напр.: Князев Г. А. Из записной книжки русского интеллигента во время войны и революции. 1915–1922 г. // Русское прошлое. Вып. 2. С. 175.

Краснов П. Н. На внутреннем фронте. С. 173.

423

Ган Т. «Я из бывших…» Рассказывает секретарша Керенского Зинаида Манакина // Памятники отечества. 1992. № 28. С. 139.

Вероятнее всего, это был эсер Г. И. Семенов, назначенный Керенским комиссаром 3-го Конного корпуса.

425

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993. С. 316.

Там же. С. 317.

427

Лисовой Я. М. М. П. Богаевский о Керенском // Донская волна. 1919. № 14 (32). С. 10.

428

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 320.

429

Нео-Сильвестр Г. Охтинская «богородица» // Грани (Франкфурт-на-Майне). 1957. № 36. С. 155.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 336.

431

Керенская О. Л. Мертвые молчат. Победителей не судят // Звезда. 1998. № 2. С. 114.

Там же. С. 117.

433

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. С. 345.

Керенский А. Ф. Дневник политика. М., 2007. С. 191.

Берберова Н. Курсив мой. Автобиография. М., 1996. С. 349.

Керенский А. Ф. Дневник политика. С. 150.

Воля России (Прага). 1920. 15 декабря.

Гуль Р. Я унес Россию. Т. 2. Россия во Франции. М., 2001. С. 65.

439

Берберова Н. Курсив мой. С. 349.

Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1989. С. 58.

441

Берберова Н. Курсив мой. С. 352.

Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. Т. 1. М., 1990. С. 545.

Керенский А. Ф. Потерянная Россия. М., 2007. С. 406.

Берберова Н. Курсив мой. С. 353.

445

Курт фон Шушниг — австрийский канцлер, посаженный гитлеровцами в тюрьму после «аншлюса» Австрии.

Цит. по: Новиков Г. Н. Об архиве А. Ф. Керенского в Техасе // Новая и новейшая история. 1993. № 1. С. 211.

Керенский А. Ф. Потерянная Россия. С. 441.

Там же. С. 473.

Гуль Р. Я унес Россию. Т. 2. Россия во Франции. С. 72.

450

Минковский А. Премьер и Елена // Родина. 1989. № 2. С. 69.

451

Быкова Л. А. Архив А. Ф. Керенского в Центре гуманитарных исследований Техасского университета // Отечественные архивы. 2001. № 3. С. 18.

452

Судьба и стихи Леонида Каннегисера // Наше наследие. 1993. № 3. С. 95.

453

Существуют и другие издания данной книги.

Существуют и другие издания данной книги.
Далее такие книги отмечены знаком звёздочками.